

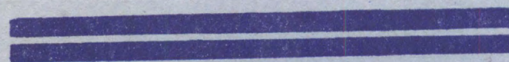
||
11
||

Н О В Ы Й
М И Р

Н О В Ы Й
М И Р

|| 1975 ||

11



1975



НОВЫЙ МИР

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ
ЛИТЕРАТУРНО - ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО - ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

Издается с 1925 г.

№ 11

Ноябрь, 1975 г.

ОРГАН СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ СССР

СОДЕРЖАНИЕ

	Стр.
БОЕВОЙ МАНИФЕСТ РЕВОЛЮЦИОННОГО ИСКУССТВА. К 70-летию статьи В. И. Ленина «Партийная организация и партийная литература»	3
—	
ПАВЕЛ АНТОКОЛЬСКИЙ — Конец века, стихи	10
АЛЕКСАНДР КОРЕНЕВ — Новобранец, стихи	13
ВЕРА КЕТЛИНСКАЯ — Здравствуй, молодость! Роман	16
ВЛАДИМИР СОЛОВЬЕВ — Переправа, отрывки из поэмы	156
АНАТОЛИЙ ЛЕВУШКИН — Клипера, стихи	159
ЕВГЕНИЙ ВИНОКУРОВ — Новые стихи	163
В. АЛЕКСЕЕВА — Чужой мальчик. Из пережитого	167
УИЛЬЯМ ФОЛКНЕР — Рассказы. Перевели с английского В. Гольшев, Ю. Жукова, В. С. Муравьев, Л. Беспалова	174
ДНЕВНИКИ. ВОСПОМИНАНИЯ	
МИХАИЛ ИВАНОВИЧ КАЛИНИН	209
Д. ЭРДЭ — Встречи с М. И. Калинин	211
ИЗ ЛИТЕРАТУРНОГО НАСЛЕДИЯ	
А. ЛУНАЧАРСКИЙ — Новая Европа в СССР. Публикация Ю. Фединского Послесловие Н. Трифонова	217
ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА	
БОРИС СУЧКОВ — «Открывать новые страницы жизни»	224
ИРИНА ЛУНАЧАРСКАЯ — Свершения и замыслы (А. В. Луначарский: из писем и дневников)	244

(См. на обороте)

ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ИЗВЕСТИЯ СОВЕТОВ ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ СССР»

Москва

СОДЕРЖАНИЕ (окончание)

	Стр.
КНИЖНОЕ ОБЗОРЕНИЕ	
<i>Литература и искусство</i>	260
В. Перцовский. Выбор судьбы.— Г. Ищук. Диалог и спор.— И. Грябберг. Как добывается цельность.	
<i>Политика и наука</i>	272
Б. Жировов. Надежный ориентир.— О. Сайкин. От Радищева до революционных народников.— И. Геевский. Президенты и политика.	
КОРОТКО О КНИГАХ — В. Гейдеко. — Александр Проханов. Отблески Мангазеи. ♦ Ю. Минералов. — Ааду Хинт. Быть самим собой. Роман. ♦ Ирина Винокурова. — Петр Вегин. Лет лебединый. Стихи. ♦ А. Новикова. — А. Б. Мельников. Хранитель партийных тайн. Очерк жизни и деятельности С. И. Радченко. ♦ Ю. Шарпов. — Первый в России. Иваново-Вознесенский общегородской Совет рабочих депутатов 1905 г. в документах и воспоминаниях. ♦ Анна Илупина. — Ефим Вихрев. Палех. ♦ Я. Горелик. — Е. П. Тарасов. Краском Генрих Эйхе	281
КНИЖНЫЕ НОВИНКИ	287

БОЕВОЙ МАНИФЕСТ РЕВОЛЮЦИОННОГО ИСКУССТВА



*К 70-летию статьи В. И. Ленина
«Партийная организация и партийная литература»*

Небольшая по объему, динамично-сжатая ленинская статья, появившаяся в большевистской газете «Новая жизнь», вызвала огромный общественный резонанс. Революционный пролетариат, коммунисты нашли в ней ответ на самые важные и принципиальные для себя вопросы партийной стратегии в области художественного творчества. Статья стала теоретическим манифестом революционного искусства. Не удивительно, что буржуазные критики и публицисты с момента появления статьи и до нынешних дней предпринимают бессильные попытки «опровергнуть», «поправить», «уточнить» основные идеи этой классической ленинской работы. Легко понять классовые истоки ненависти наших врагов!

Статья «Партийная организация и партийная литература» была написана в 1905 году и вобрала в себя первый опыт русской революции. В это время В. И. Ленин особенно много работает, и каждая его новая статья — о наиболее важном в данных исторических условиях, о жизненно насущных проблемах, встававших в ходе революции. Эти работы не просто раскрывают все новые и новые грани теоретического гения В. И. Ленина, но и становятся этапом в истории революционного движения.

Почему же буквально накануне Декабрьского вооруженного восстания Ленина заинтересовали вопросы взаимоотношения партии и литераторов? Да потому что эти «частные» вопросы в революционных условиях приобретают первостепенную важность.

Всесильной машине эксплуататорского государства с его армией, полицией, отлаженным механизмом пропаганды пролетариат способен противопоставить, как настойчиво подчеркивали еще Маркс и Энгельс, только организованность, солидарность и дисциплину. А для этого нужно было, чтобы каждый трудящийся, каждый демократ четко определил свою политическую позицию, осознал, что в классовой борьбе никто в стороне остаться не может, ибо, по словам Ленина, «равнодушные есть молчаливая поддержка того, кто силен, того, кто господствует».

Огромное воздействие, которое ленинская статья оказала на умы как в революционной ситуации, так и в последующие семьдесят лет, опрокинуло досужие измышления тех, кто пытался было атако-

вать работу «Партийная организация и партийная литература», видя в ней «чисто утилитарный» подход к вопросу. Говорилось, что статья эта общетеоретического значения не имеет, поскольку Ленин якобы ставил в ней лишь некоторые частные, внутривнутрипартийные вопросы: как организовать работу партийных публицистов, как привлечь сочувствующих писателей к пропагандистской работе; доказывалось, что статья относится только к тому времени и только к партийной печати и т. д. И что бы так беспокоиться буржуазным теоретиком, если «ничего другого» в ленинской работе нет?

Написанная на «злобу дня», статья принципиально формулирует основы политики партии в области социалистического искусства и литературы.

В разгар первой русской революции разрешая такие первоочередные проблемы, как развитие нелегальной печати, создание пролетарской революционной партии, размежевание с оппортунизмом и т. д., В. И. Ленин вместе с тем определяет в своей работе задачу гигантской важности: как «из воли миллионов и сотен миллионов разрозненных, раздробленных, разбросанных на протяжении громадной страны, создать единую волю, ибо без этой единой воли мы будем разбиты неминуемо».

1905 год был в этом отношении особым годом, Ленин назвал его эпохой, ибо «не бывало эпохи, когда бы так отчетливо и «толково» размежевывались классы, определяли себя массы населения, проверялись теории и программы «интеллигентов» действиями миллионов».

Не случайно, что для решения этих огромных исторических задач В. И. Ленин обращается к великой воспитательной силе искусства и литературы, силе, способной увлечь за собой широкие массы трудящихся. А для этого требовалась качественно новая, революционная литература и искусство. Вместе с тем необходимо было воспользоваться первыми завоеваниями пролетариата в области легальной печати, высвободив литературу, в том числе художественную, из плена буржуазно-торгашеских отношений. Ленин писал: «Проклятая пора эзоповских речей, литературного холопства, рабьего языка, идейного крепостничества! Пролетариат положил конец этой гнусности, от которой задыхалось все живое и свежее на Руси. Но пролетариат завоевал пока лишь половину свободы для России». И далее: «Мы хотим создать и мы создадим свободную печать не в полицейском только смысле, но также и в смысле свободы от капитала, свободы от карьеризма; — мало того: также и в смысле свободы от буржуазно-анархического индивидуализма». Речь шла о самом пафосе нарождавшегося социалистического искусства, об идейной, этической и эстетической позиции художника, вставшего на службу народу.

Легальность печати позволяла сосредоточить в руках сознательного российского социалистического пролетариата «литературную часть партийного дела». «Литература должна стать партийной, — писал Ленин. — В противовес буржуазным нравам, в противовес буржуазной предпринимательской, торгашеской печати, в противовес буржуазному литературному карьеризму и индивидуализму, «барскому анархизму» и погоне за наживой, — социалистический пролетариат должен выдвинуть принцип *партийной литературы*, развить этот принцип и провести его в жизнь в возможно более полной и цельной форме».

Борясь с индивидуалистическими, субъективистскими и анархическими взглядами на литературу, с реакционно-эстетскими теориями «искусства для искусства», Ленин определил задачи, стоящие перед

художником в новую, революционную эпоху, четко сформулировал принцип партийности литературы. Ленинское учение о партийности явилось дальнейшим творческим развитием положений Маркса и Энгельса о классово обусловленной тенденциозности художественного творчества.

В. И. Ленин выдвинул четкую программу: «Для социалистического пролетариата литературное дело не может быть орудием наживы лиц или групп, оно не может быть вообще индивидуальным делом, не зависимым от общего пролетарского дела. Долой литераторов беспартийных! Долой литераторов сверхчеловеков! Литературное дело должно стать частью общепролетарского дела, «колесиком и винтиком» одного-единого, великого социал-демократического механизма, приводимого в движение всем сознательным авангардом всего рабочего класса. Литературное дело должно стать составной частью организованной, планомерной, объединенной социал-демократической партийной работы».

Принцип партийности подразумевает глубокую идейную связь художника с интересами пролетариата, активную деятельность и стремление отдать все силы и творчество делу служения своему народу, серьезное и честное исследование жизни с позиций пролетариата — передового революционного класса.

Поставив перед партией задачу создания партийной литературы, «действительно-свободной, открыто связанной с пролетариатом», В. И. Ленин писал: «Это будет свободная литература, потому что не корысть и не карьера, а идея социализма и сочувствие трудящимся будут вербовать новые и новые силы в ее ряды».

Знаменательно, что принципы свободы художника и служения его трудящимся массам объединены Лениным в одно целое. Только в этом случае перед художником открывается широкий путь для действительно свободного творчества — путь осознанной борьбы против классового угнетения, социальной несправедливости, национального неравенства, борьбы на стороне сознательного передового пролетариата.

Определив литературное дело как часть общепролетарского и общепартийного дела, Ленин противопоставил пустым и фальшивым рассуждениям буржуазных теоретиков об «абсолютной свободе» творчества идею единства художника и партии пролетариата. Ленинский принцип партийного руководства искусством предполагает привлечение художника к благородной борьбе за создание справедливого нового мира, за коммунизм. Художник, стоящий на позициях коммунистической партийности, развивает и утверждает в своем творчестве идеи рабочего класса, идеи марксистско-ленинской партии, правдиво воссоздает в художественной форме наиболее значительные события своего времени, раскрывая основные тенденции общественного развития.

Принцип партийности значительно обострил интерес современного прогрессивного искусства и литературы к социальным и политическим проблемам. При этом неизмеримо расширился круг вопросов общественной жизни, исследуемых художником, углубилось его стремление постигнуть закономерности социального развития общества, правдиво и честно отобразить их в творчестве. Принцип партийности предполагает, что свои политические, философские, эстетические идеи писатель воплощает художественными средствами, — следует особо подчеркнуть, что принцип этот преломляется в творческой практике как категория эстетическая.

В. И. Ленин исключал какое-либо администрирование, грубое и некомпетентное вмешательство в процесс художественного творчества, специфику и своеобразие которого он всегда призывал строго учитывать. Ленин отмечал необходимость в литературном деле «большого простора личной инициативе, индивидуальным склонностям, простора мысли и фантазии, форме и содержанию», указывал на недопустимость «механического равнения, нивелирования, господства большинства над меньшинством». Вместе с тем Ленин решительно отбрасывал каутскианскую идею «созерцательности» в области художественного творчества. Обращаясь к принципу партийности в беседе с Кларой Цеткин, он говорил: «Но, понятно, мы — коммунисты. Мы не должны стоять, сложа руки, и давать хаосу развиваться, куда хочешь. Мы должны вполне планомерно руководить этим процессом и формировать его результаты».

В статье «Партийная организация и партийная литература» В. И. Ленин дал глубокое марксистское истолкование проблемы народности искусства, показав теснейшую связь народности с партийностью, с задачей всеобщего овладения высотами культуры и литературы.

И в те годы и после Великой Октябрьской социалистической революции Владимир Ильич не раз возвращался к этому вопросу. «Искусство принадлежит народу,— говорил Ленин в той же беседе с Кларой Цеткин.— Оно должно уходить своими глубочайшими корнями в самую толщу широких трудящихся масс. Оно должно быть понятно этим массам и любимо ими. Оно должно объединять чувство, мысль и волю этих масс, подымать их. Оно должно пробуждать в них художников и развивать их».

Ленинская мысль о воспитании в современном человеке художника приобретает особое значение в нынешних условиях развитого социализма: советское искусство стремится пробудить в человеке творца, созидателя, художника, раскрывая реальную перспективу развития и всестороннего обогащения личности. Мы можем смело говорить об активном и реальном воздействии лучших произведений нашей литературы на духовную культуру современника, на его нравственные убеждения и эстетические вкусы.

Буржуазные идеологи, ревизионисты всех мастей пытаются обвинить советское искусство и литературу в «завербованности», упрощенчестве, утилитарности, тщатся «заменить» философию диалектического материализма различными модными течениями немарксистской философии — типа экзистенциализма, персонализма, структурализма и т. д.

Но теперь уже всему миру понятно, что мнимая «деидеологизация» буржуазного искусства и философии или, напротив, спекуляция на острых общественно-политических проблемах современности вызваны необходимостью для буржуазных идеологов скрыть нарастающие социальные и классовые противоречия, отдалить или замедлить неизбежно надвигающиеся революционные процессы.

По-прежнему остро и актуально звучат слова Ленина, обращенные к художникам капиталистического мира: «Свободны ли вы от вашего буржуазного издателя, господин писатель? от вашей буржуазной публики, которая требует от вас... протекции в виде «дополнения» к «святому» сценическому искусству?.. Жить в обществе и быть свободным от общества нельзя».

Ленинский принцип партийности лег в основу идеологической работы и политики нашей партии, стал исходным при определении

критериев социалистического искусства и литературы. Советские художники могут по справедливости гордиться тем, что тесно связали свое творчество «с движением действительно передового и до конца революционного класса».

Развитие многонациональной советской литературы показало всему миру преимущество и возможности метода социалистического реализма, теоретические основы которого уже содержались в ленинской статье.

В русле метода социалистического реализма братские литературы по-своему, во всем многообразии и конкретности исторического содержания воссоздают живую жизнь. Органическая связь с народным бытием, передовое марксистско-ленинское мировоззрение, опыт коммунистического строительства, художественная зрелость, широта и масштабность мышления позволяют художнику глубоко вторгаться в жизнь, правдиво отображать действительность в ее революционном развитии, видеть и осмыслять социальные перспективы. Искусство социалистического реализма проникнуто пафосом борьбы за построение новой, коммунистической действительности.

Советская литература всегда избирала героем книг человека труда. Сегодня писатели считают важной своей задачей показать подлинного героя наших дней — человека идейного и принципиального, во всей широте его интересов, богатстве мыслей и чувств. Человека, способного стать высоким примером для читателя.

Социалистический реализм предполагает отображение жизни во всем ее многообразии и развитии. Пристальный интерес вызывают у художника насущные проблемы современности. Поступательное движение советского общества к коммунизму требует от писателя глубокого освоения новых явлений, возникающих в политической, экономической, нравственной сферах жизни. Можно с полным основанием утверждать, что в нашей литературе нашли художественное воплощение все важнейшие этапы истории революции, коллективизации и индустриализации страны, героический подвиг советского народа в Великой Отечественной войне, богатство и многообразие современной действительности. История советской многонациональной литературы — это история углубленного познания жизни народа, человека труда — главного героя современности, это поиски художественных решений и средств, способных с наибольшей выразительностью и глубиной воплотить наше героическое время.

Важнейшими для современной литературы и искусства являются темы труда рабочего класса, социалистических преобразований в деревне, жизни интеллигенции. Высокого революционного пафоса, творческой зрелости и художественной убедительности требует читатель от произведений наших художников, поднимающих проблемы социалистического гуманизма, патриотизма, нравственности современного человека.

Значение гражданской, общественной роли литератора, о которой говорится в ленинской статье, как никогда отчетливо видно сегодня, в атмосфере всенародного трудового, политического, творческого подъема, которым отмечен последний, завершающий год девятой пятилетки, в дни и месяцы, предшествующие знаменательному в жизни народа событию — XXV съезду КПСС.

Непосредственное участие советских писателей, нашей печати в жизни строителей КамАЗа, Курской магнитной аномалии, стройки юности — БАМа, публицистические выступления литераторов, широкие встречи с трудящимися в разных концах страны, а главное, но-

вые книги, посвященные нашей современности и нашей революционной истории, — что может убедительней сказать о том, сколь органичными стали для творческой жизни мысли об участии художника в партийной работе, в общепролетарском деле — положения, высказанные в замечательной ленинской статье!

Героический путь нашей страны, осуществляющей невиданные революционные преобразования, стал школой исторического опыта для всего человечества. Вместе с советской литературой по пути революционного прогресса идут литературы социалистических стран. И здесь, мы видим, происходят важные сдвиги, свидетельствующие об углублении связей писателей с новой, социалистической действительностью, о постижении ими основных принципов революционного преобразования жизни. Ленинский принцип партийности искусства, метод социалистического реализма становятся путеводными для прогрессивных художников всего мира.

Советская литература и искусство находятся на одном из передовых участков современной идеологической борьбы. Это требует ясности мировоззрения, отчетливого классового подхода к явлениям общественной жизни, непримиримости к буржуазной идеологии, ревизионизму и догматизму, ибо любое умаление роли марксистского мировоззрения в художественном познании мира открывает путь для проникновения буржуазных тенденций в художественное творчество. Об этом предупреждает нас статья «Партийная организация и партийная литература».

Ленинский принцип партийности находит дальнейшее развитие в практике идеологической работы, в литературной политике нашей партии, в принимаемых партией решениях, в ее повседневном руководстве литературным делом, — руководстве, направленном на борьбу за высокую коммунистическую идейность и подлинную художественность советской литературы и искусства. Об этом сказано товарищем Л. И. Брежневым в Отчетном докладе ЦК КПСС XXIV съезду: «Мы за внимательное отношение к творческим поискам, за полное раскрытие индивидуальности дарований и талантов, за разнообразие и богатство форм и стилей, вырабатываемых на основе метода социалистического реализма. Сила партийного руководства — в умении увлечь художника благородной задачей служения народу, сделать его убежденным и активным участником преобразования общества на коммунистических началах».

Теоретическое исследование проблем партийности и народности социалистического искусства, его осознанного историзма, идейно-эстетических критериев художественного творчества — одна из генеральных задач, непреложный долг нашего литературоведения и критики. Важность и актуальность этого были подчеркнуты в постановлении ЦК КПСС «О литературно-художественной критике», где говорится: «Долг критики — глубоко анализировать явления, тенденции и закономерности современного художественного процесса, всемерно содействовать укреплению ленинских принципов партийности и народности, бороться за высокий идейно-эстетический уровень советского искусства, последовательно выступать против буржуазной идеологии».

В жизни нашей страны, в деятельности Коммунистической партии ленинское отношение к творчеству проявляется в заботливом воспитании таланта художника с его индивидуальными особенностями, в стремлении создать все условия для проявления сильнейших сторон его творческого дарования, вносить в среду художественной интеллигенции дух идейной убежденности, творческой взыскательности, повышать авторитет художника в обществе.

На всех этапах исторического процесса советская литература и искусство поддерживают все истинно коммунистическое, передовое, активно борются за преобразование мира, за гармоничное творческое развитие человека, за активное приобщение его к новым формам человеческого общежития. А именно в этом Владимир Ильич Ленин и видел одну из важнейших и гуманнейших задач искусства! Как и много лет назад, ленинские идеи сегодня вдохновляют, направляют по единственно верному пути литературу социалистического реализма. Советские писатели, художники, деятели культуры видят свой долг в глубоком художественном осмыслении процессов социалистического преобразования мира, в том, чтобы достойно выполнить задачи, поставленные перед искусством и литературой нашей Коммунистической партией.



ПАВЕЛ АНТОКОЛЬСКИЙ

★

КОНЕЦ ВЕКА

Осталось четверть века — и простится
Земное человечество с двадцатым.
Погаснет век, сверкавший как жар-птица,—
Но черт возьми, куда там до конца там!

Хоть и не пьян — а море по колено.
Хоть и не трезв — а вырастил потомство.
Он письма рассылает по вселенной
И понемногу разрушает дом свой.

Не подражает медоносным пчелам
И впрок шестиугольных сот не строит —
Дороге бездорожье предпочел он
И по кривой летит, как астероид.

Куда? Хотя бы к черту на кулички,
В открытый космос, в черный бархат стужи,
Где люди жаждут братской переключки
И чуда ждут, стянув ремень потуже.

Как будто бы средневековый прадед
Его перегрузил воображеньем —
Вот почему фантаста лихорадит
Неизлечимым головокруженьем.

Наивный, добрый, легковерный кафр,
Малюет он абстрактные полотна
И небоскребами лихих метафор
Все пригороды заселяет плотно.

А между делом в мирозданье стройном
Он разглядел опасные пробелы,—
Затрясся ошарашенный астроном,
Остолбенел философ оробелый.

Всем репортерам измочалив нервы
Морзянкой потрясающих известий,
Двадцатый век, встречая двадцать первый,
Не тормозит и на последнем въезде.

Так не ищите же столпотворенья,
Раз выдумка сбывается любая.
Ведь и поэт в конце стихотворенья
Гнет как попадаю, время огибая.

ПРИКЛЮЧЕНИЯ ФАНТАСТА

Бледнеет память постепенно.
Мутнеет жемчуг что ни час.
Истаивает, никнет пена,
По серой отмели влачась.

Решают люди сытно кушать,
Дела вершить, впотьмах грешить,
Ужасной музыки не слушать
И прошлого не ворошить.

А под землю тихо роет
Крот безысходные ходы.
А над землю астероид,
Обломок редкостной руды,—

Еще невидимый отсюда,—
Так мал и слаб... А между тем
Всю ночь звенит в шкафах посуда,
Крошится камень толстых стен.

О нет! Не крот, не астероид —
Честнейший в мире человек
Изобретает, чертит, строит
Посланье в двадцать пятый век.

Вот он закуривает трубку
И в яркий полдень, на свету
Бросает сделанную хрупко
Модель игрушки в высоту.

Он знает — цели не достичь ей,
Но весело играть с огнем!
Есть что-то детское и птичье,
Нет человеческого в нем.

Но есть и праведная тяга
Гранить, чеканить, мять, паять.
Он не пижон и не бродяга
И вещь работает на ять.

И будет день — и брызнет снизу
Вся в пламени его душа,
И, как лунатик по карнизу,
Шагнет он вверх, едва дыша.

Оттуда не дожждаться писем.
Но на какой же он звезде?
От тяготенья независим,
Видать — нигде... Или везде!

Но, может быть, дождется правнук,
Что он воротится назад
И на земле отыщет равных,
Всю землю превративших в сад.

Пришлец из космоса наладит
Иных свершений чудеса.
И люди спросят: «Где ты, прадед,
Умища столько набрался?»

Ответ отрывист и неясен —
Все, дескать, проба, пустяки...
Пришлец туманом опоясан.
Ему потомки не близки.

Но есть в нем дерзость, как бывало,
И самообладанье в том,
Что у последнего провала
Он встанет с крепко сжатым ртом.

Узнавший ад иных галактик,
Не образумится фантаст!
Художник риска, а не практик,
Одни загадки нам задаст.

Так и не вырвавшись отсюда,
Войдет он в строй земных систем.
...Не зазвонит в шкафах посуда,
Не искрошится камень стен...



АЛЕКСАНДР КОРЕНЕВ

★

НОВОБРАНЕЦ

Шатался вчера по Москве,
Мчал в школу взлохмаченный, шалый...
Сегодня шагаю, как все,
в шинели тяжелой, шершавой.

Иду по России в строю.
Глазами, душой, не из книжек
Всю родину вижу свою,
Народ озабоченный вижу.

А в школе-то, помнится, ты,
Мальчишка по имени Сашка,
Был вовсе не богатырь,
По спорту — лишь тройка с натяжкой.

Я сено в стога не метал,
И в технике смыслил мало,
И только сейчас испытал
Весомость
и холод
металла,

Лишь в этих деталях стальных
Винтовки, что в руки мне дали.
И хуже солдат остальных
Затвор собирал я вначале.

Иду по России в строю,
Ночую в заброшенных селах.
На лица крестьянок смотрю,
На их ребятишек суровых,

На беженцев хмурый поток...
И всюду как будто впервые
Я слышу:

«Родимый...»,

«Сынок...»,

«Какие идут

молодые!..»

Везде (остановка ль, ночлег):
«Браток...»

И услышу едва ли

Теперь:
 «Молодой человек!» —
 Как в мирное время в трамвае.

Тяжел — все еще — вещмешок,
 И лезу украдкой все чаще
 В НЗ... пока не дошел
 Солдат до войны настоящей.

А на полустанках пустых
 Толпа возле кранов с водою.
 То раненых, то запасных
 Я вижу солдат с бороною.

Простужен их голос и груб.
 Навстречу помашут с площадки
 На них категорий «б-у»
 Поношенные ушанки...

У каждого дом и жена,
 Но сразу об этом не скажет.
 Порою ладонь, тяжела,
 На плечи мне запросто ляжет.

Мол, брови, парнишка, не морщь...
 И хоть это время сурово,
 Я чувствую ласку и мощь
 Большого народа родного.

Их говор, их душ теплоту
 Лишь тут я взаправду услышал,
 И сам я как будто расту,
 Сам делаюсь
 ростом
 повыше.

Их строгость и доброту
 Тут чувствую ежечасно,
 Хоть бомба ревет на лету
 И сразу становится страшно.

Впервые почувствовал здесь
 Себя я большим не на шутку,
 Среди этих сильных людей
 Во фронтовых полушубках...

Маршевая рота. 1941—1942 гг.

СЕСТРА

Она, как ты, туманна и светла.
 Она стояла около стола...
 Я за руки ее держал...
 Я стискивал
 Их судорожно. И лежал, терпя,

Как будто
 в ней
 спасение отыскивал.
Она. Была. Похожа. На тебя.

Госпиталь (а это здание школы) —
И вот
 ряды распластанных и голых
В операционной (спортивном зале),
Куда вносили новых,
 куда вползали...
И это все, ей-богу, было адом.
Работал врач. Как боль была остра!
Я не кричал, я сдерживался:
 рядом

Стояла
 милосердия сестра!
Такая хрупкая. Смотрела строго.
И снова обретал я разум свой.
И моя боль
 ей уходила
 в руки.

Так в землю
 ток
 уходит грозовой.
И, тоненькая, ночи две не спавшая,
Вся снежно-белооблачно-светла,
Таинственная,
 нежная,
 уставшая,

Стояла
 милосердия сестра...

Как все ушло!
 И мы к закату ближе,
И катится телегой бытие.
Но иногда
 прошу я, разобижен,
Чтоб ты была похожа на нее.



ВЕРА КЕТЛИНСКАЯ

★

ЗДРАВСТВУЙ, МОЛОДОСТЬ!

Роман

Поздний рассвет выбивается из тумана, будто расталкивая его локтями. И туман, только что застилавший все вокруг, нехотя отползает, съеживается, припадая к болотистой равнине, по которой идет поезд, — должно быть, и поезд, торопясь, разрезает и отгалкивает его влажную толщу. Солнца еще нет, но все полно приближением дня — в сером небе с каждой минутой нарастает жемчужное свечение, такое же дивное свечение пробегает по качающейся поверхности тумана, и он все плотнее прижимается к земле, так что из-под него постепенно выпрастываются низкорослые березки, взметнувшиеся на взгорках среди болот, потом голые ветви кустарников, а кое-где и кочки, поросшие голубикой. Жесткие листочки голубики, рыжий мох, уцелевшие на ветвях сухие листья — все сейчас жемчужно светится.

— Брр, какая безотрадная картина, — глянув в окно, говорит сосед по купе и, кинув полотенце на плечо, выходит.

Вот тебе и раз! Значит, он не увидел этого дивного свечения?..

Еще в мурманской библиотеке, читая Метерлинка, я переписала в заветную тетрадку: «Серые дни бывают только в нас самих». Сколько раз убеждалась — верно! Но тогда тем более в нас самих — свет радости, вопреки всем бедам и сложностям рождающий способность удивляться многоцветью жизни и впитывать ее прелесть?..

Из коридора доносятся последние известия, передаваемые поездной трансляцией. Беспокойный мир! — то одно, то другое, то далеко, то близко — тревоги, тревоги, тревоги... «Легкой жизни нам не обещают телеграммы утренних газет» — так писала Маргарита Алигер. Так оно и есть.

А за окном — поселки, мосты, виадуки и снова болотистые низинки со скудными кустарниками, уже последние перед городом. Вот-вот начнут двоиться, трояться, разбегаться пути, вот-вот возникнут приземистые, с глухими стенами здания складов и мастерских, водокачки, служебные домики, пустые составы на запасных путях — предвестники большой станции. Все сотни раз видано-перевидано в такой же ранний утренний час, и все же тянешься взглядом к знакомым предвестникам, и маршевая музыка, запущенная оптимистичным поездным радистом, звучит в лад настроению, и солнышко выплыло наконец из-за мглистого горизонта, подсветив жемчуг розовым и золотым. И вдруг взгляд выхватил еще далекие, неожиданные силуэты зданий — много-много силуэтов, изменивших знакомую окраину.

В №№ 3—6 «Нового мира» за 1972 год был опубликован роман В. К. Кетлинской «Вечер. Ожва. Люди». Данная работа писательницы является продолжением, первой частью книги второй.

Одинаковые по форме, обращенные то шириной фасадов, то узкой торцовой стеной к приневской равнине, подсвеченные солнцем и охваченные понизу мутной полоской тумана, они кажутся сейчас не всамделишными, не надоедливо-стандартными, а прекрасными, почти сказочными. Стоят сами по себе, а вокруг — ничего, низменность, безлюдье. Когда же они успели вырасти тут, обозначив новую границу города?

Маршевая музыка оборвалась. Щелчок — и торжественный голос:

— Граждане пассажиры, поезд прибывает в город-герой, четырежды орденоносный Ленинград!

Тоже знакомо, привычно, а каждый раз щекоток горделивого волнения. Мой город.

Вот ведь как — мой! Не в нем я родилась, не здесь начала самостоятельную жизнь, первые трудовые усилия приложила тоже не тут. Приеду в Севастополь — и такой он родной даже в своем новом облике, восставший из руин совсем иными, непохожими зданьями, разве что чертеж улиц, белый ракушечник стен да синий блеск моря, врезающегося в город просторными бухтами, — они-то не изменились, томят поисками сходства и отличий и постоянно присутствующей болью заочно пережитой трагедии... Приеду в Мурманск, под его белесое небо, в почти неузнаваемый многоэтажный город среди лило-веющих сопок, — дома! Побываю в Петрозаводске, глотну холодка разбежавшегося на вольной воле онежского ветра, похожу по наклонным, скользящим к озеру улицам — еще один дом родной. И все же... Спросят меня: откуда? — говорю: ленинградка! — и сама себя ловлю на хвастливой интонации.

Да разве я одна? Пожалуй, любой из моих сограждан гордится званием ленинградца, даже если не в этом городе родился, если только причастен...

Как оно проникает в душу, чувство причастности городу? Да у каждого по-своему, и не всегда разберешься, что и когда возникло...

Вспоминаю: первой студенческой весной, в пору экзаменов, мы вылезали из мансарды общежития на плоскую, разогретую солнцем крышу. Мальчишки из соседних комнат как по команде вылезали тоже, считалось — усиленно зубрим, но стоило кому-нибудь сказать смешное — захохочем все, легко оторвавшись от физики или сопромата, и пошло, и пошло!.. В такой веселый час, когда меня переполняла беспечная радость существования, я вдруг сама не знаю почему оторвалась от болтовни товарищей, оглядела все, что открывалось с нашего поднебесья, и внутренне ахнула, впервые увидев то, на что глядела ежедневно. Увидела город. Глаза отметили безукоризненную перспективу Литейного и плавный взлет моста, перекинутого через Неву на Выборгскую сторону, тускло-золотой шпиль Петропавловской крепости — он, как указующий перст, был нацелен на застывшее в небе белое-белое облако, — старый деревянный мост через Большую Невку (какие там шатучие, трухлявые доски!) и краешек Петроградской стороны с купами деревьев ликующе-зеленого цвета, какой бывает только весной, адмиралтейскую иглу с корабликом («...и светла адмиралтейская игла»), массивный даже издали купол Исаакия («врезан Исаакий в вышине») — и крыши, крыши, крыши... Еще я увидела то, что скрыто от глаз, — Невский, такой строгий днем и пугающе зазывный в ночных огнях, и Медного всадника, который «рукой железной Россию вздернул на дыбы», и широко распахнувшую город Неву с ее «державным теченьем», и каменный спуск со львами — под прикрытием одного из львов мы целовались с Палькой недавним пронзительно ветреным вечером, и Летний сад, куда водили гулять Евгения Онегина, и перехваченную аркой, задумчивую Зим-

нюю канавку, где погибла пушкинская Лиза, и сине-золотую Мариинку, где я успела приобщиться к оперному пиршеству голосов, и университет с длинным коридором, по которому запросто ходило столько великих людей, и Ростральные колонны (вот что такое, оказывается, ростры!), и «безлюдность низких островов»... Все слилось воедино — виденное, узнанное, пережитое и угаданное, строки любимых стихов и восторг юности. Потрясение было внезапно и коротко. Пусть через несколько минут я снова болтала и смеялась как ни в чем не бывало — в ту минуту потрясения я полюбила город сильно и навсегда.

Но поняла я это гораздо позже. Зародившееся чувство как бы поднималось по ступенькам, и с каждой ступенькой ширилось восприятие, обретало новые оттенки.

Демонстрации... Они еще не стали привычными, они несли в себе энергичнейший заряд действия — время было напряженное донельзя, гражданская война окончилась, но шла ожесточеннейшая борьба экономическая и политическая, кто кого, так определил эту борьбу Ленин; еще только восстанавливалось после страшнейшей разрухи хозяйство, а нужно было соревноваться с новой, набирающей силу нэповской буржуазией, вытеснить ее — работой вновь пущенных заводов, советским твердым рублем, первыми советскими машинами, мыслью и энергией «красных директоров» и первых специалистов советской выучки... Все это отражалось в самодельных лозунгах и плакатах. Институты рапортовали, сколько инженеров, врачей, агрономов, библиотечарей они подготовили, учителя и комсомольцы — сколько неграмотных научили грамоте, на разукрашенных грузовиках разыгрывались целые сценки — рабочий бил молотом нэпмана в котелке, толстопузого кулака и попа-пройдоху. Каждая рабочая колонна рапортовала цифрами вышущенных изделий и поднимала высоко над головами эти изделия или их макеты — огромную электрическую лампочку, макет станка, макеты дизеля, паровоза, трамвая, веер цветастых тканей, гигантскую книгу и не менее гигантский моток пряжи... Когда во главе краснопутиловской колонны прошел, чадя, первый советский трактор, сколько было радости! На сегодняшний взгляд маленький, слабосильный, даже смешной, в те дни он был общим любимцем, этот чадающий колесный тракторок «Фордзон-путиловский»!.. А когда над потоком демонстрантов проплыл во много раз увеличенный советский червонец, люди отбивали ладони, аплодируя ему, твердому, деятельному добру молодцу, пришедшему на смену обесцененным миллионам и триллионам, чтобы навести порядок в нашем очень молодом государстве. Мы, молодежь, любили демонстрации, пели так, что садился голос, и норовили, торжественно пройдя мимо трибуны, застрять где-либо поближе к ней, чтобы все увидеть, ничего не пропустить. Осознавали мы это или нет, но личное «я» растворялось в праздничном и трудовом многолюдстве, возникало «мы», то счастливое «мы», которое я впервые ощутила на мурманских субботниках, только теперь это «мы» стало громадным. И как же приятно было, что и ты так или иначе приходишь в эту громадину — какая ни есть, девчонка, неумеца, а тоже приходишь!..

Припоминаю — наравне с этими большими впечатлениями запал в душу один разговор с Андрей Андреичем... Работала я тогда на шпигатной фабрике. Рядом с нашим отделом, где верещали прядильные автоматы и работающие на них девушки, помещался почти кустарный отдел полуавтоматов — прядильщик сучил пеньковую ленту вручную, станок только скручивал шпигат и наматывал его на катушку. Работали там одни мужчины, в основном пришедшие из деревни. Мы их боялись — от деревни отошли, в городе набрались озор-

ства. Исключением был Андрей Андреич — он работал на фабрике давно, старые работницы рассказывали, что раньше он умел только расписаться да подсчитать выработку, зато в ликбезе учился охотней всех, быстро пристрастился к чтению и в библиотеке уже много лет числился лучшим читателем. К нам, девчонкам, он относился добродушно-покровительственно, рукам и языку воли не давал и товарищей своих удерживал. Я любила поговорить с Андрей Андреичем, если выдавались свободные минуты, всегда — в дверях, «на границе» между нашими отделами. Однажды пожаловалась: проклятая пенька, пыль забивается и в нос, и в рот, и даже под косынку. Андрей Андреич согласился: «Верно, пылища», но, поразмыслив, добавил:

— Хорошего в ней мало, конечно, так ведь на свете много таких работ, когда пыль, или жара, или сквозняк, есть и опасные работы, но кто-то же должен их делать? А без шпагата, между прочим, не обойтись. Не знаю, сколько ты успела наработать, а моим шпагатом можно весь земной шар опоясать.

— Ну уж...

— Грамотная? Сосчитай. И свою выработку прикинь.

С подсчетами у меня не вышло — делила, множила, складывала, пока не запуталась совсем... Да и что мои пустяковые километры шпагата в сравнении с длиной экватора! И зачем мне опоясывать земной шар? Все равно на пеньковой веревочке никуда его не потащишь. Все же с тех пор я время от времени прикидывала, сколько еще намотала шпагата, ближе ли к заданным сорока с гаком тысячам километров. Именно там, на пыльной шпагатной, пришло ко мне ощущение причастности к общему труду: пусть мы не выпускаем турбины, как ребята с Металлического, или текстильные машины, как ребята с завода Карла Маркса, или электрические лампочки, как светлановские девчата, — без нашего шпагата тоже не обойдешься!

Несколькими годами позже начались поездки по стране... Ах, эти журналистские скитания налегке, когда ежедневно возникают новые приманки и новые проблемы, и чем больше удается увидеть и узнать, тем тебе ясней, что видела мало и ничего толком не знаешь!.. На самых завлекательных маршрутах, как правило, не бывает экспрессов, гостиниц и асфальтовых шоссе. Мечта журналиста — попутный грузовичок, который и по проселку проедет, и по жердевке прогремит, и из непролазной грязи выкарабкается. Наголодаешься и намерзнешься, не раз промокнешь до нитки, стопчешь до дыр подметки, до боли натрудишь мускулы, толкая застрявшую машину, а ходишь довольная, усталости не даешь ходу, до всего тебе дело и повсюду ты — своя. В таких поездках срок командировки всегда короче чем нужно, денег в общелк, в домах для приезжающих нет ни одной свободной койки, а в столовую прибегаешь, когда в меню остались одни биточки — вездесущий вариант хлебобулочных изделий. Все это не беда, выручка неизменно находится: вчерашние незнакомцы уже друзья, и ночлег устроят, и обсушат, и накормят, и подвезут куда нужно, а уж порасскажут — только научись отделять байки от правды.

В таких вот скитаниях по далеким краям я и ощутила по-новому Ленинград. Попадешь к геологам, после начального знакомства обязательно услышишь вопрос: «Ну как там у нас?» — экспедиция-то, оказывается, ленинградская! Побываешь у корабелов — тут, само собой, ленинградцев полно, морской город! Залюбуешься на стройке мощными кранами — а они с нашего завода имени Кирова; забереешься на верхотуру к монтажникам — ленинградские, кочующие с одной стройки на другую, неунывающие парни... Знакомишься с проектом гидростанции — в Ленгидэпе разработан; рассматриваешь ма-

кет будущего города — ленинградские архитекторы... Даже в нанайских и гиляцких стойбищах повстречаешь земляков и землячек — врачуют и учительствуют, а местные организаторы чаще всего учились в Ленинграде на факультете народов Севера... Это теперь, когда (не без ленинградской помощи) выросли во всех областях страны тысячи новых заводов и десятки вузов, творческая роль нашего города не так бросается в глаза, а в годы первых пятилеток куда ни приедешь — повсюду видишь воплощение знакомых слов: Ленинград — кузница новой техники, кузница кадров. Ну и гордишься и радуешься.

В 1941 черном году все оказалось под угрозой.

Город наш, как обостренно воспринимали мы тебя в дни нараставших бедствий, как глубоко осознали все, связанное с твоим великим именем! Ведь в первых же фашистских листовках, сыпавшихся вместе с бомбами с недоброго неба, наш город именовался Петербургом. Самую память о Ленине, об Октябре, о революционной и созидательной роли Ленинграда хотел Гитлер стереть с лица земли. О, он знал, на что замахнулся! Но и мы знали, что защищаем. И думали — легче умереть, но не сдать и не отдать. Я говорю — «мы», иначе и не сказать, в тех противоестественных для человека, немислимых условиях только «мы» и существовало. Отдельные люди падали замертво — от бомб, от снарядов, от голода. Мы все вместе — боролись и выстояли. Так было... Но как сказать об этом немислимом сегодняшними словами? Как передать правду тогдашних чувств в их неистовом накале, в их простой, солдатской самоотрешенности... и чтоб сегодня — даже самой! — не показалось выпревшим, или сентиментальным, или плакатным?.. И если мои читатели — те, что не пережили девятисотдневную осаду, а может, еще и не жили на свете, — если они захотят поверить мне, ну, хотя бы из уважения, то смогут ли умом и сердцем понять, что мы бывали тогда и счастливыми? Среди тысячи бед, без хлеба, без тепла, без воды и света — счастливыми ощущением полной самоотдачи, предельного использования всех своих способностей и сил?! «Я могу!» А ведь до смерти не было и четырех шагов, достаточно было остановиться, опустить руки, сказать себе: больше не могу...

Однажды, сидя с Ольгой Берггольц у топящейся времянки, со вздохом разрывая книги и подкидывая в нестойкий огонь их глянцевиные листы, я сказала, стыдясь неуместного слова, что иногда вопреки всему чувствую себя счастливой.

— И ты тоже! — воскликнула Ольга и тихо засмеялась. — А ведь если кому-нибудь сказать, решат, что мы с голодухи сошли с ума.

Но она все-таки сказала об этом в стихах — «такими мы счастливыми бывали...», «о да, мы счастье страшное открыли...». Ее негромкий голос был голосом осажденных ленинградцев, и мы — стиснувшие зубы, чтоб выдержать испытание до конца, — мы узнавали себя в ее простых словах: «Ведь это мы, крещенные блокадой! Нас вместе называют — Ленинград, и шар земной гордится Ленинградом».

Но в том далеком году, когда я приехала в этот город учиться, я и подозревать не могла, чем он станет в моей судьбе. Протопап через гульки замусоренные вокзальные переходы и залы, я вышла на ту же самую площадь Восстания, куда выхожу и теперь, подкинула на плече чемодан и портплед, стянутые ремешком, и остановилась, чтобы осмотреться и отдышаться. Тогда еще не было ни раскинувшейся на квартал «Октябрьской» гостиницы напротив вокзала, ни круглого здания метро, площадь замыкали старые, довольно-таки об-

шарпанные дома. Вдоль тротуаров в ряд стояли извозчицы пролетки, толстые извозчики, перепоясанные красными кушаками, назойливо зазывали седоков и переругивались между собой, у некоторых из них на головах было нечто вроде цилиндров. Посреди площади возвышался памятник царю Александру III — грузная фигура с короткой шеей и лицом тупого жандарма восседала на не менее грузном бигуде (эта конная статуя работы Трубецкого обладала таким обличительным, сатирическим смыслом, что было удивительно, как его не уловили царские сановники; сделанная Демьяном Бедным после революции надпись на постаменте: «...торчу здесь пугалом чугуном для страны, навеки сбросившей ярмо самодержавья» — не меняла, а только подчеркивала заложенную в скульптуре идею). Огибая с двух сторон Пугало, со звоном и скрежетом проходили трамваи — с Невского на Старо-Невский и обратно, некоторые были так переполнены, что люди висели на подножках, а позади вагонов катили мальчишки, пристроившись на «колбасе». Тяжело докая копытами по камням мостовой, тянули нагруженные телеги и платформы здоровенные ломовые коняги, похожие на своего чугунного собрата. По всем направлениям сновали торопливые прохожие, уворачиваясь от столкновения с приезжими, с их корзинами и узлами. Тут же крутились беспризорники, поглядывая, где что плохо лежит и кто, на свою беду, зазевался...

Дождя не было, но воздух был сырой, я подставила ему разгоряченное лицо, и он мигом смыл с него вагонную одури. Коротко взглянула налево — там уходила вдаль двухкилометровая перспектива Невского: хорош! — но это успеется, еще исхожу его из конца в конец. Пока что нужно добраться до общежития Карельского студенческого землячества, на угол Литейного и Кировной, для чего сесть в трамвай № 19. А он как раз и вывернул из-за углового дома и остановился по ту сторону Пугала. Ой, поспеть бы! Я припустила напрямик через площадь, чуть не попала под ломовика, проскочила перед носом трамвая — испуганный вагоновожатый оглушил меня трезвоном и бросил вслед крепкое словцо. Опомившись под защитой Пугала, я увидела, что мой № 19 трогается, в два прыжка догнала его и сумела вскочить на подножку задней площадки. Вскочить-то вскочила, но, как оказалось, с недозволенной стороны, путь преграждала железная решетка. Я вцепилась в решетку, с ужасом чувствуя, что трамвай набирает скорость, скорость норовит столкнуть меня вместе с оттягивающим назад портпледом и эта сила сильнее моих немеющих рук, а внизу — колеса...

— Из деревни, что ли? Тетеря!

— Вот уж дура так дура, жить ей надоело!

— Понаехало провинциалов, трамвая не выдали!

Под такие обидные рассуждения какие-то доброты ухватили меня за шиворот, пока один из них возился с затвором решетки, затем меня втянули на площадку и приставили к стенке вагона. Отходя от пережитого ужаса и стараясь унять мелкую дрожь в коленях, я виновато улыбалась и говорила спасибо, ничуть не обижаясь на брань, смешанную с нравоучениями. Проехали совсем недолго, а меня уже подталкивали к выходу: «Проедешь, растяпа, вот твой Литейный, угол Кировной!» — затем меня обругали входящие в трамвай: «Куда прешь, дай людям войти, деревня!» — и наконец я на Литейном, у дома № 16...

Вхожу во двор, поднимаюсь по крутой лестнице на самый-самый верх, долго звоню у заветной двери, но звонка не слышу, наверное, он испорчен, начинаю стучать — сперва робко, потом что есть силы, но и на стук никто не откликается. Отчаявшись, дергаю

дверную ручку — дверь не заперта, за нею пустая передняя с веником в углу и длинный коридор...

Бочком протискиваю в дверной проем свою поклажу и решительно переступаю порог — прямо в неведомую студенческую жизнь.

Часть первая

ПОРА СТУДЕНЧЕСКАЯ

Она была коротка, моя студенческая жизнь, гораздо короче, чем полагается. Перебираю свои «рассыпушки» о той поре, серьезные и забавные, — да, тут действительно все врассыпную, связанного повествования из них не сложишь. Да и нужно ли? Ведь и в моей душевной жизни это была пора некоторого разброда, метаний, невнятицы. Пусть же остается клочковатым и мой рассказ. Так же, как в первой книге, здесь все правда, никаких выдумок, только кое-что дописываю да заменяю некоторые имена, поскольку не знаю, где сейчас тот или иной человек, и если жив-здоров, не рассердится ли, что пишу о нем без разрешения, да еще о делах молодости, ведь может случиться, что он теперь солидный профессор, требующий от студентов посещаемости-успеваемости, а студенты прочитают и скажут: «А сами-то, профессор, вместо лекций с девушкой сирень воровали» — или никакой не профессор, просто уважаемый человек пенсионного возраста, склонный поучать внуков, а внуки прочитают и посмеются: «Дед, а дед, ты-то, оказывается, был шалопаи из шалопаев, а на нас ворчишь...»

С такими поправками — вот они, мои «рассыпушки» студенческие.

ВНЕШКОЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ

Студентка я была липовая — меня приняли на подготовительное отделение как «лицо, не имеющее среднего образования». Если говорить откровенно, у меня не было и низшего, четырехклассного, так вышло, что севастопольский экзамен экстерном за «старший приготовительный» оказался единственным школьным экзаменом в моей жизни.

В те годы начального советского строительства при высших учебных заведениях появились своеобразные, революцией рожденные факультеты — рабфаки. Факультеты для подготовки в вуз рабочих, крестьян, красноармейцев. Такова была неотложная потребность страны — как можно скорей подготовить своих, преданных революции специалистов. И такова была насущная потребность победившего народа — открыть быстрее доступ к высшему образованию своей молодежи, отвоевавшей, наработавшейся, наголодавшей, выросшей в лишениях, но жаждущей знаний и мечтающей применить их для созидания новой жизни. Этим молодым людям предстояло в три-четыре года изучить то, что школьники изучают десять лет, а потом еще четыре, а то и пять лет проучиться в институте... Трудно? Очень трудно. Далеко не все это напряжение выдерживали. Но иного решения не было.

Наше подготовительное отделение отличалось от рабфака тем, что программу средней школы надо было пройти и сдать за год, предполагалось, что сюда будут поступать практики культурно-просветительной работы — библиотекари, избачи, клубные активисты, организаторы самодеятельности, то есть люди, во всяком случае, гра-

мотные, окончившие если не все девять, то хотя бы семь классов школы.

Внешкольный институт был, вероятно, самым молодым вузом страны, его задачи определялись довольно расплывчато — подготовка культпросветработников. Ни опыта, ни традиций, ни установившихся программ в институте не было и быть не могло. Шли поиски, нащупывались методы, и все, конечно, проверялось на студентах (учебные эксперименты не проведешь на мышах и кроликах!); удача или неудача — все отражалось на будущем специалисте. Плохо он подготовлен или хорошо, хвалят ли его или ругают — он подопытный кролик и на его опыте шлифуется программа и методика институтского обучения ради новых поколений студентов. Когда сегодня я прохожу мимо Института культуры имени Крупской, расположенного в здании, выходящем на Марсово поле и на набережную Невы возле Кировского моста, и вижу толпы студентов, входящих в него и выходящих, я мысленно кланяюсь почтенному институту, выросшему из нашего Внешкольного, где я недолго пробыла в качестве подопытной зверушки.

Поначалу институт помещался на Надеждинской (ныне улица Маяковского), в доме, принадлежавшем до революции спортивному обществу «Сокол»; дом был для института тесен, а спортивный зал на зиму закрывался — не протопить. Подготовительное отделение не было ничем отделено от основных курсов, аудитории менялись — приходя в институт, нужно было поглядеть на доску объявлений, где твоя группа сегодня занимается. И никто не мешал пойти не в свою группу, а пробиться в самую большую аудиторию, где читает литературу для старших курсов профессор Кошкин: он владел даром слова, рассказывал много интересного, к тому же был красив — студенток набивалось столько, что сидели по двое на одном стуле.

Поступали мы с Палькой Соколовым одновременно, по путевкам комсомола. Палька поступил на рабфак (если не ошибаюсь, Технологического института), я — на подготовительное Внешкольного. Поступив, ненадолго возвращались домой в Петрозаводск вместе, почти всю ночь простояли на площадке вагона, целовались, репали пожениться в год окончания институтов и мечтали, мечтали... Как мне рисовалось ближайшее будущее? Вхожу в свой институт, в светлый Храм Науки, — и самые светлые, необычайно интересные и важные знания так и сыплются в мою шестнадцатилетнюю голову, а в другом институте так же насыщается знаниями Палькина умная, но упрямая голова; все остальное время мы — вместе, и весь Питер — наш, для нас, и мы не устаем познавать его улицы и площади, его музеи, его театры... Все время — вместе? Ну, не совсем, я знала, что Палька будет жить не в общежитии, как я, а с мамой и сестренкой где-то на Разъезжей, возле Пяти Углов. Но не так уж это далеко, говорил Палька, да и что значит расстояние, если двое людей хотят видеть друг друга?!

Все вышло по-иному. И прежде всего не было Храма Науки. На подготовительном нужно было зубрить те же школьные начала физики, математики, химии и биологии, даже, несмотря на нашу зрелость, по тем же школьным учебникам! Учитель математики Дерябкин задавал нам на дом из задачника Малинина и Буренина, памятного мне по детским годам, те же унылые задачи про бассейны с трубами, про поезда и пешеходов, вышедших в разное время навстречу друг другу, и даже про купца, отмерявшего покупателям сукно... Своих лабораторий во Внешкольном не было, поэтому иногда мы занимались в Герценовском педагогическом; мне очень нравились занятия по биологии — мы резали и рассматривали под микроскопом ткани

лягушки или наблюдали, как мельтешат бактерии в капле воды. Интересны были и физические опыты (те, что неизменно не получались у мамы, когда она бралась учить нас!), но опытов бывало немного, Герценовский тоже не мог постоянно нас пускать.

На мое счастье, я с детства обладала хорошей грамотностью, видимо естественно усвоенной в процессе чтения. Художественную литературу я знала в гораздо большем объеме, чем того требовала программа, и любила ее, хотя вряд ли сумела бы написать сочинение на тему «Женские образы Тургенева» или «Черты героя нашего времени по Лермонтову». Историю я знала бессистемно, по романам и отдельным, попавшим под руку научным книжкам, но программа подготовительного отделения давала исторические знания в таком ничтожном объеме, что восполнить пробелы не составляло никакого труда, так что по истории, так же как по литературе и «письменному русскому», занятия можно было пропускать. Впрочем, старательность новичка у меня перед глазами: политехники и путейцы иногда по нескольку дней не ездили в свои институты и даже за высшую математику хватались под конец семестра, когда экзамен был уже на носу. Это я наблюдала, а вот качества их торопливо схваченных знаний проверить не могла, да и не задумывалась над подобными проблемами; все студенты были старше меня, а потому казались и умней и образованней.

Храм Науки, сиявший издали, оказался обыкновенной школой, к тому же плохо организованной. Состав «подготовишек», как нас прозвали студенты, был весьма пестрый и разновозрастный, моих ровесников или ребят такого же комсомольского опыта не нашлось; подружилась я только с казачкой Любой, хотя и она была старше меня. А началась дружба вот с чего. Надо сказать, что институтские парни — и наши и студенты основных курсов — довольно настойчиво приставали к девушкам и нередко прибегали к «идейным» попрекам:

— Мещанство! Ждешь, пока маменька замуж просватает? А еще комсомолка!

Ничего подобного я не встречала ни в Мурманске, ни в Петро-заводске, меня это озадачивало и сердило. К Любе приставали особенно назойливо: красивая, статная, чернобровая, с ярким румянцем на смуглых щеках — настоящая казачка из песни! Люба не сердилась, когда к ней приставали, а лениво отмахивалась:

— Давай отваливай! У меня знаешь какой муж? Комиссаром был, чуть что — за пистолет хватается.

Однажды Люба спросила, нельзя ли ей переночевать у меня, «а то в общежитии удивляются, почему я никогда у мужа не но-чую».

— А что, в академии нельзя?

Ее муж, курсант военной академии, иногда заходил в наш институт и окидывал Любиных поклонников таким жгучим взглядом, что их будто ветром сдувало.

— Да никакой он не муж, — с улыбкой призналась Люба, — наш станичный парень. Зову, чтоб ребят поугаать.

— А кто же твой муж?

— Да нема его,— рассмеялась Люба,— придумала, чтоб не лезли. А тебя как-то встречал такой быстроглазый, это кто?

Краснея, я сказала, что товарищ... друг... кончим институты — поженемся. Люба присвистнула:

— Когда кончите? Ну-ну...— И посоветовала: — А нашим скажи — муж. И очень ревнивый.

Я сказала. Помогло.

С Любой мы сидели рядом на занятиях, вместе убежали на лекции профессора Кожского или прочь из института побродить по городу. Но Люба жила в институтском общежитии, в комнате с тремя такими же «подготовишками», одна из них была нашей старостой и требовала, чтобы «вся комната» исправно готовила уроки. Меня подтягивать было некому.

Скажу сразу — испытание самостоятельностью я не выдержала. К весне, когда подошли выпускные экзамены, у меня образовался, как говорят студенты, «сплошной завал», пришлось зубрить ночи напролет, и все равно не успеть было, так как выяснилось, что даже по литературе и истории без подготовки идти на экзамен нельзя — кое-что нужно повторить, а историческую хронологию учить заново, она вылетела из головы начисто. На «русский письменный» я пошла спокойно и без ошибок написала довольно заковыристый диктант, но потом меня начали спрашивать правила, чего я не ожидала, правил я не знала совсем и с трудом избежала «неуда». Биологию я готовила охотно, хотя помогал мне готовиться очень симпатичный студент с университетского биофака, изрядно меня отвлекавший. Все же сдала на «отлично» и добрую память о генах и передаче наследственных признаков пронесла незамутненной через годы, когда генетику отрицали и изгоняли.

Впереди оставались наиболее страшные экзамены — физика, химия и математика. Их нужно было учить всерьез, решая множество задач, не сделанных в году. И в это же время в разных институтах начались весенние балы, меня приглашали... ну как пропустить такое удовольствие?! И в это же время в нашем общежитии открылась запись на билеты: предполагалось коллективно взять все дешевые места на пароход, идущий по маршруту Нева — Ладога — Свирь — Онежское озеро — Петрозаводск! Три дня на воде, да еще в компании друзей — как отказаться?!

Я принимала приглашения на балы и условно записалась на пароход, а пока зубрила химию. Было известно, что «подготовишкам» разрешается оставить на осень два экзамена, но не больше, тогда переведут на первый курс, выплатят стипендию за каникулы, а осенью за сентябрь, если в течение этого месяца сдашь хвосты. Великолпно! Я оставляю только один хвост — математику. Физику и химию надо успеть...

Как ни странно, я учила химию по толстому университетскому курсу Реформатского. Почему? Во-первых, мне не удалось ухватить в библиотеке тонкую школьную книжицу Григорьева, а во-вторых — из пижонства перед студентами-химиками. Они удивлялись:

— Однако требования у вас!

— А вы думали? Конечно!

До сих пор не понимаю, как я сумела за несколько дней уложить в голове все эти формулы и реакции, но когда я шла на экзамен, я — честное слово! — отлично знала весь том Реформатского (впрочем, такую нервную, психологическую и интеллектуальную загадку представляют многие тысячи студентов, сдающие огромный материал без запинки, а назавтра забывающие его так же, как за-

была я,— во всяком случае, мой младший сын, химик, не без оснований считает меня абсолютной невеждой по части химии).

Экзамен мы сдавали всей группой, по очереди. Я вызвалась одной из первых и очень хотела понравиться экзаменатору, потому что наш преподаватель физики заболел и химик по совместительству принимал и физику. Не помню, сложны ли были вопросы или мне повезло на легкие, но отвечала я бойко, пространней, чем требовалось (ведь не по Григорьеву учила!). Химик кивал, довольный.

— Прекрасно,— сказал он,— вы вообще так хорошо учитесь или только по химии?

И тут вся группа, подыгрывая мне, зашумела:

— О-о, она вообще! Она у нас! Она всегда!

Записывая в мою зачетку жирное «отлично», химик просмотрел остальные отметки:

— А почему не сдали физику?

— Физику я приду сдавать вам во вторник,— твердо сказала я, хотя до того рассчитывала сдавать не через три дня, а через неделю.

— Физикой вы занимаетесь так же успешно, как химией?

И снова подыграли мне товарищи:

— О-о! Она у нас! Физику особенно!

— Ну что ж,— сказал химик и не менее жирно записал «отлично» в соседней клеточке,— чтоб вам не трудиться ходить еще раз... Желаю вам хорошо отдохнуть на каникулах.

— И вам тоже! — вскакивая, воскликнула я и помчалась домой брать билет на пароход, потому что теперь-то я успевала наверняка. Никаких угрызений совести я не чувствовала.

На следующее утро в самом радужном настроении я пришла в институт оформлять документы и получать стипендию. И вдруг...

Свеженькое объявление на стене гласило, что закончившие подготовительное отделение переводятся на первый курс и получают стипендию за время каникул только в том случае, если сдали экзамены по всем основным предметам; для ясности основные предметы были перечислены, математика, конечно, в этот список входила, а вот химия нет...

Все мои попытки договориться с начальством ни к чему не привели. Меня похвалили за то, что я сдала все экзамены, кроме одного, и сообщили, что преподаватель математики Дерябкин приедет из отпуска через десять дней, чтобы принять экзамены от опоздавших, «как раз успеете подготовиться и будете отдыхать со спокойной душой».

А пароход, на котором уплывает почти все наше землячество через три дня? А то, что за десять дней в одиночку мне никак не осилить арифметику с ее бассейнами и поездками, алгебру и геометрию, которых я почти совсем не знаю?!

Не помню, как я сумела узнать дачный адрес Дерябкина, но я его узнала. Дерябкин жил в Лесном, за парком Лесного института. На что я надеялась? Сама точно не зная на что, я отправилась в Лесное. Было у меня всего пятнадцать копеек, так как я твердо рассчитывала получить сегодня стипендию и вчера мы с Лелей, моей подружкой, малость кутнули, купив на ужин полфунта колбасы. Чтобы проехать главную часть длинного пути на трамвае, нужно было идти пешком на Выборгскую сторону, к Финляндскому вокзалу,— оттуда начиналась семикопеечная «станция», кончавшаяся на 2-м Муринском, а там при удаче можно было не покупать билет на следующую «станцию», а проехать зайцем еще одну, две, а то и три остановки, пока кондукторша не заметит твоих уловок. Были кондукторши, которые жалели студентов и делали вид, что не замечают зай-

цев, но были и такие крокодилы, что заранее приглядывались, у кого куплены билеты до 2-го Муринского, и стоило трамваю тронуться в дальнейший путь, поднимали скандал, останавливали вагон и высаживали зайцев, да еще с криком вдогонку. Мне попалась такая крокодилица, что я еле унесла ноги.

От 2-го Муринского долго шла пешком, в Лесном долго искала малоизвестную окраинную улочку, а на ней дачку, где жил Дерябкин. Полуденное июньское солнце, безветрие, зной...

— На рыбалку ушел,— сказала пожилая женщина, выглянув в окно дачки.

На моем истомленном лице выразилось, наверно, такое огорчение, что женщина подобрела:

— Из города пришли? Посидите в саду, он должен скоро вернуться.

Я села на ступеньку веранды, блаженно вытянула усталые ноги, оперлась спиной о столбики перил... и проснулась, когда надо мною раздался веселый голос:

— А это что за спящая нимфа?

Не могу сказать, чтобы я хорошо знала в лицо преподавателя математики, у которого должна была заниматься весь учебный год по три раза в неделю... но это был несомненно он, только посвежевший, как бы разглаженный, в холстинковых штанах, в белой панамке набекрень и с ведром, где плескалось несколько пескарей, а может, и не пескарей, а каких-то иных рыбешек. Рядом с ним стоял мальчишка лет двенадцати с удочками на плече — сын или внук?

Представилась я не очень вразумительно, так как сама неясно понимала, зачем пришла.

— Так-с. Вовремя не сдали, а ждать недосуг,— по-своему понял меня Дерябкин,— ну, посидите немного, я переоденусь.

Он был в благодушном настроении, до меня донеслась его болтовня о рыбалке, видимо с женой, из комнаты в кухню. Вероятно, он экзаменовал бы предельно снисходительно. Но я не могла соответствовать и наиболее снисходительным требованиям!

И вот страшная минута наступила. Дерябкин вышел на веранду уже без панамки, в пиджачке, но в тех же холстинковых штанах и сандалиях на босу ногу. Сел, позвал меня и сказал:

— Ну-с, что будем предпринимать?

Запинаясь, краснея, сама пугаясь того, что говорю, я призналась, что ничего не знаю, что новое объявление застигло меня врасплох, что у меня на руках билет, а денег восемь копеек, что я буду заниматься математикой все лето, и если он мне поверит и поставит зачет, я даю честное слово, что осенью...

— А не обманете? — не удивившись моей просьбе, спросил он и начал разглядывать мою зачетку.

Я поклялась, что не обману. Осенью, сразу после начала занятий, сама разыщу его и сдам экзамен.

— Ну смотрите! Записываю вашу фамилию.

Я была искренно убеждена, что буду все лето заниматься математикой и осенью честно сдать ее. Если бы кто-то заподозрил меня в том, что я злоупотребляю доверчивостью милого Дерябкина, я бы возмутилась. И в то же время какой-то второй, паршивый человек внутри меня с недоброй наблюдательностью проследил, что фамилия записана на обложке школьной тетради, валявшейся на столе веранды... что тетрадка снова легла на стол... а в зачетке появилась спокойная оценка «хорошо» и подпись с росчерком...

Когда я легкими ногами бежала на 2-й Муринский, чтобы там сесть в трамвай, паршивый человек молчал (он вообще замолчал

надолго). Я строила планы: уеду к Илье и Тамаре, они из идейных соображений учительствуют в глухой деревне, там, вдали от соблазнов, буду ежедневно заниматься и в сентябре поражу Дерябкина превосходными знаниями. Да и на самом деле математика нужна, знать математику необходимо, для самой себя учить буду — так я себе внушала.

Когда я приехала спустя две недели в село Тивдию к молодым супругам, я застала их в такой ссоре, что три дня выясняла их отношения. Илька оказался сумасшедше ревнивым человеком и сходил с ума каждый раз, когда Тамара с кем-либо из тивдийских мужчин беседовала, хотя бы и по школьным делам. Ильку я кое-как усовестила, мы отпраздновали примирение, а на следующее утро я попробовала заговорить о том, что мне нужно заниматься, нельзя ли попросить школьного учителя математики... Тамара сделала страшные глаза и толкнула меня коленом под столом, я смолкла на полуслове. На мою беду, из-за учителя математики ссора и разразилась! Просить его о чем бы то ни было? — нет, ради бога, бормотала сестра, Илька решит, что это предлог, и все начнется сначала!..

Вопрос о занятиях повис в воздухе, зато выяснилось, что в Тивдии нет комсомольской организации, я не могла с этим примириться, обегала всю молодежь — и организацию мы создали, а потом затеяли вечер с инсценировкой и концертом, потом еще что-то... И тут совсем неожиданно приехал Палька Соколов...

Я и не заметила, как подошел срок возвращения в институт.

Не буду скрывать — я подло бегала от Дерябкина, если видела его в институтском коридоре или на лестнице. И где-то в глубине души радовалась, что он наверняка забыл меня и, уж во всяком случае, забыл мою фамилию, а та тетрадка давно потеряна...

Спустя года четыре я твердо решила восполнить недопустимый пробел в моем образовании. Друзья нашли студента-математика, который согласился со мною заниматься. Думая, что я готовлюсь поступать в институт, он учил меня умело и требовательно. Но когда я призналась, что никуда не поступаю, а просто хочу знать, он восхитился и оставшуюся часть урока посвятил восхвалениям, что доставило мне удовольствие. Во время следующего урока он снова восхищался больше, чем учил, что стало однообразным, а затем стал восхищаться так много и часто, что пришлось прекратить занятия. На второй заход моей решимости уже не хватило.

Больше полувека прошло — и какого! — а мне до сих пор мучительно стыдно, стоит вспомнить милого Дерябкина в панамке набекрень, школьную тетрадку с моей фамилией на обложке и мои искренние обещания...

ЛИТЕЙНЫЙ, 16

Нет местожительства более затягивающего, чем студенческое общежитие, тут создается обособленный круг интересов и отношений со своим кодексом чести, своими бытовыми устоями и требованиями и, конечно, складывается стиль учебный, иногда трудолюбивый, и тогда он подтягивает даже лентяев, иногда «не очень», и тогда с неустойчивыми душами происходит то, что произошло на первом году со мною, хотя были и совсем иные предпосылки.

Меня подселили к студентке-медичке старшего курса. В темном платье, с гладко зачесанными и стянутыми в узел темными волосами, не улыбкавая, с негромким голосом, она меня немного испугала — тургеневская девушка? монашка?.. Будущий врач — это ей подходит (она и в самом деле всю жизнь врачевала детей, когда я о ней

услышала спустя много лет, она руководила детской больницей). С юности очень серьезная, Люда приняла мое вселение с нескрываемой досадой.

— Ты же обещал! — упрекнула она старосту, который меня привел.

— Обещал, а что делать? В мужских комнатах еще есть места, а в девичьих ни одного. Куда ж мне девать ее?

— Может, переселить ко мне кого-либо из старшекурсниц? — сказала Люда, оглядев меня. — Сам видишь...

— Так ведь все утряслись уже!

Тогда Люда впервые обратилась ко мне:

— Ну, будем знакомиться. Вы не обижайтесь. Я кончаю институт, очень много занимаюсь, хотела дожить тут одна. Как вас зовут? Вера? Что ж, Верочка, постараемся не мешать друг другу.

Люда оказалась очень славным человеком, но дружбы между нами, конечно, быть не могло — уж очень мы отличались и по возрасту и по развитию. Люда так усидчиво изучала свои толстые мудреные книги, распухшие от закладок, что я старалась поменьше торчать в комнате, боялась дотронуться до книг и только в отсутствие Люды позволяла себе осторожно полистать анатомический атлас.

Наша комнатка выходила единственным низким окошком на крышу дворового флигеля. Потолок у нас был скошен, в дымоход выведена труба от железной печки-буржуйки, которую и отапливалась комната, — кафельная печь поглощала слишком много дров. По утрам Люда вставала рано, растапливала печурку, ставила чайник и еще успевала позаниматься до торопливого завтрака и ухода в институт. Я же потягивалась в постели и вставала уже после ее ухода, так как до Внешкольного добегала минут за пять. Зато вечером к приходу Люды печку протапливала я, я же готовила чай, и мы чаевничали вместе, понемногу узнавая друг друга в неспешных вечерних беседах. Раз в неделю устраивали «баню» — нагревали в кухне воду и затем у себя в комнате над тазом мылись с головы до ног, натирая друг друга мочалкой.

Обычно же я видела Люду в одной и той же позиции — спиной ко мне, лицом к окну за нашим единственным столом; рука подпирает щеку, на столе раскрытая книга и вокруг книги, книги, книги, все медицинские. От пользования столом я откасалась сразу, мои немудрящие учебники помещались на тумбочке у кровати, но я предпочитала не заниматься у себя, а шла в одну из девичьих комнат, а то и к мальчикам и почти всегда находила там дело более интересное, чем собственное ученье. Так уж создана студенческая душа — привлекательно не то, что нужно сделать самому, а то, что нужно другому.

Студенты технических вузов постоянно стонали: «Заваливаюсь с чертежами!», «С черчением труба!» А мне чертить нравилось. У политехников и технологов чертежи были непонятные и сложные — какие-то детали машин, сечения, разрезы... Но зачем мне понимать их? Автор чертежа все рассчитает и разметит в карандаше, а я веду по карандашу тушью, потом подчищаю резинкой и бритвой. Мальчишки хвалили меня за аккуратность, хотя главным, конечно, было то, что при добровольной помощнице чертить не так скучно. Сколько я их вычертила тушью, этих чертежей! Но особенно я любила помогать лесникам. План местности — почти поэма! Нежнейшей голубой акварелью заливаешь ленту реки со всеми ее поворотами, расширениями и сужениями. желтой краской обозначаешь пески, зеленой — леса и совсем темной кончиком почти сухой кисточки носишь по всей площади леса елочки — такие, как рисуют дети. Для

лугов шел зеленый посветлей, для болот к зеленой краске добавлялась синяя, в смеси получалась размытая голубовато-зеленая плоскость и по ней синие штришки. Делаешь, а сама чуть ли не видишь эту местность с рекой, песчаными излучинами, заречным лесом и болотцем в низинке, чуть ли не слышишь, как там птицы щебечут!.. Привлекали меня и сами лесники — Шурка и Лис.

Длиннорукий и длинноногий Лис был человеком добрейшим и обстоятельным, именно он поддерживал чистоту в их комнате, кое-как сводил концы с концами в общем хозяйстве и умудрялся быть гостеприимным — угостит чаем, да еще и вытащит из какого-то тайника леденец или кусочек сахара. Он же заботился об учебе — своей и Шуркиной. На Лиса достаточно было поглядеть, чтобы раз и навсегда понять — симпатичнейший парень, положительная личность, чего никак нельзя было сказать про его товарища, явного шалопаю и бездельника, главного сердцееда нашего землячества. Хотя Шурка не был красавцем, но он как-то умел подать себя — игрой глаз, улыбочками, многозначительными полуобъяснениями, отработанной повадкой. Студенческая зеленая тужурка красила его и придавала изящество его невысокой и несколько тщедушной фигурке. Учился он без охоты, «сидеть в лесу» после окончания института не собирался, но диплом специалиста получить хотел, — как говорили, прочные семейные связи заранее обеспечивали ему хорошее место в лесном ведомстве... Карьера? Мы презирали это понятие, но в данном случае оно всплыло в памяти, так как о работе Шурка явно не мечтал, а из наук интересовался лишь одной — «наукой страсти нежной». Да и то чтобы весело, без душевных потрясений.

Что меня прельстило в этом новом для меня и не вызывающем уважения шалопае — сама новизна типа? Или прорвалось сквозь слишком раннюю серьезность собственное легкомыслие? Или душа требовала передышки, отвлечения от того смутного, что у меня происходило с Пальшой Соколовым? Как бы там ни было, я была довольна, что Шурка сразу начал за мною ухаживать, как за герцогиней (о жизни герцогинь и рыцарей мы имели довольно четкое представление по романам Дюма), писал и подбрасывал под мою дверь витиеватые записки вроде такой: «Покорный Вашему, но не своему желанию, поехал в институт учить геодезию» — и подписывался «Ваш друг, раб, рыцарь и защитник», что мне по молодости лет нравилось. Зато у Люды случайно прочитанная записка подобного рода вызвала брезгливую гримасу и сдержанное замечание в мой адрес: «Я бы такому «рыцарю» поворот от ворот!» Смешно вспоминать — мне стало обидно, я заподозрила, что чересчур серьезная Люда мне завидует!.. Впрочем, когда в середине зимы Люда от нас уехала и со мною поселилась добрая, смешливая Леля Цехановская, Шуркины шансы понизились круто, потому что золотая моя подружка прямо-таки возненавидела «этого вертопраха, шаромыжника, провинциального донжуана, процельгу несчастного!», и если раньше Шурка решался посвистывать за дверью, подавая мне сигналы, то при Леле он избегал даже проходить по нашему концу коридора. Видно, сам понял, что хорош. Раньше, чем поняла я.

Наше общежитие, занимавшее две мансардные квартиры комнат на десять — двенадцать на Литейном и еще несколько квартир на Кирочной, отличалось от обычных студенческих общежитий тем, что тут жили карельские студенты разных вузов, причем в некоторых комнатах селились однокурсники, в других — друзья детства, в третьих — уроженцы одной местности, скажем олончане, лодейнопольцы, петрозаводчане... Конечно, они были очень разными и по возрасту, и по социальному признаку, и по культурному развитию и, ко-

нечто же, очень разными по своим профессиональным устремлениям и интересам, но именно поэтому жители нашего общежития были как бы срезом, частичкой всего студенчества того времени. А оно, это студенчество первых послереволюционных лет, было весьма пестрым.

Среди старшекурсников попадались достаточно взрослые люди, которые начали учиться еще до революции, пересидели дома трудное время, а теперь приехали доучиваться; были комсомольцы и коммунисты (из таких я запомнила Александра Иванова и его однофамильца Мишу Иванова), которые в свое время кончили гимназию, потом с головой ушли в революционную работу, успели повоевать, стать в Карелии заметными общественными деятелями — и вот потянулись за знаниями; другие бывшие гимназисты, дети обеспеченных, иногда и буржуазных родителей, были сугубо беспартийными людьми; некоторые из них надеялись на то, что с нэпом начинается постепенная реставрация, недоброжелательно сторонились комсомольцев и, строго говоря, только формально могли называться беспартийными. На младших курсах можно было встретить юношей и девушек из рабочих и бедняцких деревенских семей, которым только революция открыла путь к образованию, их было еще немного, но все же они были — счастливые, жаждущие знаний...

Наблюдались различия и между институтами. Так, «аристократами» считались путейцы и горняки, затем шли политехники и технологи. Конечно, и там революция многое перешерстила, но комсомольцы в этих институтах были в меньшинстве и порой чувствовали себя неуютно.

В нашем Внешкольном институте, поскольку он был создан после революции, социальное и политическое размежевание было куда меньше, чем в старых вузах, но и у нас оно существовало, проявляясь по второстепенному, но заметному признаку: одни студенты обращались друг к другу (конечно, если были мало знакомы) со словом «товарищ», другие демонстративно откликались только на обращение «коллега». Студенческую форму — фуражки и тужурки — носили многие, но чаще, конечно, те, кто предпочитал обращение «коллега», причем некоторые из них даже в то время шиковали белой шелковой подкладкой; их и до революции называли белоподкладочниками, а в годы, о которых пишу я, слово «белоподкладочник» относили ко всем политическим чужакам.

В нашем общежитии люди разных взглядов и разного социального, политического облика уживались довольно мирно, поскольку злостных чужаков я у нас не помню, но дискуссии о материализме и идеализме, о буржуазной или пролетарской демократии, о роли интеллигенции в обществе шли часто, и порою весьма бурно. Кстати, это было полезно для нас, комсомольцев, — в поисках доводов мы не ленились читать Ленина, Энгельса, Плеханова, в поисках примеров ворошили книги по истории. А где же лучше оттачиваются убеждения, как не в полемике!

Для такой мелюзги, как я, общение со студентами разных институтов и разных возрастов было само по себе полезным даже без дискуссий: расширяло кругозор, намечало «выходы» в разные слои общества, в неизвестные миры неведомых профессий — врача, горняка, путейца, лесника, механика... Только расспрашивай, только слушай!.. Но и существенный недостаток землячской жизни тоже был (как я понимаю теперь): общежитие быстро стало центром моих интересов, дружб, развлечений, да и попросту всего нелегкого быта, поэтому связь со своим институтом была слабее, чем у тех, кто живет в институтском общежитии или в семье; взаимоконтроля в зем-

лячестве не было совсем, хочешь — ходи на лекции, не хочешь — хоть неделю там не показывайся, никто не упрекнет, потому что никто и не знает, где ты бегаешь.

А где я бегала?

Бегать я не бегала, а ходила много, не жалея ног и не очень падая подметки, хотя и вздыхала над ними. Каждый день выбирала новый маршрут, всегда длинный, часа на три. Иной раз ходила с казачкой Любой, иногда с Лелей Цехановской или с кем-либо из мальчишек, но чаще одна, так как в одиночестве больше видишь, лучше замечаешь, сосредоточенней думаешь. Выйдешь из дому к Неве и по набережной идешь, идешь до самого ее устья, наглядишься на все, чем тебя одаривает левый берег, перейдешь по последнему мосту на другой и правобережными набережными — назад, через Васильевский остров и Петроградскую сторону вплоть до Выборгской, откуда уже еле-еле дотягиваешь ноги до родного Литейного. В другой раз доберешься до Васильевского острова и давай утюжить его ногами — от Биржи и до самого взморья, по проспектам, по «линиям», удивляющим новичка тем, что на каждой улице две «линии», четная и нечетная, как бы две улицы на одной (впервые попав туда, я и понять не могла, как это так: смотрю на табличку — 6-я линия, прошла до соседней улицы, уверенная, что там будет 7-я, а там уже 8-я). Так же я изучила — не торопясь, в несколько походов — Петроградскую сторону, потом сделала вылазку по Фонтанке из конца в конец, потом по другим каналам — Екатерининскому (ныне Грибоедова) и Мойке. Если были деньги, трамваем доезжала до кольца, обычно расположенного на самой окраине, поброжу там, разберусь, куда попала, и пешком обратно, по пути позволяя себе свернуть в сторону, если померещится что-либо привлекательное. За два студенческих года я узнала город лучше, чем за всю последующую жизнь, когда для таких долгих прогулок уже не хватало времени.

Случались у меня (нет, в данном случае надо сказать — у нас) и другие прогулки. Честно говоря, воровские. За дровами. Дров тогда не хватало, на общежитие по ордерам давали совсем немного, а на рынке можно было купить и вязанку и воз великолепных, березовых или сосновых, пиленых и колотых, сухих до звона, но за такую цену, что студенты и подступиться не могли.

Для обычных прогулок мы сворачивали от Литейного моста налево — там открывались самые красивые петербургские места, самый широкий разлив Невы. Для воровских дел нужно было свернуть направо — вдоль всей набережной Робеспьера штабелями лежали дрова, завезенные на баржах летом и осенью. К нашему благу, дрова были метровые, а охранял их старик сторож с ружьем на веревке. Так как схватить в темноте осину никому не хотелось, мы еще днем производили разведку — прогулочным шагом идешь мимо длинных штабелей и высматриваешь, где береза, а где дрова похуже; математики и другие представители точных наук даже высчитывали шагами расстояние от угла Литейного до березовых поленьев, я и подобные мне гуманитарии прикидывали на глаз и тоже не ошибались, тем более что березовую кору и на ощупь отличишь от любой другой. Вечером, когда набережная погружалась во мрак, мы начинали спектакль: идем парочками, тесно прижимаясь друг к другу, проходя мимо сторожа, воркуем, как влюбленные, иногда останавливаемся у штабеля и даем сторожу понять, что мы целуемся и пялить на нас глаза незачем. Сторож и не пялил, к тому же он был в тяжелом дворницком тулупе, с опущенными и завязанными под подбородком ушами меховой шапки, чаще всего он и не слышал, что мы тут ходим. Техника умыкания была такая: тихонько снимаем метровое по-

лено потолще и посуше (по весу сразу чувствуется, сухое ли), затем твой спутник прижимает его к себе, если удастся — под пальто, ты прижимаешься к полену и к спутнику, сплетенными руками вы оба стараетесь придержать тяжелое полено, не давая ему выскользнуть... Нужно было дойти до Литейного и завернуть за угол, а там уж можно было вскинуть свое приобретение на плечо и шагать до дому не таясь. В иной вечер мы совершали по три-четыре таких вылазки.

В малопочтенном дровяном предприятии участвовали старшекурсники наравне с подготовщиками, партийные и беспартийные, выходцы из социально чуждых классов наравне с ребятами самого что ни на есть пролетарского происхождения. Понятие о социалистической собственности еще не привилось, покупать дрова на рынке могли только нэпманы, а штабеля на набережной от наших набегов как будто и не уменьшались.

Мы же получали от этих набегов-спектаклей чисто детское удовольствие. Да и не так уж далеко ушли мы от детского возраста. Осенью и весной, стоило пойти дождю, по коридору общежития кто-нибудь пробегал, стучал в двери комнат и выкрикивал:

— Ребята, давай плешей!

«Плешей» — это профессора и преподаватели с лысыми. В каждом институте находилось несколько «плешей», их заносили в список, нужно было записать сорок фамилий, тогда листок с фамилиями бросали в окно — считалось, что сорок «плешей» прекратят дождь и снова засияет, подобно лысине, солнышко. Не знаю уж почему, но даже по ряду институтов нам удавалось наскрести тридцать восемь или тридцать девять «плешей», а вот сороковую никак не находили, бежали куда-то еще, скажем во вторую мансардную квартиру, через лестницу, там тоже было общежитие, или коллективно ждали, когда вернется из Политехнического аккуратный Алексей, не пропускающий лекций, или университетский химик Ленечка с лабораторных занятий, и, завидев одного из них, хором кричали:

— Скорее давай плешь!

«Плешей» требовались без обмана, не с проплешинкой, а с настоящей лысиной, иначе, говорили, не подействует.

Жили мы, конечно, впроголодь и не огорчались — считалось, что все студенты живут впроголодь, на то они и студенты. В пайке нам выдавали пшено, подмороженный картофель и мясо, которое часто бывало «с душком», так что Лелька его долго отмывала и вымачивала в растворе марганцовки. Затем мы варили похлебки — по очереди пшенично-картофельную или картофельно-пшеничную, разнища была в дозировке. А ели пополам с болтовней и смехом, тогда «лучше проходит».

Недалеко от нас на Литейном процветали нэпманские рестораны, туда ходила нарядная публика, из дверей сочился на улицу упоительный запах жареного мяса, или лука, или рыбы. Мы с Лелей относились к этим запахам стойчески: это все для нэпманов, ну их к черту, мы же нэпманами быть не хотим, проси не проси — не согласимся, значит, и принюхиваться к их жратве незачем. Но вот кондитерская в нашем доме... Ее витрина сверкала прямо перед глазами — выходим ли мы из-под дворовой арки, идем ли домой, никак не миновать эту витрину с румяными булочками, с присыпанными орехом кренделями, с пирожными, облитыми шоколадом или смазанными кремом... Зажмуришься, а глаза и в щелочку видят такое великолепие.

Хуже всего, что нам приходилось бывать и в самой кондитерской. мы покупали там с и т н ы й — на редкость вкусный хлеб, который теперь почему-то почти не встречается. Уже с порога нас обво-

лаживал душиный запах сдобы, пряностей, хорошего кофе. После получения стипендий мы с Лелькой позволяли себе не зажмуриваясь рассмотреть все прелести, выставленные напоказ — захотим, так купим! — но покупали только два фунта сахара — не рафинада, он был слишком дорог, и не песка, он невыгоден, нужно пить «внакладку», — нет, мы покупали цветочный сахар, он стоил гораздо дешевле, хотя некоторые его куски настораживали своим неестественно ярким, ядовитым цветом, особенно зеленые и розовые. Я бы предпочла булку с маком, но Лелька была сладкоежкой и о цветочном сахаре начинала мечтать дня за три до стипендии.

Насколько я помню, гастрономические мечты обуревали студентов главным образом перед стипендией, в другое время их пресекали как беспочвенные. Самый тихий из наших студентов, Ленечка, однажды размечтался не в меру:

— Если б можно было потратить всю стипендию сразу, а потом не помереть с голоду, я бы съел сразу двадцать пирожных!

Тут же разгорелся спор — можно ли съесть в один присест двадцать пирожных. Ленечка набивался в подопытные:

— Ну, со стипендии попробуйте! В складчину! Держу пари — съем. Двадцать пирожных!

Ленечка был, что называется, милягой, его любили, хотя и посмеивались над ним, да и как не смеяться, если Ленечка все делал нелепо, с наивным простодушием. Влюбившись в одну из наших девушек, он довел ее до иступления, подкарауливая в коридоре, так что бедняжка и в уборную не могла пройти без сопровождения. Коллективным воздействием Ленечку заставили отказаться от такого способа ухаживания, и тогда Ленечка вдруг заявил, что не будет ни мыться, ни бриться, пока она не полюбит его. Мыться его все же принудили товарищи по комнате, пригрозив, что иначе выселят вон. Но брить насильно не стали, и Ленечка начал быстро и бессистемно обрастать рыжеватым волосьем — оно висело у щек и на затылке длинными, сваявшимися и зажиревшими космами, как у нынешних хиппи, а вокруг рта и на подбородке пробивалось пучками, как у готгентотов. Виновница этого превращения пугливо вздрагивала, увидав Ленечку, и придумывала всякие уловки, чтоб избежать встреч лицом к лицу.

Этот самый Ленечка и взялся съесть на пари двадцать пирожных.

В день, когда по институтам выдавали стипендию, наше общежитие возбужденно и не без некоторой зависти сколачивало нужный капитал. Двадцать вкладчиков толпой ввалились в кондитерскую, заказали двадцать пирожных и даже из человеколюбия разрешили Ленечке выбрать, какие он хочет. Хозяин кондитерской, покачивая головой, усадил Ленечку за столик, поставил перед ним блюдо пирожных и стакан воды, а мы встали полукругом и жадно смотрели, как пирожные, при одном виде которых у нас начиналось слюнотечение, быстро исчезают во рту товарища. Третье, пятое, шестое... Подумаешь, почему не съесть такую прелесть?! Седьмое... Теперь Ленечка ел медленно, все чаще запивая водой, на лбу у него выступила испарина, мы слышали его затрудненное дыхание... Не помню уж, сколько он их вдавил в себя, этих пирожных, на блюде оставалось меньше половины, когда Ленечке стало плохо и он, закричав жалобным заячьим криком, повалился со стула на пол...

В больнице Ленечку еле-еле спасли. Говорили, что у него произошел заворот кишок или что-то вроде. И еще говорили, что перед тем Ленечка два дня ничего не ел.

— Дубина стоеросовая, — ругнулась Лелька. — Да и мы идиоты! На эти деньги съел бы каждый по пирожному — какой был бы счастливый день!

На остатки наших денег она купила фунт цветочного сахара — на два фунта уже не хватило.

Обсудив происшествие и насладившись чаем вприкуску, мы легли спать, и я, как всегда, заснула безмятежным сном. Разбудил меня отчаянный плач. Было рано, только-только рассветало. Лелька в ночной рубашке стояла у окна и плакала в голос. От сахара, который был положен на подоконник, осталась изгрызенный пустой кулек да кое-где на полу цветные крошки. Обследовав пол и плинтусы, мы нашли еще кусок сахара — зеленый, обкусанный и наполовину втянутый в мышиный лаз.

С этого злополучного утра Леля объявила войну мышам. Война с мышами быстро переросла в школярское развлечение... Но началось все гуманно. Покупная мышеловка была отвергнута Лелькой: соскакивающая с крюка железяка прямо-таки перерубала мышиную шею.

— Фу, какая мерзость, — сказала Лелька, — не мышеловка, а гильотина.

Миша Иванов, готовый сделать для Лельки все что угодно, к тому же инженер-механик четвертого курса, сконструировал «гуманную» мышеловку и привлек приятелей, так что организовалось массовое производство. Через день-два Мишины мышеловки стояли во всех комнатах и во всех углах. Покупные стояли тоже (раз уж потратили деньги, не выбрасывать же их), но мыши оказались умными, обходили гильотины и попадались исключительно в «гуманные» ловушки, где и металась живые-невредимые.

Итак, мыши попадались одна за другой... но что с ними делать, куда девать? Убивать их жалко, топить — не менее жестоко, вышускать — нелепо. Кто нашел оригинальный выход, не помню, но предложение всем пришлось по душе. Было это, очевидно, ранней весной, поскольку в солнечную погоду студенты уже начали выползать на крышу, а эзопманские дамы еще щеголяли в модных тогда каракулевых полупальто, называвшихся саками. Так вот, держа в руках мышеловку с перепуганной мышью, мы лежали, свесив головы, возле водосточной трубы и ждали, когда какая-нибудь эзопманская красотка в каракулевом саке и высоких, до колена, зашнурованных ботинках появится на улице, семена на гнутых каблучках. Все у нас было рассчитано до секунды: открывалась дверца, мышь попадала в трубу и вылетала прямо под ноги красотке. Истощенный визг несчастной иной раз доносился и до нашей верхотуры.

Мы готовы были распахать по мышеловкам все свои скудные запасы сахара или пайкового шпика, лишь бы длилась веселая двойная охота...

Но самыми ребячливо-озорными и — вперемешку — самыми взрослыми, отзывчивыми на чужую печаль мы бывали в те вечера, когда собирались у чьей-либо печурки петь песни.

Что это за чудо такое — песня! Только что все были разобщены, заняты своими делами и переживаниями, кто-то устал и собирался завалиться спать, кому-то к завтраму закончить чертеж, у кого-то плохие вести из дому... Но вот сумеречным вечерком собрались два-три человека с гитарой или без гитары, не важно (у нас в общезжитии гитары не было), приоткрыли дверцу печурки, чтобы дать немного свету, и кто-то один, как бы пробуя голос, заводит:

Когда я на почте служил ямщиком...

Также вполголоса и будто нехотя второй подтягивает:

Любил всей душой я девчонку...

Никто не служил на почте и, наверно, никто не видал ямщиков, но песня берет за сердце и тех, кто ее начал, и тех, кто тихо один за другим втягивается в комнату и, стараясь не мешать, пристраивается на краешке стула, на койке, на полу... Теперь уже много голосов, страдая и сочувствуя, ведут рассказ о большой любви:

Куда ни поеду, куда ни пойду,
Все к милой сверну на мину-у-ут-ку...

Лица у покоющих размягченные, ближи живого огня высвечивают блестящие глаза и полоски влажных зубов, и плавные движения чьих-то чутких рук, помогающих песне... Песня всех соединила — и, честное слово, все стали красивыми.

Доходит очередь до «Лучинушки». Ее щемяще-нежная и горестная мелодия погружает нас в такие глубины чувств, куда мы еще и не заглядывали, несколько минут назад мы и не поняли бы, что можно так чувствовать, и несколько минут спустя опять не пойдем, но в песне воспринимаем и проживаем все:

Догорай, гори, моя лучина,
Догорю с то-бо-ой и я...

Как происходит переход от этой обреченности горя к безудержной веселости студенческой песни про неразумного Веверлея, не умевшего плавать? Только отзывалась «Лучинушка», еще и не заговорить, не улыбнуться, но кто-то занялся печуркой, поворошил угли, подкинул чурбачков, а еще кто-то тенорком доверительно сообщил:

Пошел купаться Веверлей...

Низкие мужские голоса тотчас подтвердили — Веверлей.

Оставил дома Доротею...

И снова низкие голоса подтвердили — Доротею.

А затем все голоса вместе, мужские и женские, повели рассказ, придавая ему драматическую, даже трагическую окраску:

На помощь пару, пару, пару пузырей-рей-рей
Берет он, плавать не умея!

Как тут хороша была Лелька с ее старательным звонким голосом и деревенской, от сердца идущей выразительностью пения, грустна ли песня или шутлива — все равно, выразительностью напитан каждый звук, каждое слово! И как оттеняли Лелькину звонкость мужские, басовито подтверждающие голоса:

Но злой судьбы коварный рок — коварный рок!

Хотел нырнуть вниз голово-ою,
Но голова —

ва! ва! —

тяжеле ног —

ног! ног!

Она осталась под водою!

Случалось, старые студенты заводили красивую студенческую песню «Гаудеамус игигур», на латыни, никто латыни не знал, даже «старики», что когда-то вы зубрили текст. Но было известно, что песня призывает веселиться и радоваться жизни, пока молоды, — почему же не спеть такой приятный призыв! Впрочем, допеть никогда не удавалось — никто не помнил всех слов до конца.

Потом запевали другую студенческую песню — «Быстры, как волны, дни нашей жизни». Слова в ней, в общем-то, были грустные, почти безнадежные — «что час, то к могиле короче наш путь», «кто знает, что с нами случится впереди»... Но кто же в молодости ощущает близость могилы и думает, что случиться может плохое? И основная протяжная, даже заунывная мелодия перебивалась бойким речитативом: «Посуди, посуди, что там будет впереди!» — и песня вдребезги разлеталась на десяток озорных припевок, где были и «стаканчики граненые», и неведомый «веречун», и Сергей-поп, Сергей-дьякон, а с ними и дьячок, и многое другое...

Тут мы все превращались в ребят: целиком отдаваясь озорным словам и ритмам, мы выкрикивали припевки во весь голос, кто как сумеет громче и задорней, глаза сверкали, улыбки тоже сверкали, от уха до уха, ноги отбивали такт, руки вертелись в такт — весело было и забирало целиком, отесняя любые огорчения и неясности жизни!..

Раз начавшись, веселье захватывало всех без удержу. Накричавшись вволю в припевках, заводили смешную, залихватскую «Там, где Крюков-канал и Фонтанка-река», в этой песне тоже было где разгуляться...

Так они и запомнились, эти вечера у печурки, как «самые-самые». Голоса у меня не было и слух не ахти, но в компании это бывалось, ценили не голос, а умение полностью отдаться песне.

Когда пели о любви (а все песни о любви, как назло, о несчастливой), я ощущала где-то рядом, недопущенными, грустные и недоуменные мысли о Пальке, потому что все у нас запуталось, я не могла не чувствовать все увеличивающееся расстояние между нами и не могла понять, почему так, когда мы оба этого не хотим... Но песня сменялась другою, веселой, и я забывала о Пальке и замечала Шуркин гипнотизирующий взгляд, насмешливо говорила себе: гипнотизирует! — но ничего не имела против: игра увлекала новизной, а было мне без малого семнадцать лет.

ПАЛЬКА СОКОЛОВ

Однажды в Москве, поднимаясь по лестнице нашего литераторского дома, я остановилась перед мраморной доской с именами писателей, погибших на фронтах Отечественной войны, и содрогнулась, увидев такое родное имя — Соколов Павел Илларионович. Страшно. От теплого, живого, ни на кого не похожего — лишь строка позолоченных букв на холодном камне.

То, что он пробовал силы в карельской литературе и какое-то время был секретарем писательской организации в Петрозаводске, это как-то прошло мимо меня, а вот о гибели его мне сообщили: он был комиссаром одного из партизанских отрядов в Брянских лесах и погиб в последнем бою, перед встречей отряда с наступающими частями Советской Армии. Было Соколову тогда чуть больше сорока лет.

Если пройти по канве его короткой жизни, обозначится прямой и достойный путь человека, смолоду ставшего коммунистом: четырнадцатилетний комиссар в Олонецком уезде, потом комсомольский активист, солдат и политработник на войне с белофиннами, снова комсомольский активист, журналист и редактор, затем руководитель ТРАМа — Театра рабочей молодежи — сперва в Ленинграде, потом в Москве... Мобилизованный партией на работу в деревню — начальник политотдела МТС где-то в Сибири... Опять журналист, литера-

тор... А с первого дня войны — фронт, бои в окружении, партизанский отряд, снова бои... и смерть в бою.

Такая главная линия. Четкая, прочная. Но по канве извилистыми, своевольными узорами разбросаны этапы трудной, порой мучительной душевной жизни очень самобытного человека — с вечными поисками, ошибками, странностями, сомнениями и откровениями. Одною из странностей этой жизни было то, что она все же не выхлестывала за пределы канвы, не отступала от крепко простеганной главной линии, — в конечном счете Павел умел подчинять страсти сознанию и выполнял свой долг, не балуя себя поблажками.

Из людей, встреченных мною в жизни и хорошо узнаваемых, Павел Соколов был, пожалуй, самым причудливым. Не знаю, обладал ли он литературным талантом, но человек он был бесспорно талантливый, только его талантливость и своеобычность сочетались с капризностью и неспособностью к длительному усилию, а недюжинную энергию иногда гасили приступы непонятого ему самому тоскливого безволия, когда ему хотелось все забросить, все «пустить под откос»... Было ли в этом некоторое позерство? Несомненно. Однако искренность его была тоже несомненна, он страдал от своей неуравновешенности, осуждал себя и в такие минуты говорил, что нужно расстаться, потому что он принесет мне мученья, а не счастье.

— Ты умеешь радоваться жизни, а я нет, — так он сказал мне еще в первые годы нашего знакомства, — может, все дело в том, что я с детства изломанный человек.

Какие события искорежили его детство? Что за человек был Илларион Соколов, олонецкий крестьянин, лесосплавщик и контрабандист, от которого однажды ночью убежала жена с двумя маленькими ребятами? Впрочем, ночью — так предстало в моем воображении: зима, метель, в темноту выскальзывает из дома женщина, до глаз укутанная теплым платком, под платком у груди — младенец, глазастый мальчуган — у подола... Возможно, это произошло днем и не зимой, а летом, но какая лютая беда погнала из родного дома, из родной деревни молодую женщину с детьми в неизвестность далекого Питера, в нищету и унижения? И какой лютейшей беды нахлебалась она в чужом, равнодушном городе?..

Когда я попыталась осторожно расспросить, Палька оборвал вопросы и так помрачнел, что я зареклась любопытствовать. Лишь однажды, в пору, когда мы с Палькой жили вместе и были как будто незамутненно-счастливы, он по какому-то случайному поводу впал в неистовое возбуждение.

— А что ты знаешь о мерзости жизни?! — закричал он, бледнея. — Что ты видела?! Может, видела, как девочек продают богатым мерзавцам на потеху и какие они потом, эти девочки пятнадцати лет?! А когда совсем старый, истасканный, весь прогнивший от дурных болезней миллионер требует шесть девиц — не одну, а шесть! — чтоб растеребили, раздражали его похоть... видела такое?! Нет?! А я в замочную скважину смотрел, пока мама не оттащила, не отхлестала по щекам, не заперла на ключ... Вот мое детство — эти вонючие коридоры, эти...

Он разом смолк, выбежал из комнаты, вернулся уже притихшим, обнял меня.

— Я дурак! Забудь, детка, тебе и не нужно это знать, забудь!..

Когда мы приехали в Питер учиться, Палька поселился с матерью и сестренкой на Разъезжей улице, неподалеку от Пяти Углов. Мать работала на фабрике, если не ошибаюсь — имени Анисимова, сестренка училась в четвертом классе. Среди студентов считалось, что жизнь «дома» — благодать, как бы мало ни зарабатывали в семье,

какой-никакой обед всегда найдется, это не на стипендию жить в одиночку! В конце месяца мы все ходили голодные. У Пальки голода не было ни в начале месяца, ни в конце, но свою скудную стипендию он отдавал маме, сам же обычно ходил без гроша. А кругом лезла в глаза скороспелая роскошь нэпманских магазинов и ресторанов, впервые за годы нашей юности можно было и приодеться, и поесть вкусных вещей, и даже поехать к цыганам — м о ж н о б ы л о б ы... Так ли уж хотелось этого? Палька чувствовал себя униженным и обделенным — не потому, что так уж хотел, а потому что не м о г.

От недоедания или по другой причине у него начался фурункулез, большие лиловатые фурункулы выскакивали то на шее, то на щеке, он их заклеивал пластырем и раздражался, если кто-либо пытался давать лечебные советы, — страдал он не столько от боли, сколько от уродства этих болячек.

Как он учился на рабфаке? Он не любил говорить об учебе, об экзаменах и зачетах, иногда мне казалось, что само положение рядового студента он воспринимает как унижение. Самолюбивый, он должен был переламывать себя, смирать гордыню... и не очень-то это получалось, и я тут была не помощью, а помехой, именно передо мною Пальке было противно чувствовать себя ничем не выделяющимся.

Когда ему случалось подзаработать, он преображался. Приходил аккуратенький, в белой рубашке, с галстуком, без стеснения стучал в нашу дверь, не робея перед Людой, а ко мне обращался на «вы» и называл Леди Солнышко.

— Собирайтесь, Леди Солнышко, приглашаю вас в очень вкусное местечко.

В лучшем кафе на Невском он долго выбирал наилучший столик и усаживал меня так, чтобы я могла глазеть на проспект и проходящую публику, заказывал пирожные и кофе со взбитыми сливками и с наслаждением смотрел, как я все это поглощаю. В такие минуты он бывал ласковым, внимательным, веселым.

Однажды вечером он властно оторвал меня от учебника и без объяснений увлек в сторону Невского.

— Ну скажи — куда и зачем?

— Ты мне не доверяешь?

Перешли Невский, вышли на угол Троицкой. Теперь эту улицу называют именем Рубинштейна, на углу — стоянка такси. В то время там же была другая стоянка: под ковравыми попонами стояли великоколенные рысаки, впряженные в узкие щегольские санки, на облучках сидели хозяева лихачей в толстенных шубах, перепоясанных широкими кушаками, в бобровых высоких шапках. Катанье на лихачах стоило дорого, никто из нас и не мечтал о таком удовольствии, но мы любили постоять в сторонке и полюбоваться красавцами конями, а иногда и поглазеть на расфуфыренных дам в модных каракулевых, беличьих или кротовых шубках, которых подсаживали под локоток явные нэпманы — кто еще может себе позволить такое?

Именно сюда привел меня Палька:

— Выбирай коня, какой тебе нравится.

Все были хороши, но я выбрала красавца золотистой масти (быть может, вспомнив золотисто-рыжую Пульку моего детства?). И вдруг Палька подвел меня к санкам, шикарным движением откинул медвежью полость:

— Садитесь, Леди! — И каким-то гусарским тоном бросил вознице: — На острова!

Первый на стоянке лихач попытался вмешаться, дескать, его очередь, но Палька все тем же не своим, гусарским голосом возразил:

— А моя дама выбрала этого! — И совсем уж ухарски крикнул нашему вознице: — Па-а-шел!

По всем комсомольским представлениям, это был предел буржуазного перерождения, прямо-таки капитуляция перед нэповской стихией... но я была так поражена случившимся и так обрадована зазорным, счастливым настроением Пальки, что и думать об этом забыла. Золотистый с места взял рысью и легко вынес сани на Невский, только полозья взвизгнули на повороте, на раскатанном снегу. В свете сменяющихся огней витрин, реклам и фонарей полого летели навстречу мохнатые снежинки, летели и таяли на щеках, на губах, залепляли ресницы. Палька крепко держал меня, то и дело как бы случайно прикасаясь щекой к моей щеке. Где мы? Я потеряла представление, кто мы, где и куда мчимся. Сладкое чувство греховности подчинило меня целиком — и оказалось таким блаженным! Сани влетели в непрочную темноту неосвещенных улиц и снова вылетели на свет, навстречу полого летящим мохнатым снежинкам, мелькали перед глазами и оставались позади ряды домов с разноцветно светящимися окнами, припорошенный снегом гранит невской набережной, изгиб какого-то моста, потом другого моста, снова чередование непрочного мрака и пляшущего света. И вот — аллея среди темных, только с одной стороны побеленных стволов, высокие отвалы снега по краям аллеи, — это я или уже не я? Куда мы мчимся — и когда?.. «Вновь оснеженные колонны, Елагин мост и два огня!» (пу да, были, промелькнули рядом колонны, и мост, и два огня), «и хруст песка, и храп коня» (да, хрустел песок и всхрапывал золотистый, все это было, было!), и мой собственный шепот, и смех от полноты радости, и поцелуй на лету, на ветру, и темнота неба, и белизна снега, и кругом ни души, «безлюдность низких островов»... А может, все это было давно и только вспомнилось, и не я, а Наташа Ростова с ряжеными мчится на святках в гости, и сейчас будет дядюшка — «чистое дело марш!» — и русская пляска, какой никто не ждал от барышни, с детства воспитанной на французском... а может, вокруг вообще неведомая степь в наметах пухлого снега, а не острова на взморье и не гладь замерзшего, в торогах Финского залива?.. Может, все это причудилось и только русская птица-тройка несется во всю прыть в неведомое?..

Ничего уже я не понимала — где мы и кто, и что за длинный мост вдруг возник перед нами, и что за плавно изгибающаяся набережная, по которой мы мчимся и мчимся, так что снег из-под звонких копыт золотистого взлетает двумя облачками и смыкается за спиной возницы, заноса нас белой пылью... И что за проспект, уходящий вдаль рядами фонарей, и почему мы вдруг развернулись поперек проспекта и вдруг остановились у какого-то дома...

— Приехали, — сказал Палька, миготом оказавшийся уже с другой стороны, на тротуаре, чтобы помочь мне выбраться из-под тяжелой меховой полости.

Как ни странно, над аркой ворот читалось — «Литейный пр.» и светилась на фонаре цифра «16».

Палька вынул из кармана новенький хрустящий червонец (они уже ходили наряду с тысячами и очень ценились), царственным жестом подал его вознице и сказал небрежным гусарским голосом:

— Сдачи не надо.

Чуть позже, в общезнанию, опомнившись от пережитого упоения, я призналась, что зверски голодна, а Палька совсем просто сказал, что и он тоже, но у него ни копейки. Мы пошли к ребятам и пили

жидкий чай, заедая его черными сухарями, для вкуса присыпанными крупной синеватой солью. Ребята сколачивали группу для ночной работы на товарной станции, в случае удачи там можно заработать по червонцу на троих... Мы переглянулись с Палькой и улыбнулись друг другу. «Сдачи не надо!» — вспомнила я. Ох, будет теперь целую ночь выгружать вагоны! Надо было порутать его, но ни рутать, ни выдавать его ребятам не хотелось.

Он заторопился домой — переодеться. Я вышла с ним на лестничную площадку, там было темно и тихо, мы стояли долго, прощались и не могли распрощаться, и счастье стояло рядом с нами, светло мерцало и сулило, сулило впереди одну только радость...

Палька не пришел ни завтра, ни послезавтра. Минула неделя — ни слуху ни духу.

Я поехала на Разъезжую. Очень страшно было — постучать, войти... Если его мама дома, что сказать? Как назваться? «Я его друг»?..

Тогдашняя Разъезжая была мрачной торговой, складской улицей. Нагруженные ящиками и бочками ломовики наперебой громыхали по булыжникам. У складов и контор толклись грузчики и безработные в надежде на случайный заработок.

Грязно-серый, облезлый — таким был дом, где жил Палька. Дверь с ободранной обивкой, узкая лестница с исхоженными ступенями и давно не мытыми окнами, сквозь которые из двора-колодца еде сочился тусклый свет. В таких домах жили герои Достоевского, по такой лестнице Раскольников шел убивать процентщицу... Соколовы жили на первом этаже. Я постояла у двери, прислушалась — за дверью ни звука. Дернула старинный звонок-колокольчик. Шаги... женские шаги! Вся подобралась, заранее обмирая...

Она открыла дверь и, ни о чем не спрашивая, впустила меня. Лицо было моложе, чем мне представлялось, — спокойное лицо северянки, высокий лоб под зачесанными назад русыми волосами, глаза без улыбки, без любопытства — бестревожные глаза.

— Паля, к тебе, — сказала она, приоткрывая первую от входа дверь, и сразу ушла.

Как я готовилась к пристальному и пристрастному материнскому разглядыванию! — а она, кажется, и не поглядела. И в этот вечер больше не появилась и в другие дни, когда я приходила заниматься с Нинкой, никакого интереса ко мне не проявляла. Иногда предлагала чаю и вручала Пальке поднос с двумя чашками, с хлебом или домашним пирогом. Иногда через дверь сообщала сыну, что уходит на работу, и поручала проследить, чтоб Нинка вовремя легла. Только однажды, когда Пальки не оказалось дома, она привела меня в свою тесную комнатку, где не было ничего лишнего — ни салфеточек, ни безделушек, — и немного поговорила со мною о чем-то постороннем, не имеющем отношения к Пальке, а когда я высказала свою тревогу по поводу скверного душевного состояния ее сына, она чуть улыбнулась:

— Перемелется.

И тему не поддержала.

Слабые успехи дочки в школе она воспринимала с тою же невозмутимостью:

— Силой учиться не заставишь. Поумнеет — сама захочет.

Не представляла я ее себе ни в деревне под пятой злого мужа, ни в том жутком доме, где она, видимо, служила и ютилась с детьми... А может, думаю я теперь, именно пережитое выработало у нее этот философский взгляд на треволнения жизни, это чувство собственного достоинства? Ни в те дни, ни позже она не вмешивалась в

нашу жизнь и даже явно отстранялась от нее. А мне всегда хотелось склонить перед нею голову, только повода не находилось.

...Но что же случилось с Палькой за неделю, почему он пропал? Ничего не случилось! Я его застала лежащим на диванчике (такие диванчики с одной боковой спинкой прежде называли «козетками»), он раздраженно диктовал какой-то текст сестренке, которая при моем появлении хлопнула носом и обратила к нежданной избавительнице покрасневшие, заплаканные глаза. Через минуту ее и след простыл, а Палька, неуклюже поднявшись и усаживая меня, начал пространно объяснять, что Нинка нахватала «неудов» по русскому и арифметике, она лентяйка и дура, если ее не заставлять и не наказывать...

— Почему ты не приходил?

— Настроение было плохое, что ж тебя додумать им.

— Почему плохое, Пальчик?

— А что в моей жизни хорошего?

Голос злой, взгляд в сторону, губы надуты, будто и не с ним мы мчались сквозь рой мохнатых снежинок на лихих санках, не с ним пили чай с присоленными сухарями, переглядываясь украдкой, не с ним стояли на лестничной площадке и никак не могли расстаться и наше счастье, спокойное, стояло рядышком...

Мне хотелось спросить: «Ничего хорошего? А я?» — и поссориться, но вместо этого я позвала обратно Нинку и закончила с нею диктовку, ахнула, увидев множество ошибок, и взялась через день заниматься с нею, чтобы до зимних каникул исправить отметки. Так началось новое мученье — накануне я целый вечер готовилась, решала Нинкины задачи и учила разные правила, чтоб не оскандалиться на уроке, а во время урока сдерживалась изо всех сил, чтоб не закричать и не ударить ее, потому что Нинка зевала, глядела по сторонам, грызла ручку и ничегошеньки не понимала или притворялась, что не понимает. Это миловидное, ленивое и вполне сообразительное существо отлично знало, что я прихожу ради ее брата, что брат, полулежа на диване, вовсе не читает, а смотрит на меня и ждет не дождется, когда я не выдержу и отправлю ученицу прочь. Тем обычно и кончалось, хотя каким-то чудом Нинка все же исправила отметки (пожалуй, своими силами, чтоб не лишиться каникулярных удовольствий). Выгнав Нинку, мы сидели в разных концах комнаты и разговаривали, или шли бродить по улицам, пока не закончим вконец в своих продувных одежках, или Палька провожал меня до дому и мы опять долго стояли на лестничной площадке — одно из немногих мест, где можно было побыть вдвоем и где приближение непрошенных свидетелей прослушивалось загодя, так как лестничный проем любой звук гулко усиливал, а главное, никто не мог неожиданно открыть дверь, окинуть нас любопытным взглядом и невинно спросить, как пишется «колесо», через «а» или через «о», что любила делать Палькина бесценная сестричка.

Занятия с Нинкой давали нам повод чаще встречаться, Палька уже не мог пропадать когда вздумается. Что он радовался моему приходу, я ощущала всей своей женской сутью, но именно тогда, когда я, уверившись в этом, выглядела то ли слишком счастливой, то ли успокоившейся, Палька начинал выкидывать свои штучки: встретит в дверях при галстукке, свежевыбритый и даже наодеколоненный, кликнет сестренку и при ней, отсекая всякую возможность объяснения, небрежно бросит: «Ну, занимайтесь, а я пойду, условился встретиться с одной нашей студенткой» — и был таков... С какой ненавистью я заставляла себя довести урок до конца, молча наблюдая, как Нинка путается в подсчетах, сколько воды втекает в

какой-то дурацкий бассейн и сколько воды вытекает из него; ну кому это нужно знать? — думала я, как наверняка думала про себя и моя нерадивая ученица. При следующей встрече я пробовала говорить с Палькой холодно, так он же еще и сердился:

— Неужели ты не почувствовала, что нет никакой студентки? А уверяла, что понимаешь меня!

Бывало и так: выйдем после урока вместе, он останавливается возле трамвайной остановки:

— Вон идет твой девятый, садись.

Уверенная, что он проводит, я говорю, что лучше пройтись пешком. Палька не спорит: «Что ж, иди» — и поворачивает к дому, помахав на прощанье рукой. Иду, глотая подступающие слезы. Трамваи нагоняют и обгоняют меня один за другим, но я упрямо шагаю пешком. А у моего дома откуда ни возьмись уже стоит, посмеивается Палька, берет под руку и заворачивает обратно:

— Пошли, у меня билеты в кино. На восьмичасовой.

Кино, прощанье, долгое прощанье на лестнице — все чудесно. Прихожу на следующий урок — Пальки нет дома. Тяну, тяну время, делаю внеочередную диктовку, Нинка скулит... А его нет. Через день он говорит:

— Знаешь, я забыл, что ты придешь, заболтался с товарищами.

Так он меня «осаживал». Чтоб не возомнила о себе?..

Недавно, разыскивая нужную фотографию, я наткнулась на пакет, обернутый толстой бумагой. Развернула — Палькины письма. Я и не знала, что они сохранились, — столько лет прошло, столько было событий, переездов, да и в блокаде множество писем и документов сгорело в ненасытной буржуйке! Видимо, на этот пакет рука не поднялась?..

Странно было читать одно за другим эти давние письма — будто в чужую, малознакомую жизнь заглядываю тайком, будто в чужие, малопонятные души... Да так оно и есть. Человек меняется, хотя часто думает, что он все такой же. Меняясь, забывает себя прежнего, а пережитое преобразается временем и капризами памяти. Вероятно, и у меня происходит то же самое, хотя я стараюсь быть предельно точной. Но вот — письма. Палькины. А среди них, оказывается, и часть моих. Когда же мы успели так много написать друг другу?

Раскладываю письма по датам. Тоненькая пачка — письма с карельского фронта и на фронт. Неудержимо частые, затаенно-нежные письма пятнадцатилетней девочки и редкие короткие ответы, где равнодушие к старательной корреспондентке соединяется с интересом к петрозаводским новостям, которые она сообщает, не жалея чернил и бумаги. Еще одна тонкая пачка — письма тех лет, когда мы были вместе и лишь на короткое время разлучались: то я уехала в Севастополь на отдых, то его призвали на военный сбор... Самая толстая пачка — письма с Литейного на Разъезжую и обратно, переданные из рук в руки, оставленные на столе, засунутые в возвращаемый учебник, письма тех двух лет, когда мы жили в четырех трамвайных остановках друг от друга. Отношения были запутанны и трудны, мы ссорились и мирились, теряли друг друга навсегда и заново обретали.

Наверно, не нужно перечитывать старые письма — того и гляди заносит давно отошедшая боль или, еще хуже, начнешь усмехаться, оценивая юношеские страсти с высоты своего жизненного опыта, хоть насмешка тут — кощунство. Еще труднее ссылаться на эти письма, делать их хотя бы в кратких извлечениях достоянием сторонних людей... Но моя повесть была бы фальшива, если б я не рассказала

откровенно и честно о незаурядном человеке, с которым связано шесть лет моей юности. Смерть отняла его у близких, но смерть и вернула его — эпохе. Ведь только о тех, кто ушел от нас, мы умеем судить так, как они того стоят, и только тех, кто ушел, мы видим и понимаем во взаимосвязи с эпохой, а Павел Соколов был целиком созданием своего времени, времени крутой ломки старых и начального утверждения новых устоев, представлений, идеалов.

Забудем же о том, что в данном случае мешает. Есть Он и Она — дети первых лет революции, комсомольцы первого поколения, юные влюбленные, которые были максималистски требовательны друг к другу — и все время ходили по острию разрыва. Сегодня нас интересует Он. Еще с фронта, откликаясь на дружескую критику своей корреспондентки, он пишет: «Мое личное Я переживает массу нового. Обрабатываюсь, исправляюсь». И еще: «Интересно, знаешь, оторваться от своей работы и окунуться в другую, совершенно незнакомую, особенно в военной обстановке... освежающе действует... Своей натуре удивляешься, какой ей нужен простор!» И рядом, несколькими строками ниже: «В то же время как-то странно чувствую себя нездоровым. Отчего? А и сам не знаю».

Такое ощущение не единственное, не промелькнувшее. Читаю письма, написанные уже на Разъезжей, вчитываюсь в страницы, вырванные из дневника и однажды отосланные мне вместе со всеми моими письмами и даже случайными записочками в знак полного разрыва...

Запись от сентября 1922 года, в как будто безоблачный период первой любви и первых студенческих впечатлений:

«Больно, тоскливо. Боль тупая, непонятная... почему она так невежливо привязалась ко мне?»

И снова, в мае 1923-го:

«Сейчас ночь. Электрическая лампочка над воротами слабо освещает двор с бегающими крысами. Я их не вижу, но знаю, что они бегают... Сегодня не первая и не последняя ночь без сна. Мысль не способна работать над книгами, формулами, законами и т. п. Она занята чем-то напряженным, неясным...»

Откуда такое у здорового юноши, отнюдь не слюнтяя, а человека энергичного, волевого, умеющего и любящего работать, бороться, действовать в полную силу? Любовные терзания? Нет. Иногда они наслаивались на другое, но не они были главной болью, да и была ли у него в тот год такая любовь, что могла жечь душу?

В горькие дни полного разрыва он записал в своем дневнике:

«Она изверилась. Ее глаза — море мук. У нее это первая любовь, первое большое чувство, а у меня оно не проявлялось, его... не было. Я проспал свое счастье, оно было близко-близко, но я... не знал, что это именно мое счастье».

Однажды после очередного примирения он написал ей в письме, где любовь и тоска смешались воедино:

«...не хотел я сперва омрачать твою радость, но ты и в этом должна понять меня: я чувствую, что не осуществится оно, наше счастье... Я чувствую ясно приближение смерти».

Тоска охватывает меня. Мне больно. Больно мне! Но это неумолимо... Не одну ночь я борюсь с этим неумолимым... Можешь ли ты вырвать меня из этих цепких объятий? Нет. И ты бессильна перед ним».

Она ответила немедленно:

«У тебя не должно быть никаких предчувствий, кроме предчувствия счастья. Я так хочу, я хочу вдохнуть в тебя свою веру в наше будущее. Неужели я недостаточно сильна?! Я чувствую себя сильнее всего темного, что может грозить... Мы будем жить. Мы будем счастливы».

Она бы бросилась в огонь — спасти его. Но его внутренних, духовных страданий понять не могла, не умела...

В наши дни, семидесятые годы бурного XX века, заговорили о стрессе, то есть о перенапряжении человека из-за чересчур стремительного потока информации, воздействия и впечатлений, и об акселерации молодежи. Этих понятий нет в совсем недавних изданиях энциклопедий, во всяком случае применительно к живым организмам, там можно найти только технические понятия акселерации применительно к машинам, к убыстряющимся режимам работы самолетных и автомобильных двигателей... Теперь приходится говорить о перенапряженном режиме роста и развития человека!

В те послереволюционные годы никто об этом не задумывался. Революция естественно и неудержимо притягивала к военной, организаторской, пропагандистской деятельности совсем юных людей, зачастую подростков четырнадцати — шестнадцати лет, — попробовал бы кто отстранить их от захватывающих событий! Детство сжималось и отлетало прочь. Подростки чувствовали себя и как будто даже становились взрослыми, во всяком случае несли совершенно взрослую нагрузку и ответственность. Были ли они, могли ли быть готовы к такому напряжению физически и духовно?..

Павел Соколов был одним из подростков, слишком рано и быстро повзрослевших. В те месяцы, к которым относятся записи в дневнике и наша мучительная переписка, за его плечами числилось шесть лет революционной, военной и организаторской деятельности. И ему еще не было двадцати... Пожалуй, на нем особенно ярко отразились противоречия времени, скрестились разные влияния. Его сознание, покоренное коммунистическими идеалами, его грубоватая воля юноши, с детства хватившего лиха, вели его по крепко прошитой главной линии — служения революции, но вся напряженность этого служения и крутой ломки всей жизни, от общенародной до семейной, распирала его душу и прорывалась наружу необузданностью поступков, недоброй требовательностью к себе и к другим, мальчишеским властолюбием, а иногда приступами тоски и неудовлетворенности всем и вся.

Природный ум и организаторский талант рано выделили его из общего ряда сверстников, он привык главенствовать, а в Питере, в положении нищего студента с перспективой оставаться в таком же положении еще шесть или семь лет, до окончания института, он потерялся, утратил уверенность в себе... нет, точнее сказать иначе — временами на него находила неуверенность, пусть и не осознанная до конца. Его уязвляло собственное невежество, когда он путался у доски на глазах всего класса в склонениях-спряжениях или не мог решить элементарную алгебраическую задачу. И дело было не только в слабости школьных знаний, а в неравномерности его развития —

ведь он свободно разбирался в вопросах политики, экономики, международных делах, о которых понятия не имеют школяры, он давно привык передавать эти знания другим и с трибуны говорил ярко, умно, его любили слушать.

Вот одна из дневниковых записей тех месяцев:

«Человек. Богданов говорит о нем как о целом мире опыта, о мире разворачивающемся, не ограниченном никакими безусловными пределами. Так. А вот пттрихи: часа два назад не ты ли, человек, говорил о положении целого мира, о миллионах подобных людей. Спокойно и бесстрастно делал выводы и убеждал в целой системе взглядов на разные вопросы. Ты был уверен в себе, в своем деле, чувствовал свою силу, был горд. А сейчас... Ты презираешь себя. Собою недовольный, ты чувствуешь, что ты слаб, безволен, утомлен, болен...»

На него тягостно действовала обстановка нэпа, торгашеский, спекулятивный разгул, особо заметный в большом городе. Как и многие другие люди, очарованные огромностью революционных задач и идеалов, он с трудом удержался на крутом повороте политики, когда оказалось, что предстоит терпеливое, кропотливое, постепенное продвижение — после отступления! — и революционным борцам нужно перестраиваться на новый лад, «учиться, учиться и учиться», и, мало того, еще и «учиться торговать»!.. В то время многие вылетали на повороте, уходили из партии сами или их исключали. Сознанием Павел воспринял мудрость и неизбежность нэпа сразу, без колебаний, но душой принять не мог, внутренне топорщился, страдал от соприкосновения с наглой и шустрой, торопливо наживающейся новой буржуазией и всем тем старым, как будто навсегда похороненным, что выбилося на поверхность нэпманской накипью.

Он уговаривал меня пойти с ним в игорный дом, снова открывшийся на Владимирском проспекте (теперь там Театр имени Ленсовета). Я побоялась, а он пошел и проболтался в его залах до рассвета, переходя от стола к столу. Потом рассказывал подавленно:

— Как будто революции и не было. Толстосумы с набитыми бумажниками, дамы в браслетах и кольцах, руки у всех жадные, трясутся, когда ставят ставки, трясутся, подгребая выигрыши... И тут же вьются шулеры, работают прямо на глазах, и проститутки караулят удачников, вцепляются... ну, как раньше!

Он был черен от обиды и отвращения, видимо, ожили недетские впечатления его детства.

И Он и Она были — во всяком случае, хотели быть новыми людьми. Разгул нэповской стихии не притуплял, а обострял их требовательность: не поддадимся, будем строги к себе, чисты перед революцией и друг перед другом. Вся их переписка об этом. Любовные признания, ссоры, примирения, мечты о своем будущем — все так или иначе об этом или вокруг этого главного — какими быть.

Он упорно ломал свой необузданный характер.

«Нужна вся сила любви, чтобы решиться написать такое письмо,— писал он после очередной размолвки.— Что страшного? Да ничего. Просто нужно сознаться, что я виноват. У меня было скверное настроение... Во мне проснулся прежний Палька. Когда ты уходила, я злобно подумал о тебе — «черт с ней!». Да, да. И вся сила воли понадобилась, чтобы пойти к тебе навстречу первому. Понимаешь ли ты меня, Вера? Как ни исковеркало меня прошлое, я силой люб-

ви многое могу сделать с собой. Что там многое! — все. И когда я говорил тебе — мне безразлично, а ты делала вид, что веришь, я чувствовал, как все это глупо, ломано, несправедливо, и все-таки повторял. Чувство раскаяния было несвойственно мне, а появилось...»

В дневнике спустя месяцы после разрыва:

«Я вел себя так, как будто мне все безразлично. Сила воли. А мне далеко не безразлично. Эх, если б таким, как теперь, я был семь месяцев назад! Как глупо устроена жизнь! Где мы, ее «цари»? Тяжело нам с неустановившимися взглядами, неустойчивой психологией жить на свете!»

Ей было проще — полудетский возраст одаривал ее беззаботностью и неиссякающей веселостью, проявления упрямства и властности в решающие минуты еще только намекали на то, каким ее характер сложится. Он был старше и еще в детстве повидал такое, что и взрослому лучше не видеть. Натуре его была свойственна размахистость, даже разухабистость — гулять так гулять, грешить так грешить! То, что клубилось вокруг — ночная жизнь улицы, пивных, игорных домов, ресторанов с цыганами и шантаннскими певичками, — не только возмущало его, но и завлекало. Двадцатилетний парень, он успел привыкнуть к случайным, ни к чему не обязывающим связям, легко завязывал их и так же легко разрывал, не задумываясь, хорошо это или плохо. Теперь, полюбив, он сопротивлялся новым соблазнам, теперь это было бы изменой прямоте и чистоте человеческой, предательством идеалов.

Он со злостью ломал свой характер и привычки, ни в чем не лгал, не приукрашивал себя, не скрывал того, что иные люди с такой бездумностью не стыдясь скрывают от любимых.

Была ли Она достойна его борьбы, его усилий к самосовершенствованию? Вероятно, нет. Настрадавшись за годы своей безрадостной любви к нему, она хотела теперь реванша, хотела царить и радоваться... Будь она старше, она помогла бы ему вернее, впрочем, так она и поступила спустя два года.

Ее девчоночья наивность и притягивала его и злила. Злило и то, что она росла в благополучной семье и в детстве видела только ласку и внимание, чем он был так горько обделен. В трудные дни их отношений он гневно упрекал ее:

«Тебе не нужен (и теперь и раньше) человек, мучимый той или другой борьбой, требующий нежности, ласки, заботы. Тебе нужен (и теперь и раньше) человек, полный обожания к тебе, забот о тебе, поклонения перед тобой... Я такую роль выполнял из рук вон плохо».

«Ты не можешь измениться, ибо ты выросла в соответствующих твоему типу условиях. Я тоже. Это влечет вывод ужасный. Забыв странного человека, отнявшего у тебя невольно несколько страниц жизни, ты сможешь обрести свое счастье с другим. Прости и прощай».

А затем они встречались — то на пароходе, которым оба плыли в Петрозаводск, то в коридоре общежития, куда он пришел навещать земляка... Их бросало друг к другу, счастливых, забывших все упреки и распри, и все — в который раз! — начиналось сызнова.

Перечитывая давние письма Павла Соколова, я с удивлением и

грустью чувствую, что только теперь по-настоящему поняла этого человека, хотя в течение шести лет всеми силами старалась понять его и намучалась оттого, что не понимаю, и он намучался, потому что не умел раскрыть себя. Или таков жестокий закон жизни — понимание приходит через много лет после того, как оно было необходимо?..

Еще не раз в этом повествовании я вернусь к Пальке Соколову, но, как мне кажется, именно здесь нужно сказать о нем то, что рисует его нравственный облик. Мы с ним прожили всего два года, но после разрыва не сумели стать чужими друг другу, наоборот — встречались редко, но всегда радостно и заинтересованно, стали проще, естественней, научились делиться прожитым и продуманным и воспринимать то, что пережил и продумал каждый из нас. Может, потому, что повзрослели?..

Трудным человеком Павел остался — наверно, и на фронте и в партизанском отряде он был непросто для окружающих. Но и в тридцать и в сорок лет в нем жила напряженнейшая жажда самосовершенствования, жил недремлющий внутренний контролер, помогавший ему обуздывать себя. Не одолев учебу и уйдя на практическую работу, он так и прожил практиком, самоучкой, но учился и хватал знания всегда и везде, куда бы ни забросила судьба. Он изучал индийскую поэзию, привлекавшую его образной философичностью и тонкостью чувств, читал древних философов и тянулся к сегодняшним, не всегда понятным ему талантам. Художники, режиссеры, актеры, бывалые люди неожиданных профессий были для него хлебом духовным, неизменным пристрастием. Его записные книжки пестрели такой многотемностью, такими разными и порой противоположными мыслями, выписками, сведениями, что, попадись они в чужие руки, читающий стал бы в тупик: кто владелец книжек, какой он профессии? То ли интеллигент высшей пробы, то ли студент-первокурсник?

В жизни Соколова был период, о котором я и теперь думаю с удивлением. Поработав год или два директором ленинградского, первого в стране Театра рабочей молодежи (ТРАМа), Павел перебрался в Москву, энергичнейшими мерами разыскал по заводам и фабрикам одаренную молодежь и с помощью ЦК ВЛКСМ создал московский ТРАМ, где стал художественным руководителем и режиссером-постановщиком. Палька Соколов — режиссером? Без подготовки, без учебы или хотя бы стажировки возле талантливого мастера?!

К его чести, Павел стремился привлечь знающих и талантливых людей: пригласил руководить учебной частью ТРАМа очень известного в те годы, а главное, умного и образованного актера Ф. М. Никитина, а музыкальной частью — композитора И. Дунаевского, преподавать биомеханику — Ирму Мейерхольд, танцы и пластику — Наталью Глан; он перетянул в Москву художником театра Евгения Кибрика, который быстро оброс одаренной молодежью, что привело к созданию ИзоРАМа — студии молодых художников. Появлялись в театре Бабанова, Судаков и многие другие талантливые актеры и режиссеры, помогавшие трамвцам постигать азы актерского мастерства. Нашлись и свои авторы, некоторые из них — в первую очередь Федор Кнорре — навсегда связали свою жизнь с литературой.

В те годы я частенько бывала в Москве, и Соколов обязательно показывал мне новые постановки ТРАМа — «Зови фабком!», «Дай пять!», «Дружную горку», «Тревогу»... Спектакли были живыми, волнующими сегодняшней молодежной проблематикой, они имели шумный успех у зрителей, до отказа заполнявших неказистое, самими трамвцами оборудованное помещение. Играли ребята самозабвенно,

с захватывающей искренностью, между ними и залом сразу возникал и до конца спектакля удерживался контакт, полный взаимопонимания. Особенно запомнился мне невысокий вихрастый парнишка — Коля Крючков. Стоило ему появиться на сцене, по залу перекатывались волны оживления и смеха. Актерской выучки у него было не больше, чем у других ребят, но все у него получалось естественно, как бы само собой, каждое движение и слово дышали достоверностью.

Сегодня мы знаем довольно крепкие любительские драмстудии, даже народные театры. Можно ли назвать ТРАМы их предтечами, можно ли сказать, что их спектакли были на уровне хорошей самодеятельности? В какой-то мере да, но ответ будет лишь приблизительно верным. Трамбовцы вызывают в памяти более поздние (и более крепкие, более профессиональные) молодые театральные коллективы, такие, как «Современник» первых лет или Театр на Таганке, сплоченностью и убежденностью, поисками своего собственного репертуара, обращенного к своим собственным зрителям-единомышленникам, наконец — моральной атмосферой, готовностью отдать все силы и все время ради общего дела, поступаясь личной славой или выгодой.

Раздумывая об удивительном превращении Пальки Соколова в художественного руководителя и режиссера (казалось бы, никаких предпосылок не было!), я решила расспросить об этом людей, работавших с ним в московском ТРАМе.

Евгений Кибрик поморщился и сказал, что никаким режиссером Соколов, конечно же, не был, но поднабрался кое-каких режиссерских приемов еще в ленинградском ТРАМе, у Михаила Соколовского. А главное, был хорошим организатором и умел влиять на ребят, хотя и не без позерства.

— Сидит на репетиции, загадочно смотрит, посасывая трубку, и чаще всего останавливает актера коротким замечанием: «Не верю».

Я простила Кибрику несколько раздраженный тон. Большой мастер и труженик, он органически не выносит отсутствия профессионализма и настоящих знаний.

Федор Никитин ответил по-иному:

— Соколов был талантливым человеком вообще и был очень увлечен созданием театра, увлечены были и молодые ребята, пришедшие в театр. Вот эта увлеченность помогла Соколову создать несколько хороших спектаклей. Надо сказать, что и советоваться он умел, извлекать пользу из каждого опытного актера и из работ лучших режиссеров тех дней.

Сам Никитин работал в ТРАМе недолго, так как, отснявшись в одном фильме, сразу начинал готовиться к следующему.

— Гораздо больше и лучше вам расскажет Николай Крючков, он же с первого дня был в ТРАМе, там и определился как актер, откуда Барнет позвал его сниматься в одном из первых звуковых фильмов, в «Окраине».

Странно, мне как-то не приходило в голову, что популярный и заслуженный актер Николай Крючков — это и есть тот самый Колька, вихрастый трамбовский парнишка!

Созвониться с Крючковым удалось далеко не сразу: «Николая Афанасьевича нет в Москве», «Приедет через неделю», «Еще не приехал». Наконец застала, пришла в один из тихих арбатских переулков, где особняком стоит многоэтажный новый дом, поднялась наверх, в пронизанную солнцем квартирку, и почувствовала, что я тут помеха. Да и как же не помеха, если человек только-только вернулся с юга, с утомительных кино съемок под палящим солнцем, а в

Москве тоже жарница, и на днях снова уезжать на съемки... Балконная дверь настежь, человек лежит на диване в самом что ни на есть домашнем одеянии, отдыхает с книгой в руках, изредка поглядывая на мелькающие кадры телепередачи, пока приглушенной до немоты, но скоро футбол — и тогда ящик заговорит, взорвется криками и гомоном болельщиков, телеглаз будет метаться по полю, попевая за всеми перипетиями игры, — и это тоже будет отдых. А тут — писатель, да еще женщина, надо спускать ноги с дивана, извиняться за домашний вид... Мне было стыдно, но дело есть дело.

Передо мною терпеливо сидел усталый пожилой человек с очень знакомым лицом — знакомым по десяткам фильмов, а не по давнему знакомству. От того трамбовского парнишки ничего не осталось, вместо вихров сединки да залысинки, покрупневшее лицо с волевыми складками — для ролей старого рабочего, или моряка, или бывалого солдата. И вся повадка простецкая, не актерская.

Я люблю такие встречи — без гостеванья и парадности, без обязательств на дальнейшее знакомство; можно задать свои вопросы, выслушать ответы и распрощаться, но можно и разговориться, если человек тебе любопытен и сам он не прочь поговорить; слово за слово — и вот уже возникают точки соприкосновения, постепенно проступают свойства личности, а иной раз вдруг приоткрывается и душевная глубина, куда не всякому дается доступ.

Точки соприкосновения возникли сразу, с первого моего вопроса о ТРАМе будто смыло усталость с лица, заискрились глаза, посвежел, прочистился голос. И повадка, примеченная в начале встречи, и манера говорить определились как очень знакомые, навсегда близкие — нестираемая печать комсомольского поколения двадцатых годов?.. А потом, слушая, как и что он вспоминает с таким явным удовольствием, перескакивая к сегодняшним своим делам-заботам и снова возвращаясь к прошлому, я неожиданно поняла, что в глубине-то души он и сейчас тот самый краснопресненский парнишка из рабочего барака, где он рос в одной комнатенке с матерью и семью младшими братишками и сестренками, где мать, оглядев теснящуюся вокруг стола ораву ребят, иной раз и всхлипнет — кормить-то нечем... Как старший мужчина в доме, пошел парнишка вслед за матерью на родную Трехгорку, получил профессию накатчика-гравера и не унывал, был так же весел, как цветастые ткани, которые выпускал, а вечером шел в фабричный клуб и делал там все что нужно — и сплет, и спляшет, и в «живой газете» сыграет, и на гармошке, и плакат напишет... Стоило пройти слуху, что создается в Москве Театр рабочей молодежи, он одним из первых прибежал туда, где театр должен был возникнуть, но где пока ничего не было, кроме убогого помещения, похожего на сарай, нескольких ребят и Павла Соколова. Как начинали? Пилили, строгали, сколачивали, потом репетировали, потом снова строгали, сколачивали, драили полы, зачастую до ночи, и тут же валились поспать, а чуть свет вскакивали и мчались на свои фабрики и заводы на работу...

Вот этот неунывающий парнишка и остался жить в глубине души большого актера солидных лет и званий.

— Соколов? Он все и создал и нас в актеры вывел. Очень был азартен и с первого дня заразил нас своим азартом. Весь день он проводил с нами, и спал тут же, при театре, кое-как, и работал наравне со всеми. Не чинился, но и с нас, правда, требовал работы на всю катушку... Как он режиссировал? По тому времени справлялся. Мизансцены придумывал интересно, от нас требовал достоверности, правды поведения, остроты. Мы как-то вместе всё продумывали и придумывали на репетициях — автор пьесы, Соколов, художник, ак-

теры. Все мы были увлеченные, потому и получалось. А на спектаклях и публика вдохновляла — мы ее понимали и она понимала нас. Когда нас решили профессионализировать, влить в другие театры, все это распалось. Часть ребят вообще ушла, а меня позвали в кино, так и стал киноактером.

Меня интересовало, какие отношения сложились у Павла с ребятами, что думает Крючков о его характере.

— Ну, как сказать... Вы, наверно, знаете, он любил иногда позировать, выделяться. Порой его как бы заносило...

— Капризничал?

— Вот-вот. Но работа шла горячая, так что капризы быстро перемальвались в деле. Резок бывал, это верно. Но и разобраться умел, где провинность, а где... — Крючков улыбнулся воспоминанию. — Случилась со мною история. В одной пьесе по ходу действия я поворачиваюсь спиной к залу, скидываю брюки и бросаюсь на кровать. И вот на спектакле только я стянул брюки, такой раздался хохот! Оказывается, я как-то прихватил резинку и вместе с брюками стащил трусы. Накинулись на меня ребята, думали — я нарочно. Прорабатывать хотели. Соколов меня позвал, расспросил, как было. Поверил мне и проработки не допустил. Да и заботился он о нас, знал, что нам трудно, ведь ничего не получали, прямо с производства в театр... Подкармливал как мог, иногда денег сунет — в долг без отдачи. Выхлопотал несколько ставок, я одну из первых получил, ног под собой не чуял от радости. И Соколов понимал это, тоже радовался. Но вообще-то он держался сурово, был требователен, даже жестко-требователен. Спуску не давал.

Уже после работы в ТРАМе, когда партийная мобилизация забросила Павла в Сибирь начальником политотдела МТС, он заново открыл для себя... людей.

Приехал он в Ленинград зимой, во время отпуска. Пришел. Сидели на ковре у топящейся печки, он помещивал кочергой жаркие угли, алые отсветы играли на его повзрослевшем лице. И вдруг он искоса метнул на меня взгляд своих быстрых, своих зеленых:

— Знаешь, что я открыл в Сибири? Людей. Как ни дико, я впервые научился заглядывать в человека, кто он и что, чем дышит, что ему нужно. Думаешь, искал подход? Может, сначала искал, но тут — глубже. Полюбил я это занятие — вникать в человека, и полюбил помогать людям. Случалось, нужна была конкретная помощь — жилье, деньги... Но я не о том, это и раньше бывало. Помогать людям жить, понимаешь? Осознавать себя, свою душу, свою силу. Я вдруг увидел, что люди лучше, чем я о них думал. И не надо приказывать и требовать — уж это я умел, даже чересчур! — а гораздо лучше все выходит, если подойдешь с душой, если поощришь словом, доверием, вниманием... Веришь, впервые в жизни — все, чего мне удалось достигнуть, на что удалось поднять людей, все без приказа, добром, по охоте. Странно, правда? В тридцать лет людей открыл.

Может, кто-то найдет его открытие наивным? Но пусть тогда вдумается, многие ли поднаторевшие в руководящих трудах работники душевно постигли то, что с такой искренностью высказал Павел как свое позднее открытие? И разве так уж редко попадают нам деятели, даже не пытающиеся разглядеть в человеке человека?..

Позолоченные буквы на холодном камне. Павел Илларионович Соколов...

Кем бы он стал для людей, если б не отдал родине и людям всего себя в короткий миг последнего боя?..

ПЕРВЫЕ ЧАСЫ

Студенту часы необходимы — хотя бы для того, чтобы опаздывать со смыслом и толком: если проспал первую лекцию и не поспеешь на вторую, есть смысл появиться перед началом третьей и войти в аудиторию вместе со всеми; если же идти на третью по твоему разумению не стоит, тогда важно знать, который час, чтоб заняться без промедления чем-либо более интересным.

В наши дни всеобщей радиофикации и телевидения, когда узнать точное время проще простого, часы есть почти у всех, а если у кого и нет, он охает, что вот остановились, отдал в починку или «отказали, надо купить новые»... В середине двадцатых годов не только телевидения, но и радиотрансляции не было, приходилось спрашивать «который час?» у счастливых обладателей часов, а во всем нашем общежитии часы имелись только у первой моей соседки по комнате Люды, да еще солидный дедушкин будильник стоял на тумбочке у лесников, но Шурка нарочно «забывал» завести звонок, чтобы вволю поспать, а если его заводил Лис, утром Шурка прихлопывал звонок раньше, чем тот успеет разстрезвониться, так что сладко похрапывающий Лис не слышал, как будильник робко звякал, прочищая голос... Пока аккуратная Люда не выехала из общежития, я знала: если Люда уходит в институт — значит, четверть девятого, можно встать, умыться, съесть кусок хлеба с солью или с пайковым шпиком, запить полуостывшим чаем и поспеть в свой институт к девяти. Вскоре вместо Люды со мною поселилась Леля Цехановская, студентка Педагогического института, милая, веселая и очень старательная Лелька, и мы обе намучались без часов. Правда, Лелю будил отблеск из окна напротив, где кто-то зажигал свет ровно в семь, но вставать в семь было рано, она решала полчаса понежиться в постели и нередко засыпала снова, особенно если вечером допоздна гуляла со своим Мишей. Меня же и отблеск не будил и утренняя беготня по коридору мимо наших дверей тоже, а когда я все же вскакивала, устыдившись Лельки, которая в страшной суете кое-как собиралась и, не успев поесть, убегала, кто мог сказать мне, сколько сейчас — около девяти, или уже десятый, или и того больше?

Пришлось откладывать деньги на крупную внебюджетную покупку. Магазины тогда были частные, нэпманские, цены — не подступись, меньше чем за тридцать тысяч самые простенькие часы не купишь, а откуда их взять, тридцать тысяч? Зато на толкучке, как говорили, можно купить приличные часы тысяч за пятнадцать — двадцать (такие тогда были деньги, хотя начал утверждаться и советский червонец, который можно было получить в обмен на старые тысячи по скользящему, все время меняющемуся курсу). Стипендию я получала двадцать тысяч в месяц. Если путем жесточайшей экономии на питании откладывать по тысяче или по две да приналець на всяческие заработки... Короче говоря, постепенно я накопила восемнадцать тысяч и в воскресный день, позвав с собой для храбрости табунок студентов, отправилась на толкучку попытать счастье.

Ох, что это было, толкучка времен нэпа! Прямо на подстилках, на венских стульях, на лотках, на раскладушках — тесными рядами — выкладывала свои товары «частная торговля»: старые барыни в кружевных митенках и шляпах с перьями, пожилые мужчины гвардейской выправки в выцветших френчах со следами погов, наглые молодки в цветастых платках и высоких ботинках, черноусые красавцы зверского вида, монашки без малейших проявлений благочиния, розовощекие дяди в картузах с лакированными козырьками и застенчивые интеллигенты в пенсне, с бородкой клинышком... Про-

давалось все — статуэтки и люстры, цейсовские бинокли, фарфоровые ночные горшки с вензелями, бисерные сумочки, некомплектные сервизы, пуговицы и корсеты, фотоаппараты «Кодак», седла и гвозди, швейные машины фирмы «Зингер», страусовые перья, комплекты «Нивы» конца прошлого века, французские духи и брюссельские кружева, старинные гобелены, погнутые детские коляски, бальные платья, расшитые стеклярусом по расплывающемуся от ветхости шелку, длинные трубки из тех, что для господ раскуривали казачки, самовары, тончайший хрусталь, поношенные ботинки, домашнего изготовления пирожные, комнатные растения в кадках, лайковые, до локтя перчатки, ведра и кастрюли, картины в золоченых рамах, примусы, фраки и даже цилиндры... Толпа завивалась воронками, проходя вдоль рядов и сквозь ряды (под визг и брань торгующих). Какие-то невзрачные личности крутились в самой гуще людской, размахивая перед носом покупателей отрезами сукна, заграничными ажурными чулками, веерами порнографических открыток... Кричали зазывалы: «А вот кому!...» Подозрительные субъекты с поднятыми воротниками, держа руку за бортом пальто, почти беззвучно, но внятно сообщали: «Есть валюта. Валюта!» Высоченный старик в меховом не по сезону треухе вскидывал над толпой связку коровьих ботал и звенел ими, сам получая удовольствие от их бойкого перезвона.

Тут же среди адского шума и толчеи инвалиды и безработные пели осипшими от перенапряжения голосами, подыгрывая себе на гармошке или на балалайке, и вокруг них как-то умудрялись собратиться в кружок слушатели: подручные певцов продавали желающим тексты песен, напечатанные подслеповатым шрифтом на узких полосках папиросной бумаги.

Цыпленок жареный, цыпленок пареный,
Цыпленок тоже хочет жить —

с завываниями и ужимками выводил молодой еще человек в броском галстуке и лоснящемся от старости пиджаке.

В нескольких шагах от него инвалид, кособочась оттого, что припал на костыль, так и сыпал в толпу забористые частушки; мимоходом я уловил:

...не зевай!
Нынче девушка без мужа — что без номера трамвай!

— Не зевай! — повторяли мои спутники, но имели в виду совсем другое: в толпе сновали опытные карманники и беспризорные мальчишки, выглядывая зазевавшихся простаков.

Где-то поблизости плакала женщина:

— Украли, ироды!

В другой стороне истошно кричали:

— Держи его! Держи!

Двигаясь кучно, чтоб не потеряться и чтоб не вытащили деньги, мы искали часы. Увидели часы-луковицу громадных размеров, увидели на колючеюй этажерке массивные каминные часы с бронзовыми амурами... Наручных не было. Мы уже отчаялись и устали от шума и давки, когда перед нами возник симпатичнейший дядька с часами, покачивающим на его согнутом пальце. Часы были небольшие, фирмы «Сима», на узком кожаном ремешке. Мы по очереди разглядывали их, прикладывая к уху — часы призывно тикали.

— Студенты? — ласково спросил дядька. — Повезло вам. Тороплюсь на вокзал, уступлю за двадцать тысяч.

Отказаться от такой удачи было невысказимо, но у меня было всего восемнадцать. Мои спутники начали торговаться. Дядька скинул тысячу, я упрасивала скинуть еще. И вдруг подошли два новых покупателя — из тех, с поднятыми воротниками, — они тоже прикладывали часы к уху и расхваливали их:

— Швейцарские! Чудесная фирма!

Я чуть не плакала — перехватят!

Пошарив по карманам, мои друзья кое-как наскребли около пяти сот рублей, и тогда те двое отступили, дядька сам надел мне часы на руку, застегнул ремешок и сказал, что уступил только ради милой барышни...

Все общежитие сбежалось любоваться покупкой. Слушали, как часы тикают, хвалили фирму, и блестящий циферблат, и стрелки, и ремешок. Когда счастливое событие было прочувствовано до конца, все разошлось по комнатам заниматься, пора была зачетная. Я тоже уселась готовиться к завтрашнему зачету, но то и дело подносила к уху часы. Тик-так, тик-так... До чего ж они славно тикали!

И вдруг в ухо ударила тишина. Часы молчали.

Я потрясла рукой — молчат.

Дуреха, чего испугалась? Просто кончился завод!

Осторожно завела часы, послушала — молчат.

Сняла с руки, потрясла посильней — молчат.

Напротив нашего общежития, на Литейном, помещалась часовая мастерская. Туда я и помчалась с утра, забыв про зачет и про все на свете.

Пожилой мастер со стеклышком на глазу копошился в разобранных часах, орудуя пинцетом. На меня ноль внимания. Я видела лишь пугающее стеклышко и блестящую лысину.

— Простите, пожалуйста. Не можете ли вы посмотреть мои часы?

— Угу (или — могу), — пробормотал мастер, продолжая копошиться.

— Они почему-то остановились. И не заводятся.

Не глядя он протянул руку за часами, открыл одну крышку, потом вторую, посвистел немного, снял с глаза стеклышко, оглядел меня и спросил, чего я хочу и откуда взяла часы. Я ответила немножго обиженно:

— Как откуда? Купила!

— И сколько же вы заплатили?

Я сказала.

— И как же вы покупаете на толкучке часы, не проверив, ходят ли они?

— Я проверяла! Они ходили.

— Они — ходили? И сколько же они у вас ходили? Минуту? Две?

— Нет, они до вечера тикали.

Он всунул в глазницу стеклышко, снова, посвистывая, рассмотрел внутренность часов и закричал через плечо в приоткрытую дверь:

— Аро-он! Шле-ма! Ми-ша! Идите сюда! Вы только посмотрите этих артистов!

Из задней комнаты прибежали еще три мастера со стеклышками. И все начали рассматривать часы, выхватывая их друг у друга, и чем-то восторгаться, и причмокивать губами, и качать головами, и хихикать.

— Да, это мастера!

— Вот арапы!

— Это ж надо уметь!

Понимая, что случилось нечто ужасное, я робко напомнила о себе:

— Вы можете починить?

И тут все четверо развеселились окончательно:

— Починить! Нет, вы слышите — починить! Так ведь там внутри ничего нет, девочка! Прямо-таки половины деталей нет! Это ж потрясающий штукарь делал, если они у вас тикали! Там же не чему тикать!

Какое-то время, забыв обо мне, они обсуждали, что именно сделал тот потрясающий штукарь. Потом им стало меня жаль, и они вчетвером популярно объяснили мне, что чем беднее человек, а тем более студентка в наше трудное время, тем дороже вещи он, то есть она должна покупать, потому что у нее нет лишних денег — кидаться ими, а дорогая вещь — это действительно вещь, купил — и будешь носить на здоровье, но кто же покупает на толкучке?! В магазине вы гарантированы от подобных артистов, которые ловят дурачков!..

Потом первый, с блестящей лысиной, показал мне изящные дамские часики:

— Вот, продаются по случаю, двадцать восемь тысяч, но это же часы!

Я тихонько ушла, унося свою покупку. Во дворе нашего дома размахнулась и швырнула ее за штабель дров.

Вторые часы я купила года через полтора в магазине. Они протикали у меня три десятка лет и сегодня еще лежат в ящичке стола — сработались, милые, а выбросить совестно.

ТАКИЕ БЫЛИ ГОДЫ

Наше полуголодное существование скрашивалось легкомыслием и гордым пренебрежением к сытости — чем меньше было еды, тем больше смеха и песен. Труднее переносилась нехватка одежек и обуви. Как ни крепишься, зимою в рваных ботинках плохо, разогреваешься бегом, но на бегу в дыры забивается снег, в помещении снег тает, сидишь с мокрыми ногами, коченеющими от холода, да еще и стыдишься — на полу под ногами лужа... С сентября до мая носила я пальтишко, полученное по ордеру еще в Мурманске, на зиму под него приметывалась ватная стеганка, неумело сооруженная мамой, отчего пальто оттопыривалось на боках, а со временем стало застегиваться с натягом — девчонка подросла! В обиходе у меня была одна юбчонка и две фланелевые блузки — по очереди стираешь, отглаживаешь и надеваешь в институт и на вечеринку, дома и в театр; на каникулах мама сшила мне из своего старого платья черную бархатную блузочку с короткими рукавами (длинные не вышли), в черном бархате я чувствовала себя прямо-таки королевой.

Насколько помню, почти у всех наших студенток и студентов с одеждой было плохо. Мальчишки особенно страдали из-за штанов — протирались, проклятые, на самых заметных местах, так что девочки более умелые, чем я, постоянно штопали их и ставили заплатки, но вокруг на диво прочных заплаток и штопок материя почему-то расплзлась еще быстрее.

Мы хотели, вздыхали, выкраивали из чего придется новые заплатки, искали хотя бы грошовых заработков, но не жаловались и не злились. Нам не требовался учебник политтрамоты, чтобы понять, откуда взялись разруха и нищета — война, развал царской России, страшный натиск белогвардейщины и иностранных интервентов, пы-

тавшихся задушить, задавить, стереть с лица земли новорожденную Советскую республику... все прошло на наших глазах, заполнило наше детство и юность. Мы чувствовали себя победителями — нищими, голодными, но победителями.

Все усилия советского народа измерялись тогда одной меркой — довоенным уровнем. Достичь довоенного уровня! Сообщения о каждой маленькой победе на подъеме к этому уровню печатались в газетах, под аплодисменты оглашались на собраниях — 43 процента довоенного уровня, 52 процента, 71 процент... Знали, конечно, что унаследовали от царизма страну дико отсталую, зависимую от иностранного капитала, но после семи лет потрясений даже убогий довоенный уровень выглядел желанным рубежом.

Сегодня давняя беда так основательно забылась, что и нам, видевшим ее своими глазами, уже не верится. А она была. Была! Проматриваешь статистические данные тех лет и замираешь над цифрами... Вот они, некоторые из многих, — взврос, без особого отбора:

в 1921 году национальный доход страны составил всего 38 процентов довоенного;

в стране было около 7 миллионов беспризорных детей;

в 1923 году в руках нэповской буржуазии было до 4 тысяч мелких и средних предприятий, три четверти розничной торговли;

в деревне молодые совхозы и колхозы составляли всего 1,5 процента (полтора процента!) среди массы мелких и мельчайших крестьянских хозяйств, а рядом быстро возрождались и жирели, наживаясь на беде народной, кулаки;

неграмотных насчитывалось 76 процентов всего населения, а на прежних национальных окраинах и того больше: в Казахстане 98 процентов, в Киргизии до 99 процентов;

рабочие руки были нужны везде, но не хватало ни средств, ни сырья для восстановления промышленности — и даже в 1923 году еще числилось около миллиона безработных.

В те дни мы не знали многих цифр, но и без них видели — сытых, добротнo одетых кулаков и кулачих, продающих на рынке парное мясо, молоко и масло по немислимьм ценам; замурзанных, немыгтых, в жалких отрепьях беспризорных ребят — мы и жалели их, и побаивались: уж очень они наловчились залезать в чужие карманы; Биржу труда на Петроградской, напротив сада Народного дома, большое здание с башенкой, — и днем и ночью толпились там безработные, боялись уйти (вдруг подвернется хотя бы временная работа), сидели прямо на тротуарах, а то и спали, привалясь к стене... Много, очень много заводских труб мертво глядело в небо над молчаливыми заводскими корпусами с выбитыми стеклами...

Но с каждой неделей что-то улучшалось, налаживалось, вот и червонец крепнет, и заводы начинают работать — то один, то другой, тут еще одна труба задымилa, а там пока не дымит, но на закопченных стенах мелькают солнечные зайчики — стекла вставляют. Это — восстановление. Мы не сомневались — все будет восстановлено, а там пойдет и новое строительство, лишь бы утомонились наши враги, лишь бы не война! Что оно еще замышляет, готовит исподтишка — капиталистическое окружение?..

Так оно называлось тогда — капиталистическое окружение. Наша страна была одинока, послевоенный, растревоженный, раздираемый спорами, напуганный революцией капиталистический мир обступал ее со всех сторон и мечтал ее сокрушить — не удалось войной, так голодом, блокадой, кабальными требованиями. Наглые выходы и провокации следовали одна за другой. Мы, дети молодого мира, взирали на них с самоуверенным спокойствием — если войной не одо-

лели, так уж теперь тем более не одолеют! Международные дела воспринимались нами почти интимно, как наши собственные дела, Чичерина восторженно любили, хотя никогда не видели его, наслаждались тем, как наши дипломаты отбивают одну атаку за другой, используя противоречия между разными капиталистическими государствами. Генуя. Рапалло. И вот уже в Рапалло пробита первая брешь — подписан договор и установлены дипломатические отношения с Германией. И еще бреши — торговые договоры с Англией и рядом других стран: как бы ни ярились против революционной страны наиглавнейшие акулы империализма — Чемберлен, Керзон, Пуанкаре, сами капиталисты хотят торговать с загадочной Советской страной, даже торопятся, боясь, что их опередят другие.

Уркарт. Лесли Уркарт, крупный английский капиталист, один из самых яростных организаторов интервенции, советник лорда Керзона! Двадцать лет хозяйничал в Сибири — медь, цинк, серебро, золото, уголь... И вот добивается у Советского правительства концессии на разработку природных богатств Сибири!.. Между прочим, там же, где были его дореволюционные владения. На что надеется? На реставрацию или только на прибыли? Во всяком случае, торгуется всю, выдвигает кабальные условия... А Ленин говорит: «Извините, то, что мы завоевали, мы не отдадим назад. Россия наша так велика, экономических возможностей у нас так много, и мы считаем себя вправе от вашего любезного предложения не отказываться, но мы обсудим его, как хладнокровные, деловые люди».

Очень нас занимала история с этим антисоветчиком Уркартом.

Но тут в Англии возобладали самые оголтелые реакционеры во главе с лордом Керзоном, начавшиеся было торговые отношения лопнули, Керзон прислал Советскому правительству наглейший ультиматум.

Как помнится тот майский день! От края до края заполненный народом Невский, гневные выкрики демонстрантов, гневные лозунги на самодельных плакатах — кумачовых или картонных, кто как сумел. Мы тоже идем всем институтом, размахивая самодельными плакатами, мы скандируем: «Лорду — в морду! Лорду — в морду!» — и почему-то уверены, что наши слова до Керзона дойдут. Что ж, вероятно, и дошли.

И еще помнится другая демонстрация протеста — было ли то в день, когда пришла весть об убийстве Воровского в Швейцарии? или несколькими годами позднее, когда в Варшаве на вокзале был в упор застрелен белогвардейцем советский дипломат Петр Войков? или чуть раньше, когда провокационный налет на нашу торговую организацию в Лондоне привел к новому разрыву англо-советских отношений? или еще по какому-то поводу? — в те годы провокаций хватало...

Вечерело, с пасмурного неба сыпал редкий, ленивый то ли дождик, то ли мокрый снежок, Дворцовую площадь, заполненную демонстрантами, пронизывали беглые лучи прожекторов, все окрашивая в призрачную голубизну, мы шли комсомольской колонной прямо навстречу голубым лучам и выкрикивали сокрушительные лозунги, и пели «Варшавянку», и дружно скандировали слова, заимствованные у Блока (или Блок заимствовал их у революции?):

Мы на го-ре всем бур-жуям
Ми-ро-вой по-жар раз-дуем!

Затем насмешливой скороговоркой, с очень звучным окончанием:

Мировой пожар горит,
Буржу-а-зия дррожит —
А-а-пчхи!!

В задорном «а-а-пчхи» не было веселости, а было презрение к организаторам провокаций и убийств. Какие бы новые опасности ни нависали над нами, мы чувствовали свою силу, силу своей революционной страны, и шумными колоннами выходили на улицы, чтобы дать отпор лордам, панам-пилсудчикам и всякой антисоветской нечисти, и собирали деньги — копейка к копейке, рубль к рублю — на строительство самолетов «Наш ответ Чемберлену!». В капиталистическом окружении мы все же не чувствовали себя окруженными — разве рабочий класс в Англии, во Франции, в Германии не с нами? Разве всякие черчилли и чемберлены не вынуждены считаться с мощным движением народов «Руки прочь от России!»? Разве не возникают партии коммунистов и молодежные коммунистические организации во всех странах, на всех континентах?

В первый год моей учебы, осенью 1922 года, нас взбудоражила весть о том, что конгресс Коминтерна откроется в Петрограде и несколько дней будет заседать тут, а уж потом переедет в Москву. Конгресс Коминтерна! Я бы себе не простила, если б не попыталась попасть туда хоть ненадолго, если б не сумела увидеть делегатов конгресса, людей, которые добровольно и осознанно обрекли себя на жизнь тревожную и опасную, на тюрьмы и пытки, на преследования и казни... И среди них будет Ленин, может, удастся услышать его — где и когда еще представится случай услышать или хотя бы увидеть Ленина!

— Надо пробраться!

— Надо, но как?

Вызвалась рискнуть со мною Лелька. Мы жили еще врозь, но уже выделили друг друга из общей студенческой компании; был тот неясный, трепетный период зарождения дружбы, когда два человека предчувствуют нарастающее сближение, но еще не сблизились, не узнали как следует друг друга и вот приглядываются, вслушиваются, нащупывают точки соприкосновения, доброжелательно обходят камни преткновения, день за днем бессознательно проверяют друг друга — что ты можешь и как понимаешь то, что меня волнует, хорошо ли нам вместе, возникает ли тот безмолвный контакт, без которого ни дела, ни шалости не получится. С Лелькой у нас получалось все.

— Пойдем к вечеру, днем не пробраться, — рассудила Лелька.

Конгресс заседал на Петроградской, в здании Народного дома. В ранних ноябрьских сумерках мы беспечно устремились к нему, но уже на дальних подступах оказались в густой толпе. Крепко сцепив пальцы, чтоб не потеряться, мы ввинчивались в толпу, боком проскальзывали между людьми или, согнувшись дугой, пробирались под их локтями. Где-то впереди был проход, по которому шли на конгресс делегаты и счастливицы, получившие гостевые билеты, но мы не могли туда пробиться, только видели, что люди тянут головы, становясь на цыпочки, и слышали голоса:

— Смотрите, негр!

— А вон индусы идут! Индусы! Индусы!

— Смотрите, старуха!

— Какая старуха? Это же Клара Цеткин!

— Где? Где?

— Да совсем не она, что, фотографий не видели?

— А вот французы, конечно французы, слышите, говорят!

— Да не французы, итальянцы!

В отчаянии от того, что пропускаем самое интересное, мы продирались вперед, но передние ряды сами держали строй и дисциплину, на нас несколько раз цыкнули:

— Куда лезете? А ну, девчонки, марш отсюда!

Мы подались в сторону и оказались зажатыми в кольце толпы, сдерживаемой сплошным заслоном конной милиции, а может, и не милиции, а красноармейцев-кавалеристов, мы не очень-то разбирались в формах. Сумерки тут, в стороне от входа, были гуще, но это нас и прельщало. Толпа напирала, всадники крутились на своих нервных конях и страдающими голосами уговаривали напирających:

— Ну куда? Куда? Товарищи, поймите сознательность! Ну куда вы под копыта? То-ва-ри-щи, осадите, по-хорошему прошу! Сто-ой, говорю!

Мы прибились к группе людей, особенно рьяно пытавшихся преодолеть кавалерийский заслон, и тут Лелька дернула меня за руку — не стовариваясь мы нырнули прямо под брюхо коня, в страшноватый промежуток между двумя парами нервно пританцовывающих ног с такими внушительными копытами: ушибет — тут тебе и крышка! На миг пахло конским потом, кожей, сапожной ваксой от сапога, на который мы чуть не напоролась, — и мы уже на той стороне и нужно бежать, бежать, пока нас не заметили...

Бежали мы не одни, то тут, то там мелькали такие же, как мы, «прорвавшиеся». Но у главного входа шла проверка пропусков, и Лелька рванула меня прочь — в обход, где-то должны же быть еще двери!

Еще дверь мы нашли, там стоял рабочий парень с повязкой на рукаве, он преградил нам путь и довольно добродушно сказал, что без пропуска нельзя, идите домой, девчата.

— Протри глаза, — сердито сказала Лелька, — стенографистки мы, нас ждут!

— По телефону вызвали, французов стенографировать, — добавила я и, мобилизовав все свои знания, произнесла по-французски довольно длинную, хотя и бессмысленную фразу.

— Так вам же должны были пропуска... — растерянно сопротивлялся парень.

— Ты лучше покажи, где секретариат, — совсем сердито сказала Лелька, — ведь опаздываем, нас дожидаются, можешь ты понять? Французы!

Парень не знал, где секретариат.

— Должен знать, раз поставлен тут, — сказала Лелька, и мы прошли мимо сконфуженного парня и поторопились как можно скорее затеряться среди людей, сновавших по коридору.

В зал мы попали как-то неожиданно. Прижались к стене и постарались впечататься в нее, чтоб не привлечь внимания. Большой зал был полон, но мы видели только затылки сидящих — много-много затылков — и лишь иногда чей-то профиль, склонившийся к соседу. Очень далеко от нас, на сцене, за длинным красным столом сидело много людей — президиум. Мы напрягали зрение, стараясь хоть кого-либо разглядеть. Увидели седую женщину — может, это и есть Клара Цеткин, бесстрашная немецкая коммунистка?.. Искали знакомую фигуру Ленина, его подвижное лицо с высоким лбом, но, как ни старались, не нашли. На трибуне кто-то говорил по-испански, говорил негромко, до нас доносились только звуки голоса, да и не понимали мы по-испански. Когда он наконец закончил речь, вышел переводчик и начал переводить на английский, а может, это был уже следующий оратор, англичанин, мы не знали. Скучно было стоять и слушать незнакомую речь. Мы уси-

ленно разглядывали сидящих в зале делегатов, где-то далеко увидели двух темнолицых людей, возможно негров, еще увидели — издали не разглядеть — голову в тюрбане, какие носят на Востоке, но, в общем, сидели в зале самые обычные люди, ничем не отличающиеся от наших, слушали ораторов, некоторые что-то записывали, некоторые переговаривались, трое поднялись и тихо прошли мимо нас, доставая папиросы, но папиросные коробки оказались советские, «Ява» Ленина не было.

Рядом с нами у стены стояли еще люди — может, прорвавшиеся так же, как мы, может быть, гости или служащие? Хотелось спросить их, где Ленин, но страшно было, что они, в свою очередь, спросят, кто мы такие.

Уже говорил третий или четвертый оратор, когда в зал вошли и, не желая проходить вперед во время речи, остановились совсем близко от нас два явных иностранца — лица как лица, могли быть и русскими, но самые обычные, отнюдь не новые костюмы были все же не наши и салтуки не такие, как у нас.

Решившись, я придвинулась к одному из них и отчетливо, хотя и шепотом произнесла короткую французскую фразу:

— Камарад, у э Ленин? (Товарищ, где Ленин?)

Иностранец моего французского не понял, но уловил — Ленин. Заулыбался, зажег сигарету и ответил английской фразой, из которой я поняла только «ноу» (нет) и еще «Москау» (Москва). Ленин в Москве. Они увидят и услышат Ленина в Москве. А я не увижу и не услышу...

Мы ушли разочарованными, но в общежитии оказались героинями дня: подумать только, пробрались на конгресс Коминтерна!

— А Ленина видели?

— Он же в Москве, будет выступать, когда конгресс переедет в Москву, — отвечала я так, будто это было давно известно.

— А кого видели?

— Всех видели! И Клару Цеткин, в президиуме.

— Кажется, это была она, — сказала Лелька. И кинула на меня такой пронзительный взгляд, что я остереглась хвастать дальше. Это она умела, Лелька, — одним взглядом поставить на место.

Замечательным человеком была она, золотая подружка моих недолгих студенческих лет! Маленькая, русоволосая, с большими серыми, с голубым отливом глазами, с кротким, но порой и непреклонно твердым голосом, Лелька обладала редкой и неиссякаемой добротой. В общежитии она была всем и по всяким поводам нужна, в нашу дверь постоянно стучали:

— Леленька, хоть чего-нибудь до стипендии!

Лелька притворно ворчала: «Беспутная голова, никогда у тебя не хватает!» — и обязательно чем-нибудь выручала — хлеба отрежет или отсыплет пшена.

— Лелечка, ты не дашь свои чулки на вечер? Я остороженько...

— Свои пробегала? Каждый вечер свиданки, разве напасешься!

Но девчонка, бегавшая каждый вечер на свидания, тут же натягивала Лелины паутинки — единственные.

— Лелик, можно тебя на минутку?

Парень выглядел несчастным, я уже догадывалась: его ветреная невеста, которая жила в общежитии на Кирочной, ушла с кем-то гулять, а то и вообще не ночевала дома.

— Горюшко ты луковое, — говорила Лелька и шла с ним в переднюю, где возле окна обычно происходили секретные разговоры.

Вернувшись после долгого объяснения, она тихонько ворчала себе под нос:

— Растягива чертов, накрутил бы ей хвост, а то ходит-вздыхает, вот она и выкамаривается, гулена, знает, что он никуда не денется, я ему так и сказала: не ходи, пока сама не прибежит.

Поворчав, Лелька все же выполняла просьбу влюбленного — отправлялась на Кировную и «накручивала хвост» гулене.

Миша сердился, что все кому ни вздумается эксплуатируют Лельку, но, думаю, сам очень ценил ее безотказную доброту и всегдашнее благорасположение к людям. Поклонников у Лельки не было, возле нее слишком твердо стоял Миша. Лелька была из тех девушек, которых нельзя не приметить, но если первой мыслью было: «Какая милая девушка!» — то вторая мысль наверняка возникала серьезная: «Хорошо иметь такую жену!» Она была создана для того, чтобы вить прочное гнездо, затеять с нею летучий роман вряд ли кому-нибудь приходило в голову.

Лелька выросла в небольшом городке Лодейное Поле, в учительской семье, и с детства вобрала в себя чудесные черты, отличавшие лучших представителей русской провинциальной интеллигенции, — трудолюбие и совесть, тягу к культуре, которой так не хватало вокруг, и самоотверженную готовность служить людям. Вероятно, из нее получился бы прекрасный педагог, но жизнь судила иначе: еще студенткой Леля вышла замуж за Мишу («Понимаешь, я бы подождала до окончания института, но Мише трудно!»), затем родила ребенка, через год — двойняшек («Миша в восторге — интересно наблюдать, как они растут вместе, копируют каждое движение друг друга, он говорит: а если тройняшки, еще занятней, наверно! А я говорю: спасибо, только рожай и выхаживай сам!»)... Когда я навестила их уже после войны, Леленька и Миша были густо окружены своим подростком потомством, и так мило выглядела моя давняя подружка в роли матери семейства — кругленькая, седеющая, бесконечно добрая, всеми своими нежно любимая и всеми своими как бы незаметно, ласково, но и твердо руководящая.

Надо сказать, что при всей кротости своего белокуро-сероглазого облика, при всей нежности звонкого голоса и мягкости характера Лелька отнюдь не была безответной тихоней, она охотно откликалась на любую озорную затею, любила посмеяться и напроказить, а язычок ее был остер и, когда нужно, беспощаден. Упорства у нее хватало — ведь именно она без колебаний потянула меня под брюхо коня, раз уж решили пробиваться!.. К моим поклонникам она относилась с насмешливой терпимостью, к Пальке Соколову благоволила, так как видела — парень любит всерьез, а уж что я влюблена без памяти, тут и догадливости не требовалось; приглядываясь к Пальке, она понимала его трудную душевную жизнь, пожалуй, лучше, чем я, сочувствовала ему, но иногда и мне: «Ох, Верушка, намучаешься с ним!» Зато мой летучий флирт с лесником Шуркой приводил ее в ярость, Шурка это понимал, трусливо избегал ее и пуще всего боялся ее насмешек. Случилось так, что к нам в общежитие кто-то привел черноглазую девушку с гитарой, она пела цыганские романсы и переглядывалась с Шуркой, а когда спела: «Я — цыганка, моя любовь страстью дышит, волнует кровь...» — Шурка прирос к ней и потом пошел провожать и недели две бегал за ней, начисто забыв обо мне. Мое самолюбие было уязвлено, хотя, в общем-то, Шурка был мне совсем не нужен. Лелька видела это (она всегда и все примечала), посмеивалась и на правах старшей (года на четыре!) поучала меня:

— Переметнулся — и слава богу! А завтра другая споет: «Дышала ночь восторгом сладострастья» — он за нею начнет ухлестывать. Шаромыжник!

Забегаю вперед, расскажу историю, случившуюся несколько позже, когда я поселилась с мамой, переехавшей в Питер, а Лелька с Мишей жили в общежитии на Кировной, где им выделили комнату. В то время мы встречались реже, Лелька ждала ребенка и была погружена в семейные заботы, совершенно чуждые моему девичьему лёгкомыслию. Но время от времени я к молодым супругам забежала. Однажды Лелька и Миша предупредили меня, что «шаромыжник» Шурка хвастается, якобы одержал надо мною «полную победу», а потом отошел, «чтобы не быть вынужденным жениться». Мише об этом рассказали его товарищи. Лелька предлагала — пойду к нему вдвоем с Мишей и отругаю! Но ведь Шурка может отпереться или намекнуть, что Леля не знает, что было, а чего не было.

— Не нужно, я сама.

Шурка время от времени появлялся на моем горизонте и не раз напрашивался в гости. Вот я и попросила Лельку передать, что приглашаю Лису и Шурку к себе, и назначила час, когда мама уходила давать уроки, потому что мама была бы единственным свидетелем, который лишней.

Решение было скоропалительным. Если б дала себе время подумать, не посмела бы. Шурка — опытный, хитрый, оба парня старше меня лет на шесть, да и тема... ох, какая трудная тема...

Ну и волновалась же я перед назначенным часом!

Друзья пришли торжественные, при галстуках. Нужно было «брать быка за рога», стоит расслабиться — пропадешь. Я их усадила на диван, села перед ними на стул и, обращаясь больше к Лису, чем к Шурке, без вступления жестко повторила все, что мне стало известно, и точно определила качество подобного хвастовства. Пока говорила, смотрела в стенку, чтобы не сбиться, а тут глянула на Шурку... Господи! Посерел, глаза бегают, куда весь апломб подевался, мозгляк мозгляком! И как он мог нравиться мне?! Как я могла жалеть, что Палька не умеет так красиво ухаживать?! Ведь все — фальшь. Для дур вроде меня!

Мне стала противна собственная глупость, захотелось поскорее кончить трудный разговор, и я обратилась уже к Лису:

— Ты знаешь, Лис, что ничего похожего не было. Я уверена, тебе стыдно за Шурку. Поэтому скажи ему сам все что надо и скажи ребятам в общежитии, что Шурка наврал и нахвастался. Вот и все.

Затем я встала, как королева, закончившая аудиенцию. Отмела попытки Шурки объясниться и проводила их до выхода, подав руку только Лису. А когда закрыла за ними дверь, почувствовала страшную усталость, словно подняла непосильную тяжесть, и сделала то лучшее, что получается только в юности: прикорнула на диване и немедленно заснула. Вернувшись с уроков мама была крайне удивлена, увидев меня крепко спящей, и еле добудилась, чтобы спросить:

— Заболела?

— Ой нет, как раз наоборот! — ответила я таким счастливым голосом, что мама весь вечер подозрительно на меня посматривала и как бы невзначай выясняла, не заходил ли сегодня Палька Соколов.

Лелька пришла в восторг от моей королевской «аудиенции» и не преминула сказать Шурке при немалом количестве свидетелей:

— Ну что, шаромыжник, получил пощечину? Поделом, не ври, а то и мы с Мишей добавим.

— Последняя сцена последнего акта, — смеялась она потом.

Мы с Лелькой жили в кругу представлений, навеянных театром.

К театру мы приобщились в первый же год начавшейся дружбы, когда никаких средств для этого у нас не было, кроме ловкости и смелости. Путь во все театральные залы нам подсказала удача с про-

никновением на конгресс Коминтерна — уж если и туда попади!.. Принцип был ясен — без билетов. Постепенно мы превратили наши вылазки в своеобразный спорт: зайдем на трамвае до театра, зайдем в театр и зайдем же на трамвае домой. Мы так втянулись в этот вид спорта, что однажды в Мариинке, проникнув в ложу бенуара, где очень милые молодые люди не только усадили нас впереди, на лучшие места, но и набивались потом в провожатые, мы категорически отказались от симпатичных провожатых, боясь, что они захотят заплатить за трамвайные билеты.

В театры мы попадали так: проскочив в гардероб и сдав пальто, бежали на галерку, там контроль был куда снисходительней, чем у дверей в партер, которые неотлучно охраняли уцелевшие еще от времени старого, императорского театра (может, так нам представлялось?) солидные капельдинеры в ливреях с позументами, по-Лелькиному — «пантеры»; с галерки, перевесившись через борт, мы пристрасно изучали публику в ложах бенуара и бельэтажа — психологическая задача заключалась в том, чтобы не нарваться на нэпманов или на чопорных мещан, а угадать людей веселых, без гонора, любящих искусство; выбрав подходящую ложу и определив, под каким номером ее искать, мы шли вниз и чинно прогуливались по коридорчику вдоль лож, приучая «пантеру» к виду двух мирно беседующих девушек, бесспорно обеспеченных билетами; гуляя, мы дожидались минуты, когда «пантера» отвернется, проскальзывали в нужную ложу и скромненько просили разрешения постоять у стенки, никого не беспокоя, так как с наших мест на галерке ничего не видно. Психологическим чутьем природа нас не обделила, я не помню случая, чтобы нас прогнали.

Начали мы с Мариинского театра — ныне это Академический театр оперы и балета имени Кирова. Сперва нас повела туда любознательность, потом я по-новому полюбила музыку, открыв для себя прелесть вокального искусства, то пиршество голосов, какое дает опера, когда выделяются, спорят, сливаются воедино и вновь вырываются на простор великолепные, заполняющие весь зал мужские и женские голоса, а затем вступает хор с его чудесным многоголосьем, таким выразительным, что за несколькими десятками поющих людей ощущаешь толпу, народ с его многоликостью и единством, и все это объединяется оркестром, именно он ведет и организует всю сложность музыкальной жизни, жизни, полной действия, любви и страданий, борьбы и решений, которая разворачивалась на сцене и через такую необычную, захватывающую форму выражения доходила до твоего стесненного волнением сердца. «Риголетто», «Аида», «Чио-Чио-Сан», «Лознгрин», «Риенци», «Евгений Онегин», «Алеко», «Пиковая дама», «Травиата», «Зигфрид», «Кармен», «Дон-Жуан», «Тангейзер»... Вагнер, Чайковский, Моцарт, Пуччини, Бизе, Рахманинов, Верди... Хрустальная колоратура Горской и глубокое меццо-сопрано молодой Максаковой, сочный баритон Сливинского, мощный бас Рейзена и безукоризненное искусство стареющего Ершова... Ершов уже расставался с оперной сценой и в «Лознгрине» (своем знаменитом «Лознгрине»!) прощался с публикой, которой он доставил столько радости и которая так благодарно, со слезами, с цветами провожала его... А через год он все же выступил еще раз, не устояло сердце большого артиста, и снова был «Лознгрин»... Мы и второй раз проникли на прощальное выступление Ершова, в публике говорили, что у него иногда срывается голос, «дает петуха» на верхних нотах, и я с таким тревожным сочувствием слушала его и так волновалась, когда его уже ослабевший голос брал верхние ноты, что у меня от

напряжения заболело горло, но никаких «петухов» не было, осталась радость от встречи с чарующим талантом.

Как ни странно, ни я, ни Лелька не тянулись к балету, может, не научились понимать его язык. Балет ассоциировался у нас с императорской сценой, с придворными балетоманами в первых рядах партера, с услаждающим зрелищем для пресыщенных людей. Хорошо это или плохо, но так было. И по-настоящему я «открыла» для себя балет только несколько лет спустя, когда появился могучий Вахтанг Чабукиани и гениальная Уланова, «обыкновенная богиня», как ее называли. Впервые я увидела ее в «Жизели» — в первом акте она жила так естественно, что я даже не заметила, танцует ли она, а во втором, на кладбище, после скольжения и кружения балерин — «девичьих душ», казавшихся бесплотными, вылетела на сцену Уланова, будто и не касаясь пола, и все другие танцовщицы показались тяжелыми... Но это было уже в начале тридцатых годов.

А в первой половине двадцатых, бегая по очереди то в один, то в другой оперный театр, так что за два года прослушали весь их репертуар, мы с Лелей озирались и прислушивались, где и что возникает интересное, новое. В новизне революционных лет очень хотелось и новизны в театрах, а она еще только зарождалась, — сейчас странно вспоминать, что еще не заявили о себе новые, советские композиторы и драматурги, еще учился в школе Шостакович, не появилось ни одной советской оперы... Правда, была попытка использовать музыку Пуччини и по новому либретто переделать «Тоску» в оперу о парижских коммунарах, но сама идея была порочной, «Борьба за коммуну» сошла со сцены.

Мы скоро разобрались в том, что новые веяния и поиски сосредоточились не в Мариинке, а в молодом коллективе бывшего Михайловского театра, ныне Малого театра оперы и балета. До революции это был императорский французский театр, в дни революции французская труппа уехала на родину, а в помещении театра шли спектакли разных жанров — оперы, оперетты и даже драматические спектакли. Уже приобрело известность имя дирижера Самосуда, сделавшего для нового оперного коллектива и для создания нового репертуара так много, что театр стали называть «лабораторией советской оперы». В первой половине двадцатых годов его усилия еще не выявились, мы просто чувствовали, что в Михайловском как-то свежее, интересней, и бегали на все спектакли подряд, на «Майскую ночь» и на «Фауста», на «Корневильские колокола» и «Сказки Гофмана», на «Золотого пестушка» и «Похищение из сераля»...

Именно в этом здании я пережила одно из самых сильных театральных впечатлений той поры.

«Эуген несчастный» Э. Толлера. Мы понятия не имели, кто такой Толлер, и пробрались на спектакль, даже не зная, что это не опера, а драма немецкого драматурга, исполняемая актерами Александринки во главе с Вивьеном и Рашевской. Поднялся занавес — и перед нами предстала жизнь, подлинная жизнь не каких-то там прошлых веков, а современная, сегодняшняя, послевоенная, с трагедией солдата, тяжело раненного в пах и вернувшегося домой к любимой и любящей молоденькой жене... Мы были потрясены страданиями этих двух несчастных, потрясены игрой Вивьена — Эугена, потрясены и самой постановкой и декорациями — тогда это было неожиданно: домик в разрезе со спальней супругов на втором этаже и уходящие в глубину тесные улочки со светящимися окнами...

После «Эугена» мы кинулись в драматические театры, не оставляя оперу, так что пришлось «театралить» чуть ли не каждый вечер. Сперва мы повадились в Александринку (ныне Театр имени Пушкина), что-

бы увидеть в других ролях Вивьена. Таких потрясающих душу современных пьес больше не встретили, но влюбились в актрису Тиме и ради нее ходили не только на все спектакли Александринки, в которых она играла, но и в Театр оперетты (жанр, с юности мною отвергаемый), она умудрялась, совмещая работу в двух театрах, выступать в «Сильве» и «Веселой вдове», да так, что я забывала о своем неприятии жанра. Когда Тиме была на сцене, я смотрела только на нее, бывает же такое, думала я, в одной женщине — все: красива, неотразимо обаятельна, пластична, чудесно поет, непринужденно тацует и при этом талантливая актриса!

И еще одну актрису мы полюбили так, что бежали смотреть на нее в самых посредственных салонных пьесах, в основном французских, которые шли в театре Сабурова или «Пассаже» (там, где теперь Театр имени Комиссаржевской). Вот некоторые названия тех пьес: «Заза», «Женщина без упрека», «Так пробуждалась любовь», «Нежность», «Школа богинь», «Наряды и женщины», «Женщина в 40 лет»... и еще «Ревность» Арцыбашева. Во всех этих пьесах главные роли играла Елена Маврикиевна Грановская. Было ей в то время далеко за сорок, она была несколько полна для ролей молоденьких женщин, тогдашняя мода на короткие юбки еще подчеркивала полноту. Девчонкам нашего возраста, склонным считать тридцатилетних старыми и насмешничать над «толстухами», Грановская в первые минуты показалась именно «старухой и толстухой», но такова была сила ее необыкновенного и своеобразного таланта, что через несколько минут первое впечатление отлетело, чтобы никогда не возвращаться, мы видели Грановскую такой, какой она хотела быть, и если она играла юную влюбленную — мы видели юную влюбленную, если она играла актрису, варьете в расцвете очарования и успеха — мы видели ее именно такой... Особо чаровал ее голос — звучный, глубокий, чуткий ко всем оттенкам чувств.

К нашей чести, мы с Лелькой были восприимчивы к истинному таланту, но никогда не вливались в толпу истерических поклонниц модных теноров и героев-любовников. А при всем восхищении талантами все же умели заметить посредственность многих пьес, в которых или вопреки которым эти таланты покоряли зрителей. Как и большинству молодых людей первого революционного поколения, нам хотелось своего искусства, спектаклей если не о нас самих (до этого было еще далеко, несколько лет!), то хотя бы откликающихся на проблемы времени, на чувства сегодняшние, а не позапозавчерашние. Мы бежали в Большой драматический, новый театр, основанный Луначарским, Горьким и Александром Блоком, и восторженно рукоплескали шиллеровским «Разбойникам» и шекспировскому «Юлию Цезарю», потому что они были насыщены бунтарским духом.

Еще одно сильное театральное впечатление тех лет — спектакль «Самое главное» в небольшом, недавно возникшем театре, называвшемся не то Театром революционной сатиры, не то «Вольной комедией». Пьеса была написана одним из популярных в те дни театральных деятелей, Евреиновым, поставил ее тоже популярный и очень работоспособный, энергичный и талантливый режиссер Николай Петров, успевший ставить спектакль за спектаклем в двух театрах. Всего содержания этой пьесы не помню, но была там тема искренности и естественности, действующие лица уславливались, что каждый будет вести себя так, как ему хочется, без притворств и вранья. И начались неожиданные поступки, серьезные и смешные, — помню, кто-то из героев немедленно снял тесные ботинки... После «Самого главного» у нас в общежитии бытовала игра (или испытание?) — чего ты сейчас хочешь? что бы ты сейчас сделал?..

Когда возникло диковинное театральное предприятие, объявившее себя Фабрикой эксцентрического актера, мы были готовы хоть на животе вползти в заветный зал, но на первую их постановку не попали, знали только, что она называлась «трюком в трех актах „Женитьба“» и что там гоголевская комедия сочетается с клоунадой, пантомимой и еще «черт-те с чем». На вторую постановку фэкссов мы попасть сумели. Называлась она «Внешторг на Эйфелевой башне», вместо режиссеров было обозначено: «Машинисты спектакля Григорий Козинцев и Леонид Трауберг»; в чем там было дело, за давностью лет забыла, но был острый треп и всяческая эксцентрика вокруг важной темы, все это казалось ново и захватывающе интересно. Но ФЭКС как театр не удержался, а «машинисты» ушли делать советский кинематограф — и вскоре появился их приключенческий фильм «Похождения Октябрины», затем еще фильмы, а затем знаменитая, до сих пор известная и любимая зрителям трилогия о Максиме...

В то беспокойное послереволюционное время по-ленински мудро и твердо осуществлялась партийная политика в искусстве: бережно сохранялась классика и все лучшее, созданное дореволюционным искусством, поддерживались старые театры и актеры старой школы и в то же время давался широкий простор для поисков и опытов — возникали десятки театров и театриков, студий и школ, режиссерская молодежь вместе с молодежью актерской задумывала и ставила пьесы, инсценировки, «агитдействия», перелицовывала на новый лад классику, что-то ниспровергала и высмеивала, что-то утверждала... Многие такие театры и направления (обычно начинавшие с пышного манифеста) существовали всего год-два, а то и несколько месяцев... Беды в этом не было: беспочвенное, надуманное смывалось волной жизни, а жизненное утверждалось и крепло, манифесты забывались, а талантливые находки звали к дальнейшему поиску. Во всем этом кипении была революция, строительство нового мира. «Мы наш, мы новый мир построим!» Были ошибки? Были! А где их не было? Эти были не из худших.

1923 год врезался в мою духовную жизнь двумя крупнейшими и счастливыми открытиями — я открыла для себя Мейерхольда и Маяковского.

В тот год в Москве развернулась Всероссийская сельскохозяйственная и кустарно-промысловая выставка — скромная предтеча нынешней ВДНХ. Внешкольный институт организовал студенческую экскурсию на выставку, и я впервые попала в Москву. Сама выставка помещалась там, где сейчас ЦПКО — Центральный парк культуры и отдыха имени Горького, — по нынешним критериям она была довольно бедна, но тогда выглядела внушительно и поражала разнообразием: от племенных быков и первых сельскохозяйственных машин до художественных изделий из дерева и кости, до глиняной посуды и цветастых игрушек. Ночевали мы в каком-то общежитии и рано утром веселой стайкой спешили на выставку, все дотошно осматривали, попутно катались на «колесе» и на качелях, где-то там же по талонам кормились, а когда ноги отказывали, садились в круговой трамвай к открытому окну, на ветерок, вытягивали занемевшие ноги и совершали часовую поездку по всему кругу, возвращаясь к воротам выставки, благо экскурсантам представлялся бесплатный проезд в трамваях. В один из вечеров рядом с выставкой, в Нескучном саду, мы и увидели мейерхольдовскую «Землю дыбом».

Спектакль давали на открытом воздухе, в парке. Были ли там скамьи или зрители стояли — это не имело для меня значения, я согласилась бы стоять на одной ноге или висеть на суку, лишь бы увидеть то, что происходило на странной деревянной конструкции, похожей

на две площадки между фермами моста, — действие шло на обеих площадках, актеры влезали на верхнюю по лесенке, напоминающей корабельный трап или обычную стремянку, а спускались на нижнюю как акробаты. Это был спектакль о революции, поставленный революционно и яростно, с выдумкой, с юмором броским, грубым, рассчитанным на большие массы людей на больших площадях, насыщенный пафосом недавней гражданской войны — и горем, затрагивающим тоже большие массы людей. Зрители валились от хохота, когда император в расшитом мундире садился на горшок, после чего денщик, зажав нос, бегом уносил горшок с эмблемами императорской власти на боку; они бурно аплодировали, когда императора засовывали в мешок, и замирали, когда белое офицерье развязывало мешок и, опознав его величество, оказывало ему полагающиеся почести; и тут же снова раздавался неудержимый хохот, потому что выбегал повар с живым петухом под мышкой — для императорского обеда, — а петух вырывался, начинал метаться по площадке, и повар (его играл Эраст Гарин!) носился за ним, пытаясь поймать и каждый раз по-новому уморительно упуская петуха. И та же масса зрителей горестно замолкала, когда прямо на сцену — на площадку — выезжал настоящий грузовик с красным гробом и под скорбную музыку не только актеры — массы зрителей вздыхали, вытирали глаза, то тут, то там раздавались рыдания... Кто из тогдашних зрителей не терял близких и друзей в недавних боях! В герое революционных боев, лежавшем в красном гробу на грузовике, почти каждый видел кого-то своего, и горе сдавливало сердце и слезы и рыдания рвались наружу...

Медленно уходили мы из Нескучного сада, слишком потрясенные, чтобы делиться впечатлениями. С этого часа я знала, что революционный театр уже есть, настоящее наше искусство уже есть, и каждый новый спектакль Мейерхольда был — для меня, и я вырывалась в Москву, пролезала сквозь кордоны милиции, когда мейерхольдовцы приезжали на гастроли, и вместе с толпами молодежи сминала контроль у входа, но ни одного спектакля не пропустила.

Никак не припомню, где я впервые увидела Маяковского — тогда ли в Москве, или в Питере в Капелле, где потом не раз слушала его, или еще где-то. В памяти остался темный занавес в глубине какой-то сцены, на фоне этого занавеса быстро входит Маяковский, смотрит в зал строго и придирчиво — кто, мол, такие и для чего столько вас набежало? Поглядев, снял пиджак, аккуратно повесил на спинку стула — и начал читать стихи. «Мир огромив мощью голоса, иду красивый, двадцатидвухлетний»... Нет, он тогда не читал «Облако в штанах», просто он был всем обликом и повадкой похож на эти строки и на другие оттуда же: «Что может хотеться этакой глыбе? А глыбе многое хочется»...

Я знала, конечно, стихи Маяковского и некоторые из них любила — о лошади, упавшей на Кузнецком, о скрипке, о маме и испорченном немцами вечере, ну и, конечно, «Облако в штанах». Кое-что даже помнила наизусть. Но только с того вечера, когда я услышала самого Маяковского, я поняла, как надо его читать, почувствовала строй и дух его поэзии. Маяковский знал, что читателю трудно воспринимать его стихи, рожденные для неповторимой манеры чтения и мощного голоса самого поэта, знал — и выступал много, читал щедро: приучал к себе.

В том году вышла новая поэма Маяковского — «Про это». Мне повезло купить ее, тонкую книжку формата тетради, с женским большеглазым лицом на обложке и с несколькими листами фотомонтажей внутри; фотомонтажи были выразительны, необыкновенны, почти в каждой повторялась та же большеглазая женщина и фигура самого

Маяковского. А поэма была про любовь. Что может быть привлекательней для семнадцатилетней? Я читала вслух и про себя, товарищам и наедине... О, эта любовь была велика, как сам Маяковский, и ревность и страдание были велики, как он сам, эта любовь противостояла мещанскому быту, пошлости и душевной тупости, она вырывалась из косности быта к каким-то вселенским масштабам...

Мы еще не успели освоить поэму, когда на поэта набросились со всех сторон, и справа и слева. На него всегда ярились, но тут нападки были особо жестоки, собственные слова Маяковского «в этой теме и личной, и мелкой» обернули против него самого. В нападках ощущалась злоба, далекая от интересов поэзии. И была у критиков странная глухота: ведь даже нам, неискушенным юнцам, было очевидно, что вся поэма — рывок от мелкого и личного к большому и всеобщему!

Маяковского, по существу, обвиняли в том, что он заметил расцветшее, расплзающееся при нэпе самодовольное мещанство! А кто же его может не заметить, кроме самих мещан, думала я, и как можно победить мещанство, если делать вид, что его нет? Почему они не понимают, критики, что поэт, если он настоящий поэт революции, должен и замечать и страдать оттого, что мещанство снова расплодилось и хочет сожрать все революционное, все чистое и большое?! Он же борется с ним ради того, «чтоб всей вселенной шла любовь»!

СОБЛАЗНЫ

Какой ясной мне представлялась жизнь еще год-два назад! Подобно солдату у Джона Рида, я знала — «есть два класса — буржуазия и пролетариат...».

Все оказалось сложней. Запутанней. Мы презирали нэповскую накипь, лихорадочный разгул торгашества и спекуляции, но они обступали наши вольные студенческие острова — общежитие и институт, вынуждали нас соприкасаться с ними, проникали к нам соблазнами. Случалось, засасывали. А люди вокруг нас — и среди нас — были совсем не однозначны.

Институтская подружка зовала меня к своей тетке — помочь выбрать шляпу.

— Шля-пу?!

— А что такого? Не век в платке бегать.

По дороге подружка объяснила: тетка всю жизнь проработала мастерицей у мадам Софи, владелицы одного из самых шикарных шляпных магазинов. И сейчас работает там же на ту же дореволюционную хозяйку. Мадам — жуткая эксплуататорша, платит за шляпу гроши, а продает втридорога и все в свой карман. Если много заказов, тетка на вечер берет работу домой, ну и мастерит иной раз из остатков материала шляпы для племянниц, а то и продает втихаря.

Тетка была худенькая, седенькая, усталая — сразу видно, эксплуатируемое существо. Племяннице она обрадовалась, заодно и меня приветила, усадила пить чай со сладкими сухариками. Я уже готовила агитационный монолог о том, что надо бороться с эксплуатацией; если все мастерицы, работающие на мадам Софи, объединятся и... Но тетка меня опередила — начала рассказывать, что хозяйка до революции ездила в Париж изучать последние модели и сама придумывала такие фасоны, что ее дамы и в Париже с успехом щеголяли перед французами. И сейчас, уверяла она, лучших шляп, чем у Софи, не найти, но кто их носит?! — она презрительно поморщилась — разве сейчас есть такие дамы, как прежде?!

— Самые знатные и красивые женщины Петербурга были нашими клиентками, — захлебываясь, продолжала она, — конечно, фасон мы

никогда не повторяли, это уж само собой. Но однажды случился грех. Мадам придумала исключительную модель, вроде маленькой треуголки, как раз я и выполняла ее из сиреневого велюра. Для очень шикарной дамы. Правда, из полусвета, но красавица из красавиц и денег не считала — содержал ее миллионер, немец или швед, для Люси ничего не жалел. Одних шляп заказывала! — каждую неделю новую. Но сиреневую треуголку полюбила, уж очень к лицу была. Ну, прошел месяц, и мадам Софи не выдержала — повторила фасон для генеральши, да не простой генеральши — какая-то родственница царской фамилии. Дама совсем из другого круга, думали — пройдет. Конечно, и цвет, и материал другой, и отделка. И надо же было Люси поехать кататься — у нее собственный выезд был, — надела треуголку, а навстречу генеральша катит, и тоже в треуголке! Люси велит заворачивать, врывается в магазин, срывает шляпу и этой шляпой! — мадам Софи! — по щекам, по щекам, по щекам! «Ноги моей больше у вас не будет!» И верно, с месяц не приезжала, мадам ездила прощенья просить...

В рассказе эксплуатируемой тетки всего удивительней было то, что она считала расправу миллионеровой содержанки естественной и говорила о ней с восхищением, что она благоговела перед Люси, перед царской родственницей и другими прежними «настоящими» дамами.

Свой классово выдержанный монолог я оставила при себе. Но шляпами заинтересовалась — подружка перемерила все, какие были в работе у тетки. Одну, из черного бархата, и я примерила, не стерпела, но надела как-то не так; мастерица подошла, взъерошила мои волосы, повернула шляпу, чуть перекосила, чуть приспустила на одну бровь — и подтолкнула меня к зеркалу. В зеркале отразилось почти красивое, взрослое, совершенно незнакомое лицо. Я торопливо вернула себе обычное лицо — пусть менее красивое, но мое. Подружка осталась у тетки, а я убежала. И все вспоминала упоенный теткин рассказ: «По щекам, по щекам, по щекам!»

Водопроводчик нашего дома — по моим понятиям, элемент пролетарский — весьма неохотно поднимался в общежитие, если засорилась раковина или потекла труба, он мог все разворотить и на два дня исчезнуть, оставив нас без воды. Пробовали усостыжить его — разозлился и обозвал нас голытьбой. Зато как он лебезил перед толстопузым господином, занимавшим большую квартиру в бельэтаже! А дворники? Тоже ведь не буржуи! Но если прибежишь домой после полуночи и придомится звонить в дворницкую, дежурный дворник поглядит в окошко, увидит, что студенты, и заставит помаяться у запертых ворот — знает, от нас прибыли не будет. Однажды ночью, чтоб не слышать его воркотни, я решила перелезть через ворота и уже вскарабкалась на самый верх, уже занесла ногу через чугунные прутья, когда дворник возник под аркой ворот, без стеснений обругал меня, согнал назад, на улицу, и довел до слез, прежде чем впустил. А когда звонили жильцы состоятельные, дворники бежали к воротам рысью и, ловко подхватив чаевые, кланялись и желали спокойной ночи... Буржуйские прихвостни!

Голытьбой мы, конечно, и были, но голытьбой веселой. Впрочем, и в нашей неунывающей среде случались срывы.

В общежитие часто заходила студентка Ася, доводившаяся двоюродной сестрой одному из наших мальчишек. Более чем скромно одетую, тихонькую Асю окружал романтический ореол — не только потому, что хороша собой, с глазищами редкостного зеленого цвета, но и потому, что ее отец «начинал Волховстрой», проводя изыскания под

проект, был хорошо знаком с Графтио (имя этого крупнейшего гидростроителя уже становилось легендарным), вел изыскания под строительство еще одной гидростанции — на Свири... но, заразившись тифом, умер год назад. Под влиянием отца Ася поступила в Электротехнический институт, о плане ГОЭЛРО говорила как о своем личном деле, да он и был ее личным делом, ее судьбой. Мы завидовали этой судьбе и были немного влюблены в Асю, наделяли ее самыми героическими чертами — строительница нового мира на самом нужном, главнейшем участке работ! Зато ее брат называл нашу героиню Аськой, скептически пожимал плечами и как-то обронил с горечью, что, дескать, разговоры разговорами, а после смерти дяди все в доме «пошло наперекосяк», теперь он туда «не ходок», какие-то они неприспособленные, Аська — тоже, вот погодите, побывает она на практике! Ася проходила практику на Волховстрое и вернулась оттуда растерянная, на расспросы отвечала нехотя — бараки... земляные работы... сезонники из деревни... стройке конца не видно... без сапог увязнешь в грязи...

Не прошло и двух недель, как она забежала к нам необычно бойкая, взвинченная и беспечно-громким голосом сообщила, что выходит замуж.

— Асенька, поздравляем! Кто «он»?

Ася начала тем же беспечно-громким голосом: о-о, солидный человек, делец, ворочает крупными торговыми операциями... давно ухаживает, добивается... — и вдруг расплакалась.

— Ваш сосед? С пузом, с лысиной?! — охнул ее брат. — С ума сошла, Аська! Он же нэпман!

Мы обступили Асю, испуганные и удрученные, — неужели Ася действительно выйдет замуж за нэпмана?.. А она всхлипывала — и с неожиданной злобностью, с истеричной резкостью выворачивала перед нами руки, показывая заплаты на локтях, вскидывала свои маленькие ноги в прохудившихся туфлях:

— Вот! Вот! Штопка на штопке! И это еще лучшее! А туфли?! Могу я в таких ходить?! Устала! Не могу! Что хотите, не могу! Жить на одну стипендию! Мама ревет, все продала, трю-у-мо вчера вынесли! Какая учеба в голову полезет?! Пусть что угодно, пусть старик, пусть нэпман, сам черт и дьявол, лишь бы... лишь бы...

Мы не поверили ей. Может, она с голоду? Собрали по комнатам все что нашлось, накормили Асю, а пока она ела все подряд и запивала сладким чаем (даже сахару нашли!), мы ее неторопливо уговаривали — всего два курса ей осталось, два года можно перетерпеть, а губить жизнь из-за тряпок, из-за какого-то трюмо... Ася бормотала:

— Не знаю... не знаю... конечно, малодушие... я еще подумаю...

Виновато улыбалась нам. И ушла как ускользнула.

— Это все мамаша! — неистовствовал ее брат. — Всю жизнь за дядей благоденствовала, теперь за дочкой хочет!.. Все распродает, а прислугу держит, не может без прислуги, где уж барыне посуду мыть!

Ася больше не приходила. И брата не звала. Даже на свадьбу не позвала. Брат навел справки — институт она бросила. План ГОЭЛРО уже не был ее судьбой. Как мы ее презирали, отступницу!..

Той же зимой мы с Лелькой увидели Асю на Невском. В беличьей шубке и в треуголке ярко-зеленого, под цвет ее глаз, бархата (от мадам Софи?), в щегольских белых ботинках, она вышла из Елисеевского магазина, выставив перед собою руки в замшевых перчатках с расширенными крагами и растопырив пальцы, так как почти на каждом пальце висел пакет. Мы невольно остановились, нас отделяло от Аси всего несколько шагов. Ася заметила нас, споткнулась, мгновенно отвела

взгляд, низко склонила голову и почти бегом прошла мимо — вско-
чила в поджидавшие ее извозчицы сани... Сани покатали прочь.

— Ох, несчастливый у нее вид, а, Леля?

— Да какое уж счастье,— сказала Лелька.

Не помню, в том ли году или в следующем вышла новая поэма
Асеева «Лирическое отступление». Мы читали:

За эту вот площадь живу,
За этот унылый уют
И мучат тебя, и целуют,
И шагу ступить не дают.

Ася, Ася, что ж ты с собой сделала?!

Почти никто из студентов нашего общежития не получал суще-
ственной помощи из дому. Изредка с попутчиками прибывали посыл-
ки — немного крупы или муки, баночка топленого масла, иногда кулек
сахара, чаще коробочка сахарина. Если кому-либо присылали новые
брюки, или платье, или ботинки, смотреть и шупать покупку сбегались
все, заставляли тут же надевать обновку, безжалостно щипали ее
счастливого обладателя. А продовольственные дары съедали в тот же
вечер все вместе — варили кашу или пекли лепешки, всласть чаевни-
чали. Пировать в одиночку — кусок застрял бы в горле.

Две квартиры-мансарды нашего землячества разделяла лестнич-
ная площадка. Так вот во второй квартире жил студент, у которого
водились деньги. Звали его Николай, Лелька прозвала его Сорокова
Плешь, потому что его неизменно вспоминали, когда к списку трид-
цати девяти лысин нужна была последняя, решающая; педанты отво-
дили лысину Николая за неполноценность, но все же под негустыми
волосами у него просвечивала изрядная плешина. Николай был стар-
шекурсником, да и по возрасту выделялся среди других ребят, пер-
вые два курса закончил до революции. Я не помню случая, чтобы он
принял участие в вечерних сборищах у камелька или в нехитрых
пиршествах по случаю чьей-либо посылки. Ни денег, ни посылки из
дому он не получал, ребята говорили, что он в соре с матерью из-за
отчима. Выгружать вагоны со студенческой артелью он тоже не хо-
дил, но деньги у него бывали, одевался он добротнo, а когда времена-
ми исчезал из общежития до утра, надевал настоящий костюм-тройку,
накрахмаленную рубашку и пестрый галстук.

Случалось, он заходил в нашу квартиру к однокурснику — взять
или отдать учебник. Нам с Лелькой улыбался, вскользь бросал шут-
ливые комплименты, иногда угощал конфетами. Но в глаза не смотре-
л. Вроде бы и смотрит на нас, а взгляд скользит мимо или вбок, или
вниз.

— Ты заметила, Лелька, он в глаза не смотрит!

— Интересно все же, откуда у него деньги? — задумчиво сказала
Лелька.

Постепенно появление денег у Сороковой Плеши как-то связалось
у нас с посещениями странной старухи в потертом плюшевом салопе.
Старуха никогда не приходила с парадного хода, хотя во вторую квар-
тиру был вход и с парадной; она шла двором, по черной лестнице и
через нашу квартиру. Если в комнате находился кто-то из его сожи-
телей, Николай выходил со старухой на лестницу и коротко с нею
переговаривался, иногда спорил и горячился. Но чаще всего старуха
приходила днем, когда он был один.

В смежной комнате (соединяющая их дверь была закрыта и даже
заклеена) жили наши приятели, по беспечности растерявшие все ключи,
а потому не запиравшие свою комнату совсем. Однажды вышло

так, что они ушли в кино, а сразу после их ухода появилась старуха. Прошаркала мимо нас и удалилась во вторую квартиру. Распираемые любопытством, мы побежали туда же и забрались в комнату приятелей, прикинув к заклеенной двери.

Слышно было плохо, но мы уловили, что Сороковая Плешь сердится и от чего-то отказывается. Старуха уговаривала его шепотом, тоже сердитым.

— А коньяк вы не считаете? — вдруг вскрикнула она.

И опять ничего не удавалось разобрать. Затем мужской голос перебил бормотанье старухи:

— Нет! Нет! Уж очень она... Не могу.

Отчетливо прозвучал ответ:

— Хорошо. Прибавим червонец. Хотя и так немало.

Мы ничего не поняли, но чувствовали, что происходит нечто мерзкое. Такое мерзкое, что потом не смотрят людям в глаза.

Когда пришел Лелькин Миша, мы ему все пересказали, требуя объяснений. Что стало с Мишей! Он побагровел от смущения и гнева, обозвал нас глупыми девчонками, сплетницами и даже шпионками, заявил, что «после этого» разговаривать с нами не хочет.

— Мишенька, — ласково прервала его ничуть не смущенная Лелька, — мы больше не будем. Но ты все-таки объясни.

— А я откуда знаю! — закричал Миша.

Но он знал или догадывался, это было видно. И так как понимал, что мы не отвяжемся, буркнул с явной досадой:

— Экие вы! Ну... что такое проституция, знаете? Так это мужская проституция. Присылает за ним какая-то... Да откуда я знаю! Болтают ребята, а мне наплевать! Слушать не хочу! Паскудство! И как вам не стыдно? Девочки, а интересуются черт знает чем. Пристали, как...

В следующий раз, когда Сороковая Плешь попробовал угостить нас конфетами, мы отказались и убежали. Не нужны нам его конфеты.

Ребятам удавалось подзаработать на товарной станции или в порту. Нам было хуже, в грузчики мы не годились. Где-то возле порта нанимали женщин на переборку и починку мешков, работа была грязная, а платили гроши. Лелька сразу отвергла ее:

— Пыли наглотаешься и последние одежки загубишь. Овчинка не стоит выделки.

Прошел слух, что в «Вечерней Красной газете» и просто на стенах и трубах бывают частные объявления — ищут репетиторов, преподавателей языков, сиделку к больному... Мы подкарауливали мальчишек-газетчиков и ходили по улицам зигзагами, от одного белого листка к другому, но ничего подходящего не попадалось.

Повезло Сашеньке.

— Ой, ребята! — кричала она, влетая в общежитие. — Вы только послушайте! «Пожилой даме нужна чтица и компаньонка, часы вечерние, оплата по соглашению!»! Как вы думаете, что такое компаньонка?

Сашенька была первокурсницей, приехала из маленького городка на севере Онежского озера, Повенца, где после смерти родителей жила с двумя немощными тетками. Она по-провинциальному жеманничала, за что ее высмеивали, всерьез боялась машин и трамваев, так что при переходе проспекта ее вели за руку как маленькую, была восторженно-наивна, но при этом не боялась никакой черной работы и обладала достаточным запасом практического смысла. Простенькие полотняные блузки она отстирывала, крахмалила и отглаживала так, что они выглядели нарядными и своей ослепительной белизной под-

черкивали деревенскую, озерную свежесть ее миловидного лица с румянцем во всю щеку.

— Объявление только-только прилепили, еще клей не просох,— говорила она, показывая разорванный листок,— я его сцарапала с трубы, может, никто и не успел записать адрес.

Все равно, рассудили мы, идти надо немедленно, чтобы никто не перехватил такую легкую и выгодную работу. В вечерние часы! — значит, можно ходить в институт, нормально учиться...

Сашенька надела самую ослепительную блузку и побежала на Морскую, где жила пожилая дама. А мы остались ждать ее и гадали, для чего компаньонка, куда будет с нею ходить (или ездить?) пожилая дама — на прогулку? в театры? в кино?

Сашенька пришла часа через три, ошеломленная счастьем. Дама без долгих разговоров наняла ее на работу и тут же заставила читать вслух. Сашенька очень старалась читать внятно и выразительно, дама одобрила. А книжка попалась такая интересная! «Женщина, которая изобрела любовь». Какого-то иностранного писателя, кажется испанца. И все про любовь, про любовь... Читали час, потом дама расспрашивала Сашеньку, кто она и откуда приехала, есть ли родители, вернется ли к тетушкам, и даже... даже спросила, есть ли у нее молодой человек. Нет? Почему? Разве девушке одной не скучно?..

— Ну а дама, кто она? — строго спросила Лелька.

Сашенька фыркнула и тут же виновато сдержала смех.

— Она немного смешная. И зовут ее как-то дико — Эмилия Леонардовна. Вроде и старая, но в ушах серьги, платье модное, короткое, даже чулки блестящие, фильдекос. Комнаты богатые, мебели полно, зеркала и везде ее портреты — в платьях до полу, и с перьями на голове, и с такой прической, как башня. Говорит, была певицей, но влюбилась в гусарского офицера, он из-за нее вышел в отставку, и они убежали за границу и там прокутили ее бриллианты.

— А потом?

— Ну, я же не могла спрашивать,— сказала Сашенька,— в первый-то день! Может, как-нибудь и расскажет.

— А платить сколько будет?

Несмотря на свою наивность, в этом Сашенька проявила практическую сметку и твердо обусловила, что оплачивать ее будут по часам, от прихода до ухода, и платить раз в неделю. Сговорились — три часа в день, с шести до девяти вечера, а если пойдут в театр или в кафе, тогда и подольше. У дамы большие ноги и что-то со зрением, ее надо вести под руку и потом провожать до дверей квартиры.

Не помню, во сколько был оценен Сашенькин час, но мы углубились в подсчеты, прикинули несколько удлинненных вечеров на театры (!) и на кафе (!!) — вышло примерно полторы стипендии. Вот уж повезло так повезло!

Возвращаясь от своей дамы, Сашенька пересказывала нам очередные главы романа про женщину, которая изобрела любовь. Чтение шло медленно, потому что Эмилия Леонардовна любила поболтать и неизменно рассказывала Сашеньке свои собственные романы — то это было в дореволюционном Петербурге, то в Париже, то в Монте-Карло, где она со своим другом, крупным помещиком, ночи напролет играла в рулетку.

— Это когда же? После гусара? — старались мы уточнить.

— Не знаю. Наверно, после.

— Бывалая дама,— определила Лелька,— ты уши-то не больно развешивай, все это буржуйский быт, понимаешь?

— Я не развешиваю,— обиделась Сашенька,— но ведь интересно!

— А когда она рассказывает, за это тоже плата идет?

— Конечно. От прихода до ухода, я и часы записываю.

— Видно, денег ей девять некуда, твоей Леонардовне.

Как бы там ни было, мы радовались Сашиной удаче и слегка завидовали ей — надо же, полторы стипендии за чтение и слушанье любовных романов!

Через несколько дней Сашенька пришла взволнованная — Леонардовна велела завтра приодеться, потому что они проведут вечер в кафе «Двенадцать» с ее старыми друзьями.

Собирали Сашеньку всем миром — Лелька дала свои чудом уцелевшие паутинки, кто-то дал туфли, я — свою бархатную блузку, еще кто-то — черную юбочку. Хотели надеть на Сашеньку пальто получше, но Сашенька наотрез отказалась — пальто сдают на вешалку, не все ли равно, старое или новое.

Ушла она на этот раз к восьми, а прибежала часов в десять в пальто нараспашку, зареванная до того, что и глаз не было видно, только на нижних веках и на щеках потеки черной краски. От нее пахло вином и потом — опрометью бежала всю дорогу. Когда Сашенька скинула пальто, вместо моей блузки на ней оказалась длинная, ниже бедер, золотистая парчовая блуза с искусственной хризантемой на плече. Забыв, что в комнату набилось полно студентов, Сашенька с отвращением сорвала с себя парчовую блузу и повалилась на кровать, по-деревенски причитая и бранясь такими словами, каких никто от нее не слышал и даже не предполагал услышать. Лелька накапала валерьянки, прикрикнула на Сашеньку, заставила выпить, накинула на ее голые плечи одеяло.

— Ну а теперь рассказывай!

Из путаного, пополам со слезами и бранью рассказа выяснилось, что Леонардовна осудила мою блузку («Милая, это не модно!») и заставила надеть парчовую, якобы ее собственную («Видишь, какая я была тоненькая!»). Красить губы Сашенька отказалась, но подчеркнуть ресницы позволила: она всегда сокрушалась по поводу своих белесых ресниц и ей было интересно посмотреть, пойдут ли ей черные. Еще как пошли! В кафе было шикарно, играла музыка, подали икру, семгу и какой-то «жульен» в маленьких кастрюлечках, а пирожных поставили целую вазу на ножке. И вина две бутылки. Старые друзья были действительно старые, лет под пятьдесят, двое уже седые, а один очень черный, с черными глазами, на жирной руке какое-то ожерелье или цепка, он сказал, что это четки. Сидел рядом с Сашенькой и перебирал четки, накладывал ей икру и все остальное и наливал вина, уверяя, что оно совсем слабое, дамское, сладкое. И правда сладкое, но от него все перед глазами поплыло и на Сашеньку «напал смех» — что ни скажут, она смеется. Но тут вдруг черный опустил руку под стол и начал гладить ее колено, она отодвинулась и сказала: «Пожалуйста, уберите руку». Он убрал, а потом опять полез, очень нахально, она вскочила, а Леонардовна сказала, что нечего разыгрывать недотрогу, это ее друг, очень добрый и богатый человек, и надо быть покладистой, когда ее так щедро угощают. Она сразу протрезвела и заявила, что хочет уйти, все стали ее стыдить, а Леонардовна сказала, что номерок у нее, и куда Саша уйти не может, и вообще для голодранки у нее слишком много гонору, поломалась — и хватит набивать себе цену. Тут официант принес какое-то блюдо и начал раскладывать по тарелкам, а Сашенька побежала к выходу и стала просить ради бога скорей свое пальто, гардеробщик не давал без номерка, она разревелась, и тогда он дал ей пальто и сказал: «Беги, девонька. И чего же ты пошла с этой старой сводней!» Она побежала и всю дорогу ревела в голос, так что все оборачивались, и даже проспект перебежала, не глядя ни вправо, ни влево...

На следующий день трое самых решительных студентов, вернувшись в газету парчовое чудо, пошли на Морскую к старой сводне и сказали ей все, что они о ней думают, забрали мою бархатную блузку, и потребовали плату за проработанные Сашенькой часы. А что же Леонардовна? Она дрожащими пальцами отсчитала деньги и плаксиво уверяла, «что девочка дура, не поняла самых невинных шуток» и подвела ее, «поставила в неловкое положение перед друзьями и гардеробщиком».

На полученные деньги Сашенька купила блестящие чулки и... баночку туши для ресниц. Вечерами, когда посторонних не было, она подкрашивала свои белесые реснички и сидела перед зеркалом — любовалась собой. Но когда она влюбилась в самого решительного из троих ребят, ходивших к Леонардовне, тот убедил ее, что в светлых ресничках ее глаза гораздо милей, и вышвырнул тушь в форточку.

В том же году случилась беда с двумя нашими девушками.

Женя и Лида были сестрами, обе пытались поступить в Театральный институт, но провалились. Женя устроилась в наш Внешкольный, а Лида в Педагогический. Очень похожие одна на другую, высокие, светловолосые и светлоглазые, они были красивы и привлекали особой покойностью и плавностью движений, сдержанной неторопливостью речи. Тем страшнее было то, что с ними случилось.

Объявление гласило, что в меховой магазин на Невском приглашаются молодые девушки для работы продавщицами. Обеих сестер принял. Хозяин магазина предупредил их, что покупателей бывает немного, но каждого надо принять как можно любезней и постараться что-либо продать, для этого он учил новых продавщиц накидывать на плечи меха, кутаться в палантины, примерять на себе любой самый дешевый воротник так, чтобы он выглядел изысканно. Кроме того, в обязанность продавщиц входило быть милыми хозяйками в задних комнатах магазина, куда приходят поставщики и другие деловые люди, — сервировать чай, заваривать кофе, делать бутерброды, угощать коньяком или винами. Оплата была по тому времени довольно высокая, а работа нетяжелая, за прилавком разрешалось сидеть и даже читать, но при входе покупателя нужно было немедленно встать и встретить его приветливой улыбкой.

Работать на нэпмана? Было в этом что-то царапающее самолюбие, но когда вокруг столько безработных, выбирать не приходилось.

Я рассказала об удаче сестер Пальке Соколову, он странно посмотрел на меня и промолчал, но спустя какое-то время вдруг сказал: — Если ты посмеешь пойти по такому объявлению...

Он не закончил, но тон был угрожающий.

Мы с Лелькой сбегали поглядеть — магазин роскошный, в витрине на плечах манекена соболиный палантин. В магазине было пусто, за прилавком сидела младшая из сестер, Лида, она вскочила и заученно улыбнулась навстречу, узнала нас и почему-то, густо покраснев, вынула из-под стекла и надела на себя меховой воротник.

— Я понимаю, вам нужно что-нибудь недорогое, — громко сказала она и добавила быстрым шепотом: — Ко мне приходит нельзя, не разрешается. — И снова громко: — Могу предложить белку или крота, они сейчас модны.

За нею в дверях появился пожилой мужчина в черном костюме, он приглядывался к покупательницам и к работе своей продавщицы.

— Я понимаю, вы зашли прицениться, — продолжала Лида, накидывая на себя то один воротник, то другой и называя цены, — не стесняйтесь, я всегда подберу вам то, что вас устроит.

— Мы зайдем на днях, когда получим деньги, — сказала Лелька и потянула меня к выходу.

Ох, несладок нэпманский хлеб, говорили мы, шагая прочь:

Он оказался горше, чем мы думали. Вскоре сестры выехали из общежития, ни с кем толком не простясь. Свои институты они оставили еще раньше.

— Так и не поняла? — сказал Палька, когда я с удивлением сообщила ему об исчезновении сестер. — Ширма! меховой магазин — а позади нечто вроде публичного дома для избранной публики. Я уж подкасал кому надо, так ведь не подкопаешься, все шито-крыто, и сами девушки все отрицают, даже оскорбляются.

Куда делась младшая из сестер, мы так и не узнали, а Женя однажды вечером сама зашла в общежитие — «поглядеть, как вы тут живете». Она сидела, закинув ногу на ногу, чтобы разглядела ее замшевые высокие сапожки на тугой шнуровке (очень дорогие, самые дорогие сапожки!), она то скидывала с плеч, то снова накидывала черную лису с хищно оскаленной мордочкой и спокойно хвастала тем, что занимает отдельную двухкомнатную квартиру с балконом и ванной, что у нее приходящая прислуга, что летом она поедет отдыхать в Ялту.

— Ты что же... замуж вышла? — спросила наивная Сашенька.

Женя так же спокойно, с нагловатой усмешкой ответила, что нет, не вышла, но в нее сильно влюбился один меховщик, очень богатый коммерсант (она это слово произнесла с гордостью, — «коммерсант!»), он снял ей квартиру и создал все условия, у него семья, поэтому он приходит к ней раза три в неделю на два-три часа, к тому же часто уезжает закупать меха, так что это совсем не обременительно, если учесть все, что он для нее сделал, да и человек он довольно приятный.

— А жить вот так... — Она окинула взглядом и нас и скудное убранство комнаты. — Судите как хотите, но это не для меня.

— А что с Лидой? — жестко спросила Лелька.

По лицу Жени тенью прошла боль, а может, досада. Прошла — и растаяла.

— Пока в магазине.

Поворот разговора ей не понравился. Она встала и начала натягивать новые, еще тугие перчатки. Оглядела наши хмурые лица и невесело улыбнулась:

— Конечно, если б мы попали в Театральный, все повернулось бы иначе. А так... Пока молода, надо жить.

И ушла.

В течение нескольких вечеров в общежитии бурлили споры: что значит «жить», и в чем смысл жизни вообще, и для чего нам дана молодость, и есть ли разница между Асей и Женей — обе продались, а мужу или не мужу, имеет это значение или нет? Как часто бывает в юношеских спорах, кричали все разом и во весь голос, но до конечной истины так и не dospорились, хотя, в общем-то, все осуждали и Женю и Асю.

Лежа в постелях, мы с Лелькой вполголоса уточняли свою позицию и с тревогой вспоминали Лиду. Ну, Женя проблагоденствует с ванной и балконом, пока коммерсант не бросит ее или сам не вылетит в трубу. А Лида-то пропадет! Пойти к ней? Вмешаться? Убедить? Но как это сделать, если «все шито-крыто и девушки все отрицают»?!

Когда Лелька засыпала, я еще некоторое время переживала и продумывала то новое, что мне открылось в эти месяцы питерской жизни. «Мы наш, мы новый мир построим!» — еще недавно представлялось, что построим быстро, в едином порыве. Оказалось — сложно, медленно и, кроме единого порыва сознательных, деятельных людей, есть всякие-разные люди, предпочитающие цепляться за старое, прииспосабливаться к нэповской буржуазии, пусть она не очень-то прочна

и уверена в себе, но урвать возле нее хоть что-то, урвать для себя лично, урвать на сегодня, а там будь что будет...

Меня озадачило появление Жени — недавняя студентка, землячка, она пришла к нам, к своим бывшим товарищам, покрасоваться нарядами и похвастать тем, что продалась дорого! Было удивительно — такая перемена за каких-нибудь пять месяцев!.. Она уже не казалась красивой. Почему? Наряды оттеняли все, что следовало оттенить, ее природная красота должна была от этого выиграть. В чьих-то глазах, вероятно, и выигрывала. А в наших — потускнела. Значит, красота — понятие относительное и восприятие красоты одухотворяется или стирается нашим отношением к человеку в целом?.. Значит, без ощущения гармонии нет настоящей красоты?..

К нам с Лелькой соблазн проник завлекательным ритмом нового, входившего в моду танца — танго (в то время ударение делали на последнем слоге, так пелось в самом распространенном танго «Под знойным небом Аргентины», где «Джо влюбился в Кло» и «она плясала с ним в таверне для дикой и разгульной черни дразнящее танго»). Пришел этот танец на смену уже надоевшим уанстепу и тустепу и потряс наше воображение своей неистовостью. Нынешнее смиренное танго не имеет ничего общего с тем, что тогда танцевалось. Кавалер перегибал свою даму пополам, раскручивал ее, как волчок, перекидывал через руку и бросал на пол, — кто видел прелестный старый фильм «Петер», тот помнит танго Франчески Гааль. На студенческих вечеринках танцевать новый танец не решались, да и попросту не умели. Зато на кухне общегития!.. Бывало, готовим с Лелькой обед — пшеничную похлебку с картошкой или картофельную похлебку с пшеном. Лелька запекает звонким голосом «Аргентину», я вторю плохим контральто, подхватываю Лельку — и начинается! Ради полноты воплощения друг друга не щадили, случались и синяки, а случалось — подгорала похлебка и мы, забыв испанские страсти, кидались ее спасать.

Однажды пришел дворник:

— Опять на вас жалуются, что дрова в кухне швыряете.

Мы отпирались, показывали, что и дров-то у нас — всего ничего, кидать нечего. Не могли же мы признаться, что швыряем на пол друг друга!

Дворники относились к студентам как к напасти, свалившейся на их добropорядочный дом, особенно после того, как из-за нас начали терять заработки.

Накануне рождественских праздников мы с Лелькой застigli у водосточной трубы интеллигентного старичка в пенсне, который пытался хлебным мякишем приклеить объявление. Прочитав через его плечо, что требуется уборщица для генеральной уборки квартиры, мы тут же вызвались произвести уборку быстро и чисто.

Квартира оказалась большая, загроможденная мебелью и книгами, старичок жил вдвоем с женой, которая каталась по комнатам в кресле-каталке и очень стеснялась своей болезни. Славные, приветливые люди. Мы старались вовсю и в два дня прямо-таки вылизали им квартиру. Наше старание было вознаграждено — старичок, видимо, похвалил нас соседке, и соседка, а за нею многие другие хозяйки звали нас для предпраздничной уборки. Платили хорошо, иногда еще и кормили, но таких славных людей, как старичок с женой, больше не попадалось. Почти все хозяйки были нэпманши или похожие на нэпманш дородные дамы в очень коротких платьях и в блестящих светлых чулках на ногах-тумбах. Они ходили за нами из комнаты в комнату, чтобы мы ничего не украли, и тыкали туда-сюда толстыми пальцами в кольцах:

— Здесь вымойте получше, моя милая. А тут вы протерли?

Кроткая Лелька вздыхала: что ты хочешь, буржуи!

Меня душил гнев: к черту такой заработок!

Но это все же была наша удача — получить столько работы сразу.

Заказы на уборку иссякали, когда нам снова подфартило: одному из нижних жильцов привезли воз дров, он еще не успел подрядить дворников, когда мы предложили свои услуги — распилить, расколоть и снести дрова на второй этаж (в то время дрова сразу несли домой, в кухню или в кладовку, боясь, что из подвала украдут). Чтобы нам не отказали, взяли мы дешево, меньше, чем брали дворники, — законы конкуренции! После этого нас начали нанимать и другие жильцы нижних этажей, мы здорово уставали, особенно от переноски дров по лестницам, но работа была приятной — на воздухе, без указующего перста, без общения с нэпманами и нэпманшами.

Теперь я понимаю, что в нижних этажах жили самые разные люди, многие, вероятно, заслуживали уважения, некоторые наверняка нанимали нас из сочувствия голодным студенткам... но тогда все сплошь казались нам буржуями, мы их презирали и даже с молодежью из этих роскошных квартир ни в какие отношения не вступали. А соблазн был...

В одной из комнат третьего этажа, глядевшей во двор, обнаружили два студента. Оба были привлекательны — один лучше другого. Весной мы слышали, как они поют в два голоса знакомые нам песни — «Шумит ночной Марсель, в притоне „Трех бродяг“», «Там, где Крюков-канал» и «Быстры, как волны». Пели хорошо. По вечерам можно было наблюдать — они сидят под рыжим абажуром над учебниками, или склоняются над чертежами, или пьют из стаканов чай — а может быть, вино? Почему-то мы сразу определили, что они белоподкладочники. Правда, тужурок они не носили, но, во-первых, снимали частную комнату, во-вторых, ходили в галстуках, что считалось у нас почти что буржуазным перерождением, в-третьих, иногда запевали по-латыни «Гаудеамус игитур» (в своем комсомольском максимализме мы почему-то забывали, что тоже иногда запеваем ее, и не замечали, что студенты, так же как мы, знают только первую строфу).

С началом весны парни превесело поглядывали на нас из открытого окна, когда мы появлялись на крыше, и пытались с нами заговаривать. Мы тоже поглядывали на них, но заигрывания решили «игнорировать». Очень-то нужно — буржуйские сынки!

Брешь была пробита кокетливой Тасей. Она умудрилась как-то познакомиться с «белоподкладочниками», и они пригласили ее в воскресенье на острова. Возник спор — соглашаться или нет? Тася уверяла:

— Простые, веселые ребята, очень даже вежливые.

Видно было, что ей страшно хочется попробовать шикарной жизни.

— Ну и пусть едет, — решила Лелька, — не съедят же они ее.

Подстегнутое воспоминанием, мое воображение разыгралось — «безлюдность низких островов», лихач, может быть, даже автомобиль...

Я так и не проболталась о нашей с Палькой упоительной поездке. Но всех девушек взволновало: на чем «белоподкладочники» повезут Тасю? А потом, после прогулки, в какое кафе или ресторан пригласят? И соглашаться ли Тасе, если в ресторан? Все та же Лелька пожалела оробевшую Тасю и решила, что днем можно. Только вина не пить и держать парней в строгости.

— Главное, номерок от пальто возьми себе, — посоветовала Сашенька, — а будут уверять, что вино сладкое, дамское, все равно не пей!

И опять мы всем общежитием собирали подругу, надели на нее все лучшее, что у кого было, только туфли Тася надела свои — недавно купленные лодочки на высоких тонких каблучках.

«Белоподкладочники» ждали ее во дворе. Украдкой, свесив головы с крыши, мы наблюдали, как они встретились с Тасей и, с двух сторон взяв ее под локотки, скрылись под аркой ворот. Не то чтобы мы завидовали Тасе — мы томилась за нее тем же сладчайшим ощущением греховности...

Вернулась Тася под вечер — голодная и злая. Сломался каблук, последнюю часть пути она ковыляла, как мы говорили — «рупь с полтиной, рупь с полтиной»... Поехали они на острова трамваем, там долго гуляли и болтали, ребята всеми силами старались развлечь и расшевелить ее, но Тасе не было весело, потому что дорожки были грязные после вчерашнего дождя, Тася трепетала, не погибнут ли новые туфли, а от хождения на высоких каблуках ноги прямо-таки горели. Ни о кафе, ни о ресторане речи не было, у одного из парней нашлась круглая коробочка ландрина, они посидели на скамейке и пососали леденцы. Обрато «белоподкладочники» предложили идти пешком, чтобы оценить красоту города. А когда у Таси на половине пути сломался каблук, выяснилось, что у ребят нет денег даже на трамвай.

— Ну и что? По крайней мере, не буржуи! — сказала Лелька. Следующими жертвами «бывших белоподкладочников» оказались мы с Лелькой.

Нам предстояло распилить, наколоть и снести на четвертый этаж целую сажень дров. Дрова были сучковатые и сырые, с такими намаешься!

Только мы взялись за пилу, как появились те двое парней:

— Давайте мы все сделаем, а вы за это выручите нас — вымойте нашу комнату. Плата за дрова будет ваша.

Так сказал один из них, а второй добавил:

— Знаете, мы не очень умеем мыть-убирать.

Сделка состоялась, хотя совесть нас мучала — слишком неравноценные работы! Готовя тряпки и ведра, мы шептались с Лелькой:

— Так не годится. Когда будем рассчитываться, отдадим им половину денег...

Парни вручили нам ключ от квартиры: первая дверь направо, да вы и сами увидите!

И мы увидели... Пол был покрыт слоем вязкой грязи, подоконники, загроможденные невытой посудой, были черны и сальны — на них без подставок ставили кастрюли и сковороду. К столу, прикрытому пожелтевшими газетами, было противно прикоснуться. Под кроватями валялись какие-то лохмотья. Полотенца казались сшитыми из темно-серой жесткой дерюги.

А во дворе бойко и насмешливо посвистывала пила.

Растерянно оглядывая комнату — не начать ли с потолка? — мы увидели в углах черную паутину, а над засиженной мухами лампочкой тот самый рыжий абажур с налетом давней пыли на былом шелковом великолепии.

— Свины в галстуках! — выругалась Лелька.

— Может, пошлем к черту?

— Так ведь взялись... Да и пропадут мальчишки в этакой заразе!

Было по-полуденному солнечно, когда заблестели промытые стекла и обнаружилось, что подоконники все же белые. Начало смеркаться, когда мы установили, что полотенца сшиты из мягкой белой ткани с голубыми прожилками. шелк на абажуре — нежно-лимонного цвета, а стол сработан из светлого дерева и когда-то был полирован. При

свете электричества мы несколько раз голиками драили пол, постепенно добираясь до первоначальной фактуры — узорного паркета.

Во дворе давно не слышалось ни посвиста пилы, ни туканья топора.

— Носят, гады! — сказала Лелька. — Ну пусть только заявятся, я их мокрой тряпкой по поросычьим мордам!.. Верушка, давай еще раз промоем пол. Начисто.

Промыли начисто. Комната сияла в ожидании хозяев, но хозяева упорно не шли. Я высунулась в окно — во дворе пусто, дрова давно перетасканы и даже опилки выметены.

— Скрываются, прощелыги!

— А ты еще хотела часть денег отдать! Тут приплачивать надо.

Когда мы вышли шаткой походкой вконец измученных людей, прощелыг нигде не было. И денег не было — унесли. Лелька призывала на их шалопутные головы все кары земные и небесные. Лелькин Миша сказал, что завтра же набьет им морды. Мы долго отмывались, потом напились горячего чая с бубликами, принесенными Мишей, а после чая Лелька все же пошла с Мишей погулять — чего не сделаешь ради любимого человека! Я же повалилась на кровать с учебником, убедив себя, что буду заниматься до возвращения Лельки... и тут же заснула. Разбудило меня громкое шурушание — кто-то пропихивал под дверь конверт, а конверт застревал. Я последила взглядом за тем, как уголок конверта, будто живой, мечется взад-вперед, выискивая щель пошире, поднялась поглядеть, что за поклонник там старается, и услышала топот убегающих ног.

В конверт были вложены деньги и записка: «Спасибо! Не сердитесь, девушки!»

УДАРЫ ГОНГА

Очередная невесть из-за чего возникающая ссора с Палькой кончилась полным разрывом. Палька отослал по почте все мои письма и записочки, вырвал из дневника и вложил в пакет все страницы, мне посвященные. «Прости и прощай!»

Окружающий мир застлал сумерки.

Трудно восстановить в памяти, что со мною происходило в те дни, слишком много иных чувств и ударов прошло через душу за прожитые годы, а последующий опыт и более близкие по времени, более зрелые по силе переживания так сместили масштабы, что подстерегает опасность неправды — снисходительной усмешки, иронической легкости рассказа о давнем горе семнадцатилетней девчонки. А было у нее — отчаяние.

Я снова как бы со стороны, издали, вглядываюсь в эту знакомую мне девчонку и вижу, что она собирала все силы и всю гордость, чтобы скрыть лютое горе под видимостью обычной жизни с лекциями и зачетами, театральными вылазками, прогулками по городу и студенческими вечеринками, где нужно танцевать и веселиться, — нельзя же показывать всем и каждому, что хочется укрыться от чужих глаз и нареваться до изнеможения! У нее не было ни опыта, ни умения анализировать, она безусловно верила веселости Пальки Соколова, когда он приходил в общежитие навестить земляков. Припав к двери, сквозь громоподобный стук собственного сердца она вслушивалась в интонации его голоса — в коридоре неподалеку от ее двери Палька болтал с приятелем о всяких пустяках... А может, он все же постучит к ней? Может, захочет увидеть, спросить: «Как живешь?»... Но Палька говорил:

— Ну, я пошел.

— Да посиди у нас, сейчас ребята соберутся.

— Не могу, и так опаздываю.

— Свидание?

— Ну, свидание. Будь жив!

И он уходил. На свидание. Ах так! И она старалась делать то, что делают все девушки мира: доказывала себе и другим, что ей не менее весело, что она прекрасно может жить без заносчивого, капризного Пальки с его выкрутасами, что есть сколько угодно гораздо более внимательных и симпатичных ребят. Она целовалась в коридоре с лесником Шуркой, назначала другому свидание на Кировной, а третьему у Литейного моста и шла с четвертым, украдкой, «проверять караулы». Оставаясь одна, писала стихи, где прорывалась ее боль, но оставалась наедине с собой все реже. В те недели душевного разброда ее не интересовали ни учеба, ни книги, ни институтские комсомольские дела. Шли недели. Молодость брала свое, временами ей и впрямь нравилась ее легкомысленная, суматошная жизнь — если б только неразлучная подружка не собиралась выходить замуж за своего доброго, верного Мишу и если б не повадился неведомо зачем Палька Соколов навещать приятелей в общежитии!..

Весною произошло три события как будто бы и не крупных, но разве только эпохальные события играют роль в нашей душевной жизни! Те три случая я ощущаю до сих пор как поворотные.

За мною начал ухаживать одноглазый анархист. Вышел он из солидной профессорской семьи, учился на последнем курсе Технологического института и носил студенческую тужурку на белой шелковой подкладке. Отсутствующий глаз прикрывала черная повязка. Впервые он появился у кого-то из наших технологов вечером, с гитарой, подпевал томным баритоном, когда мы пели, а потом, бешено сверкая единственным глазом, спел анархистский гимн «Черное знамя», где бушевало пламя пожаров и кровавая борьба и гудел набат призывной трубы. Он давал понять, что был завсегдатаем дачи Дурново на Выборгской стороне, где в 1917 году обосновались анархисты, и что он не только из песни знает пламя пожаров и кровавую борьбу. Затем он подсел ко мне, дергая струны так, что, казалось, они вот-вот лопнут, и пригласил меня на традиционный бал в Техноложку. Прощаясь, сказал, что заранее просит у меня «последнюю мазурку».

Лелька нашла, что он фанфарон. Я же была захвачена новыми впечатлениями: одноглазый анархист! черное знамя и набат призывной трубы! традиционный бал и последняя мазурка!

Но как мне быть, если я не умею танцевать мазурку?

Никто из наших мальчишек не брался научить меня — может, не умели, а может, не хотели, зная, ради чего я хлопочу. А вечер бала приближался...

На Литейном давно примелькалась броская вывеска «Уроки балльных танцев». Урок стоил пять рублей новыми деньгами, что по нашему бюджету было громадной суммой. Признаться Лельке я не посмела, потихоньку вынула пятерку из денег, откладываемых на внебюджетную покупку, и, зажав ее в кулаке, побежала к учителю танцев.

Впустила меня горничная — настоящая, старорежимная, в кружевной наколке. В пустом зале роскошной квартиры мне пришлось ждать — учитель обедал. С каждой минутой ожидания все неудержимей хотелось убежать. Но тут появился невысокий чернявый человек во фраке, небрежно спросил, что мне нужно, и крикнул в приоткрытую дверь:

— Зосья, мазурку!

Вышла немолодая дама с нотами, села к роялю и немедля забарабанила мазурку. Учитель схватил мою руку и, покрикивая на меня,

повлек за собою вокруг зала, покружил, снова повлек за собой... Я еще только начала понимать, что должны делать мои ноги и руки и как держаться, когда чернявый отпустил мою руку — он уже закончил урок:

— Вот и все. Барышне тут и уметь нечего, слушать ритм и подчиняться кавалеру. Желаю успеха.

Я не посмела сказать, что в объявлении говорится о часовом уроке, а прошло от силы десять минут. Пятерка уже скользнула в его карман. Заметив мое разочарование, он оценивающе оглядел меня с головы до ног и сказал, что для закрепления я могу прийти в субботу, по субботам у него собираются ученики «на маленькие домашние балы» — совершенствоваться в танцах. В моей памяти промелькнуло воспоминание о прелестных ученических балах Наташи Ростовской у учителя танцев Йогеля, но в это время чернявый наклонился ко мне и многозначительно сказал:

— Приходите. Если повезет, заведете недурные, а может, и выгодные знакомства.— И крикнул горничной: — Паша, проводи барышню!

Никогда еще я не чувствовала себя такой униженной. Со мною обращались как с душой, а я позволила, я не сумела и слова вымолвить на его гнусные посулы, и пятерку — так трудно заработанную пятерку! — этот наглец отобрал, даже не моргнув...

На бал в Техноложку я пошла в дурном настроении, с ощущением растущего недовольства собой. В потертой бархатной блузке я выглядела жалко в толпе нарядных девушек, среди которых терялось небольшое количество таких же бедных студенток, как я. Никто меня не приглашал, и я не расставалась со своим одноглазым анархистом, а он танцевал с развязной лихостью, подпевая оркестру и прижимая меня к себе. В перерыве он повел меня в какие-то странные комнаты, увешанные коврами, с низкими светильниками, прикрытыми цветастыми платками, так что в комнатах было полутемно. Тут и там на кушетках миловались парочки.

— Что это за комнаты? — удивилась я.

— Это наши аудитории, а ковры и прочее мы привозим из дому, чтобы создать уют.

Он усадил меня на свободную кушетку, тискал мою руку и болтал о любви с первого взгляда и тяготении душ, а когда я отобрала руку и отодвинулась, начал развивать анархистскую теорию свободной любви свободных, не сдерживаемых никакими условностями людей. Я еле дождалась последней мазурки, но с мазуркой у меня ничего не получилось, все вокруг танцевали не так, как учил наглец во фраке, взяв за это пятерку. Я сбивалась с ноги и терялась, когда одноглазый отпускал меня, а когда он упал на одно колено, сверкая бешеным глазом, я кружилась вокруг него, глупо подпрыгивая и уже понимая, что выгляжу смешно и танцую отвратительно.

Провожая меня домой, одноглазый в темноте под аркой ворот грубо схватил меня за плечи и попробовал силой поцеловать, я оттолкнула его и ударила наотмашь — метила по щеке, но удар пришелся по уху.

Взбежав по лестнице на самый верх, я присела на подоконник и долго приводила в порядок нервы и мысли. Вывод был горек — со мною не только обошлись как с душой, я и есть дура: и пятерку профукала по-дурацки, и этот пошляк со своими теориями вел себя развязно именно потому, что встретил круглую дуру!

Таков был первый удар гонга, призвавшего задуматься: что же дальше?

Если б я знала, что дальше!

Пока я лишь понемногу осознала, чего не хочу. Совсем не привлекала профессия культработника, которую мне предстояло получить во Внешкольном институте, в этой профессии было что-то расплывчатое — завклубом? организатор самодеятельности (когда сама не умею ни петь, ни плясать, ни играть на рояле и даже на гармошке)? или, того хуже, какой-нибудь инструктор культотдела? Был у нас еще библиотечный факультет, но мне претила перспектива четырех стен и множества полок, даже если на полках — несметное количество прекрасных книг. Люблю книги и читаю запоем, но разве для этого нужно работать в библиотеке? Я знала нескольких библиотекарей, очень преданных своему делу, и тянулась к их знаниям, наблюдала, как они терпеливо и заинтересованно воспитывают вкус читателей, уважала их добрый труд... но чувствовала, что это «не мое», так же как давно, в детстве, «не моей» оказалась выбранная мною астрономия. Соприкасаясь с различными профессиями, к которым готовились студенты нашего землячества, я поочередно мечтала стать геологом, путейцем, строителем, гидротехником, даже юристом, но вскоре догадывалась, что меня тянет не существо профессии, а возможность ездить по стране, набираться новых впечатлений, встречаться с разными людьми... Где же оно, мое дело?..

Лелька и Миша ждали обещанной комнаты в общежитии и дружно готовились к совместной жизни. Я радовалась за них и как умела помогала Лельке в ее хлопотах, но в глубине души отталкивалась от подобной милой домовитости — нет, это не для меня! Даже с Палькой? Даже! Позови он меня на край света, на Камчатку или в кольскую тундру — помчусь без оглядки, но так вить гнездо... и не сумею и не хочу. Сашенька, притихшая после истории с Леонардовной, мечтала кончить институт и вернуться в Повенец учительницей, самостоятельным человеком. Я больше всего ценила самостоятельность, но в устах Сашеньки слово приобретало ограниченный, обывательский смысл, против которого моя душа топорщилась. Не меньше, чем против слова карьера, стоявшего за жизненными планами Шурки.

— Столоначальники, коллежские асессоры, просто тайные и действительные тайные советники... кем именно вы хотите быть, Шура? — посмеивалась я.

— По-моему, каждый человек хочет устроиться получше, — сердился Шурка.

Устроиться? Меня воротило от этого чиновничьего понятия.

Через отрицание неинтересного и чуждого рождалось предчувствие близящегося поворота от сегодняшней невнятицы к своей судьбе, пока еще не угаданной. Если б в те годы уже объявлялись комсомольские призывы на дальние стройки, или на целину, или в авиацию, или на баррикады классовых битв, я бы ринулась на любой призыв, торопя судьбу. Но еще не намечались пятилетки, еще не началось массовое развитие советской авиации, баррикадных боев тоже не было. А был — нэп. И тем юным людям, кто не ограничивал свой мирок личным жизнеустройством, определиться было нелегко.

Не находя своего места в сложно развивающейся жизни, затаив боль от нелепого разрыва с Палькой, я продолжала жить суетливо и бестолково в ожидании чего-то — бог весть чего...

Вскоре после злополучной истории с одноглазым анархистом политехник Алексей пригласил меня в свой институт на концерт симфонического оркестра, после которого предстоял традиционный весенний бал. Внимание Алексея мне льстило, он был очень серьезным, хорошо воспитанным молодым человеком и уже кончал институт, следовательно, думала я, мог найти девушку постарше и

поумней меня. В общепитии все мои подруги держали сторону Алексея, сердились, если я убежала от него с Шуркой или с кем-либо еще, а Сашенька в таких случаях выговаривала:

— С букетом пришел, а тебя нет, нехорошо. Это не Шурка, у него, сразу видно, серьезные намерения!

Ох, как мало занимали меня чьи бы то ни было серьезные намерения!

Когда мы добрались трамваем до Политехнического, его прекрасный актывый зал с высоченными окнами был уже полон, все первые ряды занимали преподаватели и профессора с женами, но сразу за ними были наши места. Алексей свободно здоровался с самыми почтенными профессорами, приветствовал по имени и отчеству их жен, ему отвечали как хорошо знакомому — и все с улыбкой оглядывали меня, пусть деликатно, мельком, но от этих взглядов я багрово краснела. Стараясь подавить смущение, я сказала довольно громким шепотом:

— Сколько тут плешей! А вы никогда не вспоминали больше одной-двух!

Алексей улыбнулся мне как маленькой и шепнул:

— Обязательно всех перепишем. Вместе, хорошо?

И тут же предупреждающе дотронулся до моей руки — на сцену выходили музыканты. Были среди них совсем пожилые люди и совсем молодые, все в белых рубашках и строгих черных костюмах. Они должны были исполнить Девятую симфонию Бетховена. В программке значилось — оркестр под управлением... хор под управлением... Хотелось спросить — почему хор? Разве в симфониях участвует хор, как в опере? Я еще не приобщила к симфонической музыке, хотя с детства привыкла к роялю и знала на слух много прекрасных фортепьянных произведений. В том числе и сонаты Бетховена — Лунную и Аппassionату, мама играла их и дома для себя и на концертах. Но симфонию... Признаюсь, в опере, когда оркестр исполнял увертюру, я всегда с нетерпением ждала, чтобы поднялся занавес и вступили певцы, начиная действие. Не скучно ли — один оркестр? И почему нет хора, хотя он объявлен в программке? Спросить Алексея — или стыдно?... Стыдно.

Я наблюдала за тем, как рассаживаются и настраивают инструменты скрипачи, виолончелисты и другие музыканты, чьи инструменты я знала нетвердо. В оперном театре мне всегда хотелось заглянуть в оркестровую яму и разобраться, какие звуки извлекаются из того или иного инструмента, как эти инструменты вступают, сливая свои партии в единое целое, и как умудряется дирижер управлять ими всеми, да еще и певцами и хором. Теперь, когда оркестр был весь на виду, я готовилась за всем этим проследить.

— Вы знаете, — шепнул Алексей, наклонясь ко мне, — тема симфонии — через страдания к радости.

Я кивнула — знаю. Ребяческая спесь! — ничего я не знала.

Дирижер поднял руки и проткнул воздух палочкой. Как в детстве, когда я вся напрягалась, чтобы не пропустить первых созвучий, возникающих из прикосновений маминых пальцев к клавишам рояля и рождающих чудо музыки, я напрягалась в наивном стремлении сейчас, здесь, еще не освоившись с большим и сложным организмом оркестра, уловить это рождение и понять взаимодействие всех его голосов! Но первые же звуки заставили меня вздрогнуть от неожиданности, так они были завораживающе выразительны и сильны, все мои приготовления разом забылись, отлетели ребячество, самонадеянность, любопытство, — над всем привычным бушевала буря, вторгаясь и в мою душу, музыка забрала меня целиком, подчинила и повела в

незнакомый-взрослый мир человеческого страдания, надежд, борьбы, отчаяния и просветлений, желаний и крушений...

Так уж подстроила жизнь — впервые знакомиться с симфонической музыкой, слушая Девятую! Я попала в положение несведущего новичка, без всякой подготовки вознесенного на высочайшую из вершин, куда не каждый опытный альпинист сумеет совершить восхождение. И мне, как в разреженном воздухе вершин, сдавило дыхание.

Я отчетливо помню тот вечер, и безостаточную полноту восприятия, и свое ошеломление неистовостью чувств, которые несла музыка Бетховена на своих богатырских, на своих размашистых крылах. Сколько раз потом я слушала Девятую в исполнении лучших дирижеров мира, каждый раз по-новому ее постигая и переживая! С каким интересом читала все, что помогало глубже понять ее, и какой отклик в моей душе находило то, что писал о Бетховене и его Девятой симфонии Ромен Роллан, соединивший тонкий анализ музыковеда с непосредственностью восприятия страстного художника! Теперь я стараюсь все это забыть. Я ставлю на проигрыватель пластинку и слушаю симфонию п а м я т ь ю, словно впервые в жизни, — слухом, сердцем, всей тогдашней душевной сутью девочки, за один час открывшей для себя целый океан человеческих страстей.

При всей своей неискушенности я ощутила в симфонии две параллельно развивающиеся и борющиеся темы, две силы — душу человека и грозную, бурную судьбу, обрушивающую на него удар за ударом, несущую страдания и утраты. Я старалась уловить в музыке, такой могучей и такой прекрасной, всплески боли, отчаяния, быть может — усталости и покорности судьбе, но сильнее всего я ощущала могучесть духа, здорового и веселого духа, все преодолевающего, способного вырваться из страданий к новой надежде, к радости жизни. Не переставая слушать, я задумалась о человеке, написавшем эту необычайную музыку, — я знала только, что он жил сто лет назад и что он с молодых лет начал терять слух, а в последние десять лет жизни не слышал совсем. Глухота — у композитора! Значит, эту последнюю симфонию он создал в своем гениальном воображении, всю ее — от первой ноты до последней — написал мысленно, напряжением слуховой памяти, не имея возможности сесть к роялю и проверить звучание им создаваемого чуда... Может ли быть судьба трагичней?!

Но музыка сама сказала мне, что она — шире, крупнее личной трагедии, что тут — вся жизнь человеческая, что можно вынести, преодолеть и более грозные удары... Что бы ни было, он, Человек, снова и снова оживает, радуется свету, солнцу, небу, прелести полей и леса, он ищет любви и верит в будущее. Иначе как бы родилась жизнерадостная, танцевальная мелодия, вырывающаяся как бы из-под обломков крушения?.. Иначе откуда бы этот свет, пронизывающий самую печальную третью часть симфонии, хотя в ней и боль, и жалобы, и сомнения, и сожаления... и все же свет! И — никакой покорности.

Я несколько раз прослушиваю начало последней, четвертой части, чтобы восстановить то, прежнее восприятие и найти место, где я произвольно сказала вслух:

— Жив курилка!

Алексей удивленно покосился на меня и легонько сжал мою руку. Может быть, не расслышал или подумал, что я ничего не понимаю в симфонии и скучаю. А для меня это было открытие — курилка не курилка, но самый земной, кряжистый, даже мужиковатый человек с такой силищей неунывающего духа, что его не согнуть

и не сломить, он идет навстречу буре и после самых тяжких ударов судьбы становится еще сильнее.

— И я хочу так!

Оглушенная собственным странным желанием и в этот миг прозрения убежденная в том, что меня ждет судьба трудная, необычная, насыщенная страданием и борьбой, что спокойствия не будет — да я и не хочу спокойствия! — я как-то забыла о том, что в короткой паузе перед последней частью симфонии на сцену тихо проследовал и выстроился за оркестром хор и вышли вперед с нотами в руках объявленные в программе солисты. Забыла ждать их вступления — и потому так потряс меня раскат низкого мужского голоса, в полной тишине воззвавшего: «О-о-о, братья, довольно печали!.. Будем гимны петь безбрежному веселью и светлой, светлой радости!» Хор поддержал: «Радость! Радость!» — и это было только начало...

До тех пор я не слыхала ничего подобного. В опере самые чудесные хоры сопровождались действием, событиями, это отвлекало от чистого звучания множества голосов в их сложном переплетении. Но в финальном хоре Девятой меня поразили тогда не только мощь, красота, страстность этого гимна победившего духа, ворвавшегося в симфонию, чтобы до конца утвердить ее глубинный смысл. Меня поразила современность гимна, будто не сто лет назад, а сегодня кто-то молодой и революционный напоминал страждущим людям: «Все мы друзья и братья!» — звал их на бой за братство и свободу: «Встанем вместе, миллионы!..»

Вероятно, кому-нибудь покажется преувеличением, но когда все кончилось и надо было встать и выйти, чтобы зал освободили от стульев, я поднялась, чувствуя себя старше на опыт целой человеческой жизни. И мне было трудно вернуться издалека, из взрослого мучительного и прекрасного мира, в простую реальность, где я была девочкой в ветшающей бархатной блузке и неказистых туфельках, которые мы с Лелькой усердно покрыли черным лаком ради бала, и рядом со мною был поклонник, старательно знакомивший меня со своими приятелями и учителями, и нужно было улыбаться и что-то отвечать на нелепые вопросы «как вам понравилось?», как будто об услышанном можно было говорить обыденными словами!

Один из профессоров, уже седенький, вдруг пригласил меня на первый вальс и заговорщицки сказал Алексею:

— Умыкаю вашу невесту. Потерпите, один тур — и я исчезну.

Алексей почему-то порозовел от удовольствия и позволил умыкнуть меня, я же пропустила мимо неожиданное слово «невеста» — старичок, вот и говорит ветхозаветным языком. Старичок провальсировал со мною один круг, успел сказать, что Алеша — весьма достойный молодой человек, старомодно раскланялся и передал меня Алексею. Постепенно я вернулась в простую реальность, с увлечением танцевала все танцы подряд, даже мазурка у меня как-то сама собою получилась, и была не прочь пококетничать со студентами, приглашавшими меня, и пошучивала над Алексеем, который держался почему-то торжественно и в перерывах между танцами вел меня под руку, как принцессу. Для последнего вальса потушили свет — в высоченные окна бессонными глазами заглядывала белая ночь, пары медленно кружились в ее туманном свете, Алексей молчал и сверху вниз смотрел мне в лицо вопросительно и нежно.

Трамваи уже — или еще — не ходили. Мы вышли в долгий-долгий путь пешком. За заборами деревянных домишек, которых было тогда множество, всюду цвела сирень, ее пряный запах сопровождал нас, то слабей, то усиливаясь. Мне захотелось нарвать сирени, особенно пышно, прямо-таки огнем пылавшей за одним из заборов. Алексей

подсадил меня на плечо, я без зазрения совести наломала лучших веток и скомандовала спуск. Алексей опустил меня на землю и повернул к себе, крепко удерживая меня за локти, так как мои руки были заняты охапкой сирени. Зачинающаяся утренняя заря освещала его красивое лицо с появившимся выражением торжественной решимости. И слова он произнес такие торжественные, что от удивления я их не сразу поняла:

— Я хочу просить вас быть моей женой.

Год назад мы с Палькой решали, что поженимся через шесть лет, когда кончим учиться, но это решение возникло естественно — из нашей любви, из совместного обдумывания жизненных планов. То, что сказал сейчас Алексей, было самым настоящим и первым в моей жизни «предложением» — ну точно как в романах прошлого века. Я была взволнована и испугана. Что отвечают в подобных случаях, чтобы не обидеть и не согласиться? Проще всего убежать, но как убежишь, когда он держит тебя за локти и когда до дому километров шесть, а трамвай не ходят!

— Ну какая из меня жена, — ответила я и осторожно высвободила локти. — Лис говорит, что я еще мелюзга. И учиться мне еще пять лет!

Считая, что ответ дан, я укрылась сиренью — как она пахла и какие лучистые капельки росы удерживались на ее листьях! — и первой зашагала дальше. Алексей догнал меня, взял под локоть и все тем же торжественным тоном сказал, что будет ждать, пока мне исполнится восемнадцать, а что он старше — это хорошо, он сумеет создать для меня все условия, любое мое желание сможет удовлетворить, я никогда не узнаю нужды, трудностей и огорчений...

Боже мой, «все условия»! Никаких «трудностей и огорчений»!

Самые грозные аккорды загудели, застонали в моей памяти. Вырываясь из них — нет, из-под них, как из-под обломков крушения, — возникла та будоражащая, неистребимо жизнерадостная мелодия... и снова сверкнул — как не вполне понятное мне самой предчувствие — миг осознания своей судьбы. С почти недоступной горной высоты Алексей заманивал меня на тихий, уютно обставленный пятакочок... Если б я умела высказать ему, чем стал для меня концерт, на который он сам меня привел, что открыла мне музыка Бетховена — в жизни и в себе самой! Но сегодняшнее откровение жило лишь в ощущениях, не выраженное словами, да и не могла я осознать его и выразить ни по возрасту, ни по разумению, оно трепетало в самой глубине души, а слова подвергывались обыденные, девчоночьи, и только при помощи обыденных слов и природного лукавства я могла ответить Алексею.

Пошучивая, я говорила, что из меня получилась бы невыносимая жена, своенравная и упрямая, что такой жены и не увидишь — или сидит, уткнувшись в книгу, или бегаёт по всяким комсомольским делам.

Алексей не придавал значения моей болтовне, вероятно, счел ее девичьим кокетством, перед тем как ответить да, он слушал меня с добродушной улыбкой, а потом сказал, будто спрашивая, но, в сущности, уточняя что-то само собою разумеющееся:

— Но когда вы выйдете замуж, вы же оставите комсомол и все прочее?

Вопрос прямо-таки хлестнул меня. В милейшей форме мне предлагалось отречение — да, да, отречение! — и не под угрозой смерти, не под пытками, как комсомолке Айно из карельского села Тихтозеро, замученной белобандитами за отказ отречься от своих

убеждений... нет, ради «всех условий», ради мещанского благополучия без трудностей и огорчений!..

— Никогда. Понимаете, ни-ког-да! И замуж за вас не выйду! — Увидев его несчастное лицо, поспешно добавила: — И вообще замуж не выйду! Ни за кого!

Мне было жаль Алексея, он не был ни в чем виноват, он просто не понимал, я злилась на себя и только на себя: что же я за человек и как живу, если можно надеяться, что я отрекусь!

Так на полпути между Политехническим институтом и Литейным мостом раздался второй удар гонга.

А третий был связан с сущим пустяком — с прозрачной солодкой для шляп.

У меня не было особых притязаний по части нарядов, но одно суетное желание удерживалось еще с Петрозаводска, с той весны, когда моя воображаемая соперница Аня появилась в широкополой шляпе из прозрачной солодки, — мне казалось, что шляпа делает ее неотразимой и если я обзаведусь такою, стану неотразима тоже. Прозрачная, поблескивающая солодка была, как я вспоминаю, и не солодка вовсе, а тесьма шириною с палец, но так уж ее называли. Девушки мастерили из нее шляпы — поля покачивались и просвечивали, отбрасывая на лицо таинственные блики.

На мою беду, и в Питере я увидела девушек в таких же шляпах, а в одном из магазинов Гостиного двора — рулон прозрачной серебрястой солодки. Стоила она не так уж дорого, но у меня и того не было. Пришлось откладывать деньги тайком от Лельки, потому что Лелька осудила бы и высмеяла мое желание. Скопив нужную сумму, я побегала в Гостиный двор.

Построенный два века назад, Гостиный двор известен теперь ленинградцам и приезжим как один из главных торговых центров города. Глядит он фасадами на четыре улицы, с любой из них попадаешь в анфиладу торговых залов и можешь, переходя из одного в другой, сделать полный оборот длиною в километр, вернувшись к исходной точке; поднимаешься по одной из пологих лестниц на второй этаж — и снова анфилады залов, откуда можно выйти на крытую галерею — отдышаться от магазинной суеты. Таким Гостиный стал после блокады, после бомб и пожара — восстанавливая, его переустроили на современный лад. А в двадцатые годы весь Гостиный был разбит на отдельные клеточки частных магазинов и магазинчиков; некоторые из хозяев использовали свой второй этаж под склад товаров, иные торговали и наверху, но подниматься на второй этаж нужно было по узкой винтовой лесенке, громыхающей под каблуками. Конечно, наверху держали товары попроще, а цены у каждого нэпмана назначались свои — пока ищешь какую-нибудь мелочь вроде пуговиц, стараясь купить подешевле, снуешь из двери в дверь, вверх-вниз — намаешься!

Солодку я давно присмотрела на Невской линии, где находились самые шикарные магазины, но теперь заветного серебрястого рулона там не оказалось. Я мялась у прилавка, не решаясь обратиться к солидному продавцу, пока он сам не спросил: «Что прикажете?» — а потом виновато сообщил, что, к сожалению, солодка распродана:

— Зайдите на той неделе, получим обязательно.

Но я не хотела ждать неделю и отправилась по другим магазинам — из двери в дверь, вверх-вниз... И вот в одном из магазинчиков по Садовой линии — рулон солодки, да еще золотистого оттенка. Я робко и восторженно потрогала ее скользящую под кончиками пальцев поверхность. Заплатила. Продавец отмерил, сколько нужно, и подал мне узкий невесомый пакетик.

Подпрыгивая от радости, я перебежала Садовую, лавируя между извозчиками, трамваями и автомобилями, обошла Публичную библиотеку и, увидав молодую зелень садика перед Александринским театром, поняла, что не только устала от беготни по крутым лестницам, но и зверски голодна. У лоточницы купила на полученную сдачу румяную булочку с маком, уселась на скамье, вытянула для отдыха ноги и, уплетая булочку, предалась мечтам. Вот прихожу домой и показываю Лельке свою покупку, Лелька поворчит, а потом мы вместе с нею начнем мастерить шляпу, а когда шляпа будет готова, выйду в ней из дому и, быть может, встречу Пальку и он остановится, пораженный тем, как мне идет эта шляпа и какие золотистые блики падают сквозь соломку на мое лицо... Я долго придумывала, что он скажет и что я отвечу.

Затем начала сочинять стихи: «Твое лицо сквозь солнечные блики...» К бликам не находилось никакой рифмы, кроме «великий» и «клики», но событие было недостаточно важным для подобных рифм, что я с усмешкой и отметила. Память подсказала, что мое начало навеяно строками Блока: «...твое лицо в простой оправе передо мной сияет на столе»; но у Блока сказано хорошо и точно, а у меня ерунда: «Лицо сквозь... блики»... при чем тут сквозь?..

А день был весенний, солнечный — счастливый.

Возле меня сидела молоденькая девушка, почти девочка, в белом платке, повязанном по-деревенски, и что-то зубрила по учебнику, шевеля губами. Я искоса глянула в учебник — кровеносные сосуды? Медичка? Или готовится поступать в медицинский? Но уж очень молодая, ей же не больше шестнадцати...

Девочка вдруг сорвалась с места и подбежала к упавшему на дорожке мальчугану, подняла, успокоила, вытерла ему глаза и нос, отряхнула его матросский костюмчик. Сынишка? Не может быть. Братик? Но мальчуган явно городской. Няня?

Когда девочка, заняв мальчугана игрой с другими малышами, снова уселась рядом со мной, я спросила, для чего она учит анатомию, и девочка ответила с охотой:

— Учусь на медсестру. Вот к ним поступила няней, а они меня устроили учиться.

Мимо нас проплыла высокая плетеная коляска с младенцем в розовом капоре. Коляску катил мужчина средних лет в расстегнутой у ворота вельветовой блузе, с гордым и оскорбленным видом, катил и пел, вызываяще поглядывая вокруг, хорошо поставленным баритоном:

Улетел орел домой,
Солнце скрылось за горой...

По ту сторону громоздкого памятника Екатерине Второй две нарядно одетые, но препротивные девчушки лет пяти и семи нудно капризничали, а над ними кудахтала маленькая, сморщенная, словно раз и навсегда прибитая женщина, и по всему чувствовалось, что она этих девчушек обожает и готова распластаться перед ними, если им того захочется. Кто она им? Бабушка? Тетка?..

Мимо нас, но в обратном направлении, снова проплыла плетеная коляска, папа в блузе пел теперь арию князя Игоря:

Ты одна-а, голубка лада...

Я рассмеялась, зажала пакетик под мышкой и отправилась домой самым приятным путем — через Манежную площадь и мимо цирка, чтобы пройти по моей любимой Инженерной аллее.

...Этот баритональный папа-певец, он мечтал об опере, о громкой

славе, но в оперу не попал, не хватило таланта и голоса, теперь выступает с джазом в кинотеатрах перед началом сеанса. В «Коллизее» или в «Паризиане». Жена моложе его и способней, кончила Театральный, и ее взяли в труппу Александринки, пока крупных ролей не давали, но она дьявольски работала и надеялась... Сегодня ей повезло — неожиданно заболела премьерша и ее вызвали репетировать, вечером «Бесприданница», надо выручать театр! А ей и нетрудно, она сама подготовила роль Ларисы и сегодня блеснет так, что все-все будут рукоплескать новой премьерше...

Но идет ли в Александринке «Бесприданница»?..

...А девочку зовут Тоней — она Антонина или Антонида, как в «Иване Сусанине». Дома, в тверской или псковской деревне, братишек и сестреночек мал мала меньше, папа погиб на гражданской, пришлось Тоне ехать в город на заработки. Но тут безработица, Биржа труда с длинными очередями... Поступила в домработницы — ради крыши над головой, ради куска хлеба. А люди оказались сознательные, хозяйка — врач, она первая сказала: «Молодая ты и толковая, учиться надо. Живи у нас, Тоня, смотри за мальчуганом, а вечером ходи на курсы, станешь медсестрой — к себе в больницу устрой». Вот и учится, а хозяйка проверяет, диктанты диктует, а уж по анатомии и другим медицинским наукам и спрашивает и объясняет. Тоня пишет домой: «Мамочка, такой она человек, что век благодарна буду...»

...А та, сморщенная, нескладная, она капризулям родная тетка; замуж выйти не удалось, куда уж такой некрасивой, нелепой... Профессии тоже нет, только шить умеет, вот и прижилась у сестры, всех обшивает, с пеленок нянчила племянниц и так полюбила их, что и недостатков их не замечает, какое там! — нет для нее на свете лучших детей, чем эти... А они ее в грош не ставят. Как они ее называли? Матрешка или Мирошка? Хлебнет она с ними горя горького на старости лет, а девчушек будет перед всеми выгораживать, еще и себя обвинит: «Старая дура, надоедаю им, путаюсь под ногами!»

Вот так примерно я складывала жизненные истории случайных встречных, и уже казалось, что по-иному и быть не может, скажи мне — никакой он не певец джаза, а Матреша или Мироша никакая не тетка капризулям, не поверила бы, они уже зажили своей, сложившейся в моем воображении жизнью...

После шумной площади у цирка, где припекало по-летнему, Инженерная аллея окутывала мягкой прохладой и тишиной. Прикрытая как навесом ветвями старых лип, она была тениста и в этот после-полуденный час, только кое-где покачивались желтые пятна от пробившихся сквозь молодую листву лучей, а дома напротив, на той стороне Фонтанки, и вода в канале были ярко освещены солнцем, и от стекол, от колебаний воды в аллею залетали зыбкие отсветы, наполняя ее мерцающим светом. Все было — или казалось — удивительным. Неподалеку приткнулась к каменному спуску барка, нагруженная гончарными изделиями — большими и маленькими кувшинами, горшками толстобокими и горшками высокими, суживающимися кверху, которые в детстве, у бабушки, назывались глечиками. Одни были простыми, цвета обожженной глины, другие облиты цветной глазурью и расписаны веселыми узорами. А на корме раскинулся среди горшков и сладко спал гончар (или кормщик?), подставив солнцу коричневое от загара лицо, обрамленное совершенно золотой бородой, — ну точно быллинный богатырь! Да и сама барка с цветастой посудой казалась выплывшей из русской сказки.

Удивительным был и старик с собакой, трудно шагавший по аллее. Он вышел ко мне из другого века — высокий, через силу прямой, на негнущихся ногах, с величавой головой, в котелке, каких

давно не носят, человек иной жизни, иной веры, иных устоев. Его собака, когда-то породистая и красивая, была тоже стара, шерсть ее поредела, ноги разъезжались и плохо гнулись... Почему-то я знала, что он бывший «действительный тайный советник». И вот доживает, чуждый всему новому, один со своей одряхлевшей собакой, только с нею и ладит, идут гулять — потихоньку, ей нужно остановиться — и он стоит, величественно, как памятник, а настает вечер — он, кряхтя, ложится в постель, а собака рядом, на подстилку, и оба постанывают во сне...

Они прошли, а меня — от сопоставления, что ли? — прямо-таки захлестнуло упоительное ощущение своей молодости, здоровья и ждущих применения сил, своей причастности новому веку и всем возможностям только-только начавшейся жизни. И от полноты этого ощущения я впервые поняла, что все время — на ходу, в институте и где бы я ни была — я додумываю, дописываю, сочиняю людей и события, и не сочинять не могу, и это не просто так, не ерунда, как мои стихи, это и есть — мое дело, мое будущее, то, чем я не могу не заниматься, может быть, то, ради чего я родилась на свет.

Я шла по Инженерной аллее опьяненная своим открытием и представляла себе: я писатель, у меня выходит книга (даже обложка примерещилась) и вот Палька видит на прилавке книгу... И тут я увидела двоих — мужчину и женщину, они стояли под деревом, держа за руки и сцепив пальцы, стояли и молчали, глядя друг на друга глаза в глаза. Проходя совсем близко от них, я поразились выражению их лиц — была ли то беззаветность любви? отрешенность от всего существующего вне их двух жизней? отчаянность свидания — вопреки всему, что мешает?..

По этому выражению, одинаковому у обоих, я сразу узнала их. Да, я их видела вот тут же, на аллее. Было это еще до ссоры с Палькой, значит, в марте или в самом конце февраля. Днем победно трезвонила капель, а вечером было про-зимнему холодно и ветрено, нам некуда было деваться и мы бродили по улицам, но люди нам мешали, вот мы и забрели сюда, на пустынную темную аллею, где и ветра поменьше. Мы стояли у перил обнявшись, и вдруг Палька отвел руку и отодвинулся, потому что к нам приближались двое — мужчина и женщина, оба уже немолодые (если б молодые, Палька не застеснялся бы). Шли они странно — не под руку, а за руку, сцепив пальцы. На другом берегу канала а набережной на мост свернул автомобиль, ударил в их лица лучами фар, и я увидела то самое выражение счастливой или отчаянной отрешенности... Мы для них не существовали, они остановились совсем неподалеку от нас, плечо к плечу, женщина засмеялась (очень славный, ласкающий был у нее смех!) и сказала: «Не спорь! Я ее тебе дарю на вечные времена. Аллея — твоя!» Мужчина ответил счастливым голосом: «А что мне делать с нею? И как другие узнают, что она моя?» Женщина заговорила быстро и горячо, я разобрала только несколько слов: «...даже когда меня не будет... с другой... все равно вспомнишь...» Мне показалось, что в ее голосе — слезы. Захваченная непонятностью отношений этих двух людей, я готова была без стыда прислушиваться к их разговору, но Пальке до них не было дела, он заговорил о своем, а те двое медленно пошли вперед и затерялись в темноте.

И вот они опять здесь. Стоят, сцепив пальцы, будто прощаются и никак не могут расстаться. На Инженерной аллее, которую она ему подарила, чтобы он вспоминал о ней, даже когда ее не будет. На этот раз заметно, что он моложе ее. Я хорошо вижу ее лицо, уже тронутое морщинками, стараюсь взглянуть на нее глазами ее спутника, и мне удастся увидеть, что в ее немолодом и как будто обыкновенном

лице есть странная притягательность, очарование внутреннего света, о котором так поэтично писал Толстой, — света ясной души, ума, нежности... Нет, определения не давались, то, что происходило с этими двумя, было вне моего опыта, только смутно ощущалась трагедия любви, недоступная моему пониманию...

Я уже прошла мимо, когда женщина оторвалась от своего любимого, обогнала меня и вот — почти бегом — уходила, уходила от него... и от самой себя?.. Я не удержалась и оглянулась — он стоял на том же месте и смотрел ей вслед. Хотела бы я, чтобы Палька когда-нибудь вот так смотрел мне вслед!..

Долго простояла я в тот день у перил набережной. Ни пересказать, ни вспомнить всего, о чем я там раздумывала, не могу — да и нужно ли? Человеком, осознавшим свое призвание, я вступала в загадочный мир человеческих отношений и чувств, в котором понимала гораздо меньше, чем наивно думала еще вчера, но я верила, что познаю его, и будущее сияло мне, как этот день, удивительное.

Когда я собралась наконец домой, где давно ждет Лелька, я вдруг вспомнила о своей покупке. Ее не было.

Я кинулась назад, всматриваясь, не лежит ли на выщербленных плитках тротуара узкий пакетик. Ведь столько месяцев копила! Так мечтала! Как же это?..

— Чего потеряла? Деньги? — спросила нянька, гулявшая с ребенком.

— Да нет, пустяки, — сказала я и пошла обратно вдоль аллеи и не горевала, а улыбалась солнышку, перистым облачкам в небе, искрящейся воде канала и собственным мыслям. Соломка и в самом деле пустяки, а будущая жизнь огромна и нельзя растерять это сегодняшнее настроение, этот свет и предчувствие, — и на что мне нужна какая-то дурацкая прозрачная шляпа?!

Подходя к дому, я увидела Пальку Соколова — он соскочил с подножки трамвая и явно направлялся в общежитие. Он тоже заметил меня. Радость была короче вспышки магия. Палька мгновенно погасил ее, посуровел и отвел глаза. Но таков был этот день открытый, что я поверила только первому, естественному проявлению, и впервые поняла, почему Палька зачастил в общежитие и подолгу болтает с приятелями в коридоре, и вся эта игра показалась мне ничтожной перед силой любви.

Откинув недостойное притворство, я улыбнулась и пошла ему навстречу.

УЗЛОВАЯ СТАНЦИЯ

Не получалось ни-че-го.

Как наяву виделась темная Инженерная аллея и тускло-черный чугун решетки, ограждающей набережную, и два желтых луча вразлет, предваряющих бегущий по той стороне канала автомобиль: лучи будто переломились, когда автомобиль повернул на Пантелеймоновский мост, полоснул светом по глухой черноте деревьев и на миг высветил два лица — два немолодых лица со странным выражением отрешенности. Я угадывала поздно пришедшую любовь и препятствия, вставшие на ее пути, искала для нее выход — счастливый выход! — и находила его. Нет, не сразу, тут ничего нельзя облегчать, но разве любовь не может все преодолеть?!

Дождавшись вечера, когда Лелька с Мишей ушли, я с наслаждением вставила в ручку новое мягкое перышко, раскрыла на первой странице тетрадь, вывела название: «Инженерная аллея». Начало

мне было ясно — темная аллея, два луча, переломившиеся при въезде на мост, лица влюбленных... Попробовала это написать — и сразу все потускнело, слова лезли неточные, лучи не переламывались, лица были обыкновенны, даже банальны, их описание можно было отнести к любым другим. Может быть, начать с разговора влюбленных? Я видела — говорят, слышала взволнованные голоса, но не улавливала ничего, кроме все тех же подслушанных слов... Прозрение, посетившее меня в недавний день на аллее, не заменяло истинного знания. Вечер за вечером я писала, то и дело выдергивая страницы или с яростью вымарывая бездушные красоты, но тогда ложились под перо слова заемные, из книг. Что я знала о любви и страданиях взрослых людей, кроме вычитанного из романов!..

С досадой сунув тетрадку под тюфяк, я убежала из общежития — тихонько, чтоб никто не привязался, — и бродила одна по улицам, по набережной Фонтанки, подолгу стояла на Инженерной аллее, надеясь, что здесь додумаю, довоображу, пойму, что же у них происходило, у моих героев, и как они говорят, и что думают, и чем должно кончиться... Нет, мысль и фантазия создавали нечто расплывчатое, детали ускользали, их не было. И не хватало ума понять, что задуманное — вне моего опыта. Но однажды вспомнила, как пыталась рассказать Пальке об этих немолодых влюбленных, а он махнул рукой: «Все-то ты выдумываешь!» — вспомнила и рассмеялась про себя, потому что до той встречи на Инженерной аллее сама, так же как Палька, не поверила бы: им же лет под сорок, какая тут может быть любовь!..

Бросив в печку начало недающегося рассказа, я задумалась — с чего же начать? Давно, еще в Карелии, меня томила тема, возникшая в поезде на пути в Олонец: артель плотников во главе с патриархальным старшим, сивобородым дядечкой, нанималась на сезонные работы по селам, по станциям, но работы попадалось мало, и вот решила по письму земляка податься на Волховстрой, на громаднейшее строительство, где набирают рабочих — сколько бы ни приехало, всех берут, и заработки хорошие, да еще дают жилье и пайки... Всем своим комсомольским существом я понимала — не удержится в артели патриархальный уклад, будет в жизни парней крутая ломка... Но что я знаю о Волховстрое? Что я знаю об этих парнях? Тема интереснейшая, но ради нее надо побывать на большом строительстве, а значит, выскочить из своего проклятого возраста, и доучиться, и определиться...

Взялась за тему простую, доступную — история Мироши, увиденной в садике у Александринки. Чем больше я раздумывала об этой нескладной, затюканной женщине, тем трогательней и человечней виделся рассказ о ее тоске по материнству, нашедшей выход в безрассудной любви к чужим капризным детям, и о горечи одиночества, наступившего, когда дети перестали нуждаться в ней... Писала увлеченно, каждый свободный час, даже с Палькой откладывала встречи. Но, перечитав написанные страницы, ужаснулась — это не рассказ, не история одного сердца, а бледная информация о переживаниях, которые я не сумела передать!

Еще одна тетрадь полетела в печку.

Конечно, я вскоре забыла свою несчастливую Мирошу. Но восемнадцать лет спустя в осажденном Ленинграде, когда сутки за сутками, днем и ночью одинаково страшными, сама жизнь диктовала мне судьбу моей героини Марии Смолиной, рядом с нею проступил облик невзрачной, суеливой, самоотреченно-доброй женщины, всем сердцем потянувшейся к маленькому Андрюшке, а вместе с этим обликом выплыло имя — Мироша. Никакое иное имя к ней не прирастало — Ми-

роша и Мироша! Только много позднее я вспомнила, откуда оно взялось... А «Инженерную аллею» я написала еще позже, когда смогла до конца понять драму, угаданную в юности, обогатив давнее впечатление опытом собственной жизни, знанием всей цепкости взрослых обязательств, пониманием неповторимых особенностей каждой большой любви, неотвратимости течения лет и неотвратимости разлук...

Неудачи первых юношеских попыток меня не расхолодили, как-никак впереди была вся жизнь, казавшаяся необозримо длинной. Только лихорадило от нетерпения: нет опыта и знаний, не умею писать и вообще ничего не умею — тем более нельзя терять годы зря, нужно немедленно определить, что делать, чему и как учиться. А кто подскажет? Советоваться было не с кем, да и глупо прозвучит в устах семнадцатилетней студентки: «Хочу быть писателем». Любой человек скажет: «Сперва доучись». А чему меня научит наш Внешкольный? Тому ли, что понадобится в литературном труде? И много ли жизненного опыта я наберу в институте и в общежитии? Тот ли опыт, которого мне не хватает?

Студенческая жизнь злила меня пассивностью — слушай лекции, учи, сдавай зачеты и опять слушай. Хотелось активности, действий, институт воспринимался как перевал на пути — но тот ли, нужный ли мне перевал?

Совсем недавно я ссорилась с Палькой из-за того, что он бросил рабфак. Теперь я ему завидовала — Палька руководил комсомольской организацией на заводе «Электрик», он прибежал веселый, оживленный, переполненный интересными планами, он действовал. А я чего-то ждала и неведомо зачем изучала педагогические системы Платона и Аристотеля — на кой мне черт почтенные старцы?!

Мой насмешливый друг Борис Акентьев, с которым мы славно дружили до конца его дней, однажды сказал, посмеиваясь:

— Знаешь, ты как узловая станция — поезда со всех сторон приходят и по всем направлениям отправляются. С минутными интервалами.

Это было сказано года три спустя, но именно в те дни — и надолго — началось состояние «узловой станции». Мои глаза разбегались, я хваталась то за одно, то за другое, упоенно впитывала все впечатления и мысли, решала и перерешала, что делать с собой.

Осенью, когда я начала учиться на первом курсе института, Палька предложил мне познакомиться с заводом.

Все производство «Электрика» помещалось тогда в одном краснокирпичном здании, оно и ныне стоит среди вновь построенных корпусов, но теперь выглядит небольшим, а в то время казалось внушительным. Я оробела, переступив его порог и восприняв то, что прежде всего воспринимает новичок, — ритмичный гул машин и приводов, ритмичное дрожание воздуха и стен и пола под ногами. Это был первый в моей жизни завод. Правда, в Петрозаводске я не раз бывала на Онежском заводе, но ни разу толком не прошла по цехам — видимо, тогда не было заинтересованности, меня гораздо больше занимали злокозненные мастера и начальники, уклоняющиеся от приема на работу подростков.

На «Электрике» я впервые вглядывалась в настоящий производственный труд, в процесс делания. Завод произвел на меня впечатление таинственного и могучего организма, где люди и машины действуют слитно. Управляя своими жужжащими, ухающими, скрежещущими или звенящими станками, сотни людей занимались чудесным превращением грубых тусклых кусков металла в гладкие сверкающие детали, чье назначение было мне неизвестно, а им понятно и привычно. От того, что каждый рабочий трудился как будто сам по себе,

иногда останавливал станок и отходил от него перемолвиться с кем-либо словом, а то и вообще куда-то уходил, ощущение слитности и взаимосвязанности всех со всеми в общем процессе не уменьшалось, а даже усиливалось — каждый знает, что и когда можно, а что и когда нельзя, чтобы не нарушить общего ритма. А ритм ухватывался и глазом и особенно слухом. Теперь уже не встретишь цехов с трансмиссиями и приводами, а тогда каждый станок приводился в движение приводным ремнем, ремни вращались с монотонным шипением, пощелкивая заплатами. И в каждом цехе был шорник, который менял износившиеся ремни или латал те, которые еще могли послужить.

Из ребяческого самолюбия я стеснялась расспрашивать, что и для чего, а Палька, рисуясь перед рабочими, говорил со мною снисходительно и вел себя петухом. Кроме того, половина его объяснений пропадала из-за шума. Рабочие поглядывали на меня с улыбочками, они, видимо, не сомневались, что комсомольский секретарь привел на завод «свою девчонку», и пошучивали на мой счет.

К счастью, нам встретился один из комсомольских активистов, длиннющий электромонтер в синей робе, очень ладно облежавшей его крупную широкоплечую фигуру. У него было не то чтобы красивое, но очень интересное, запоминающееся лицо, умные светлые глаза, четкая речь. И говорить в шуме цеха он умел так, что каждое слово до тебя доходит. Палька называл его Жоржем и даже Жорой, но сам он представлялся строже:

— Георгий.

Мне это понравилось и сам Георгий понравился.

Кончилось тем, что Георгий повел меня дальше, а Пальку я отправила обратно в комитет. Георгий и производство знал лучше и вел себя по-товарищески, не петушась.

Мне было интересно, но ушла я из цехов с тревожащим ощущением, что я тут экскурсант, посторонняя; вот ведь комсомолка, борец за дело рабочего класса, «пролетарии всех стран, соединяйтесь!», а рабочих не знаю и побаиваюсь, и они меня не приняли всерьез — так, девчушка пришла по приглашению хахаля подивиться на их труд..

Палька ждал нас в комитете. Были там и еще ребята. Палька меня со всеми познакомил, сказал мне и Георгию: «Садитесь» — и тут же заявил:

— Так вот, есть предложение дать тебе один политкружок. Согласна?

Я не успела и рта раскрыть, как Палька обратился ко всем присутствующим:

— Я оставил для нее кружок самый молодой по составу. В списке двадцать восемь ребят.

— Но послушай... — начал Георгий возмущенным тоном.

— Вера справится, — перебил Палька, — так вот, Вера, в четверг первое занятие. Сейчас дам тебе программу...

Коварство его замысла (Палька снова — в который уж раз! — испытывал меня «на прочность») я поняла в ближайший четверг, стоило мне войти в отведенный для занятий класс. Орава мальчишек прыгала через скамьи, толкалась, кричала, свистела. Меня они встретили издевательским «тю-ю-ю!» и смехом, мой вид явно не внушал почтения. Решив не сдаваться, я заняла свое место и постучала по столу, требуя тишины, но это их только раззадорило.

Дверь распахнулась толчком. На пороге остановился Палька Соколов.

— Ну вот что, — медленно произнес Палька, — вы уже второй год отлыниваете от учебы. Больше этого не будет. Если хотите работать на заводе. Дурачки заводу не нужны. Хулиганы тоже. Мы дали вам

лучшего руководителя политкружка. Студентку. Старого комсомольского работника.

Кто-то громко прыснул, кто-то хихикнул — на старого работника я не походила. Но Палька двинул рукой — смех прекратился. Он аттестовал меня как отчаянно храбрую комсомолку, которая и кулаков не боялась, «а уж с вами справится»...

Когда он вышел, в относительной тишине я сделала переключку — из двадцати восьми озорников, которых Палька «под метелку» собрал из всех цехов, пришло около двадцати. Про отсутствующих, про всех до единого, хором сообщали, что такой-то сидит у больной тети, у больного дяди, у больной бабушки и даже «у больного ребенка, своего!». Особенно озорно, паясничая и стараясь вывести меня из себя, отвечал рослый круглолицый паренек лет пятнадцати, его коротко подстриженные рыжие волосы стояли торчком, а сам он все время ерзал на месте, дергался, крутил руками, видимо, сидеть тихо не умел. Фамилия была соответствующая — Шипуля. Именно Шипуля, жалостно вздыхая, сообщил мне про какого-то Ваню шестнадцати лет, что он не отходит от своего больного ребенка.

Проклиная в душе коварство Пальки, я готова была разразиться гневной речью, но в последний миг меня осенило — надо принять игру!

— Очевидно, на заводе началась эпидемия, — сказала я, — придется всем вам сделать прививки, я об этом сообщу в медпункт. А пока давайте выберем старосту.

Несколько минут шумно выясняли, для чего староста и каковы его обязанности. Затем стали выкрикивать фамилии друг друга — на-верно, выкрикнули фамилии всех, кто присутствовал. Но я все же была «старым комсомольским работником» и вспомнила одну из комсомольских хитростей: если в клуб ходит ватага хулиганов, их председателя надо назначить ответственным дежурным. Здесь случай похожий.

— А я предлагаю выбрать старостой товарища Шипулю.

Как ни странно, Шипуля покраснел, растерялся, начал отказываться, но я добила его вопросом:

— Или у тебя нет авторитета? Боишься, что ребята не будут слушаться?

— То есть как — не будут?!

И Шипуля стал старостой.

Занятие я провела с грехом пополам, из всего подготовленного (а готовилась я целый вечер) выбрала только самое яркое, впечатляющее. Казалось, ребятам понравилось. Но на следующее занятие пришло всего девять человек.

Так началось мое единоборство с озорной мальчишеской вольницей, шло оно с переменным успехом и оказалось захватывающе увлекательным — кто кого? Платон с Аристотелем тут помочь не могли, надо было думать и пробовать самой то так, то этак. И обязательно справиться, не запросить у Пальки пощады. Пришлось перебрать уйму книг, выискивая увлекательные подробности про перевозку нелегальной литературы, тайные маевки, борьбу с провокаторами и сыщиками, побеги из тюрем... Слушали с явным вниманием — а потом не приходили на очередное занятие. Почему? За неделю забывали, что было интересно? Отвлекались иными интересами? Цеплялись за привычное «не хочу учиться — и не буду»?...

Справиться с мальчишками помог Шипуля.

— Что ж это получается? — сказала я своему старосте. — Может, у тебя действительно нет авторитета, что ребята не слушаются?

— Послушаются, — покраснев так, что его рыжая голова загорелась закатным солнышком, грозно пообещал Шипуля.

На следующем занятии было двадцать три человека — рекорд!

— А эти где? — спросила я, ставя прочерки у фамилий отсутствующих. — Заболели? Прививки им не сделали?

— Сделаю, — сказал Шипуля.

Постепенно я познакомилась со всеми своими подопечными. Только один парень упорно не появлялся, так что я даже не знала, как он выглядит, Иннокентий Петров, про которого ребята говорили: «Кешка? Ну, этот не придет».

— Не считается он с тобой, что ли? — вскользь бросила я.

— Ничего, посчитается, — сказал Шипуля.

На следующее занятие пришел новый слушатель, но в каком виде! Под глазом багровел синяк, на скуле расплывался второй, сел он как-то боком, морщась от боли. Кешка!

— Что с тобой, Петров?

В настороженной тишине, покосившись на Шипулю, Кешка буркнул:

— Упал. На лестнице.

Вскоре наш кружок вышел на первое место по дисциплине и посещаемости. Палька говорил:

— Я же знал, что справишься!

На заседании комитета хвалили Шипулю — образцовый староста! Шипуля сидел у всех на виду розовым ангелом. Георгий поглядывал на меня смеющимися глазами: Шипуля ходил у него в учениках и Георгий кое о чем догадывался. А я помалкивала. Конечно, у Шипули методы не очень педагогичные... Хотя кто знает? У мальчишек свои законы.

Меня тоже хвалили, и это было приятно, но похвала похвалой, а чувство удовлетворения было куда глубже. Единоборство с мальчишкой вольницей, оказывалось, доставляло мне не только волнения (на каждое занятие я шла со страхом — что-то будет?), но и наслаждение, когда удавалось создать на занятии заинтересованную тишину, когда я видела в глазах мальчишек — пусть не всегда, но хоть изредка — внимание и доверие.

А Кешка оказался занятным пареньком. На его живом и умном лице с постепенно бледнеющими синяками отражалось все, что я рассказывала. Если я читала какой-нибудь отрывок из книги, он потом непременно подходил посмотреть, что за книга, иногда записывал название, а то и просил «почитать до следующего четверга». Первый раз дала с опасением — книга библиотечная, вдруг замотает? Но он возвращал книги аккуратно и всегда обернутыми газетой, чтоб не запачкать. «Наконец-то я делаю что-то стоящее, — думала я, — может, это и есть то, что нужно? Что поважней Платона и Аристотеля?»

Оно и вправду оказалось нужным не только из-за той маленькой пользы, которую я приносила ребятам, но и потому, что я их здорово узнала за два года, этих озорников, и знание отложилось в писательскую копилку — впоследствии в моих книгах появился и Шипуля (роман «Рост»), и Кешка («Дни нашей жизни»), да и всякий раз, когда мне нужно было написать мальчишку, так или иначе вставали в памяти те давние, с «Электрика»...

Приближались Октябрьские праздники, и заводской комитет комсомола включил меня в штаб по проведению молодежного вечера. Палька даже не спросил заранее, могу ли и хочу ли я, он безапелляционно заявил на первом заседании штаба:

— Значит, так. Вера напишет инсценировку. Вере и Жоржу поручим ее поставить.

И перешел к другим пунктам плана.

До праздника оставалось две недели.

И все же я ее написала, инсценировку, и мы успели ее поставить! Что это было? Халтура? Нет. Дерзость от невежества? Ближе к истине, но все же нет. Их тогда много писали и много разыгрывали своими силами, не мучаясь сомнениями, и зрители принимали их, эти скоропелые инсценировки, с открытой душой. Вспоминая увлеченность, с какою их играли и смотрели, я думаю, что успех многочисленных самодеятельных постановок определялся созвучностью, слитностью настроения авторов, актеров и зрителей. Темы были неотделимы от того, что мы переживали, от того, что происходило в мире — да, во всем мире, масштабы у нас были планетарные, мы не умели иначе воспринимать жизнь и говорили о ней языком революции и борьбы, горячо, как мобилизующая листовка, и обобщенно, как плакат.

О чем была моя инсценировка к шестой годовщине Октябрьской революции? Память почти ничего не сохранила, но я знаю, о чем она была, потому что та осень была осенью гамбургского восстания и его разгрома, мы жили драматическими событиями в Германии — как же я могла не отразить их? Каких-нибудь полтора года назад я не умела объяснить видлицким лесосплавщикам новое слово фашизм, но вот уже год длилось кровавое господство чернорубашечников Муссолини в Италии, совсем недавно, летом, произошел фашистский переворот в Болгарии, в сентябре — в Испании... Ко всему, что происходило в мире, примешивалось ощущение нарастающей фашистской опасности. Еще ничего не зная о будущем тяжелейшем и длительнейшем бое с фашизмом, где многие погибнут, мы уже чувствовали ответственность за судьбы всего трудового человечества и хорошо понимали, что наша первая страна социализма — опора и надежда для рабочих всего мира. Об этом и говорила инсценировка, иную она просто не могла быть.

Играли заводские комсомольцы, а мы с Георгием были постановщиками, декораторами и костюмерами; Георгий готовил еще и осветительные эффекты, которые мы не успели отрепетировать, так как у «Электрика» своего клуба не было, вечер проходил в чужом клубном зале, куда Георгия с помощниками допустили только перед спектаклем. Как всегда, хуже всего обстояло дело с исполнительницами женских ролей — бойкие заводские девчата теряли бойкость при одной мысли о том, чтобы выйти на сцену, да еще в «чужом» клубе! Накануне спектакля одна из главных исполнительниц расплакалась и отказалась, так что пришлось играть мне, что я и сделала — решительно, но плохо. Сама слышала неестественность своего голоса и замечала, что все время размахиваю руками, но изменить ничего не могла. К тому же Георгий увлекся эффектами и заливал сцену то зеленым, то красным, то лиловым светом, меня особенно злил лиловый, так как я считала, что он мне «не к лицу», да и зрители отвлекались, следя за игрою света («Ну и Жорка! Во дает!»). Я злилась на Георгия, но изо всех силенок вытягивала свою роль — героическую роль, которую стыдно провалить. Удалась мне только концовка, да и то случайно: мне предстояло погибнуть на баррикаде, я падала, сраженная пулей, а мой товарищ должен был одной рукой подхватить меня, а другой — падающее из моих рук знамя. Оступившись на сложном наспех, шатающемся сооружении, он успел схватить древко, а меня не успел, так что я весьма натурально грохнулась навзничь, больно ударившись о выступы столов, досок и железного лома. В зале аплодировали и моей невольной самоотверженности и снова взвившемуся красному знамени.

Вечер продолжался, а я полулежала за кулисами в старом, тухляком кресле, у меня остро болел затылок и ныла ушибленная спина,

хотелось плакать и еще больше хотелось, чтобы пришел Палька, чтобы я ощутила его тревогу и нежность.

И вот он появился, Павел Соколов. Я слышала, как он ругает моего партнера, затем он зашел в закут, где меня пристроили, как-то небрежно спросил меня: «Ушиблась здорово?» — и, не дожидаясь ответа, сказал равнодушно и властно:

— Поезжай домой. Сейчас найду какого-нибудь провожатого, он тебя отвезет на извозчике.

И ушел, так и не обронив ни одного ласкового слова.

Пока он искал провожатого, прибежал за кулисы встревоженный Боря Котельников, один из моих новых заводских приятелей. С дружеской заботливостью предложил проводить меня, помог встать, взял под руку...

— До извозчика дойдешь? Или сбежать привести?

— Пойдем, пойдем.

Я заторопилась — пусть Палька поищет, куда я делась.

Вышли на затихшую к ночи улицу. Дождя вроде и не было, а воздух был насыщен влагой. Серая пелена скрывает звезды и луну, но слой облаков был тонок, сквозь него сочился размытый свет. После волнений и трудов длинного дня все было отрадно — и влажный воздух, и наш неторопливый шаг по пустынным улицам, и поддерживающая рука Бориса.

— Вон извозчик. Давай отвезу?

— Не надо. Пройдемся.

И в самом деле — пешком было куда лучше, боль в затылке отпустила, дышалось все легче. Приятно было слушать похвалы Бориса, высказываемые задумчиво, будто он взвешивал каждое слово.

Так же, как Георгий, он был рабочим высокой квалификации, его на заводе ценили. Милый, застенчивый, легко краснеющий и робеющий перед девушками (чего нельзя было сказать про Георгия, порядком ими избалованного), Борис был интеллигентен не столько по образованности, сколько по душевной сути, не всегда совпадающей с количеством знаний, но неизмеримо более важной в человеческом смысле. И Георгий и Борис были новы для меня и привлекали больше, чем знакомые студенты, у обоих чувствовалась жизненная устойчивость, серьезность, определенность, чего так не хватало мне самой.

В тот вечер я была неплохого мнения о своих способностях — аплодисменты еще звучали в ушах! — и приняла без возражений похвалу моей инсценировке («Так быстро и хорошо сочинила!») и даже моей актерской работе («Когда ты появилась на баррикаде в красном луче — ну будто на самом деле!»). На миг экспресс мечты уже понес меня в Театральный институт — может, это мое?.. Но Борис продолжал, думая вслух:

— Наверно, это и есть то, что должно быть у студента Внешкольного института? Уменье организовать, написать, сыграть, увлечь других?

Такой поворот мысли был неожидан. И очень характерен для жизненной позиции Бориса: человек учится избранной профессии — значит, важно, есть ли у него необходимые данные. Вот он и взвесил — есть. Конечно, он и представить себе не мог, что идущая рядом девушка приехала в институт по путевке комсомола, толком не зная, кого тут готовят, и что маячащая впереди работа ее не привлекает.

На миг профессия осветилась новым, ярким светом и очередной экспресс понес меня в будущее — в клуб, а то и во Дворец культуры, где сотни людей спешат в драмстудии, в оркестры, в хоры, в танцевальные ансамбли... Стоп! Свет отключился.

— Понимаешь, Боря, меня тянет другое.

На пустой улице, в потемках, с этим милым малознакомым парнем оказалось совсем не стыдно говорить о том, что я до тех пор не решалась высказать никому. Борис не только понял меня, но и оценил мое стремление с конкретностью, какую я сама искала и не находила. Мои неудачи его не удивили:

— Ты пока мало знаешь людей изнутри, а ведь тут нужна вся душа человека, верно?

Он расспрашивал, есть ли такой институт, где можно подготовиться к писательству, и сам же решил, что научить этому нельзя, «это же не болты-гайки и посложней самой тонкой аппаратуры». Спросил, много ли я читаю и кого из писателей люблю. О Толстом он сказал:

— Ну, этот знает души до доньшкa.

Эмиля Золя он не читал совсем. Повторил вслух:

— Эмиль Золя, Эмиль Золя. Прочитаю.— А потом опять подумал вслух: — Даже очень большим писателям подражать все же нельзя. Но, наверно, многому можно научиться, если вникать, как они пишут?

В н и к а т ь.

Мы шагали в ногу и необременительно молчали, и десятки коротких поездов устремлялись к «Войне и миру», к «Очарованному страннику», к «Мартину Идену», к «Его превосходительству Эжену Ругону», к «Спартаку», к «Пармской обители», к «Оводу» — к книгам, которые меня по-разному впечатляли и в которые надо было вникнуть.

Посидели в сквере возле памятника «Стерегущему». Теперь я расспрашивала Бориса, чего он хочет в жизни. Борис отвечал застенчиво, но планы у него были определенные, он знал, чему именно хочет учиться и какую точно техническую специальность хочет получить.

— Только я пойду в вечерний. Матери помогать надо.

У моего дома еще постояли, хотя порядком заоченели. Борис взял мои руки и осторожно растирал пальцы, согревая. Если бы он захотел меня поцеловать, я бы не оттолкнула его, в эти минуты я верила, что нашла наконец-то самого лучшего, близкого, все понимающего друга, не то что...

— Как голова, болит?

— Нет, прошло.

— Я так испугался, когда ты полетела... А Соколов — тот даже вскрикнул и вскочил с места.

Вот как!

Я взбежала по лестнице, повторяя про себя: «Вскрикнул и вскочил!» А потом... притворщик!

С подоконника на верхней площадке поднялся Палька. Встрепанный, бледный до синевы. Похоже, он даже не мог пойти мне навстречу, стоял и ждал, вглядываясь в мое лицо бешеными глазами.

— Где ты была?! — почти шепотом выкрикнул он.— Всю квартиру переполошил, торчу здесь битый час! Мне уж бог знает что мерещилось! Хотел бежать по больницам!.. Где ты шаталась половину ночи?!

Каким оно разным бывает — счастье.

А потом начались неприятности.

Целыми днями пропадая на «Электрике», я совсем забыла об институте, да и некогда было: репетиции, декорации, костюмы, подготовка к занятиям с мальчишками, заседания штаба и просто болтовня с новыми друзьями... где уж тут ходить на лекции! В институте это заметили. Если б я жила по-прежнему в земляческом общежитии, все обошлось бы. Но осенью в Питер перебралась мама, мы сняли две комнаты у хозяек огромной квартиры на Кирочной, 19, мама взяла

напрокат рояль и начала давать уроки музыки, одновременно стараясь найти работу в музыкальной школе. Маму я не боялась и не очень-то слушалась, но мамина эмоциональность мне нередко досаждала: придешь поздно — мама еле жива от волнения, не поела вовремя — расстраивается, Палька засиделся — мама ни за что не ляжет, пока он не уйдет, да еще внезапно открывает дверь из своей комнаты и заглядывает, приготовив липовый предлог. Чтоб избежать лишних разговоров, я не посвящала ее в свои дела, поэтому она была ошеломлена, когда две студентки зашли выяснить, не больна ли я и почему не бываю в институте. Припомнив, как недавно Палька среди ночи меня разыскивал, она вообразила черт-те что и не только не попыталась меня выручить, но еще и поделилась своими страхами — с утра уходит, если не на лекции, то куда же?.. В общем, подвела меня кругом.

Вызов в деканат пришел суровый, с угрозой исключения.

Когда я прибежала в институт и осторожно приоткрыла дверь к декану, у него сидел кто-то посторонний, я отпрянула, но декан заметил меня и позвал. Был он нестарым и отнюдь не грозным, а вот незнакомец меня напугал: крупный, осанистый, с сильной проседью, с темными зоркими глазами, он так разглядывал меня, что, казалось, сразу приметит мое легкомыслие. Запинаясь, я кое-как выпалила приготовленные слова о том, что прошу меня не исключать, что зачеты я сдам вовремя.

— Хочу верить, — сказал декан. — А теперь давай начистоту. Где пропадала?

Почему-то мне тогда представлялось, что мое увлечение заводскими делами будет осуждено — дескать, переметнулась из своей организации в чужую, кому нужны такие студентки! Я молчала, не зная, как выпутаться.

— Может, влюбилась? — улыбаясь, спросил тот, посторонний.

Согласиться было бы стыдно, а соврать этим зорким глазам невозможно. И я рассказала правду, постепенно распаясь, так что влетело и Платону с Аристотелем, которые ничем не могут помочь в единоборстве с хулиганистыми мальчишками. Само собою вышло, что говорила я не декану, а незнакомцу со всевидящими глазами. И повел разговор именно он.

— Значит, Платона и Аристотеля побоку? А вот у Ленина и задач и дел было побольше, чем у вас, однако он блестяще изучил философию начиная с древней. Сумма знаний не всегда помогает непосредственно, она приучает мыслить интересней и глубже...

Он развернул передо мной целую картину — от древности идет как бы эстафета идей, зернышко, брошенное одним ученым, прорастает у другого, разные идеи, сталкиваясь и обогащая одна другую, двигают прогресс. В какой-то связи он произнес запомнившиеся мне слова «думающее человечество». Я чувствовала себя ничтожеством, никак не причастным к думающему человечеству, но преисполнилась желанием немедленно, сегодня же, начать изучать всех философов всех времен, даже, будь они неладны, Платона с Аристотелем... Со стыдом вспомнила, как из кокетства ходила с «Критикой чистого разума» Канта под мышкой и как сладко заснула на раскрытом томе Гегеля...

И тут меня настиг вопрос:

— А вы читали статьи Ленина о реорганизации Рабкринга?

Мне смутно припомнилось, что весной в «Правде» были напечатаны две статьи Ленина, мы все радовались — значит, Ильич поправляется после болезни, вот и статьи написал. Но прочитать я не удосужилась, первая статья была посвящена, как мне показалось, сугубо ведомственному вопросу, что-то насчет Рабоче-крестьянской инспек-

ции, вторая привлекла своим названием — «Лучше меньше, да лучше», — я начала читать, но что-то отвлекло, ну и не дочитала. Ленина — не дочитала! Комсомолка! Руководитель политкружка!

— Эти статьи выходят далеко за рамки частной темы, — так или примерно так сказал мой собеседник, и строгое лицо его стало еще суровей и даже горестней.

То, что он сказал дальше, изгнало остатки легкомыслия, с которыми я прибежала в деканат, чтобы отвертеться от наказания. Он сказал, что у Ленина идет речь о будущем всего Советского государства, об условиях, без которых не построить социализм, и что эти статьи, по существу, завещание нам, молодым, следующим поколениям революционеров.

— Между прочим, он пишет, что у нас не хватает культуры, не хватает цивилизованности... Так что пренебрегать знаниями не стоит. — Затем он повернулся к декану и сказал другим, добродушным тоном: — Студентка первого курса занимается с заводскими подростками, пишет и ставит инсценировку... это, по-моему, хорошо. Простим ее?

Прощенная и вроде даже похваленная, я ушла, так и не узнав, кто меня пристыдил, а потом выручил. Завернула в широкий коридор первого этажа, где всегда кучились студенты, увидела комсомольского секретаря Петю Шалимова и разбежалась к нему с вопросом, не знает ли он... Но Петя сурово приказал мне прийти на заседание комитета:

— Дашь объяснения по поводу своей недисциплинированности.

Я сказала: «Ну и дам!» — и все же докончила вопрос по поводу человека, встреченного у декана, но Петя ответил язвительно:

— Вот и видно, что ты с начала учебного года не была ни на одном институтском собрании.

Шла я на заседание комитета получать нахлобучку, но ребята, вместо того чтобы ругать меня, порасспрашивали, что за инсценировку я написала и поставила, а потом поручили срочно в порядке комсомольского задания написать пьесу для институтского драмкружка и даже оговорили количество мужских и женских ролей — по количеству участников. Само задание меня не испугало, а вот то, что руководит кружком настоящий режиссер... из настоящего театра...

Пьеса, ко благу, не сохранилась, думаю, что она чести автору не делала, так как была неким сплавом приемов, пленивших меня в постановках Мейерхольда и в «Принцессе Турандот» у Вахтангова, да еще плакатных приемов «живых газет». Только в двух сценах, где объяснялись мои молодые герои, я забыла о подражании и дала волю желанию раскрыть психологию и чувства героев. Я не осознавала, но смутно чувствовала, что именно в этих двух сценах осталась сама собою.

Режиссер был уже немолодым (так мне виделось, хотя теперь я думаю, что ему было лет тридцать или чуть больше), говорил темпераментно и отрывисто, заглатывая слова и обрывая фразы на полуслове, а когда глядел на тебя, казалось, что горящим взглядом он пронизывает тебя насквозь и уже где-то за тобою видит нечто гораздо более значительное. Пьеса ему понравилась — «как раз то, что...». Меня он расхвалил — «молодое дарование! Ее обязательно нужно рас...». Перед драмкружковцами широко раскинул сильные руки, будто что-то держал в ухватистых пальцах, — «сыграем! Острейший рисунок! Каждое движение, каждое слово гротесково уси...». Затем он размашистым карандашом вымарал две сцены, которыми я дорожила («Ерунда! Мхатовщина! Никому не...»), и запретил мне ходить на репетиции («Лишнее! Помешаешь! Нужен полет фантазии, сотворчество,

каждый актер должен быть...»), и категорическим жестом отправил меня за дверь. (Мне бы воспринять это все как первый предупреждающий сигнал об опасности профессии, к которой тянулась моя неискушенная душа, да где там!)

Нечто, слегка напоминающее сочиненную мною пьесу, я увидела уже на спектакле. Робко заимствованные мною приемы были усилены и расцвечены акробатикой; мой герой во время предельно лаконичного объяснения с героиней прошелся вокруг нее колесом, а затем они оба (взаимная любовь!) синхронно укатили таким же манером за кулису; кто-то выбежал из глубины зала, промчался по проходу, расталкивая студентов, которым не хватило мест, и могучим прыжком взлетел на сцену, а сверху опустился на тросах большой треугольник, оклеенный цветной бумагой, с дырой посередине, в которую по очереди просовывали головы действующие лица, выкрикивая свои реплики... Я начисто забыла все остальное и даже о чем была пьеса, но эти несколько штрихов постановки до сих пор стоят перед глазами.

В зале веселились, иногда рукоплескали (в том числе и способом, каким влюбленные покинули сцену), во время сложных акробатических трюков студентки взвизгивали, а потом кричали: «Молодец, Леша!» Профессора и преподаватели, сидевшие в первых рядах, смущенно улыбались, но тоже хлопали — кончиками пальцев по ладоням. После спектакля оваций не было, да я и не знала, что в случае большого успеха кричат «автора! автора!» — мне еще не довелось бывать на премьерах. Сидя в углу зала, куда я поначалу забилась со страху, я развлекалась вместе со всеми, иногда удивлялась («Неужели это получилось из мсей пьесы?»), а в общем-то, немного гордилась — какой кавардак породила!

Публика уже покидала зал, и я вместе со всеми, но режиссер вдруг вспомнил, что «вначале было слово», вытребовал меня в комнату, где разгримировывались актеры и толпились институтские руководители, при всех шумно объявил, что вот оно, молодое дарование, «которое обязательно нужно разви...», и приказал мне послезавтра вечером прийти в студию Самодеятельного театра на Стремянную, 10, где в «среде, причастной к самому передово...», я получу то, «без чего дарование не...».

Узловая станция почти прекратила движение. Один-единственный скорый поезд был нацелен на Стремянную, 10, в студию Самоде...

Студия Самодеятельного театра была одною из студий, которых так много возникало в те годы. В атмосфере смелых исканий, неутрачивающих споров и свободного, порою дерзкого соревнования направлений молодые и даже совсем не молодые режиссеры со своими единомышленниками — актерами или тянущимися к театру любителями — объединялись, чтобы создать лучший на свете театр, всеми правдами и неправдами отвоевывали какое-нибудь помещение, провозглашали новейшую программу и начинали репетировать облюбованную пьесу, еще не имея ни денег, ни костюмов, ни оборудования сцены, ни заинтересованных зрителей, но веря, что всего добьются. Иногда такая студия закреплялась и превращалась в театр, иногда, поставив два-три спектакля, распадалась, но и ее исчезновение с афиш не было бесследным — даже недолгая жизнь такой творческой ячейки выявляла хоть один, два, а то и больше талантов — актерских или режиссерских. А это уже немало. В общем развитии молодого послереволюционного искусства сами неудачи были плодотворны, потому что от неудач и ошибок отталкиваются, чтобы их не повторить, а без кипения мыслей и страстей, без столкновения точек зрения не рождаются и крупные удачи.

Уже в наши дни, работая над этими страницами, я попыталась разыскать в Театральном музее хоть какие-то следы Самодеятельного театра. Но в музее почти не оказалось материалов, уточняющих беспокойные театральные события двадцатых годов, сохранившиеся газеты и журналы того времени ничего не сообщили мне о студии, которая меня интересовала, разве что намек на студию Шимановского, а может быть, Морозова на Стремянной, но тремя годами позже. Они не запечатлели и спектакля, оставившего у меня сильное и яркое воспоминание, спектакля, называвшегося «Квадрат 36». Действие пьесы происходило во время войны внутри подводной лодки, поврежденной взрывом и затонувшей; всплыть лодка не может, команда обречена, но если открыть кингстон, силою рванувшегося наружу воздуха одного или двух человек может выбросить на поверхность моря. Вероятно, была и какая-то возможность исправить повреждение, если на работы хватит сил и времени, пока есть чем дышать. Подробности забылись, но в памяти осталась борьба матросов возле кингстона, острейшая психологическая коллизия, ошеломившая меня настолько, что много ночей подряд она мне снилась и я просыпалась в ледяном поту ежедневно в одну и ту же минуту — когда, подавив желание спастись за счет товарищей, начинала хрипеть от удушья...

Чья это была пьеса? Чья постановка? Кто были актеры, так сильно ее сыгравшие?

Так же как на «Эугене несчастном» Толлера, захватывала и сама близость «Квадрата 36» к недавним событиям, пусть не пережитым, но понятным моему поколению. Казалось, в студии я научусь чему-то важному и потом смогу сама написать пьесу о наших днях, нужную людям, волнующую их не меньше, чем взволновали меня два часа, как бы прожитые на дне морском в душной коробке затонувшей лодки. Однако литературных занятий в студии не было и с драматургией на репетициях обращались так вольно, что в пору было вообще отказаться от надежды приобщиться к ней. Впрочем, увлекала возможность приходить вечерами в небольшой, бедно обставленный зал, приглядываться к людям, которые были тут с о и м и и держались непринужденно, наблюдать репетиции, совсем не похожие на те поспешные («Ты вбегаешь отсюда, а ты стоишь вот тут»), которые мне доводилось вести; два-три актера, а иногда всего один актер, отрабатывали какой-то крохотный эпизод, по многу раз повторяя его с малозаметными изменениями, а кто-либо из режиссеров сидел в зале и морщился, кричал: «Не то!» — иногда сам поднимался на сцену и показывал движение или произносил те же реплики — вроде бы так же, да не так, а неуловимо лучше.

Мой режиссер был здесь отнюдь не главным, но, пожалуй, самым шумным, бросающимся в глаза. Когда я впервые со страхом переступила порог зала, он меня встретил победным возгласом, схватил за плечи и повел знакомиться со множеством людей, называя всех так быстро и громко, что я никого не запомнила, да и меня вряд ли запомнили. Пожав мне руку, все продолжали заниматься своими делами, разговорами, шутками, а то и явным ничегонеделанием: сидит человек в ряду стульев, и смотрит в потолок, и о чем-то своем размышляет, а может, и не размышляет, а просто так, захотел посидеть — и сидит...

Однажды мне сказали, что на Литейном, 49 будет читка новой пьесы о Карле Марксе и я могу туда пойти, а захочу — принять участие в обсуждении. Вот оно, думала я, конечно, обсуждать я не решусь, но сколько полезного услышу!

Скучный оказался вечер. Маленький толстый драматург с седеющими волосиками вразлет вокруг обширной лысины читал тихо и монотонно, к тому же очень долго, время от времени он отрывался

от рукописи, чтобы глотнуть воды, и оглядывал слушателей беспомощным близоруким взглядом. Я сидела у двери и почти ничего не понимала, так как не умела воспринимать пьесы на слух, не улавливала, кто что говорит и что происходит. В небольшой комнате было тесно, потом становилось все свободней, мне тоже захотелось уйти, но удерживало предстоящее обсуждение. Когда оно наконец началось, стало еще скучней — люди выступали нехотя и говорили так туманно и красиво, как говорят только в тех случаях, когда говорить правду неудобно или незачем. Я с удовольствием убежала домой, хотя и жалела маленького толстяка, которого постеснялись обидеть, но разве дипломатическое пустословие не более обидно, чем жесткая правда?

А у меня начала шевелиться в голове пьеса, где героиней была моя институтская подруга, казачка Люба. Обмолвилась она однажды, что поехала учиться против воли родителей, они собирались выдать ее замуж в соседнюю станицу. Ничего больше Люба не рассказала, но воображение у меня заработало и постепенно сложилась целая история с резкими объяснениями, бегством и даже попыткой убийства из ревности — жених из соседней станицы хотел убить курсанта, которого Люба выдавала за своего мужа, «чтобы парни не липли». Как обычно со мною бывало, я вскоре сама запуталась, где правда, а где выдумка.

На мою беду, один из институтских драмкружковцев, студент старшего курса, вдруг проявил внимание к моей особе, расспросил, как живу, как учусь, не нужно ли мне помочь и с кем я дружу, а потом начал подробно выпрашивать, кто такая Люба, откуда и прочее. Конечно, я догадалась, что Люба ему нравится, и не пожалела добрых слов для ее характеристики, а затем, радуясь внимательному слушателю, красочно пересказала историю, постепенно сложившуюся в моем воображении. Как он с Любой познакомился, не знаю, но их стали часто видеть вместе. Прошел, наверно, месяц, и вдруг Люба налетела на меня, гневно сверкая черными очами и не выбирая выражений — я оказалась гнусной сплетницей, лгуньей и даже интриганкой, пытавшейся рассорить ее с «одним человеком»... Слушать мои объяснения она не хотела, да и мне было трудно объяснить ей, как все получилось. Вскоре она вышла замуж за своего «одного человека», так что мои выдумки, к счастью, их не рассорили.

В те дни, когда я горько переживала вину перед Любой, кончилась для меня и студия. Пришла я туда вечером, надеясь рассказать моему режиссеру о замысле пьесы, а может, и о том, как подвело меня воображение. Но «моего» режиссера не было, репетиции на сцене тоже не было, хотя в полутемном зале все же собралось человек сорок студийцев и завсегдатаев. Сидели маленькими группками, переговаривались и смеялись чему-то, за моей спиной две девицы декламировали иступленными голосами: «Зацелуйте меня, зацарапайте, предпочтенье отдам дикаро!» — и томно поглядывали вокруг (в поисках дикарей?); несколько студийцев вполголоса, но слаженно пели модное танго «Под знойным небом Аргентины», а высокий парень и маленькая девушка в черных чулках и слишком короткой юбочке не то танцевали в проходе, не то выполняли акробатический номер, перед которым не только наше с Лелькой танго на кухне, но и танго Франчески Гааль выглядело бы пресным. Я терпеливо ждала своего режиссера, но он так и не появился, зато ко мне подошел другой, пугающе кудлатый, сказал, что давно заметил меня, сжал мой локоть огромной ручищей и пригласил через полчаса, когда он освободится, пойти в ресторан «поужинать и поговорить об искусстве». Я не посмела отказаться — под каким предлогом откажешься, если зовут поговорить об искусстве?.. Но как только кто-то позвал его и он пошел за сцену,

многозначительно шепнув мне: «Через полчаса удираем», я опрометью бросилась в раздевалку, схватила свое пальто и успокоилась только в трамвае. Больше я в студию не ходила, боясь кудлатого.

Впрочем, и без того все замерло на станции. Начались зачеты.

ОДНА НЕДЕЛЯ

Она началась предвкушением праздника.

С тех пор как Лелька вышла замуж, театральные набеги зайцем кончились; с Палькой ходить было сложно, он и тут любил шикнуть — билеты в первые ряды партера, туда и обратно на извозчике, да еще в театре норовил затянуть в буфет. Зато мама, переехав в Питер, отмахнула все старые привычки и с удовольствием ходила на самые дешевые места, на галерку так на галерку! Питались мы кое-как, но от театров не отказывались. В тот день у нас были билеты на премьеру «Черной пантеры» — не знаю, чья это пьеса и о чем, не помню, чтобы она позднее где-нибудь шла, а если бы и шла, никогда бы меня не потянуло на нее...

Морозы держались жуткие, ни одной такой лютой зимы потом не было до первой блокадной, когда осажденный Ленинград коченел от тридцатиградусных морозов, длившихся и длившихся без передышки. Та давняя зима началась мягко — то морозец, то оттепель, — набирала силу исподволь, а в январе ударила — тридцать градусов, тридцать пять, ночами и под сорок.

В тот вечер мела метель, мама прибежала с урока облепленная снегом, но, как всегда, неунывающая, заторопила меня — скорей одевайся, опоздаем! Теплых пальто у нас не водилось, но не лишаться же театра из-за такой малости!

Мы вышли на улицу — а улицы будто и не было, в белой крутящейся мгле пропали дома и тротуары, только изредка тускло светящимися призраками проплывали битком набитые трамваи да на повороте с Кировной на улицу Восстания чуть просверкивали высекаемые бугелем искры. Во время снегопада мороз обычно слабеет, но в тот вечер он, кажется, еще усилился, каждая снежинка, ударяя в лицо, обжигала кожу, ледяной ветер не давал дышать. Мерзнуть на остановке в ожидании трамвая с риском не пробиться в него? Идти пешком?..

— Эх, кутить так кутить! — залихватски крикнула мама и рванула меня к темному силуэту, надвигавшемуся из снежной круговерти. — Извозчик! — перекрывая свист ветра, кричала она. — Извозчик!

Теперь и я разглядела добела обиндевшую лошадку, нахохлившегося возницу и пухлый сугроб на месте, где должны быть сани.

Возница оживился, слез с облучка и кое-как сбил снег с саней, протряхнул старенькую медвежью полость, заправил ее над нашими коленями и, взгромоздившись на свое сиденье, прицокнул на лошадку. Бедняга так закоченела, что рванула с места и затрусилась быстрее, чем позволяли ее годы.

Жмурясь и грея руки под мышками, открытые до пояса лютования ветра и снега, мы все же радовались — едем! А там все будет прекрасно: тепло, сиянье лостр, множество принарядившихся людей — и праздник, праздник общения с искусством.

Глух и безлюден был подъезд театра. Неужели опоздали?

Одиноким фонарь, закрытая дверь, белый лист с черной каймой и черными буквами, уже припорошенными снегом:

«Сегодня в 6 часов 50 минут... скончался... Владимир Ильич Ленин...»

Скончался...

Ничего не было вокруг, только завывал ветер, швыряя в лицо колючий снег.

Извозчик уже уехал, мы молча пошли обратно, то и дело застревая в наметах снега. Иногда останавливались совсем, потому что не понять было, где мы и куда нужно идти. Иногда забредали в неведомую парадную на неведомой улице, чтобы отдышаться. Где-то у Невского нам удалось втиснуться в трамвай, как всегда переполненный, но до ужаса молчаливый — ни всегдашних перебранок, ни шуток, даже толкотня необычная: нужно человеку выходить, он скользит боком и тихо приговаривает: «Пропустите, товарищи» — и люди поджимаются без слов, пропуская. Знают. Вгляделась — лица строгие, замкнутые. Первые часы, когда каждый переживает про себя ошеломляющую весть и думает, думает...

У нашего дома возились со стремянкой дворники. Один из них полез наверх, в его руке вдруг размоталось и рванулось по ветру красное полотнище с черной каймой.

Долго поднимались на свой шестой этаж. Мама неуверенно сказала:

— Что же делать, Верушка, он так болел.

Невозможно было говорить об этом. Да, болел, все знали — тяжело болел. На любом собрании из зала летели записки с одним и тем же вопросом: как здоровье Владимира Ильича? Некоторые докладчики отвечали озабоченно, другие бодро — живет в Горках, поправляется, понемногу читает, начал заниматься делами. Хотелось верить самым бодрым. Основным чувством сквозь тревогу была надежда... Что это такое — надежда? Признак слабости или признак силы? Наверно, и то и другое. Но как может жить даже очень сильный человек, если откажется от надежды?.. Какой невыносимо сухой и скучной будет душа, изгнавшая надежды?!

Когда мы вошли в квартиру, в переднюю выглянула одна из хозяек.

Две сестры, две бывшие барыни, издавна владели этой большой шестикомнатной квартирой, но теперь были вынуждены сдавать смежные комнаты, «пока никого не вселили». Одна из сестер, дородная, с гордой осанкой, когда-то, видимо, красавица, хозяйничала на кухне в лайковых перчатках до локтей, оттопыривала мизинец, когда чистила картошку, обо всем говорила раздраженно и вообще была явно оскорблена самим фактом революции; ее сын, то ли кончавший, то ли уже окончивший институт, был так же красив и весьма самоуверен, меня старался не замечать, а если мы stalkивались в коридоре, здоровался пренебрежительно, еле разжимая губы: сдали комнаты интеллигентной даме, музыкантше, кто мог подумать, что ее дочь окажется комсомолкой! — еще одно оскорбление, нанесенное их дому революцией. Старшая из сестер, занимавшая в семье несколько подчиненное положение, была симпатичней, любила поговорить и с мамой и со мной, запросто мыла полы и с кошелкой у локтя ходила в магазины и на рынок за продуктами — она смирилась с фактом революции и старалась приспособиться к непривычным условиям жизни.

Так вот, встретила нас Оскорбленная.

— Что это вы вернулись? Из-за погоды?

Мама сказала:

— Умер Ленин.

— Слава тебе господи! — воскликнула Оскорбленная. — Но неужели из-за этого отменили спектакли?

Гнев застал мне глаза, сквозь яростную темноту проступило

вскинувшееся навстречу, наглое и все же испуганное лицо. Ничего, кроме него, я не видела и прямо в это лицо прокричала все слова, какие рвались наружу.

У себя в комнате я разревелась от обиды, что кто-то может, кто-то смеет!.. Еще не знала, что смерть как бы провела резкую черту между миллионами людей, охваченных скорбью, и теми, у кого она вызывает злорадство и мечты о крушении революционного государства, созданного Лениным.

Ночью, поплотней укрывшись от студеного дыхания, струившегося в оконные щели, я думала о Ленине, которого так и не увидела и уже не увижу. Необходимый как никто другой, он прожил всего пятьдесят три года. Почему?! Вспоминалось все, что я знала о его целеустремленной жизни. С детского возраста, со дня казни брата Саши,— неутомимая, непрекращающаяся работа мысли и неумная энергия действия на избранном пути. Я физически чувствовала напряжение его мозга, его нервов, его энергии, и как он совсем не щадил себя, и как он день за днем в условиях трехлетней войны и первоначального революционного строительства должен был как можно быстрее находить решения в вопросах, которые никогда и никем еще не решались, потому что все, чем он руководил, было в п е р в ы е. Я чувствовала его усталость и как он эту усталость преодолевал, потому что отдыхать не было времени, и, кажется, чувствовала, как подкрадывается к нему болезнь, мстя за перенапряжение всех сил организма... и умирала вместе с ним — до реальности ясно. Позднее мне не раз случалось силой воображения вызывать у себя такое состояние — иначе не напишешь. Но в ту ночь ощущение смерти пришло само, впервые и так меня напугало, что я зажгла свет и долго сидела, завернувшись в одеяло, стараясь понять, что же это такое — вот это физическое ощущение угасания, иссякания жизненных сил.

Утром я спозаранок побежала в институт — на люди. И на улицах и в институте было тихо. В одной из аудиторий сидел тот самый седеющий человек, с которым я недавно повстречалась у декана. Вокруг него тесно сбились студенты, подходили все новые и новые, я тоже кое-как примостилась поближе; это не было ни собранием, ни лекцией, людям нужно было услышать душевное слово, и человек, который мог его сказать, говорил и говорил, обращаясь заново к тем, кто только что вошел, и, наверно, для них повторяя уже сказанное. Он не произносил никаких призывных слов, но из всего, что он говорил негромким глуховатым голосом, возникало в наших молодых душах чувство взрослой ответственности за то, как будем жить дальше.

Я по-прежнему не знала, кто он, и не до расспросов было, но рассказывал он о Ленине очень попросту: как Ленин слушал других, мгновенно откликаясь на верное суждение и азартно вскидываясь, если суждение было неверным, как Ленин выступал, вовсе не заботясь о своем престиже вождя, думая только о деле, о том, чтобы его поняли, чтобы приняли нужное решение, избежали ошибки... Так мог рассказывать человек, который не раз видел, слышал, наблюдал Ленина в работе, на съездах. И любил его и потому сейчас при всем умении владеть собой темен от горя.

— Ленин будет жить, пока мы с вами будем продолжать и беречь созданное им.

Эти слова намечали выход из растерянности, из непоправимости беды. Если б он еще подсказал, что именно делать нам, мне не вообще, не когда-то потом, когда доучимся, а вот сегодня, сейчас!

Дома было пусто, мама пошла по урокам. На моем рабочем столике стояла давняя фотография Ленина — лобастая голова, умниющие, слегка прищуренные глаза, сильные и добрые губы. Мысль и энергия. Мысль и воля... «Ленин будет жить, пока мы...» Само собой начало складываться стихотворение. Может, это и есть то, что я могу сделать сегодня, сейчас?... Писала, перечеркивала, искала слова, рифмы... Потом тщательно переписала и побежала в «Ленинградскую правду». В редакции было много народу, но, как и везде в этот день, стояла тишина, нарушаемая только деловыми вопросами и ответами. Люди сдавали отклики, резолюции траурных собраний, стихи. Я тоже без лишних слов отдала свое стихотворение, вышла на улицу и, чуть не задохнувшись от колкого мороза, все же побрела по городу, по скованному молчанием городу, по его стылым, заснеженным проспектам в красных с черной каймою флагах и взглядываясь в каждого встречного человека: ну как ты, как мы теперь будем? — и встречала тот же безмолвный вопрос, устремленный навстречу — не мне, всем.

Да, было тревожное раздумье — как оно пойдет без Ленина, и было горе, простое человеческое горе. Не такое отчаянное, взалех, до одури, как при личной утрате очень близкого человека, когда кажется — легче самому в могилу. Нет, это было другое горе, оно вошло в души с чувством всеобщности, оно не замыкало в себе, а вздымало души до высот вселенских, потому что потеряли человека, который бесстрашно руководил самым крутым поворотом человеческой истории и сочетал в себе острый ум мыслителя с революционным вдохновением и организаторским трудолюбием. Русский интеллигент в самом лучшем, высоком смысле слова, он был отчаянно, до конца смел в анализе и выводах, размашист в деяниях, он верил в людей и любил их, у него было удивительное умение видеть и большие массы людей с их бедами, нуждами и стремлениями и в массе — отдельного человека; выделив способного человека, раскрыть в нем его силы и доверить ему то, что другой доверить не решился бы. Вокруг него быстро росли и набирались самостоятельности самые рядовые люди. Он был активно добр, но бывал и беспощаден — к врагам, не от жестокости характера, а потому что знал — иначе нельзя, враги пока что намного сильнее, прояви мягкость — и они задушат революцию, потопят ее в крови. Он ничего не искал для себя и сил своих не щадил совершенно, лишь бы утвердить на земном шаре первое социалистическое государство. Он мечтал об этом с юности, он с юности был готов ради воплощения этой мечты отдать свою жизнь. И отдал.

За десятилетия, прошедшие с тех январских дней, я пережила немало горя и немало радости и не хочу сравнивать — каждое горе, как и каждая радость, неповторимо, — но хочу сказать, что накрепко узнала, каким смягчающим теплом насыщено самое горькое личное переживание, когда оно же — частица всеобщего, всенародного, тут твоя боль слита с ощущением родины и истории, и с общей заботой, и с общим напряжением, и плечо стоящего рядом не чужое, дружеское плечо, и нет чужих лиц, и нет чужих глаз. Чувство разделенное, пережитое вместе со множеством людей, — всегда ступенька духовного возмужания.

Разве забудется такое: черный круг уличного репродуктора и сдержанно-молчаливая толпа вокруг него — ожидание, ожидание, ожидание... и наконец низкий голос Левитана: «После многодневных тяжелых боев... наши войска оставили...» Смоленск. Киев. Одесса. Севастополь (Севастополь!). Ростов... Что еще? «Отражая непрерыв-

ные атаки превосходящих сил противника...» Стоишь, обмирая, и прерывистое дыхание незнакомых людей, стоящих рядом перед тобой и сзади, оно и твое дыхание... Если душа может обрести крепость металла, то именно в такие минуты.

До крепости металла прокаливались души, когда хоронили Ленина.

В тот студёный день 27 января не только в Москве — по всем городам и селениям выходили на улицы, преклоняя траурные знамена, миллионы людей. Ледышками скатывались по щекам слезы, смерзались ресницы, и дыхание каждого соединялось с дыханием других в плотное облако пара, клубившееся над колоннами. А в минуты, когда саркофаг с телом Ленина устанавливали на помосте в специально построенном деревянном мавзолее на Красной площади, не только в Москве — по всей огромной стране все замерло, остановились машины, поезда, корабли и люди и только гудели, протяжно и горестно гудели гудки — казалось, над всем земным шаром будто из миллионов грудей рвался долгий стон.

Один человек может отдаться горю, на какое-то время, оцепенев, выключиться из жизни. Страна — не может. Руководящая партия — не имеет права.

На траурном заседании II Всесоюзного съезда Советов прозвучала Клятва Ленину, произнесенная от имени партии и народа И. В. Сталиным. Отточенная, четко определившая главные задачи времени, эта речь бодрила, как глоток воды — пересохшее горло. Это был возврат к жизни, к труду, к борьбе, к надежде. Именно эти слова были необходимы миллионам тружеников и у нас и за рубежами страны — и они были сказаны.

Вспоминаешь те дни и многие другие дни и годы — и думаешь, думаешь... Куда денешься от раздумий, если ты не баюкался в тихой заводи, но плыл по стремнине жизни, а на стремнине были и первые пятiletки, и война, и разгром фашизма. И утраты, утраты — священные, в боях, и те, другие, которые ничем нельзя оправдать и бессовестно забывать. Что было, то было. И великое, и трагическое, и страшное.

Но я забегаю вперед, все то было потом, потом... А в те шесть дней расставания с Лениным мы, юные, сразу повзрослели, тяжесть Клятвы ложилась и на наши плечи.

Передо мною на стене прямо над портретом Ленина была приколотая как лозунг полоска бумаги со словами Гёте: «Лишь тот достоин жизни и свободы, кто каждый день идет за них на бой!» (уж не знаю, в старом ли переводе вместо «готов» было «идет», или я так записала по памяти, потому что «идет» звучало активней). И вот я смотрела то в умиющие, слегка прищуренные глаза Ленина, то на этот лозунг, выбранный мною еще в Мурманске для себя, — как же мне идти на бой? куда? где нужны мои силы — сегодня, сейчас?

Скажут — учиться. Да, это и Ленин сказал молодежи — учиться, учиться и учиться. Хорошо, буду учиться как черт, никаких поблажек! Засяду за Ленина, за Маркса, начну изучать историю — не по институтской программе, а подробней, обстоятельней, ведь ничего толком не знаю, одни жалкие разрозненные обрывки!.. И буду много читать и перечитывать самые любимые книги, в н и к а я, как они написаны, чем достигает писатель такой силы воздействия... Но что же все-таки д е л а т ь? Идти на бой — куда, как?!

В Клятве Ленину, которую я мысленно приняла вместе с сотнями тысяч, а может быть и миллионами советских людей, меня осо-

бенно волновала последняя часть, о международной солидарности трудящихся в борьбе с угнетателями и в защите нашей республики Советов. Так оно и было — пока Красная Армия и народ яростно бились вкруговую, в Англии, во Франции, в Америке все решительней звучало: «Руки прочь от революционной России!» — и грузчики отказывались грузить боевое снаряжение для интервентов и белых армий, моряки отказывались его перевозить, солдаты не хотели воевать... и интервентам пришлось уйти. Это я видела на Мурмане — как они поспешно грузились и отплывали прочь от нашего берега. Да, рабочие многих стран помогли нам выстоять. Но и мы, еще нищие, полуголодные, мы тоже помогаем им и всем угнетенным, где бы они ни были. Самим фактом своего существования — без буржуев и помещиков. Мы для них опора и надежда, маяк, указывающий путь к освобождению. А если нужно будет помочь в их борьбе, разве мы не ринемся на помощь? Разве есть у нас цель выше и прекраснее этой — освобождение всех эксплуатируемых, угнетенных, обездоленных не в одной стране, а на всем земном шаре?!

Первое послереволюционное поколение, мы с этой мечтой росли, она была такой желанной, что бросало в дрожь — начать бы! Принять участие в разворачивающейся борьбе в подполье, на баррикадах — где понадобится! Мы родились слишком поздно для борьбы с царизмом, для революции, мы опоздали на фронты против белых и интервентов, но этот-то бой — наш?! И если придется отдать жизнь — разве пожалеем?!

Собственное тело было таким несомненно живым, здоровым, неотъемлемым, что сердце замирало — его не будет? Совсем? Пробитое пулей, или порубанное шашкой, или разорванное снарядом — перестанет существовать?.. И всего, чего ждешь от жизни — любви, труда, дружбы, — уже не будет?.. Не будет. И все-таки, если придется...

Говорить об этом между собой не говорили, получилось бы выпендриво и даже нескромно, друзья вмиг разыграли бы, высмеяли: скажи пожалуйста, «отдает жизнь»! Твоя жизнь — и мировая революция, несоразмерно, дорогой товарищ!

Не говорили вслух, но тем жарче мечталось наедине с собой. До зримости ясно виделся земной шар, который надо освободить и привести в разумный вид, этот несчастный земной шар, где столько нищеты и горя, несправедливости, войн, хищной эксплуатации и беспросветного подневольного труда. Все, что я вычитала у писателей разных стран, промелькнувшие в газетах факты и даже сухие, но леденящие цифры («...средняя продолжительность жизни — 31 год», «...три четверти детей умирает до пяти лет», «...два с половиной миллиона безработных»), все оживало в воображении и заполняло эту шарообразную географическую карту отчетливыми картинками. Изможденные докеры вереницей сбегают по шатучим мосткам, согнувшись под увесистыми тюками, их качает, груз вот-вот придавит, столкнет в воду... Озверелая толпа здоровущих молодцов избивает негра, он силится прикрыть руками глаза на разбитом в кровь лице... Китайка носит и носит на коромысле плоские корзины с землей, а к спине прибинтован совсем маленький ребенок (наверно, искривляется позвоночник?)... Рикша, натужно дыша, изо всех сил тянет коляску с седоком, а седок погоняет стеком — быстрее, быстрее!.. Соляные прииски — почти ни у кого из рабочих нет сапог, босые ноги скользят по белым пластам, соль разъедает кожу, каждая садинка — как рана... Рисовые плантации залиты водой, бредут по коленам в воде люди-скелеты в широкополых шляпах, с рассвета до темноты в воде, мучительно сводит ноги, и ноют кости, и кашель разрывает грудь... Картина за картиной, картина за картиной — что

ж это происходит на тебе, земной шар?! Как сделать жизнь на тебе счастливой для всех? Как дать свободу, кров, пищу всем обделенным? Как вывести на солнце, к достойной человеческой жизни всех, кто задыхается в вонючих трущобах? Как сокрушить навсегда нищие норы и смрадные углы, где угасают на глазах матерей мертвенно-бледные — ни кровиночки! — дети?..

Меня с детства жгло и мучало одно воспоминание — мучало много лет, пока я, работая над «Мужеством», не отдала его, перевернув, моей героине Тоне.

Мы жили тогда в Петербурге, значит — перед мировой войной, так что мне было лет шесть или чуть больше. Мама повезла нас в какой-то большой парк, день был холодный, но солнечный, мы долго гуляли, бегали взапуски, прыгали со скакалкой, и наконец нам понадобилось где-нибудь уединиться. Мама предложила — за кустики, мы отказались — стыдно, не маленькие. Нашли уборную «для дам». Низкое беленое здание возвещало о себе стойким запахом. Мама брезгливо повторяла: «Осторожно, ни к чему не прикасайтесь, тут кругом зараза!» По одной стене, разделенные перегородками, стояли в ряд стульчаки, по другой возле входа столик с тарелкой, в которой лежало несколько медных монет, и невысокая печурка, какая-то женщина как раз снимала с углей котелок с нечищеной картошкой, но, увидев нас, сунула котелок обратно и метнулась от нас к окошку, замазанному извествкой, а там, под окошком... под окошком стояла широкая кровать, а на кровати сидели с ногами две девочки моих лет — чахленькие девочки с призрачно-серыми лицами; был с ними и мальчик постарше, но мальчика я не разглядела, он сразу нырнул лицом в подушку, а женщина торопливо прикрыла его с головой лоскутным одеялом. «Вы не беспокойтесь, он не смотрит», — пробормотала она маме.

Мы уже уходили, мама уже положила в тарелку с медяками еще один, а я все смотрела на серолицых девочек и на сжавшегося под одеялом мальчика: они — здесь — живут? Спят? Едят?..

Вечером, укладываясь в белую кроватку, я расплакалась и никак не могла объяснить маме почему.

Это жгучее воспоминание ожило и меркнувшим пятнышком проплыло за другими видениями по шарообразной географической карте. Конечно, революция вывела на солнце, на чистый воздух тех трех ребят, если они дожили... Но сколько еще на свете таких же смрадных углов и немислимых судеб?

В моем воображении медленно проворачивался земной шар весь в черных пятнах человеческих страданий. Нет, не весь! — пусть у нас пока и голодно и трудно, но уже строится новая жизнь — не для кучки богачей, для всех. Вот она, Страна Советов, размахнулась почти на целое полушарие, от Тихого океана до Балтики. Шестая часть мира. Это все-таки очень здорово — шестая часть мира! И на ней — красная мерцающая точка, город, где все началось, где Ленин спланировал первые группы революционных рабочих, где он руководил Октябрьским вооруженным восстанием, где по ленинскому плану народ взял власть в свои руки. Ленин-град.

Новое имя города хотелось повторять и повторять. Ленин-град!

СОРОК ПЯТЬ МИНУТ НА РЕШЕНИЕ

Юность, юность, возвращаясь к тебе, в трепетный мир ожиданий, я вновь подпадаю под власть твоего беспокойного духа, самого животворного из всего, чем ты богата. Я сатанею от нетерпения, хочу, отчаиваюсь, злюсь на себя, с замиранием сердца предвкушаю...

предвкушаю то, что давно осуществилось или не осуществилось, но с годами перестало волновать. Я разматываю нить времени среди написанных вразброс страниц и наплывающих подсказок памяти, заново проживая ту давнюю пору, — ведь не только болеешь и умираешь вместе со своим героем, но и радуешься с ним, когда ему хорошо (пусть в это же время тебе живется невесело), обманываешься, когда он обманулся, и счастлив бываешь до полного самозабвения, когда герой счастлив... Такова подоснова профессии. Если у начинающего писать нет способности переключаться и проживать чужие жизни до осязаемости, до самозабвения, значит — не его это профессия и где-то рядом есть другая, пока не опознанная, в которой он найдет самого себя. Литературный труд — жестокий труд, человек этого труда стораец десятки раз в десятках чужих судеб и восстает снова, чтобы, переведа дух, погрузиться в водоворот других судеб и событий.

Теперь мне и легче и трудней. Легче потому, что рассказ вроде бы о своей жизни и эту мятущуюся девчонку я неплохо знаю. Трудно — потому что хочется через нее рассказать о времени и людях той поры, рассказать правдиво, без прикрас, а пора окутана романтической дымкой юности — двух юностей, ведь и революция была очень молода. Трудно и потому, что форма повествования все же близка к роману, это наиболее мне свойственно, а герои не созданы мною (в итоге сложного процесса наблюдения, обобщения и типизации, как в романе), они реально существовали, и нужно сдерживать воображение, которое так и норовит вмешаться, все завернуть поинтересней, покруче сгустить события и домыслить в характерах и судьбах то, что девчонка знать не могла и понять не сумела бы. Конечно, мудрый змий нажитого опыта никуда деваться не может, но давать ему волю опасно, он лишь присутствует на втором плане да иногда, отстранив девчонку с ее метаниями и обольщениями, позволяет себе поразмышлять не торопясь. Ну хотя бы о том, что же она такое — юность, и что ей нужно, и чем она счастлива или несчастлива.

Сколько человеческих поколений борется, страдает, не щадит себя ради счастья своих детей! Ну а что это такое, счастье детей?

Иногда думают, что материальный достаток, обилие одежды, пищи и развлечений, оно и есть то, «за что боролись», — достигнутое счастье детей. А дети, подрастая, ничего этого не ценят, хотя привычно принимают. Они мечутся, грубят старшим, связываются с дурными компаниями, у них нет света в глазах — и гаснет свет в глазах матерей. Их упрасивают учиться — они это делают кое-как, лишь бы отвязались. Поступить на работу? Они ищут «непыльную» и чтоб досуга побольше. Досуга много, а занять его нечем. Ну и глушат его чем придется, иногда до потери себя. Я преувеличиваю? Нет. Есть и совсем другие? Да, их много, я ненавижу стариковское брюзжание — дескать, молодежь нынче не та, вот в наше время... Вздор! И в «наше время» молодежь была всякая, отнюдь не только передовая (кстати, отрицаю сам термин «наше время» — для меня и сейчас время мое, наше). Суть проблемы в том, что найти себя, найти свое счастье для очень юного человека не просто.

Попробуем приглядеться к совсем маленьким детям. Они обаятельно открыты для улыбки и радости, они доброжелательно-доверчивы и тянутся к каждому человеку, если он добр (а доброту и любовь к ним дети чувствуют безошибочней взрослых!). Но и в грош они не ставят тех, кто с ними только добр, то есть безгранично потакает им. Малыш любит заведенный порядок: оставшись на вечер с таким маленьким педантом, попробуйте повести его умываться до того, как он снял костюмчик, если он привык мыться раздетым, по-

пробуйте разрешить то, что мама и папа строжайше запрещают, — он воспользуется вашим попустительством, но поглядите на его мордашку: ему не удобно, что он не удержался от соблазна, он сконфужен и в глубине души вас осуждает. В детском саду, если там мало-мальски хорошие воспитательницы, малыш легко подчиняется дисциплине и порядку, он склонен хвастаться — «а у нас...», он мирно спит положенное время, хотя дома бунтует против дневного сна. Человек — существо общественное; даже очень домашний ребенок быстро приучается жить сообща с группой сверстников и не менее быстро познает, что тут иные законы, чем дома, что тут он не пуп земли, не единственный на свете. Это ему полезно, но лишь до тех пор, пока он не ощутит давления на свою индивидуальность (не менее яркую оттого, что он еще мал!), пока он не столкнется с произволом неумного или раздраженного руководителя. Взгляните в глаза малышу, если с ним несправедливы, — какой изумленно-растерянный, остановившийся, почти взрослый взгляд!

Жизнь, конечно, учит, но разве не ясно, что с годами восприятие тех же самых отношений и давлений не притупляется, а становится острее?

Приглядимся к тому, что делает малыш, предоставленный самому себе. Раскидав дорогие игрушки и властной рукой уложив спать всех кукол подряд (чтоб не мешались в дело), малыш с упоением творца мастерит нечто понятное ему одному из кубиков, старых крышек и невесть откуда попавших к нему железяк; он потрошит любимую матерчатую собаку (она и после останется любимой), допытываясь, что и почему пищит у нее внутри; он долго и упрямо выковыривает механизм из заводной игрушки, а потом пытается запихнуть этот механизм в дырявого целлулоидного попугая или приладить его к обшарпанному грузовичку. Он полон инициативы и активности, малыш, он хочет делать сам и то, что сам придумал. Не мешайте ему в эти драгоценные минуты — они дороже любых уроков.

Насколько же мощней и томительней жажда самостоятельности и самоутверждения у юноши, чувствующего, что он уже на пороге взрослой жизни, шаг, еще шаг, порою резкий, через препятствие, — и он сам по себе, без поводырей и опеки. «Но что я сам по себе? Из многих путей какой путь мой? Что я могу? Где приложить все, что во мне заложено?»

Без этой беспокойной жажды познания самого себя и применения всего, на что ты, именно ты способен, без внутренней энергии самопроявления личности не было бы прогресса, не было бы открытий научных, географических, художественных — да никаких вообще! — не было бы музыки и поэзии и любви тоже не было бы — не животной, а человеческой, ищущей духовной близости и духовного взаимообогащения, открывающей мир во всем его очаровании.

Беспокойная жажда самопроявления ведет человека через всю жизнь, но в юности, когда духовные и физические силы особенно свежи и деятельны, а сам себя еще не понял и свои возможности не определил, она наиболее остра и тревожна.

Где бы и в чем бы ни искал человек счастья, находит он его именно в возможности полностью осуществить свои способности, в ощущении своей нужности людям; и она тем глубже и радостней, чем больше преодолено препятствий. Я в этом убеждалась много раз и убеждаюсь снова и снова, встречая молодых людей, нашедших себя в трудных и значительных делах, будь то участие в новостройке или научное исследование, внедрение новой технической идеи или работа над большой, требующей огромного мастерства актерской ролью.

Найти себя и свое место в жизни — вот главная задача юности, сознает ее юноша или не сознает, хочет быть полезным обществу или беспечно проживает день за днем. Хорошо, если он, пробуя силы то тут, то там, не натворит неисправимых ошибок, если легкомыслие или слабохарактерность не затянет поиск надолго, — ведь годы не вернешь и свежие силы без применения вянут. Но как бы ни сложилось, юность — пора метаний и душевного непокоя.

Так было и со мною в тот год, остро захотелось что-то сделать — немедленно, реально. Весной мне стукнуло восемнадцать. Восемнадцатилетие казалось катастрофой — до такого возраста дожидаясь, а кто я? Где мое место в жизни?.. Порой побеждало легкомыслие, и я жила как живется, не отягощая голову самоанализом и самокритикой. Веселилась, делала глупости. Спыхватывалась, ругала себя — и снова металась в поисках самоопределения. Наваливалась на учебу, досрочно сдавала экзамены и контрольные работы, конспектировала Ленина и Маркса, запоем читала Толстого, Золя и Стендаля — и вдруг бросала книги недочитанными, бумажные закладки постепенно желтели, зажатые между страницами. Пыталась писать рассказы — и рвала исписанные тетрадки: плохо! Приближительно! Что я знаю?!

Перед каникулами поругалась в деканате, где меня как ленинградку хотели на все лето запрячь в работу по организации учебных кабинетов, соврала, что уезжаю в Карелию, а сама ушла на комсомольскую работу в Петроградский райком подменять отпускников и встала на временный комсомольский учет не на «Электрике» (очень-то нужно, чтобы Палька мною командовал!), а на пивоваренном заводе «Красная Бавария» — новое производство, новые впечатления! Лето проработала с увлечением, была счастлива, думала — уже не оторвусь, к черту институт, останусь на Петроградской стороне, благо райкомовцы зовут. Но мама уж очень расстроилась, приехала из Тивдии Тамара, отругала: «Недочкой останешься, кому ты будешь нужна?» И Палька говорил, что со второго курса уходить глупо, а Георгий, который сам готовился поступать в вуз, рассердился: «Неужели вы не понимаете, что через несколько лет работник без образования будет чем-то вроде ихтиозавра?» Через силу вернулась в институт и как-то сразу охладела ко всему, что увлекало, даже к кружку башибузуков на «Электрике», но и к учебе не пристрастилась, а начала писать стихи, просиживая над ними ночи напролет, пока не заработала острое воспаление глаз, так что пришлось неделю лежать в темноте.

Лежа в темноте, я думала с той неторопливостью, которую в наш век дает только болезнь — вынужденная остановка. Думала о том, что меня манит литературный труд и ничто другое, но есть ли у меня способности — кто скажет? Еще меня интересуют люди, самые разные, всякие — умные и ограниченные, добрые и злые, прекрасные и дурные, но всегда при встрече с новым человеком возникает вопрос: почему? Почему он такой, как он рос, как сложился его внутренний мир, что с ним будет дальше? И почти всегда хочется об этом новом человеке написать — значит, любопытство к людям входит в самую суть литераторского призвания... Еще я думала о Пальке — вот ведь любим друг друга, но все складывается трудно, непонятно и с каждым месяцем все больше запутывается... почему?.. И о Георгии думала — с интересом и потайной девичьей радостью. Приятельские отношения с этим своеобразным, совсем взрослым парнем, начавшиеся с первого дня знакомства на «Электрике», переросли в дружбу, слегка окрашенную нежностью, именно слегка, мне такие отношения очень нравились, они волновали и не требовали каких бы то

ни было решений, а Георгий с высоты своего огромного роста и своих двадцати пяти лет смотрел на меня как на малышку. Однажды я прочитала ему свое дурацкое стихотворение (тогда оно казалось мне оригинальным), каждая строфа его кончалась рефреном: «Кровь! Кровь! Кровь!» Георгий выслушал и сказал:

— Кровавый карапуз.

Я обиделась до слез.

Отбросив всякую нежность, Георгий начал разбирать строку за строкой и доказал мне, что за многозначительным набором слов нет подлинного смысла, «вы пугаете, а мне не страшно», «вам хочется быть взрослой и свирепой?». Под конец я посмеивалась вместе с ним и без сожалений разорвала злосчастный листок, но «карапуз» еще долго саднил душу. Утешалась я тем, что многие другие мои стихи Георгий одобрял и даже прочил мне «будущее». Он и сам писал стихи, одно из них посвятил мне, там были слова «мне нравится в вас детскость», я не знала, огорчаться или удовлетвориться тем, что дальше говорилось и о женственности... Но главное — он любил поэзию, и мы часто читали вслух настоящих поэтов, многих из них я впервые для себя открывала — и мир поэзии, мир настоящего искусства распахивался передо мною все шире. Читал Георгий гораздо больше, чем я, и судил о литературе самостоятельней и строже, он не выносил суесловия и красивостей; «литература — это дело такое же, как другие, только более важное» — так он утверждал и требовал от новых стихов и романов, чтобы они были о самом жизненном, главном, а не пережевывали пустяки. В том, что он говорил, я узнавала свои мысли, только я не умела их так четко и даже беспощадно высказать. Вероятно, мы оба грешили некоторым рационализмом и слитком непосредственно связывали задачи искусства с задачами дня, но мы были детьми своего времени, вне революции и борьбы мыслить не умели. Впрочем, это не мешало нам ощущать глубинную красоту поэзии, только нам хотелось, чтобы она поднималась до бетховенских высот. Надо ли говорить, что прикосновение к настоящей поэзии заставило меня устыдиться собственного стихотворства?..

Приближалась новая весна, вместе с нею мое девятнадцатилетие. А я все еще ничего не решила! И вот однажды...

— Ольга Леонидовна, честно предупреждаю: скоро я вашу дочку уведу!

В последние недели Палька зачастил ко мне, был непривычно уступчив, охотно философствовал и шутил с мамой. Предупреждение было высказано тоже шуточно, а быстрые зеленые метнулись в мою сторону подобно солнечному зайчику.

Я выскочила из комнаты, чтобы не показать своей растерянности, и восторга, и страха. Выскочив, остановилась за дверью и услышала мамин вопрос:

— А Верушка согласна, чтобы ее увели?

И Палькин ответ:

— Не захочет — силой уведу. В бурку с головой да через седло!

Вот в такой дурашливой форме Палька предложил мне стать его женой — не когда-то через годы, по окончании учебы, а совсем скоро?.. Сердце стучало так громко, что, казалось, и мама и Палька могли бы слышать, если б не продолжали болтать, как ни странно, о чем-то другом. Или мама не поняла, что Палькины слова не шутка? Или Палька действительно шутил?

Когда я решила вернуться, солнечные зайчики то и дело слепили мне глаза, но разговоры шли самые обыкновенные, пили чай, потом мама демонстративно посмотрела на часы, и Палька собрался

уходить. Обычно мы долго прощались в передней, а то и за дверью на холодной лестничной площадке, без непрошенных свидетелей, но сегодня мама тоже вышла в переднюю провожать Пальку и расставанье вышло коротким. Я уже гремела запорами, обильно оснащавшими дверь квартиры, когда Палька что есть силы закричал с лестницы:

— Ве-ра-а!

И лестница присоединилась к его зову —...ра-а-а! Все задвижки отлетели в сторону. Палька стоял этажом ниже, изогнувшись над перилами, и высматривал меня в узкий лестничный проем.

— Я не шутил! — крикнул он с победоносной улыбкой и побежал вниз вприпрыжку и даже посвистывая. Лестница гулко вторила его прыжкам и свисту, потом раскатисто продублировала хлопок парадной двери.

Эх, Палька-Пальчик, тебе бы сразу с лестницы «в бурку с головой да через седло»!

После первых часов упоения и надежд напоздали сомнения. День ото дня тревожней. Это и есть решение? Кто же я — человек со своим призванием или девчонка, ошалевшая от радости, что ее берут замуж?.. Как в романах прошлого века — томленья, идеалы, отстаиванье своей личности, а потом — хлоп! — замужество, героиня превратилась в преданную жену и мать, дальше писать не о чем. Точка.

Да, но ведь то было в XIX веке, при чем же здесь мы? Неужели мы, новые, свободные люди, не сумеем жить по-иному, помогая друг другу, а не мешая?!

Воображение рисовало картины дружной и независимой жизни двух равноправных людей — идеальные картины, где хоть какую-то конкретность обретала любовь, а все остальное выглядело таким отвлеченно-прекрасным, что туда никак не вписывался Палька с его трудным характером, да и я тоже, и некуда было пристроить наши постоянные — иной раз и не разберешь из-за чего! — затяжные ссоры. Вероятно, я сама была хороший перец, но винила Пальку — вечно он устраивает со мной какие-то эксперименты. Вот и с кружком заводских башибузуков... А с Георгием! Понимал же, что Георгий — парень на редкость привлекательный, все девушки обмирают, и нарочно сводил нас, поручения давал общие, а на праздничной вечеринке актива (сперва не хотел и звать на нее!) сам уселся у главе стола, две девчонки по бокам, а меня посадил рядом с Георгием на другом конце... Тоже испытывал на прочность? Зато теперь, застав у меня Георгия, неделю дуется.

А что получится, если мы будем вместе? Я совсем не влюблена в Георгия, но он мне нравится и я не хочу терять дружбу с ним, и разговоры о стихах, и открывание чудесных поэтов... А смогу я сохранить эту дружбу, когда Палька стихов не любит и по поводу наших чтений вслух только фыркает?.. Смогу я идти туда, куда вздумается, встречаться с самыми разными людьми, которые мне почему-либо интересны?.. А писать ночами, когда хочется писать, смогу?.. А просто бродить одной по городу и думать, о чем думается, смогу?.. А если не смогу, значит — действительно конец всему, точка?! И никакого писателя из меня не выйдет, все мои планы — девичьи бредни, птичье оперение?..

Горькие мысли прокручивались и прокручивались как заводные, и от них было тошно, потому что сквозь все сомнения и доводы пробивалось чувство, которому нет дела до рассуждений: хочу быть с ним, не могу отказаться от него, жду, жду, жду...

Настал день — третий или четвертый день ожидания Пальки, исчезнувшего для загадочности, — когда я отбросила все рассуждения

и полностью доверилась любви. Почему-то он виделся таким, каким стоял на лестнице, изогнувшись над перилами, и высматривал меня в узкий лестничный проем. Озорной, желанный, ни на кого не похожий. С этими его солнечными зайчиками, с этой его улыбкой... Стоп! Победоносная у него была улыбка. Победоносная! Даже не сомневался, что я согласна. Осчастливил — и поскакал, посвистывая! А теперь медлит — пусть помается.

Когда он наконец пришел, я начала читать ему стихи — одно за другим, из разных книжек. Видела, что он злится, и читала дальше. Пока он не прихлопнул ладонью очередной томик.

— Так что ты думаешь по поводу того, что я говорил?

— А что ты говорил?

— Ну, прошлый раз... при маме...

— Я, наверно, не расслышала. Что именно?

Минутное молчание — и беспечно:

— Да пустяки. Ничего серьезного.

Вот такой вышел разговор.

Я пишу эти строки в своей дачной рабочей комнатке — тишайший уголок на земле. За окном провисшие под навалами снега многопалые лапы сосен, белые разводы и сплетения обындивевших кленовых ветвей и тончайшая вязь березовых. После долгих оттепелей как-то вдруг настали крепкие январские морозы. Паровое не справляется с ними — на моей верхотуре зябко. И, может быть от холода, приходят сдерживающие, холодные мысли: что это я расписалась о любви и ее капризных благоглупостях? Какое же тут «о времени и людях»? Все я да я, я да он!..

Откладываю рукопись и выхожу скидывать снег с балкона. Балконная дверь с трудом открывается, тесня приваливший сугроб. Ох и воздух же сегодня! Как родниковая вода — чистый и леденящий зубы. Снегу полно, поверху он легкий, пушистый, обильно насыпанный за ночь, понизу тяжелый, слежавшийся, много сразу и не подцепишь лопатой (так мне и надо, лентяйке, вовремя не сбросила!). Под валенками — скрип-скрип. И слышно, как потрескивают окоченевшие доски балконного настила. А в лесу за забором изредка как хлопок выстрела — трещит от мороза дерево.

Так что же — занесло меня в личное, в частное? Может быть, никому, кроме меня, не интересное? Вымарать? Это проще всего.

От равномерных взмахов лопатой становится жарко. И очень хорошо.

Прилетела синичка, присела поодаль на перила, поглядела на меня дружелюбным глазом и упорхнула, испугавшись взмаха лопаты. Нас она не боится, мы всю зиму подкармливаем целую стайку синиц, они дружно слетаются к кормушке под дровяным навесом и одна за другой пикируют на кусочек сала, подвешенный на проволоке. В очередь за ними, но, кажется, без драк, прилетают подзаправиться два дятла, обрабатывающих столбы электросети. Белкам мы подсыпаем корму отдельно, их две зимуют на участке, с осени они приспособили скворечник для зимних запасов и даже подгрызли летку, чтобы свободней было залезать туда и обратно. Что-то скажут скворцы, когда прилетят по весне?..

Какое все-таки чудо — жизнь! Вечная и неустанно обновляющаяся, пьешь ее — не напьешься. Все-то в ней сплетено, взаимосвязано, в мельчайшем частном явлении отражается общее, и нет общего без дробной россыпи частного, личного. И ничто не повторяется, даже как будто неизменное. Вечна любовь, но все же в каждом поколении — своя особость, неповторимая отметина времени.

Вот я пишу о той давней девчонке почти как о чужой (так издаലെка вглядываюсь в нее!) и ясно вижу отметинку. Не она одна, многие тысячи комсомолок тех лет яростно отстаивали свою самостоятельность и равноправие, отмечая все, что было до них (старый режим, домострой!), мечтали о новой жизни, где все должно быть иным — любовь, отношения, быт. Откинуть такую приметку времени? Искажится правда. Да и как обойдешь любовь, когда пишешь о юности? Как обойдешь любовь, когда пишешь о человеческой жизни?..

Снова повалил снег — густой, каждая снежинка с монету, только монеты мгновенно тают на разгоряченной коже. Вали, вали, милый, укрой землю плотным покрывалом, чтобы согреть и напоить ее для нового щедрого расцвета.

Ну и ледоходы бывали на Неве! Красивые и сильные до жути. Остановишься поглядеть — и не уйти, все дела побоку. Ладожский лед пошел!

Кое-кто из читателей, наверно, усмехнется — почему «бывали»? Не стариковское ли это брюзжание «раньше было лучше»? А между тем все правильно — уже нет на Неве прежних могучих ледоходов, хотя и сейчас они приманивают глаз. В войну, когда Ладога с ее Дорогой жизни была под смертоносным огнем, весною лед взрывали, чтобы ненароком не занесло в город, не трахнуло об устои мостов какую-либо вмерзшую в лед мину или неразорвавшуюся бомбу. А после войны продолжали взрывать, оберегая невские мосты.

В довоенные годы весна хозяйничала без помощников. Сперва вскрывалась река и к Финскому заливу проплывал невский истонченный, подтаявший лед. Нева очищалась, только у берегов кое-где оставались ледяные кромки. День ото дня теплело, солнышко пригревало все ощутимей, ветви деревьев, блестящие от влаги, казалось, вот-вот брызнут зеленью лопающихся почек. Но раннее тепло обманчиво: студеный ветер налетал с севера, вздыбливал Ладогу, разгонял по ней тяжелые волны, они крушили и подталкивали ледяные поля — и вот, треща и ухая, в горло Невы вползали толстенные озерные льды. Обгоняемые ледяным крошевом, крутясь на речных водоворотах, плыли громадные льдины, с разгона ударялись о предмостные быки, становились дыбом, раскалывались надвое, и две все еще грузные льдины устремлялись в пролеты, чтобы удариться о быки следующего моста. Стоишь у перил, и кажется — мост содрогается от ударов. Жутко — и все же не оторвать глаз от наплывающих льдин.

В такой весенний день я честно отправилась на семинар, но на улице услышала, что пошел ладожский лед, и, забыв об институте, побежала на набережную. Чем ближе к Неве, тем ожесточенней дул навстречу ветер, прямо с ног сбивал. Но как пропустить такое зрелище?! А смотреть лучше всего с Литейного моста. Я домчалась до моста, на самой его середине протолкалась к перилам и, жмурясь от порывов ветра, огляделась. Слева вдоль реки почти впритык — корпус к корпусу — тянулись до еле видимой Охты прославленные заводы Выборгской стороны, мною почти не исхоженной, незнакомой. Один из самых революционных рабочих районов Ленинграда! Сколько видел глаз, сотни труб утыкались в низкое небо, сотни темных дымов сбивались в глухую пелену, которую сейчас трепало, прибивало к крышам и разрывало ветром. Справа вдоль самого парапета на добрый километр навалены штабеля дров (откуда мы ночами таскали поленья в общежитие), за ними — барские особняки и общарпанные доходные дома, дальше за верхушками деревьев сияли маковки Смольнинского монастыря и угадывался Смольный; огибая

Смольный, река круто поворачивала напрямую, туда, где я стояла, и несла на своей упористой хребтине целые ледяные поля, отбрасывая на излучине ледяной лом — ропаки стояли у берега как стражи.

На одной из льдин что-то темнело. Лыжа! Одинокая сломанная лыжа плыла неведомо зачем и куда... Что случилось? Брошена ли она с досадой незадачливым лыжником, вздумавшим пробежаться по ладожскому простору? Или произошла трагедия?.. Спустя годы я не раз видела на ладожских льдинах обломки грузовиков и самолетов, видела и примерзшие ко льду бугорки, очертаниями напоминающие тела, и хорошо знала, каких трагедий это останки. А тогда одинокая лыжа тягостно поразила воображение. Написать бы рассказ о совсем молодом человеке, отличном спортсмене (как тот, в Учкеевке моего детства, что утонул на моих глазах), о веселом и счастливом человеке, споро бежавшем на лыжах по озерному приволью и не сразу понявшему, что его догоняет гул и треск взламываемого ветром льда. Поняв, он припустил вовсю, еще уверенный, что успеет. «И вдруг под ногами разверзлась трещина...» Нет, лыжа лежала на гладком ледяном поле. «И вдруг...» Но как узнать, что там произошло?

А льдины наплывали и наплывали — те, которые выбились на главное течение, гордо и свободно неслись на стремнине, другие, откинутые в стороны, крутились и тыркались одна о другую, обдирая бока. Мощь движения завораживала. Так и в жизни? — подумала я и тут же со злостью определила, что я-то ни на какой не на стремнине, а бултыхаюсь в сторонке и только тешу себя мечтами. Все мои неумелые попытки упираются в незнание, вот как с брошенной лыжей. И то, что я начала на днях писать, тоже. Сама себя обманываю. Начало еще может получиться, а дальше?..

Что я знаю о дальнейшей судьбе безработной девочки Натки, казалось бы навсегда оробевшей от раннего сиротства, тщетных поисков работы и ругани злой тетки, попрекавшей ее куском хлеба? Существовал при Петроградском райкоме комсомольский коллектив безработных, вскоре обособление безработных признали ошибочным, но при мне коллектив еще был и его члены с утра околачивались в райкоме, охотно выполняя любые поручения — сбегают куда-либо, написать объявление, передать телефонограммы... И Натка приходила — тихонькая, слова от нее не услышишь, не заметишь, тут она или нет. Когда ей наконец дали направление ученицей на фабрику, она расплакалась от радости, порозовела, улыбнулась сквозь слезы, и стало заметно, что она, оказывается, миловидна, глаза ярко-голубые и улыбка такая открытая, что будет из Натки человек веселый, отзывчивый на доброе, ей бы только распрямиться, почувствовать уверенность!.. Вот об этом я и задумала написать — как придавленный нуждой и безработицей юный человек распрямляется, смеется, становится полноправным членом большого рабочего коллектива. Начало шло легко, потом застопорило. Да и что может получиться, когда ни черта не знаю, не представляю себе...

Надо что-то решать. Решать!

Как ни странно, помогла мама, человек, на чьи советы я меньше всего рассчитывала, наоборот — она уже давно сама советовалась с нами, и слушала нас, и почти никогда не вмешивалась в наши дела.

Когда я прибежала домой, промерзнув насквозь, нагладевшись и надышавшись вволю, мамы не было, она пошла по урокам, но на столе лежала записка: «Приходил студент Леша, два дня тщетно искал тебя в институте». Без обращения и без обычной справки, когда ее ждать. Так. Значит, рассердилась.

Мама пришла поздно, и поужинали мы почти молча. Я вымыла посуду и вернулась в свою комнату, надеясь, что объяснение не состоится, но мама сама пришла ко мне и не садясь произнесла маленькую речь о том, что я непозволительно разболталась, что пьесы и стихи, завод и кружок, Палька и Георгий и «еще разные юноши», инсценировки и постановки — все это хорошо, если не забывается главное, ну и так далее, все вперемешку, а суть была проста: надо посещать лекции и семинары, а не бегать бог знает куда вместо института.

— А мне совершенно не нужно то, что там читают!

— То есть как — не нужно? — сбиваясь с назидательного тона, удивилась мама.

— А на кой мне черт педагогические системы Платона и Аристотеля?! Два года талдычат — зачем? А культпросветработу читают — зеленая сука и никакого отношения к практике! А дальтонплан — ты сама попробуй учиться по дальтонплану бригадным методом! Лешка, который приходил, за всю бригаду сдал историю, а я за всех писала контрольные — культпросветработа в избе-читальне, в армии, в красном уголке, на лесозаготовках, на заводе и даже в больнице. Девятнадцать контрольных написала, Лешке не успела, оттого и прибежал. Кому это нужно?

Мамино решительное, заранее подготовленное воздействие на взыскательную дочку провалилось. Она никогда не училась по дальтонплану бригадным методом.

— Может, это действительно не нужно, — пробормотала она, — но ты хоть поняла, что тебе нужно и что тебя интересует?

— Поняла. Литература.

Бедная моя мама, она не без восторга относилась к моим стихам, и пьесам, и к прошлогоднему отзыву режиссера («Молодое дарование»), и к моим постановочно-актерским опытам (благо не видела их), но попутно, а не вместо образования. В моем ответе запальчивости было куда больше, чем серьезности, и она это почуяла — уж что-что, а своим музыкальным слухом она улавливала интонации безошибочно.

Я ждала расспросов или нового нравоучения, но мама так энергично свела к переносице свои черные брови, что лоб перечеркнула глубокая складка; поразглядывала меня, повернулась и ушла к себе.

Тихо стало.

Вот она прошла по комнате. Остановилась. Скрипнул крутящийся табурет — села к роялю? Негромкий аккорд... и еще... и еще! Играет!

Вечерами после уроков и домашних хлопот мама часто играла для отдыха, и я по-прежнему любила слушать ее. Но в этот вечер она играла необычно и, вероятно, только свое, тут же возникающее: сильные, похожие на стоны созвучия сменялись еле шелестящей, еле простиупающей мелодией, и снова почти крики, и вслед затем какая-то грустная примиренность... Мама думала музыкой.

— Веру-у! Поди-ка сюда.

Мама сидела у рояля, положив руку на клавиши, иногда чуть прижимала пальцем одну из черных клавиш и вызывала смутный звук, который долго висел в воздухе.

— Садись. Я хочу тебе кое-что рассказать.

Поперечной морщины уже не было, мамино лицо освещала застенчивая улыбка.

— У меня был музыкальный талант, — тихо сказала она, — сам Скрябин считал, что я могу стать композитором. «Первой русской

женщиной-композитором!» — говорил он. А из меня не вышло ничего. Так, дилетант-любитель.

На мой протестующий жест она только махнула рукой — не сбивай!

— В консерваторию я готовилась у профессора Киппа, мечтала попасть в его класс. На экзамене, только я начала играть, кто-то вошел, и все заволновались, я поглядела — высокий лоб, волосы откинута назад, усы, борода, блуза с раскрытым воротом. Ну, кто бы ни был, продолжаю играть. И сама чувствую, играю блестяще. И вдруг этот человек спрашивает меня: «А что вы сами сочиняете? Сыграйте!» Я не поняла, откуда он узнал. Сыграла как под гипнозом. Он говорит: «А еще что?» Я еще сыграла. И тогда он сказал: «Это талант, я ее возьму к себе». Меня стали поздравлять, Скрябин в то время был уже знаменит, много разъезжал с концертами, учеников не брал. А я, глупая, разревелась: хочу к Киппу. Кипп даже прикрикнул на меня: «Вы не понимаете, какое счастье вам выпало учиться у самого Скрябина!» И правда, это было такое счастье!..

Она замолкла, только пальцы вызывали из глубин рояля протяжные звуки с большими интервалами, отчего казалось, что каждый звук падает и новый может возникнуть не раньше чем этот упадет и отзвучит.

— Он занимался со мной вне курса, я должна была закончить консерваторию в два года. Как пианистка и композитор. Начала писать оперу «Разбойники» по Шиллеру. Скрябин говорил, что у меня мужская сила и очень жаль, что я родилась девицей, да к тому же... — Мама усмехнулась: — Да к тому же красивой. А я не понимала — почему жаль? Что мы понимаем в юности!.. Во время каникул я ездила домой. И в Севастополе познакомилась с папой. Мы полюбили друг друга. Очень полюбили. Он сделал предложение, мы обручились.

— И ты бросила консерваторию?!

— Не перебивай. Нет, не бросила. Папа знал, что для меня музыка. И уроки Скрябина. Нет, мы условились пожениться, когда я кончу консерваторию. Его мама — ваша закопанская бабушка — хотела познакомиться со мной, папа не мог отлучиться надолго с корабля, ему разрешили только отвезти меня в Закопане. Он отвез и через несколько дней уехал, а я осталась на месяц. Ты помнишь Закопане? Чистейший воздух... горы... вечные снега... горные ручьи с водопадами... И музыка, музыка без конца!..

Она смолкла, мечтательно глядя перед собою — в собственную юность. Я не решалась перебивать вопросом ее воспоминания. А мама вдруг глянула на меня виновато, даже испуганно и покраснела, как девочка.

— Меня познакомили там с композитором... — Она назвала довольно известное имя. — Он любил отдыхать и работать в Закопане. Мы встречались ежедневно, часами музицировали. Ходили в горы и слушали, как звучит водопад, а потом сочиняли каждый по-своему: музыка водопада. Условливались: сегодня пишем — ветер в ущелье... вечные снега... горная деревушка... Недели через две он пригласил меня на свой концерт в Краков, и вот на обратном пути... — Она снова покраснела, как девочка. — Ты не думай, я любила папу и никогда ему не изменила бы. Но тогда, на обратном пути, он предложил мне стать его женой, он говорил, что мы созданы друг для друга и для музыки, что «музыкантше с головы до пят» выходить замуж за офицера нелепо. Я ничего не ответила ему, не отказала и не обещала. Проплакала всю ночь. Понимаешь, я не им увлеклась, а вот этим

миром музыки, музыки без края и конца... Утром я во всем призналась бабушке. Она поняла. И я уехала раньше, чем предполагала.

Она опять надолго замолчала, и я не торопила ее.

— В Москве все улеглось, даже странно было, почему я плакала в ту ночь. У меня была консерватория, Скрябин, опера, концерты... Папа писал ежедневно, иногда приезжал, иногда я ненадолго ездила в Севастополь. Это было такое чудесное время!.. А потом... К лету я должна была закончить консерваторию. И в течение года своих «Разбойников». И вдруг в начале весны приезжает папа: в Америке строятся для нашего флота броненосец «Ретвизан» и его посылают на два года вместе с группой офицеров на приемку артиллерийских систем. Он уже записал: с женой. Мы провели неделю, обсуждая, споря, колеблясь... Я снимала комнатку с круглой печкой в углу. Я все стояла, опираясь спиной на теплую печку, а папа шагал и шагал взад и вперед. Просил, умолял, говорил, что не может расстаться со мной на два года...

— Но ты же могла приехать к нему позже! — воскликнула я. Мне казалось, что они оба глупо путались в простых, легкоразрешимых вопросах.

— Ты забываешь время и среду, — печально сказала мама. — Девушка, избравшая самостоятельную профессию, — этого никто не понимал, не признавал. Расстаться сразу после свадьбы, а потом пуститься одной в такое путешествие — об этом и заикнуться нельзя было. Пойти всем наперекор?.. Были и тогда героини — Софья Ковалевская, женщина-математик, но и то ей пришлось, как говорили, фиктивно выйти замуж. А я не была героиней. И очень любила папу. В общем, к концу недели я сдалась. Назначили день свадьбы. Когда я сказала Скрябину, он закричал: «Так я и знал, что вас уведут!» Он был вне себя. А я еще надеялась, что ничто не кончено. Папа всегда и везде первым делом заботился, чтоб у меня был рояль. В Америке я брала уроки у хороших музыкантов. Пыталась продолжать оперу. Но понимаешь, это нельзя делать «между прочим», в свободное время. И очень не хватало Скрябина — как он слушал, одобрял или морщился. С ним у меня была уверенность, а без него... Потом «Ретвизан» ушел в Порт-Артур, и я переехала туда. Потом началась война. Потом родилась Гуля. Потом ты...

— Мама, ты жалеешь?!

— Нет.

«Нет» прозвучало резко. Руки ее взлетели над клавиатурой и взяли несколько глухих аккордов, пальцы пробежали от басов до самых звонких верхних клавиш, яростно позвенели этими клавишами, снова перекинулись на басы и загремели такими отчаянными, перекликающимися и спорящими аккордами, что у меня дух захватило. Я не решалась взглянуть в ее лицо. А руки ее разом оторвались от клавиш, она встала передо мною и сказала голосом решительным и полнозвучным:

— Я была так счастлива с папой до последнего дня, как только может быть счастлива женщина. Но если ты хочешь посвятить себя литературе, выбирай сразу и на всю жизнь. Любовь, семья, материнство берут много сил и много души. Можно ли совместить их с творчеством, не знаю. Но подчинить их творчеству, поставить творчество на первое место, от многого отказаться, наступать на свою женскую слабость, на легкомыслие, на домашние заботы — надо! Не сумеешь — будет женское рукоделие, лучше не браться.

Наверно, в моем лице читалось сомнение, мне действительно представлялось, что мама судит по старинке, сейчас все проще — равенство женщин, комсомол, новый быт...

— Я часто думала,— снова заговорила мама,— могло ли быть, что талант давался природой только мужчине? Но за всю историю можно назвать всего нескольких женщин, развивших свой талант. Остальные не сумели, или жизнь задавила. Вот и подумай. Тебе скоро девятнадцать, почти взрослая. А понимаешь ли ты, каким образованным человеком должен быть писатель? Как глубоко должен знать то, о чем пишет? Как он должен развивать, шлифовать ежедневной работой то, что в нем заложено? Думай и решай. Сама.

— Решу,— сказала я,— сегодня же!

— Ну-ну,— сказала мама и поцеловала меня.— А теперь спать. Уже двенадцатый час.

Придя к себе, я привычно раскрыла постель, взбила подушку и услышала через стену мелодичный бой хозяйских часов — донн! Так часы отбивают четверть. Четверть двенадцатого.

Но я же сказала — сегодня?!

И решу! Еще сорок пять минут? Достаточно.

Не раздеваясь я потушила свет, забралась с ногами на кровать и начала думать. Сорок пять минут на решение... Мысли мчались наперегонки, но все в одну точку. Чтобы решить сразу — и на всю жизнь.

А есть он у меня, талант? «Молодое дарование» — чепуха, в пьесе все было нахватаано с бору по сосенке, при постановке ее всю переиначили. Стихи тоже ерунда, подражание то Ахматовой, то Маяковскому, то Блоку — диапазончик! Рассказы, повесть — вот к чему меня тянет, вот к чему я прикладываю все, что вижу, слышу, думаю. И чтоб о нашей жизни, о нас самих, комсомольцах,— ведь ни одной книжки! Напишу — тогда и будет видно, есть он или нет, иначе как определить? Только работой. Ничто другое не притягивает, значит — к этой работе и готовиться.

Творчество... Так назвала мама. Можно ли совместить творчество с любовью? Мама уверяет — трудно. Трудного я не боюсь, а вот «от многого отказываться...». От чего? От любви? От Пальки? Ерунда! Не женщина и не мужчина, писатель среднего рода?! А в литературе разве можно обойти любовь? Что ж, у моей Натки не будет любви? Но как напишешь любовь, если сама любви чураться?.. Все сумею совместить. Все! Только сперва надо определиться. Надо, чтобы Палька понял и захотел не мешать. А не поймет... Нет, не может быть. Поймет.

Дили-дон-н-н!

Половина двенадцатого. Осталось тридцать минут.

Злюсь — дальтонплан, бригадный метод, Платон и Аристотель... Наш институт молодой, программы и методы не устоялись. У политехников и горняков такого бедлама нет и в университете нет, там знают, чему учить и как учить. И все же дело не в Платоне и Аристотеле, эти почтенные предки с их педагогическими системами тоже кому-то нужны. А мне не нужны. «Понимаешь ли ты, каким образованным человеком должен быть писатель?» Да, понимаю. Но то, что мне нужно, институт не дает. Разве что лекции Конского, остальное не то. Написала я кипу контрольных по культпросветработе; писала легко, потому что помню Мурманск, Петрозаводск, Кондопогу, Олонец, Видлицу... Все, что наворогила в контрольных, оттуда, а не из курса лекций нашего многоуважаемого ректора, который читает так академично, что жизни не узнаешь и в жизни не приложишь. А мои башибузуки? Разве институт помог с ними справиться? Помог прежний комсомольский опыт. Вот только с беседой о Ленине... Как это было неожиданно и хорошо! На второй или третий день после смер-

ти Ленина, еще до похорон, поехала на «Электрик» из добросовестности, хотя была уверена — в эти дни не до занятий. А в классе мальчишек полно, притихшие, «расскажите о Ленине»; горло сдавило, слезы жгут глаза, два часа рассказывала все что вспомнилось и повторила то, что говорил нам, студентам, товарищ Парижер, старый большевик. Но ведь он партприкрепленный к институту, сам институт ни при чем. И тот же товарищ Парижер помог обуздать нашего секретаря Петю Шалимова, когда Петя решил, что студенты, живущие в семьях, «попадают под тлетворное влияние нэпа, будто и не комсомольцы — галстуки, туфли на каблуках, шляпки»; ради нашего спасения Петя надумал (и убедил комсомольский комитет), что нужно всех переселить в общежитие... К счастью, на комсомольское собрание пришел товарищ Парижер, я и задала вопрос: «Правильно ли нас переселять в общежитие в порядке комсомольской дисциплины? И почему комсомолке нельзя ходить на каблуках, когда все женщины ходят? И почему комсомольцу нельзя надеть галстук? Вы же в галстуке». Товарищ Парижер пожимал плечами и с усмешкой косился на Петю. Он сказал, что переселять нелепо, тем более что в общежитии и без того тесно и вряд ли оно безупречно с точки зрения коммунистической морали, а также санитарии; надо понять, сказал он, что время серьезное, мы остались без Ленина, впереди много работы и борьбы, к этому и нужно себя готовить, а каблук и галстук преследовать — «не обижайся, товарищ Шалимов, глуповато». Через несколько дней он столкнулся со мною у выхода из института и сказал: «Пойдемте, проводите меня немного» — и начал спрашивать, продолжаю ли я бывать на заводе и вести кружок, это очень важно, вы комсомолка и, наверно, будете членом партии? — так вот, наша партия — партия рабочего класса, ведущего класса эпохи, вы присматривайтесь, рабочие вынесли на своих плечах основную тяжесть революционных боев, гражданской войны и восстановления, они несли и несут большие жертвы, вы должны узнать рабочий класс, если хотите быть настоящим коммунистом.

А я — не знаю. Хожу по цехам робеющим экскурсантом. И о Натке ничего путного не напишу — с лету, со стороны разве поймешь жизнь рабочего коллектива!

В «Листке рабкора» напечатали мое стихотворение на смерть Ленина, я радовалась и гордилась, хотя нужно было краснеть от стыда! «В огне рокоцущем вагранок...» А видала я вагранки? Рокоцут они или нет? Понятия не имею! Все приблизительно. Все легкомыслие.

Мама будто угадала — «наступать на свою женскую слабость, на легкомыслие». Ну, женской слабости я не чувствую, но легкомыслие!.. С мальчишками полбеда, не в них дело. Куда серьезней. Два случая прямо-таки обжигают, стоит вспомнить...

На «Красную Баварию» меня затянула Зина Амосова, комсомольский секретарь, славная, деловая девушка:

— Приходи, у нас девчат много, а доклад или беседу провести некому.

Использовала она меня всюю, но я и не отнекивалась — укрощая башкибузуков, вошла во вкус. В то время шел ленинский призыв в партию. Еще на «Электрике» я побывала на таком собрании, звали и комсомольцев и беспартийных, зал переполнен, вступали в партию рабочие с большим стажем, участники революции и гражданской войны, серьезные, бывалые люди. А на «Баварии» под осень комсомольское собрание должно было рекомендовать в партию лучших комсомольцев. И вот перед собранием Зина говорит:

— Мы тебя тоже рекомендуем.

Я растерялась — уж очень неожиданно, мне только что стукнуло восемнадцать...

— Но ты же политически подкованная, активистка, пропагандист!

Ну ладно... А на собрании встал Ося Ф., работник райкома комсомола из агитпропотдела, и сказал, что это неправильно, «Вера у вас на временном учете, ей надо вступать у себя в институте». У Зины с Осей был роман, она смутилась, а я разозлилась: мы с Оськой недавно поцапались в райкоме, я его назвала формалистом, вот он и отомстил. Отомстил? Но в данном случае он же совершенно прав! И мое согласие было сплошным легкомыслием, я не готовилась, еще никак не определилась, саму себя толком не поняла — куда же мне в партию?!

И еще случай — после той праздничной вечеринки. Да и на самой вечеринке!.. Устроили ее на частной квартире возле завода. Я думала, будет чай с печеньем и сладостями, а на столе разные закуски, винегрет и бутылки. Из самолюбия постаралась скрыть, что для меня это внове. Палька сперва не хотел пускать меня сюда, а потом... решил снова испытать «на прочность»? Сам уселся между двумя девицами, а меня посадил на другой конец стола рядом с Георгием. Ну ладно. Чего бы мне ни предложили налить, я говорила:

— Конечно.

Белое и красное, горькое и сладкое. После нескольких рюмок все завертелось и поплыло перед глазами, а возле Пальки сидели уже не две девицы, а четыре. Только не показать, что опьянела! Только не показать! Уцепилась руками за края стула и жму, жму до боли — и вдруг все встало на свои места, Палька издали поглядывал на меня, а девиц было две. Потом осталась одна, вторая исчезла, и Палька тоже. И вообще за столом опустело, парочки разбрелись по квартире, в соседней комнате очень слаженно пели под гитару, а я сидела как прикованная к стулу: отпущу его края — вдруг опять все поплывет?.. Георгий заглянул мне в лицо, решительно оторвал от стула, увел в темную переднюю и устроил на большом сундуке.

— Когда вы напили пить все подряд, я удивился: на вид совсем девочка, а какая дошла девица! — сказал он, присев у меня в ногах. — А вы, оказывается, просто глупышка, вам надо сказки рассказывать, а не водкой поить. Лежите, а я расскажу.

И он начал медленно-премедленно рассказывать, что в тридевятом царстве... Когда я проснулась, уже светало. И дуло от двери — гости расходились. Пальки не было. Георгий подал мне пальто:

— Пойдемте провожу.

Вышли небольшой группой и остановились — видно, всю ночь лил дождь, на улице потоки воды, ступить некуда. А мы, три девушки, в легких туфельках. Георгий позвал одного из парней, они сцепили руки — «садитесь, поехали». За нами так же понесли другую, а третью ее парень попросту взял на руки. Я смеялась и болтала ногами, хмель еще не выветрился. И вдруг увидела идущих навстречу людей. Много людей. Рабочие шли на завод. На «Электрик». Я ловила их взгляды — насмешливые, презрительные. Соскочила прямо в воду и пошла, шлепая по лужам. Люди на работу, а мы... Если среди них был кто-нибудь из моих башибузуков, что он обо мне подумал?.. Борец за дело рабочего класса!..

Дон-и-и!

Без четверти двенадцать. Осталось пятнадцать минут.

А зачем мне еще пятнадцать минут? Все ясно. С институтом конец. Ухожу на завод или на фабрику, чтобы узнать, понять, разобраться, испытать! Но... Пальку-то я осуждала, когда он бросил раб-

фак и ушел на завод? Нет, тут совсем другое, Палька не выдержал. А мне — нужно. И пойду я не так, как Палька, он хвастается: «Мой завод! Мой завод!» — а когда водил меня, сам был вроде экскурсанта, ничего толком не мог объяснить, то ли дело Георгий! Сидя в комсомольском комитете, видишь жизнь со стороны и сверху. Я пойду по-настоящему, к станку, сама испытаю, что такое производственный труд. Узнаю ведущий класс эпохи не налетом, а изнутри, какой он есть, со всем хорошим и плохим. Прочувствую, как моя Натка впервые вошла в цех, как уставала от непривычной работы, как ее приняли работницы... Ре-ше-но!

А кто меня возьмет, когда есть безработица? На «Электрик» взяли бы охотно и на «Баварию» тоже, конечно, если совмещать с комсомольской работой. Ну и буду совмещать. Но оба завода на Петроградской стороне, а Пальку прочат в секретари райкома. Подчиняться Пальке? Нет, не дождется. И не такой уж он рабочий район, Петроградский! Вот бы на Выборгскую сторону!.. Если пойти в губкомол и попросить, может, и направят? Пойду. Завтра же.

Вот так — примерно так — я размышляла в эти сорок пять минут и такое приняла решение, и все было бы прекрасно, если б за всеми этими мыслями не свербила одна, на которую не было ответа: а если я и там ничего не сумею написать, если выяснится, что никакого таланта нет?..

Дон-и-и! Дон-и-и! До-и-и!.. Часы били двенадцать.

Уже отзвучал последний удар, и я уже юркнула под одеяло, предвкушая сон, когда вопреки смелым решениям на меня навалился страх. Что же это я надумала? Крутая перемена жизни впервые стала зримой: в седьмом часу утра, выбившись из битком набитого трамвая, в рабочей одежде и косынке, укрывающей волосы от пыли, я иду в густой толпе рабочих и работниц... опускаю рабочий номер в кружку возле турникета проходной... вхожу в сумеречный цех, запускаю неведомый станок... И потом — час за часом, час за часом, полчаса на обед и снова — час за часом восемь часов. День за днем, день за днем. В субботу не восемь, а шесть часов, в воскресенье отдохнуть и, главное, выспаться... Выдержу ли? Хватит ли времени и сил писать? Учиться? Читать? Встречаться с Палькой, с друзьями? Сходить в кино, в театр?..

Как бы там ни было — решено!

подавив страх, я пресладко заснула, чтобы с утра немедленно, ни с кем не советуясь и не оставляя лазеек для оттяжек и колебаний, действовать!

Решение, принятое в те сорок пять минут, определило всю дальнейшую жизнь. Было ли оно правильно? Для меня — да.

Ну а что же выяснилось с талантом, с этим неуловимым свойством личности, которое не определишь ни расчетом, ни измерительным инструментом, ни рентгеном? И что это такое, литературный талант? Неодолимая потребность делать именно эту работу, а не какую-либо другую? Непрерывное душевное усилие и способность целиком отдаться работе, радуясь ей и не отступаясь от нее ни ради чего иного? Власть над образами, теснящимися в воображении, или умение подчиниться им и пойти за ними туда, куда они манят? Жар, съедающий душу, как шагреневую кожу, или сама шагреневая кожа — нет, совсем другая, порою иссякающая, но при соприкосновении с жизнью способная восстанавливаться снова и снова?.. Чем бы он ни был, за долгую литературную жизнь я так и не уверилась, что он есть. Когда работается хорошо, со счастливым азартом и все, что

хочешь написать, легко воплощается на бумаге — вроде здесь он, со мною. Но когда заколодит, слова упираются, мысль ускользает, образы тускнеют — какой, к черту, талант, хоть бы профессионального навыка побольше!.. Впрочем, может быть, только балаболки неколебимо убеждены в своей талантливости? Работать нужно. Работать. А судить — читателям.

Но вот что оказалось бесспорным: быть женщиной и не поступаться избранным делом трудно. Очень трудно. Иногда больно до отчаяния. Случаются утраты, которых могло бы не быть, а временами находит — среди людей — горчайшее одиночество.

Наработала ли я столько доброго, чтобы это оправдалось? Не знаю.

Жалею ли я? Нет.

ПУТЕШЕСТВИЕ ПО НЕКОТОРЫМ ОСОБЕННОСТЯМ ПРОФЕССИИ

Может быть, я забегая вперед? И если уж позволять себе такое вольное путешествие, не лучше ли совершить его позднее?..

Я долго прикидывала так и этак, не написав ни строчки. Помимо всего прочего, наша работа требует полной ясности — что, где и когда, о чем и почему: пока не разберешься в наплывах мыслей и образов, не увидишь мысленно новую тему в целом и частностях (пусть потом все перешерстишь по-иному), пока не ощутишь построение главы и не услышишь ее интонацию — лист бумаги останется чистым. Торопить себя бесполезно, все равно ничего стоящего не выжмешь. Лучше пойти высаживать рассаду, слушать музыку или смотреть хоккей, на худой конец решать кроссворды. Мысль будет работать даже тогда, когда первая пятерка ЦСКА ведет атаку на ворота ленинградцев. Решение может открыться в те минуты, когда ты умиленно приветствуешь первые ликующе-зеленые ростки, пробившиеся из-под рыжей гривы прошлогодней травы. Творческая мысль работает подспудно, как ручеек под сугробом, и выбивается наружу сама, когда наберет силы.

Вот и сегодня, выматривая в окно, не обосновалась ли наконец в своем дощатом домике парочка молодых и, видимо, беспечных скворцов, я как-то сразу увидела всю главу, сложившуюся за недели мучений, и осознала почему... Почему здесь, а не позднее. Ведь я сегодняшняя так или иначе все время присутствую в этой книге, мало похожей на добропорядочные мемуары, а мои раздумья о профессии не привязаны к нынешнему времени или ко вчерашнему, они возникали и уточнялись всю жизнь в процессе накопления и осознания опыта. Пусть девчонка, о которой я пишу, сделала только самый первый шаг к желанной профессии — что ж, тем лучше, перед дальнейшим повествованием определится точка зрения автора и ракурс, в котором автор рассматривает особенности литературного пути.

Итак, профессия...

Профессия — без высшего образования, без диплома?

Не один читатель, вероятно, отметил про себя: в юности мало ли делают глупостей, но и сегодняшний автор, достигший почтенного возраста, как будто бы одобряет юношеский поступок, даже утверждает — правильно!

Правильно ли?

Оговорюсь сразу — мне часто мешала в работе нехватка знаний в области точных наук, много времени и сил я тратила на изучение турбостроения, когда работала над романом «Дни нашей жизни», и

проблем газификации угля, когда писала «Иначе жить не стоит» (статья, тут мне ни в чем не помогло то, что в институте я на «отлично» сдала химию по университетскому учебнику!). Но так же точно я изучала проблемы строительства и планирования, когда писала «Мужество», и накопила целую библиотеку военных и военно-исторических трудов в годы войны, и прочитала кучу историко-революционных исследований для последней книги... Как правило, такое изучение остается потом за пределами произведения, но автор должен знать. Знать для того, чтобы обрести творческую свободу.

Всезнайкой быть невозможно, но писателю необходимо чувство ориентации, позволяющее понимать, чего он не знает, что нужно изучить и как это сделать наиболее разумно (чувство ориентации в громаде накопленной человечеством культуры — это, кстати, один из главных признаков интеллигентности). Сколько сил и времени тратится зря, если нет навыков познания и освоения нового материала! Иногда такие навыки вырабатываются еще в годы учебы, если студент действительно ищет знаний, но автоматически их не дает никакой институт, даже отличные отметки не гарантируют образованности и умения самостоятельно работать.

Литераторская профессия трудна, в частности, и потому, что нет в ней очерченного круга необходимых сведений, заранее не учесть, что понадобится завтра, на какой странице вдруг споткнешься. Обходят незнаемое только халтурщики, впрочем, некоторые из них врут напролом, даже не осознавая своего невежества.

Порой с завистью думаешь об энциклопедистах. Двести, даже сто лет назад еще можно было охватить основные направления науки, ее важнейшие успехи и проблемы. Но процесс познания с каждым новым успехом расширялся и убыстрялся, и если в конце XIX века его скорость и радиус исследований можно было сравнить со скоростью и радиусом действия паровоза или первых летательных аппаратов, то теперь уместней сравнивать с реактивным самолетом и даже с космической ракетой — и по стремительности развития науки и техники и по широте исследовательского кругозора. Таков XX век, прекрасный и проклятый одновременно, интересный и губительный, небывалый по сложности и напряжению век!.. Охватить все одним, пусть самым жадным и неутомимым умом?.. Такая попытка может привести лишь к тому, что человек прокорпит всю жизнь над книгами и если не сойдет с ума, то унесет свои знания в могилу, не успев использовать их. А ведь писателю нужно еще без усталости читать великую книгу живой, окружающей его жизни! И все же... Все же писатель, даже при таланте, попросту не осуществится, если не станет передовым интеллигентом своего времени, то есть не научится понимать свой век в его движении, в его главной проблематике, в его социальной, научной, психологической особенности. Этого не извлечешь из книг. Это дается всей жизнью в целом, жизнью — участием в делах и заботах века.

А век поджидает на мостовой,
Сосредоточен, как часовой.
Иди — и не бойся с ним рядом встать...

Эдуард Багрицкий обратил этот призыв к самому себе и к каждому из нас. К каждому, кто способен услышать.

Так при чем же тут дипломы?!

Школьно-вузовские знания — всего лишь фундамент, говоря языком строителей, нулевой цикл, опора будущего здания. Для литератора — начальная база, на которой разовьется (или не разовьется) интеллигентность. В наши дни в литературу чаще всего приходят лю-

ди с высшим образованием, уже владеющие другой специальностью — инженеры, моряки, врачи, геологи... Многим писателям моего поколения приходилось наверстывать основы самостоятельно, без парт и лабораторий, часто бессистемно, делая мучительные усилия там, где нынешние молодые спокойно восходят со ступеньки на ступеньку. Зато жизнь смолоду одаривала нас многим другим, в том числе и упорством в самообразовании — без уготованных ступенек.

Взвешивать, что лучше, вряд ли стоит. Все мы знаем случаи, когда человек с несомненным дарованием, но без достаточной культуры попросту не сумел или поленился самостоятельно добирать знания, а в итоге растерял и то, что у него было. Знаем и другие случаи, когда талантливый человек, что называется, сам всего достиг, встретишь такого самоучку, широкообразованного, глубоко и тонко мыслящего, — и не верится: неужели все сам?! Законов тут нет, но...

Рискуя рассердить многих товарищей, которых сердить не следовало бы, я все же выскажу свое глубочайшее убеждение: для человека с тяготением к писательской профессии наименее плодотворно полученное смолоду специальное литературное образование, оно не облегчает, а затрудняет путь в литературу. А ведь сейчас в Литературный институт рвутся — а порой и поступают — прямо со школьной скамьи, еще не ведая ни жизни, ни себя самих!

Некоторая замкнутость в круге литературных понятий и сложившихся мнений мешает самопроявлению таланта, особенно в первые годы труда, когда так важна неповторимость голоса и самостоятельность виденья жизни. Литература тем и прекрасна, что вбирает в себя таланты из всех слоев общества и самых разных профессий, из разных краев страны, из больших городов и дальних-дальних сел, и каждый талант, иногда еще угловатый, неотшлифованный, приносит с собой кусочек своего мира и своей среды с ее психологией, трудом, бытом, отношениями и проблемами, так что в целом литература создает многокрасочную, многолюдную и многопредметную картину народной жизни. Писателю нужна почва, на которой он чувствует себя упористо, и вольный воздух, какой бывает на раздолье, когда тебя овевают все ветры — ветры жизни. Нужна своя среда — широкая среда, развивающаяся вне литературы, но ее питающая, ее пронизывающая. От нее — темы и образы, язык и стиль. От нее — своеобразие. Чем вернее, глубже и ярче воспроизводит и осмысливает писатель то, что впитал глазами, слухом, сердцем и умом, тем шире и глубже воздействие его произведений на читателей, то есть на ту же среду. Одностороннее впитывание сменяется взаимопроникновением.

Конечно, истинный талант пробьется к познанию жизненного материала и со скамьи Литинститута, да и откуда угодно! Но все же ничто не заменит живости и непосредственности восприятия, свойственных молодости, ее распахнутым глазам и открытому сердцу. С годами вжиться в интересующую тебя среду, освоиться там становится трудней. И тогда подстерегает опасность — сложившиеся на лекциях и семинарах литературные представления и вкусы окрасят творчество налетом головного восприятия людей и проблем, вместо подлинной оригинальности породят оригинальничанье, изыск. Ну, а если после литературного вуза, диплома, попыток и надежд выяснится, что дарование, мягко говоря, очень малое? Лихорадочные поиски темы, могущей принести успех или хотя бы публикацию в журнале... горечь разочарований, уязвленное самолюбие, растущая мнительность, обиды на редакторов, на рецензентов, на более удачливых друзей...

За такого вот несчастливца усиленно ратовали его друзья по ин-

ституту, добиваясь, чтобы «хоть что-нибудь напечатали». Одного из друзей, одаренного писателя, я как-то спросила в разговоре с глазу на глаз:

— Ну скажите откровенно, вы же любите и понимаете литературу... Вы действительно считаете вашего друга талантливым или хоть подающим какие-то надежды?

— Нет,— честно ответил он,— но человек он литературно грамотный и уже «отравлен» литературой, наконец, ему уже перевалило за тридцать, куда он теперь денется? Все равно он будет существовать где-то около литературы. Да и парень хороший...

А за что такая горькая судьба хорошему парню, которому теперь уже никто, наверно, не решится сказать правду?..

Цыплят можно выращивать в инкубаторах, писателей — нельзя.

Вскоре после Отечественной войны во время одной из наших нечастых встреч Александр Фадеев, вдруг загоревшись, поманил меня к письменному столу: идите сюда, покажу кое-что интересное!

На расчерченном листе бумаги — диаграмма.

— Вот, подсчитал по пятилетиям, включая два предреволюционных, сколько появлялось новых писательских имен. Ну, не всяких имен, конечно, а писателей, которые остались в литературе.

Простить себе не могу, что не записала тогда подсчет, сделанный Фадеевым! После революции от пятилетия к пятилетию шел рост, кривая неуклонно тянулась вверх. Как всегда, когда что-либо волновало и радовало его, Фадеев густо порозовел, помолодел, голос приобрел звонкость.

— Видите! — восклицал он. — Первое пятилетие после революции: фронты, голод, разруха, народ малограмотен, а то и вовсе неграмотен, да и не до литературы... И все же потянулись! Потянулись не ради славы — чтобы рассказать о революции, о небывалом народном опыте... А потом растет грамотность, миллионы людей приобщаются к культуре, к переустройству жизни, и пошли выявляться таланты — новые таланты! — из самой гущи, до революции многие из них не пробилась бы, захирели. Видите, какой рост!

Но вот победная линия дошла до пятилетия 1940—1945... и будто сорвалась в пропасть. Фадеев осторожно провел пальцем по образовавшемуся провалу:

— А этих всех убили...

Он низко склонил голову, и стало заметно, что он почти совсем сед.

Когда он распрямился, лицо его казалось старым. Оживало оно постепенно: что-то проблеснуло в глазах, разгладился лоб, улыбка чуть тронула губы.

— Готовим сейчас всесоюзное совещание молодых. Какие люди приходят! Один к одному — войны. Обстрелянные, опаленные, глаза взрослые, умудренные какие-то... а заглянешь в анкеты — мальчишки, со школьной скамьи да на фронт, по три-четыре года в пекле... В ближайшие годы они заговорят, по-настоящему заговорят!

Карандашом пунктиром он продолжил на диаграмме линию подъема круто вверх. И не ошибся. Из самого пекла жесточайшей войны пришло в литературу большое и ценное пополнение. И опять не ради славы потянулись люди к перу — пережитое распирало их, кровь и пепел стучали в их сердца: рассказать! Рассказать всем сегодняшним и будущим людям, как оно было, продлить жизнь погибших товарищей, донести до всех, какой ценой была удержана или отвоевана каждая пядь родной земли, каждая безвестная деревушка, и что люди думали, и чем жили на войне, и что надо помнить, помнить! — и не растерять в дни мира... Бесценный опыт всенародной

борьбы был их личным опытом, и эта слиянность личного и всенародного насыщала страницы книг жгучей правдой, которую не заменишь ни усилиями воображения, ни дотошным изучением.

Вот такие были дипломы...

А потом им, вышедшим из пекла, предоставили все — встречи с опытными писателями на всесоюзных семинарах и в литературных объединениях, учебу в Литературном институте и на Высших литературных курсах. Одаренный человек, знающий, что он хочет и должен сказать людям, будет жадно впитывать знания и вникать в опыт мастеров, но пойдет своим путем. Он мог бы «до всего дойти» и в одиночку, но медленней.

Война — крайний случай, и не она как таковая породила большую литературу, выдвинув молодые таланты и захватив многих уже известных писателей, именно в эти годы достигших творческих вершин. Захватывающе высокой была цель — отстоять от фашизма свою родину и саму жизнь на земле. Борьба шла всенародная, судьбы писателей были неотрывны от судьбы всего народа. У фашистов хватало умелых воинов и фанатичной веры в Гитлера, Гитлер и его идеологи всеми силами поощряли возникновение произведений искусства, проникнутых идеями фашизма, однако мы знаем, что фашистского искусства так и не возникло. Человеконенавистничество и жестокость не питают таланты, а глушат и выхолащивают их.

«...поэзия существует потому лишь, что находит свою вечную правду в прекраснейших побуждениях человеческого сердца».

Эти слова Ференца Листа мне кажутся точными. Для музыки, для стихов, для искусства вообще.

Проработав в литературе больше сорока лет, я и до сих пор бываю совсем не уверена в своих силах, не знаю, владею ли волшебной палочкой, чье легкое прикосновение неведомо как превращает труд в искусство, и что это такое — настоящий писатель, и в чем чудо воздействия его созданий на читателя, и почему приходит успех к одной книге и минует другую, быть может лучшую...

Помню, на одном редакционном совещании принимали к изданию первые книги двух новых авторов — назовем их С. и Н. Одаренность первого не вызывала сомнений, и книга прошла без сучка без задоринки, вторую книгу встретили холодновато. Отстаивая ее, я сказала, что С. и Н. мне кажутся наиболее талантливыми и интересными из появившихся за последнее время молодых писателей, — и сразу вспыхнул ожесточенный спор, как всегда бывает, когда говорят люди заинтересованные, пристрастные к своему делу. Голоса повысились, глаза засверкали.

— Как вы можете сравнивать! — кричали одни. — С. талантлив от бога, посмотрите, какие у него детали, как точен стиль! А ваш Н. угловат, неуклюж, никакой он не писатель, разве что темы современные!

— Да, неопытен, не блещет стилем, — возражали другие, — но характеры-то интересные, новые, проблемы свои, из жизни взятые, нет ничего заемного, ни шаблонных мыслей, ни готовых ситуаций!

— А что, что у него так уж ново и нешаблонно?!

Начали разбирать произведения бедняги Н., от них клочья летели, при этом было высказано немало справедливых упреков. Но вот что выяснилось в этом запальчивом споре: самые яростные противники Н. запомнили прочитанное, хотя читали полгода или год назад,

запомнили и людей и ситуации, в которых герои действовали. С плохими вещами так не бывает, прочитаешь — и назавтра уже не помнишь. Про С. в пылу спора забыли — потому ли, что никто не отказывал ему в умении писать, или потому, что за написанным не вставала личность, вызывающая интерес?..

Прошли годы. И С. и Н. закрепились в литературе, у обоих уже немало книг, но более известен и близок читателям все же Н. Есть такой безошибочный показатель: взяв в руки новую книжку журнала и найдя в оглавлении знакомого автора, читатель начинает чтение именно с его вещи, зная, что наверняка будет интересно, в чем-то неожиданно, потому что автор вовлечет его в мир значительных чувств и насущных проблем, а потом — понравится вещь или нет — будет о чем подумать, к чему вернуться воображением... Так вот, я много раз убеждалась: встретив в оглавлении имя Н., читатели раскрывают журнал на его вещи и вовлекаются в мир чувств и мыслей, куда ведет их незаурядная личность автора. Так было и с первыми, угловатыми произведениями Н. С тех пор его дарование окрепло, выработался у него свой стиль и еще что-то самое главное, без чего нет литературы. Безупречен ли его стиль? Далеко не всегда. Но...

Я не считаю Н. великим писателем, думаю, что и Флобер с некоторым преувеличением написал то, что мне сейчас вспомнилось:

«Великие люди часто пишут весьма плохо, и тем лучше для них. Не у них следует искать искусство формы, а у второстепенных авторов».

И еще одна мысль Флобера:

«Сила произведения достигается, грубо говоря, напористостью, то есть неослабевающей, проявляемой от начала до конца энергией».

А вот что записал однажды в дневнике Лев Николаевич Толстой:

«Утонченность и сила искусства почти всегда диаметрально противоположны».

В моем письменном столе хранится потрепанный конверт с надписью «Умные выписки». Я не занималась специально их собиранием, но, читая в разное время книги талантливых людей, их письма и дневники, иногда выписывала на карточки мысли, созвучные моим или требующие размышлений. Недавно просмотрела их — большинство выписок все на ту же тему: что же оно такое, писательство и творчество вообще? Крупные таланты потому и крупные, что неповторимы и несут людям свой законченный и все же текучий, переливающийся светом, обособленный мир, вникни — и вдруг поймешь, что это мир общий, но глубже и вернее понятый, щедро раскрытый тебе и всем, кто способен воспринять. Как это делается?

«Обдумать и передумать все, что может случиться со всеми будущими людьми предстоящего сочинения, очень большого, и обдумать миллионы возможных сочетаний для того, чтобы выбрать из них 1/1.000.000, ужасно трудно. И этим я занят».

Так писал Толстой Фету во время работы над «Войной и миром».

Любой писатель знает, как это «ужасно трудно», хотя и увлекательно, — среди множества множеств возможных, приблизительно верных поступков, движений, слов найти единственно верные поступок, жест, слово для каждого из людей, о которых он пишет.

Гений — тот, кто их находит всегда и для каждого, даже третьестепенного персонажа.

Почему тоскующая в деревне Наташа Ростова, слушая чужие скучные разговоры, а потом спускаясь по лестнице верхом на брате, произносит: «Остров Мадагаскар. Ма-да-гас-кар»?.. Мы не знаем сложной цепи ассоциаций, подсказавших автору именно это вынырнувшее из ученических времен название, но мы знаем — тут жизненная правда, искра высокого искусства, высветлившая для нас внутреннее состояние Наташи точнее, чем любое описание. Как он возник у писателя, этот остров Мадагаскар? Из внезапного озарения? Или как итог долгих поисков, меняющихся вариантов? Не знаю, отражено ли в черновиках «Войны и мира» рождение этих нескольких строк, и не хочу заниматься розысками и уточнениями, они не имеют для меня значения, потому что счастливые озарения, какими бы они ни казались внезапными, не возникают из пустоты, а вспыхивают на пиках творческого напряжения. Труд, труд, труд. «Ужасно трудно»...

При всей разности взглядов, интересов и характеров отношение к своему труду роднит всех творческих людей, в какой бы области искусства или науки они ни работали.

Менделеев: «В науке-то без великих трудов сделать ровно ничего нельзя».

Чайковский: «Вдохновение — это гостья, которая не любит посещать ленивых».

Репин: «Вдохновение — это награда за каторжный труд».

А вот несколько парадоксальное высказывание, извлеченное из дневников **Жюль Ренара**:

«Талант — вопрос количества. Талант — это не значит написать одну страницу, это значит написать триста. Нет такого романа, которого не мог бы задумать ординарный ум, нет такой красивой фразы, которую не мог бы составить начинающий писатель. Остается только поднять перо, правильно положить лист бумаги и терпеливо его исписать. Сильные делают это без колебаний. Они садятся за стол, они будут потеть. Они дойдут до конца. Они изведут все чернила, они испишут всю бумагу. Только это — отличие талантливых людей от трусов, которые никогда не начнут. В литературе надо быть воллом. Самые выносливые волы — это гении, те, что трудятся по 18 часов без усталости. Слава — это постоянное усилие».

Тут есть о чем поспорить, но утверждения Ренара таят в себе плодотворное зерно и начинающему творческий путь человеку стоит позаботиться, чтобы оно дало в его душе крепкий росток. За мою достаточно долгую жизнь я встречала немало людей талантливых — вернее, потенциально талантливых, — из которых ровным счетом ничего не вышло.

В памяти возникает юноша, которому я, двадцатилетний начинающий автор, невольно завидовала. Два его первых рассказа были уже напечатаны и расхвалены, а он посмеивался:

— Это ж только проба пера, заявка, чтоб звали!

И его звали — журналы, газеты, литературные объединения... Он прямо-таки лучился одаренностью, с блеском, походая, будто ему ничего не стоит, разбрасывал занятные сюжеты и образы. Иногда мне казалось, что он не совсем естествен, а все время будто играет на

сцене. Если его спрашивали, пишет ли он то, о чем вскользь рассказывает, он небрежно отвечал:

— Это все чепуха, вот немного освобожусь, тогда засяду за нечто та-а-кое!..

К тому времени он уже выступал на литературных вечерах и ездил в творческие командировки, подписывал договоры на повести и на киносценарии, в одной из газет в рубрике «Говорят молодые писатели» было даже его интервью... Я стараюсь припомнить его дальнейший путь, потому что в разные годы встречала его в самых разных местах — в редакциях, в коридорах киностудий, на театральных премьерах, в издательствах, и везде он был как-то слишком заметен, будто на сцене, казался своим и был запанибрата с массой людей; он давно утратил свежесть юности, облысел и односторонне, с пауза, располнел, но лучился бодренькой неутомимостью, был подвижен и, кажется, все время куда-то спешил: «Вот, повестушку пристраиваю... Проталкиваю один сценаришко на актуальнейшую тему... Немного прошвырнусь по заграницам, а уж потом засяду...» Стараюсь вспомнить, не попадалась ли в печати или в титрах его фамилия, но ничего, кроме его лучащейся внешности и быстрых наигранно-легкомысленных сообщений о себе, так и не припоминаю...

Что же случилось? Не сумел человек распорядиться тем, что ему отпущено «от бога»? Ведь были же те первые рассказы, были!..

А на его ускользящее лицо наслаивается другое — лицо человека мрачноватого, молчаливого, приносившего свои рукописи свернутыми в трубку и совавшего их в руки редактора как бы из-под полы, чтоб никто не увидел. Мне он с первого появления в редакции понравился, этот молчун, взяли рукопись — ох, какое крепкое начало! Как здорово увидено!

— Товарищи, послушайте, ведь хорошо!

Слушали, кивали — да, хорошо, да, берет быка за рога.

Но что это? Как-то вдруг все стало рассыпаться, мельчать, уже ни быка, ни рогов — невнятица с проблесками летучих находок. И так раз от разу. В его рукописях чувствовался несомненный талант, но талант увязал в зыбкой неорганизованности, в незавершенности мысли и формы. Автор охотно слушал добрые советы и замечания, соглашался с ними, искренно увлекаясь, фантазировал, что и как допишет, доделает... Он никогда не доделывал. Исчезал надолго, снова приносил как бы тайком свернутую в трубочку новую рукопись... Опять слушал, увлекался, фантазировал — и ничего не осуществлял. На постоянное усилие его не хватало.

Знала я и человека, которого можно назвать противоположностью двум первым. Кажется, вся его жизнь была сплошным усилием, он работал сосредоточенно и страстно, отделявая каждую строку, мучаясь над каждым словом; он гордился тем, что не позволяет себе написать больше одной страницы в сутки. Когда он однажды согласился показать написанное, меня охватила тоска: все вылизано языком, но за этой гладкостью исчез и недюжинный замысел и сама жизнь... Вышивание на пальцах и литература — вещи разные.

Пожалуй, стоит рассказать и еще об одном начинающем писателе, в чьем потенциальном таланте я до сих пор не сомневаюсь. Человек уже бывалый, он выступил с повестью, которая была замечена и даже вызвала дискуссию, что само по себе успех. Мне довелось много раз беседовать с этим автором, он был умен, образован, интересно рассуждал о литературе, о недостатках современной прозы, о пренебрежении к сюжету и к развитию образа; он готовился к работе над новыми произведениями и охотно делился своими планами... И что же? Проходил год за годом, а он по-прежнему интересно рас-

суждал о литературе и делился планами, но рассуждения оставались рассуждениями, а планы планами...

Тоже — не хватило человека на постоянное усилие?

Или все же в этих печальных случаях речь должна идти о личности — об интеллектуальном богатстве и душевной глубине, о властном духовном стимуле: передать другим людям то, что ты увидел, пережил, продумал, чтоб они полюбили то, что полюбил ты сам, и возненавидели то, что ты ненавидишь, и передать не умозрительно, не утверждениями и призывами, а вводя их в круг образов, отношений и событий таких реальных, оживших под твоим пером, чтобы и читатели их восприняли своими, близкими... Без этой потребности передать нет писателя. Волом (по Ренару) быть необязательно и даже нежелательно, а вот целеустремленность и потребность донести до других то, что волнует тебя самого, необходимы, эти качества личности не заменишь ни вспышками фантазии, ни блестящими остроумия, ни изощренностью сюжета.

Такой тонкий стилист, как Флобер, писал своему другу Луизе Колле о «безумствах стиля»:

«С каким жаром я подбирал жемчужины для своего ожерелья! Одно лишь забыл я — нить».

Ну-ка, сумеет ли кто-нибудь еще дать такое простое и образное определение формализма?..

В беседах со своим другом и помощником Эккерманом Гёте высказал много мыслей, связанных с писательским трудом и с личностью писателя. Вот некоторые из них:

«Тот, кто не надеется иметь миллион читателей, не должен писать ни одной строки».

«Стиль писателя — верный отпечаток его внутренней жизни; если кто-либо хочет обладать ясным стилем, то он должен сначала добиться ясности в своей душе; кто хочет писать величественным стилем, у того в душе должно быть величие».

«Манера — это нечто такое, что всегда стремится дать готовый результат; тут нет наслаждения процессом работы. Но настоящий, истинно великий талант всегда находит свое высшее счастье в осуществлении...»

...Художников с меньшим талантом искусство как таковое не удовлетворяет; они при исполнении работы всегда думают лишь о барыше, который им даст готовое произведение. Но при таких суетных целях и настроениях нельзя создать ничего великого».

Барыш... Вот оно, слово! Не знаю ничего более ядовитого, разъедающего талант, чем стремление к извлечению из него барыша. Тут, само собой, не о гонорах речь, без денег не проживешь, жизнь есть жизнь, писатель так же, как любой труженик, должен получать по труду и квалификации, иначе он не сможет работать сосредоточенно, без отвлечения на побочные заработки, ездить куда ему нужно и обеспечивать месяцы кажущегося простоя, когда вроде бы полный отдых, и лень напала, и к столу не тянет, а на самом деле уже зреет, зреет новый замысел... Нет, не об этом речь. Страшно, когда деньги становятся самоцелью и душу саднит зуд приобретательства, когда изучение жизни подменяется изучением «спроса», а творческий поиск — обкатыванием модных тем и героев в предвидении легкого успеха (для чего даже существует гнусное определение «верняк»!)...

Иногда утешают себя: «Я только временно, чтоб создать себе условия», но стоит шагнуть по пути спекуляции своим дарованием — и незаметно утекает, утекает из души то, что ее питало..

Не о том ли прелестное стихотворение поэта Самуила Галкина, которое с юности запомнилось мне в переводе Михозьса:

«Вот перед тобою стекло — оно прозрачно и светло, ты видишь сквозь него весь мир, всех людей — кто радуется, кто смеется, кто плачет. Но стоит тебе взять на греш серебра и посеребрить одну сторону стекла — стекло превращается в зеркало, весь мир из этого стекла исчезает, и как бы ни было прозрачно это зеркало и светло, в нем отныне ты видишь только самого себя».

Всякой настоящей работе противны мелкие цели и выгоды. Творчеству тем более.

Однажды мне довелось беседовать с начинающим автором по рукописи его первой повести. Автор, молодой инженер, хорошо знал среду заводской молодежи, о которой написал. Но рядом со страницами живыми, подлинными в повести было немало безвкусицы и штампов, автору предстояло хорошо поработать и над рукописью и над своим литературным развитием, о чем я и сказала как можно дружелюбней. Меня удивило, что он безропотно принимал все страничные замечания и старался тут же, если удастся — под диктовку, вносить исправления или вычеркивать неудачные места, но с нарастающим ожесточением возражал во всех случаях, когда нужно было засесть за работу, продумать и написать какие-то страницы заново. С таким отношением к своему первому детищу я встретилась впервые, мне хотелось понять, в чем тут дело; он не стал отнекиваться и запальчиво объяснил, что мои советы потребуют нескольких месяцев работы, а он надеется напечатать повесть в сборнике о рабочем классе, который уже готовится; пока он не напечатается, он не может подать заявление о приеме в Союз писателей, так что речь может идти только о мелких поправках...

— Скажите честно, чего вы больше всего хотите — стать настоящим писателем или членом Союза писателей?

Он помолчал и ответил без обиняков:

— Стать членом Союза. Потому что ради повести я ушел с завода, а моя теща не верит...

Похоже на анекдот, но, к сожалению, так оно и было. И ведь парень добился своего — повесть, почистив и подштопав руками сердобольных редакторов, напечатали, а через какое-то время автор уел тещу и желанным членским билетом. Но писатель так и не состоялся. Да и не мог состояться — при таком-то подходе к делу!..

Вот к месту еще одна мысль Гёте:

«Искать славу нельзя, и всякая погоня за нею тщетна. Правда, умным поведением и всякими уловками человеку иногда удастся приобрести некоторое имя. Но если он при этом не обладает внутренним сокровищем, то его успех непрочен и его слава не переживет текущего дня».

Как это верно! В творческом труде внутреннее сокровище открывается для всех и как бы переливается в чужие умы и сердца, ведь в произведении подлинного искусства, будь то роман, поэма или симфония, сплетаются жизненный опыт художника, вся гамма его чувств и устремлений, его мироощущение, его самые пламенные надежды, самые любимые, выстраданные мысли. А если вместо внутреннего со-

кровища одна мельтешня суетных желаний и побуждений, что же перельется в другие умы и сердца?..

Вынимаю из кучки выписок еще одну, которая мне особенно мила. Совсем просто сказал великий композитор Гендель о том, о чем не может не мечтать каждый творческий человек:

«Мне было бы досадно, если б я доставлял людям только удовольствие. Моя цель — делать их лучше».

Наивно было бы думать, что какой-либо художник прямо ставит себе подобную задачу, начиная писать ораторию, рассказ или картину. Его томит еще не выраженный, не выстроенный мир наплывающих образов, звуков, мыслей, поиск точного их воплощения для него важнее всего на свете, даже последующего успеха. Конечно, он надеется, что созданное им дойдет до людей, затронет их души, но эта надежда живет в глубинной основе его личности; ведь по своей природе искусство не только чуткий выразитель духовной жизни общества — оно и строит ее и проповедует ее нравственные начала. Это высшая функция искусства. Хочу подчеркнуть, что ей противопоказана назидательность и конструирование «идеальных» образов, если они иногда прорываются в каком-то произведении, это слабость таланта, а не сила.

Вот написала я эти строки и горько задумалась, потому что знаю — случалось и мне проявлять такую слабость, и точности воплощения я далеко не всегда добивалась, и много всяких огрехов знаю за собой, больше, чем насчитывают за мною другие. Самокритика необходима, но она и опасна, можно оказаться в положении сороконожки, которую спросили, с какой ноги она начинает ходить... Что поделает! Когда собственным многолетним опытом познаешь беспощадность писательского неотпускающего труда, да еще и начнешь соразмерять сделанное с самыми высокими достижениями и задачами искусства, конечно, берет оторопь. Но тогда я утешаюсь такими вот словами Антона Павловича Чехова:

«Есть большие собаки и есть маленькие собаки, но маленькие не должны смущаться существованием больших: все обязаны лаять и лаять тем голосом, какой господь бог дал».

Один издатель однажды самоуверенно сказал мне, что решил отныне издавать только отличные книги.

— А от чего они будут отличаться? — спросила я. — Само слово отличные предполагает, что они должны выделяться из общей массы книг! Литература — процесс, в котором участвуют сотни больших и малых писателей. Искусственно сузив процесс, вы же его обедните! И где гарантия, что, не разобравшись в первом произведении незнакомого автора, вы не загубите в самом начале пути и будущего гения?..

Опыт показывает: новое дарование редко полностью раскрывается в первой книге, оно, подобно всему живому, растет и созревает постепенно. Но все мы не раз наблюдали, как шумный успех первой книги, вознесший автора в ряды наиболее популярных писателей, кончался тем, что первая книга оставалась единственной, и не потому, что автор зазнался или не хотел работать, нет, он старался новыми вещами удержаться на достигнутой высоте, но не смог. То ли в первой книге уже высказал все главное, что хотел сказать людям, то ли растерялся от славы, то ли творческий заряд оказался слабым. Причины бывают разные, но в любом случае он мучается своей неспособностью продолжить ярко начатый путь, и не стоит досаждать

ему упреками или нескромными расспросами, ведь его книга уже вошла в литературу и дала какой-то толчок общему процессу. Как редко мы думаем об этом и как мало щадим друг друга!

Литературный процесс подобен потоку, то плавно текущему на просторе, то скачущему через валуны. Гремят над ним грозы, врываются в его неторопливое течение стремительные притоки, мутят его сточные воды, иногда перед ним встают горы и нужно размыывать, долбить, пробивать неведомую породу... Как всякое сравнение, и это несовершенно, но ведь у литературы действительно есть периоды тихие и бурные, и свои притоки, и выбросы низкопробной литературы, и случаются над нею грозы, и настают времена глубочайших потрясений, когда отлетает все, что занимало вчера, и нужно вгрызаться в совершенно новый материал и под огнем, по опаленной земле ярким и точным словом пробиваться к растревоженным сердцам... У каждого писателя бывают периоды, когда он может работать с полной сосредоточенностью, и такие, когда он должен все уметь и все перенести как солдат, и периоды жадного накопления наблюдений и знаний, когда все накопленное, еще не перебродив и не отлившись в замысел, не дает ни спать, ни есть, и еще — периоды тревог и сомнений, когда чья-то нашумевшая книга или задорно-громкий приток нового литературного поколения создает новую моду, новые вкусы, и кажется, что ты устарел, появляется соблазн погнаться за новой модой, и так трудно устоять, остаться самим собой, а ведь стоит утратить самого себя, свой стиль, свою тему — и писатель пропал...

Если б все начинающие догадывались, какую мучительную судьбу они себе избирают! Но смолodu никто не задумывается о предстоящих мучениях, да и литературные пути не автомобильные, там нет предупредительных знаков — «осторожно, листопад!» или «гололед!». И молодой смело пускается в путь, ему хочется так или иначе «поразить мир» своими произведениями, его лихорадит от предвкушения удивительно интересной жизни, известности, может быть и славы. Он еще не понимает всей меры предстоящего труда и не знает, что жизнь писателя удивительно интересна только в том случае, если он неутомимо жаден до новых впечатлений и встреч, если он не ленив и подвижен, и готов отрывать от дома, от любимых людей, от уюта благоустроенного житья, и скитаться без всяких удобств — куда повлекла любознательность, и экономить последние рубли, чтобы увидеть побольше, и, как бы ни устал, не засыпать допоздна, потому что в голове теснятся впечатления и нужно записать, «утрясти» их, пока они свежи... То есть опять же — труд. Неотпускающий труд.

Что скрывать, и мне случалось лениться, и мне не всегда удавалось укрыться от суеты и изгнать беса тщеславия, который больно колет обидными пустяками — там-то тебя не упомянули в докладе, тут обошли, еще где-то недоброе про тебя написали. Иногда кажется, что оно важно, что оно что-то определяет... И только постепенно начинаешь понимать, что сие есть тлен и суета, что истинную ценность имеет только самый труд и жизнь сделанного тобою — жизнь книги среди читателей.

К счастью для меня, я рано полюбила самый процесс литературной работы, так что мне никогда не было ни скучно, ни утомительно делать ее. Стоит сесть за рабочий стол — и все постороннее отлетает. Иногда не сразу, случается, набегают сторонние мысли, а то попросту нет настроения (его можно назвать и вдохновением), воображение как бы дремлет, слова упираются... Тогда, не насилуя себя, лучше взяться перечитывать и править написанное накануне, просматривать черновики и планы. Так постепенно втягиваешься в работу,

начинаешь ощущать ее вкус и ритм, увлекаешься... и вот она неслышно входит, та самая гостья, которая не любит посещать ленивых, она кладет свои невесомые руки тебе на плечи, она склоняет над начатой страницей свое светящееся лицо с такими понятливыми, такими жаркими глазами — и вот работа пошла, пошла, пошла! Строчечка машинка, техники письма уже не замечаешь, пальцы сами находят клавиши, попевая за твоей мыслью, слова приходят самые нужные и точные. Не знаю большего наслаждения, чем такая работа.

Что перед этим наслаждением деньги или слава!

Смолоду слава, конечно, прельщает, ты видишь ее блеск и не догадываешься, какое это коварное создание, живущее во власти текущего дня! Как она умеет обворожить и упорхнуть к другому! Как она беспечно отворачивается от ею же расхваленного романа ради захватывающего детектива, от модного певца ради удачливого футболиста!

Нет, оставим славу, пусть порхает как ей вздумается, поговорим о том, что определяется более скромным и надежным словом и з в е с т н о с т ь. Имя каждого серьезно работающего писателя становится известным; временами, при успехе новой книги, она становится как бы более громкой, иногда затихает, но, в общем, с годами известность становится прочной: кто по книгам, кто понаслышке — знают. Приятно? Да, приятно. Но в молодости, когда твое только что появившееся имя еще не запомнили, понятия не имеешь о том, что приятная для самолюбия известность прежде всего несет все возрастающее чувство ответственности, что ты перестаешь принадлежать себе и о б я з а н, хочешь не хочешь, откликаться на желания и даже требования множества людей.

Письма... Им радуешься, и эта радость с годами не ослабевает. Письма читателей — как бы извещения из самых разных мест, от самых разных людей: книга живет. Бывают письма восторженные и критические, с исповедями и нелегкими вопросами. Стараешься ответить на каждое. Но горка писем на столе нарастает, приходится выделять специальный рабочий день для ответов, и все равно не справляешься, отвечаешь только на самые важные, и уже кто-то на тебя обижается — «вы мне не ответили!», кто-то сердится — «зазналась?».

Труднее всего с письмами-исповедями, требующими совета — как жить дальше, как поступить? Авторы таких писем верят, что писатель з н а е т, что его совет будет верен. И тут, отвечая, принимаешь ответственность за ход жизни человека, которого никогда не видел...

Года за два до войны мне написала семнадцатилетняя девочка из Сочи. Письмо было слезливое: где-то идет настоящая жизнь, как у героев «Мужества», а я ставлю штемпеля на конверты и живу без всякой перспективы; мечтала поехать учиться в Институт растениеводства, стать садоводом, но мои родители болеют, помогать мне во время учебы не могут, вот и пришлось поступить на почту. Я написала ей, что ради своей мечты люди преодолевают куда большие трудности, стыдно кивать на родителей, можно, учась в институте, зарабатывать, скажем, в институтском же хозяйстве, тогда и сама прокормишься и родителей сможешь поддерживать. Письмо получилось сердитое, я даже поколебалась, перед тем как опустила его в почтовый ящик. Ответа не было. Но через полгода я получила письмо, полное благодарности «за то, что отругали», девочка сообщала, что поступила в институт, работает в оранжерее подсобницей и двадцать рублей в месяц посылает родителям; долго не писала, потому что хотела дождаться первой сессии, и вот теперь может отчитаться передо мною: отметки хорошие и отличные. Я сразу же поздравила

мою корреспондентку. После каждой сессии она присылала мне полный отчет. А потом началась война... Я не помню фамилии той девочки, все ее письма пропали во время блокады, но я почти дословно помню содержание письма, сложенного солдатским треугольником, со штампом полевой почты. Оно пришло из только что освобожденного Ростова. Молоденькая медсестра увидела в какой-то газете мою статью из осажденного Ленинграда, обрадовалась, что нашла меня, и решила отчитаться: «Когда началась война, я подумала, что бы вы мне сказали, и сама поняла что, и пошла на курсы медсестер, и вот уже второй год на фронте». Я ей сразу же написала, но письмо кануло в пустоту. Ростов был снова захвачен фашистами в кровопролитных боях... Знаю одно—если бы девочка осталась жива, написала бы. Раненная, искалеченная—написала бы. Значит—погибла.

Вот уже тридцать лет прошло. Я ни в чем не виновата и не могла бы посоветовать ей ничего другого, как не сказала бы ничего другого и родным детям, но душу жжет и жжет воспоминание о той девочке из Сочи...

Мне не за что обижаться на моих читателей, они согревали и бодрили меня в самые тяжкие дни. Но я не люблю заискивания перед ними, фетишизации самого понятия «читатель», потому что читатели бывают всякие, хорошие и плохие, вдумчивые и злобно-придирчивые, люди, самостоятельно мыслящие, и люди, впитавшие из плохих лекций и статей самые примитивные представления о задачах литературы,— последние требуют от нас идеальных героев и охотно употребляют такие страшные слова, как «клевета на нашу действительность», «неоправданное сгущение красок» и т. п. А придирки, найдя в романе какую-нибудь мелкую ошибку, уже не видят в нем ничего другого и с непонятной радостью пишут гневные письма. Когда в одном романе я допустила мелкую неточность, упоминающая время восхода молодой луны (в чем я, конечно, виновата, обязана была проверить!), один придирка так меня расчихвостили, будто от этой неточности изменится вращение Луны, да и всех небесных светил. На обсуждении другой моей книги под конец взяла слово пожилая домохозяйка и сказала, что она книгу читала и ничего не поняла; в заключительном слове я выразила сожаление, что она попусту потратила время, и сказала, что эта книга, видимо, вне ее интересов и опыта, нет книг, равно близких всем группам читателей. Ох, какого джина я выпустила из бутылки! В течение двух месяцев в наш ленинградский союз из самых наивторитетнейших инстанций пересылали письма этой дамы, размноженные под копирку: «В то время как партия и правительство требуют, чтобы писатели писали понятно для всех, Кетлинская отстаивает вредную идею о книгах для избранных» — и далее в том же духе. Наш милейший оргсекретарь Гриша Сергеев со стоном восклицал:

— Еще одно! Шестое! Ну чего ты с нею связалась?

Всего писем пришло восемь.

К счастью, как мне кажется, подобных читателей в наши дни заметно поубавилось. И от непосредственных встреч с читателями обычно остается радость и нередко польза, потому что восприятие твоей книги, мысли и чувства, ею вызванные, многому учат. Конечно, если обсуждение не зарегулировано, если на встрече создана атмосфера искренности и взаимного доверия, если слишком старательные организаторы не готовили заранее выступающих, распределив между ними темы, как в школе («Женские образы в романе...»), «Труд в романе...» и т. п.), и если пришли на встречу те, кто читает, а не те, кто хочет поглядеть на «живого писателя». К сожалению, не все по-

нимают, что двух-трехчасовое собеседование с читателями — это работа, и работа выматывающая.

Отказываться от встреч грешно, в конце концов это пропаганда дела, которому отдана жизнь. Однако, так же как с письмами, настает время, когда отказываться все же приходится, иначе некогда будет писать. В Ленинграде, в Москве, где писателей много, это происходит незаметно, зато на выезде... Чем дальше от больших центров, тем ты нужнее людям и тем невозможней уклониться от встреч с читателями. Устал ты или занят, не имеет значения — ты обязан.

Чтобы пояснить, как оно получается, позволю себе рассказать две небольшие истории.

Побывав в Дивногорске на перекрытии Енисея и изрядно там поработав для своих газет, мы поехали группой писателей в Шушенское, в ленинские места, надеясь оттуда добраться выше по Енисею на Карлов створ, где группа геологов вела изыскания под строительство будущей Саянской гидроэлектростанции. В Шушенском нам сказали, что ледовая дорога на Карлов створ вчера закрыта, а другой дороги нет. Вся группа уехала, я же решила попытаться счастья, уж очень хотелось увидеть в первозданном виде место, где вырастет гигант гидроэнергетики. Ко мне примкнул фотокорреспондент «Правды» Тимофей Мельник:

— Или вместе утонем, или увидим Карлов створ.

На «Волге» мы без помех добрались до базы экспедиции, находящейся в селе Майна, километрах в тридцати ниже Карлова створа. Пересекли Енисей — лед как лед, наша машина тут не единственная. Но в Майне весьма суровый начальник экспедиции сказал, что дальше лед трещит, есть приказ о закрытии дороги, так что о поездке не может быть и речи. Но ведь если вчера еще ходили грузовики, легковая машина наверняка пройдет! Мы спорили долго, не отступая. Через три часа мрачный начальник криво улыбнулся и сказал, что чувствует себя в роли генерал-губернатора перед женой декабриста, и разрешил нам ехать, только не на «Волге», а на его «козлике» и с его шофером. Когда мы выехали, уже вечерело. Сперва мы долго переваливались с ухаба на ухаб по ужасающей дороге, которую только изыскатели могут называть дорогой. Трясло так, что вот-вот души вытряхнут. Буксовали в крутых колеях, подолгу вытягивали из них нашего «козлика». Уже стемнело, когда машина сползла на лед, и почти сразу мы услышали зловещий треск. Мы обещали ехать с открытыми дверцами, чтобы в случае беды сразу выскочить, но навстречу дул такой ледяной ветер, что мы только держались за дверные ручки. А под нами трещало и трещало, колеса то справа, то слева противно оседали, неподалеку темнели крутые скалы — если повезет до них добраться, все равно не влезть!

Было уже около полуночи, когда на другом берегу забрезжили огоньки.

— Карлов створ, — сказал шофер.

И по тому, как начали передвигаться огоньки, а ветер задувать во все щели сбоку, мы поняли, что едем поперек Енисея к другому берегу. Признаюсь, мы еще крепче вцепились в дверные ручки, невольно вспоминая, какое на Енисее стремительное течение и какие глубины... Когда лед под нами снова затрещал, оседая под колесами, берег был совсем близко и мы увидели, что кто-то бежит к нам навстречу, оскользаясь на спуске...

Палаточный лагерь геологов уже спал, но дежурный подвел машину к столовой и мы оказались в блаженном тепле, кто-то уже грел для нас еду и чай... После многотрудного дня, выматывающей поездки и пережитого страха хотелось поскорее поесть горячего, улечься на

любую скамейку и спать, немедленно спать... Но тут над нами захрипел репродуктор и молодой голос весело провозгласил:

— Ребята, ребята, просыпайтесь! К нам до завтра приехала писательница Кетлинская с фотокорреспондентом «Правды» Мельником. Кто хочет с ними встретиться — бегите в столовую.

Да что он, с ума сошел? Ведь язык не ворочается!..

А столовая уже заполнялась молодежью в лыжных костюмах, полущубках, свитерах. Мельник сделал несколько снимков и незаметно отвалил спать. А от меня и усталость отлетела. Я оказалась первым представителем советской литературы, посетившим экспедицию, и вопросы были обо всем на свете: от обычных «что вы теперь пишете?» и «почему вы не поженили Клаву с Андреем Кругловым?» и до вопросов, как я отношусь к Евтушенко и что думаю о «звездных мальчиках» Аксенова.

Чуть светало, когда нас повели на створ будущей плотины и мы увидели нетронутую красоту стиснутого скалами ущелья и, закинув головы, находили на почти отвесных лесистых склонах отметины, обозначающие гребень будущей плотины. Мельник торопливо фотографировал, а я еще более торопливо расспрашивала обо всем, что меня интересовало, потому что за нами неотступно ходил насупленный шофер «козлика», которому было строжайше приказано не позже десяти утра выехать обратно. Когда мы выехали, при дневном свете дорога казалась надежнее, чем ночью, а треск льда я уже не слышала, так как спала и на льду и на ухабах. А теперь мучительная поездка и ночная встреча с читателями вспоминаются как радость, подаренная жизнью.

Вторая история произошла у подножья Эльбруса. Тут не было никакой командировки, я приехала туда во время отдыха с друзьями — маленькая частная экскурсия. Мои спутники были учеными-геологами и рассчитывали на гостеприимство научной экспедиции, базировавшейся в Терсколе. Комендант был молод, бронзов от загара и длинноволос, что тогда было в диковинку, он явно «работал под Тарзана», но все же потребовал у нас паспорта, после чего отвел нам места в палатке и дал талоны на ужин и на завтрак. Рано утром нам предстоял подъем на Кругозор. Вечером мы пошли прогуляться вверх по горной дороге, не ставя себе никаких целей — сколько захочется, столько и пройдем. Небо было ясно, полная луна светила так ярко, что каждый камешек на дороге отбрасывал тень, а снежные вершины сияли голубым серебром. Чем выше мы поднимались, тем прекрасней и шире была панорама окружающих гор, хотелось подниматься еще и еще. Когда мы спохватились, мы были уже очень далеко от Терскола, ноги горели от усталости, сердце билось в разреженном воздухе. И тут мы заметили два огонечка, крутившихся на бог знает какой высоте, — сверху, с Эльбруса, возвращалась машина, которая забрасывала зимовщикам продукты. Нам бы тихо идти вниз, но наши мужчины решили ждать машину. Мы прижались к скале, нависавшей над узкой дорогой. Машина мчалась по серпантину с невероятной для такого спуска скоростью. Увидев нас, шофер осадил машину, как скакуна, махнул нам — лезьте в кузов, — и только мы успели перевалиться через борт, как он уже рванул вперед. Сесть в кузове было некуда, зато по дну его свободно катался железный бочонок, который так и норовил ударить по ногам. Да что там бочонок! Шофер вытворял нечто невообразимое. В ярком свете луны он мчал нас прямо в пропасть, в последний миг резко тормозил, разворачивал машину елочкой, нависая задними колесами над пропастью, снова мчался вперед, снова тормозил, снова мчался... Клянусь, на этом сумасшедшем спуске я пережила такой ужас, какого

не испытывала под бомбежками и обстрелами в Ленинграде: ведь в мирное время, на отдыхе, среди такой красоты — и вдруг бессмысленно, ни с того ни с сего... Когда еле живые мы оказались наконец внизу, выяснилось, что наш безусый лихач совершенно пьян.

Ну ладно, постепенно пришли в себя, поужинали и уже собрались спать (до подъема осталось всего пять часов), когда ко мне подошел длинноволосый Тарзан:

— А вам придется пройти в клуб, наши товарищи узнали, что вы приехали, и хотят с вами встретиться.

Вот что значит паспортная система!..

И как теперь откажешься, если люди долгими месяцами работают в горах и вот собрались на ночь глядя, чтобы узнать литературные новости и поговорить с заезжим писателем... Сказать, что я хочу спать, что я тоже имею право на законный отдых и не обязана?.. А точно ли — не обязана?

— Спокойной ночи, — сказала я моим спутникам. — Обязательно растолкайте меня в пять.

Как я припоминаю, за всю мою жизнь был всего один случай, когда известность — нет, здесь хочется употребить более пышное определение: с л а в а! — когда слава принесла мне чистейшее удовольствие без малейших примесей обязательств.

Работая над романом «Иначе жить не стоит», я целый месяц колесила по Донбассу, вживаясь в его суровые пейзажи, в неповторимые черты его городов и шахтерских поселков. Одним из моих помощников был «Зоркий» — я много фотографировала людей, пейзажи, а также технические и бытовые детали, чтобы потом, если понадобится, легче было восстановить их в памяти. Вторым и очень оперативным помощником была недавно приобретенная мною «Волга», ведомая временным шофером дядей Степой. Дядя Степа вплоть до выхода на пенсию водил милицейскую машину, именуемую в просторечии «черным вороном». Дорожными правилами он пренебрегал, машину мыть не любил, а протереть ветровое стекло норовил только со своей стороны, считая, что я машину не веду, поэтому глядеть вперед мне незачем. Вот с этим дядей Степой мы и попали в беду.

На пути в Горловку я заметила канал, по которому самотеком шла вода из Северского Донца в маловодный Донбасс. Прозрачнейшая голубая вода и пологие откосы канала, выложенные белыми плитами, выглядели особенно привлекательно в этом краю, где самый воздух пропитан угольной пылью. Хотелось сфотографировать канал, но мы шли в сплошном потоке грузовых машин — не остановишься. Зато обратно возвращались в воскресенье, когда машин на шоссе мало. В поселках на солнышке грелись старики шахтеры. Ветерок разгонял зной и вздувал серую пыль, но на пыль тут не обращают внимания, посреди дороги три милиционера зубоскалили с девушками. Объезжаем их. Впереди канал. Как было условлено, мы проехали мост и дядя Степа тут же свернул на обочину, а я побежала на середину моста, выбирая лучшую точку для съемки. Краем глаза увидела, что один из милиционеров поспешает ко мне, и на всякий случай побыстрее отсняла два кадра. Суровая рука блюстителя закона ухватила ремень фотоаппарата:

— Так вот, гражданка, я заберу ваш аппарат, засвечу пленку и отберу у шофера права.

Дело оборачивалось серьезно: и аппарат жалко, и пленку, хранящую штук тридцать очень нужных снимков, и совсем уж трагично, если у дяди Степы отберут права, — попробуй-ка получи их назад в незнакомом месте и в воскресный день!

Двумя руками прижимая к себе аппарат, в то время как милиционер тянул за ремень, я пробовала объяснить:

— Мы не знали, что здесь нельзя останавливаться и снимать...

— Неграмотные? — с издевкой спросил милиционер и показал рукой на громадный щит, который возвышался прямо напротив машины, перед носом дяди Степы: «САНИТАРНАЯ ЗОНА, останавливаться КАТЕГОРИЧЕСКИ ВОСПРЕЩАЕТСЯ».

— Мы же на минуту, — оправдывалась я, — шофер не виноват, это я велела остановиться. Я ж не для себя снимаю, хочу показать людям все лучшее, что есть в Донбассе, а этот ваш замечательный канал...

Говорила я убедительно и не без подхалимства, авось милиционер — донбассовский патриот. Но страж закона был неумолим:

— Где разрешение на съемки? Если вы корреспондент, у вас должно быть разрешение на фотографирование объекта.

Ох уж эти объекты!

— Знаете, товарищ, я писатель и во многих краях побывала, о многих писала, везде фотографировала, и никогда с меня не требовали бумажек.

Мы все еще держались цепко — я за аппарат, он за ремешок. А к мосту поспешали еще два милиционерских чина, видно на подмогу. Шаг за шагом подвигаясь к машине, я старалась смягчить милиционера, а он старался не смягчиться и спросил весьма подозрительно:

— Писатель, значит? Ну и как ваша фамилия?

Я ненавижу представляться, потому что все же неприятно, когда, скажем, администратор кинотеатра, которому ты называешь себя с просьбой оставить два билета, резко говорит: «Кто? Не знаю такой. Станьте в очередь и купите, не могу я всем оставлять».

Но тут ради спасения пленки и дяди Степиных шоферских прав я произнесла свои имя и фамилию с торжественной многозначительностью. Признаться, я рассчитывала больше на апломб, чем на литературную осведомленность милиционера, все еще не отпуская ремешок. Его подмога была уже близко, а мне надеяться на поддержку дяди Степы не приходилось — он сжался за баранкой, втянув голову в плечи, и не подавал голоса. И вдруг произошло чудо. Спасительное чудо!

— Кетлинская?! — воскликнул милиционер. — Вера?

— Вера, — дрогнувшим голосом подтвердила я.

— Та самая? — Милиционер выпустил ремешок фотоаппарата. — Это вы написали «Мужество» и «Дни нашей жизни»?

— И «В осаде», — неожиданно пробасил дядя Степа, высовываясь из окна машины.

Подкрепление подошло, готовое действовать по всей строгости.

— Товарищи, знаете, кто это? — обратился к ним мой милиционер, — писатель Вера Кетлинская, которая написала книги «Мужество» и «Дни нашей жизни»!

— И «В осаде», — снова подал голос дядя Степа.

А затем нам разрешили продолжать путь. Не скрою, двум другим милиционерам ни мое имя, ни названия книг ничего не напомнили. Но все трое взяли под козырек и пожелали мне счастливого пути и новых творческих успехов.

— Скажи пожалуйста, милиция знает, — бормотал дядя Степа, когда мы отъехали, и долго еще улыбался и поглядывал на меня с уважением. Вот она, прелесть славы!

Ну а если говорить без шуток, то всякая известность ласкает самолюбие, но, в общем-то, затрудняет и усложняет жизнь. А если ты еще и женщина!..

Я долго раздумывала, как рассказать об одной из сторон жизни женщины, посвятившей себя творческому труду. Напрашивался афоризм: чем известней женщина, тем труднее ей быть счастливой. Но тут сталкиваешься с областью интимных отношений и можешь вот-вот выболтать что-нибудь такое, что бросит тень на другую половину человеческого рода, а зачем же мне сердить весьма весомую часть читателей!

На удачу, мне недавно попалась публикация, в которой пересказываются суждения арабского ученого и мудреца Сиди Ахмэда бен-Ардун. Он жил в XIV веке нашей эры, был судьей, любил читать и размышлять в уединении и в результате написал книгу, которую назвал «Руководство к супружескому счастью». Вот я и хочу сослаться на мнение арабского мудреца, который утверждал, что женщина должна быть ниже мужчины в четырех отношениях: по происхождению, росту, состоянию и возрасту. Чтобы несколько оосовременить его утверждение, мы можем заменить происхождение общественным положением, а состояние заработком, и тогда Ахмэд бен-Ардун поможет нам понять, что и ныне писателю не так легко быть женщиной.

Прикрывшись мнением мудреца, к тому же мужчины, я ускользнула от наиболее интимных проблем личной жизни. Но, кроме этих проблем, есть еще и **внутренний психологический барьер**, через который переагнуть ой как нелегко! Самой природой и многовековыми традициями установлено: **вьет домашнее гнездо женщина**, растит детей женщина, создает уют, кормит и поит семью, привечает гостей опять-таки женщина. И даже если ее муж настолько хорош, что у него на лопатках прорезываются ангельские крылышки, он в чем-то поможет, какие-то дела возьмет на себя, но поделить все заботы поровну с женой не сумеет, да и женщина сама их не передаст. А если женщине так исключительно повезет, **что она найдет няню или помощницу по хозяйству** (что намного трудней, чем найти директора предприятия), все равно любые вопросы, тревоги, домашние беды будут стекаться к ней — десятки дел, возникающих ежедневно и занимающих не только время — голову.

Если мужчина — писатель, ученый, художник — работает дома, он закрывает дверь кабинета и никто к нему не сунется. Это тоже освящено традициями. Если он услышит детский плач, или звонки у входной двери, или посторонние голоса, он знает: жена помчитя на плач, и откроет дверь, и примет пришедшего водопроводчика или контролера электросети. А как быть женщине — писателю, композитору, ученой? У нее нет жены!

Во времена, когда мои сыновья были маленькими, а детьми и домом управляла тетя Лина, у нас было шутовое правило:

— Если возникнет пожар маленький — тушить **самим**, большой — вызывать пожарную команду, а маме не мешать!

Пожаров, к счастью, не было. Ко мне никто не врывался. Но стоило выйти из кабинета, как на меня обрушивались непредвиденные дела — испортился водогрей, кончились деньги — и детские провинности: у одного парня Двойка в дневнике, у Другого, любящего «химичить», на кухне взорвалась какая-то мерзость и по квартире ползет вонючий дым... Тут двери не закроешь, ты — мать, хозяйка дома, главнокомандующий и верховный судья...

Сколько раз я вспоминала мамины слова, которыми она напутствовала меня семнадцатилетнюю: «Любовь, семья, материнство берут много сил и много души. Можно ли совместить их с творчеством — не знаю. Но подчинить их творчеству, поставить творчество на

первое место, от многого отказаться, наступать на свою женскую слабость, на легкомыслие, на домашние заботы — надо!»

Что ж, так и было. Подчиняла, ставила работу на первое место, отказывалась, наступала...

В тяжелые дни мои друзья-товарищи утешали меня однообразно: ничего, ты сильная. А мне иногда кричать хотелось — к черту! сколько можно! Это, наверно, такое блаженство — дать волю женской слабости...

Но когда я думаю о судьбе некоторых хорошо мне известных женщин, которые год за годом разменивали свое призвание на сотни женских забот и слабостей, когда я вспоминаю, как постепенно, незаметно для них самих угасал их творческий дар... Нет, все правильно. Надо быть сильной — а там пусть разрывается сердце.

На этом можно покончить с внутренними психологическими трудностями, тем более что в самом творческом труде писателя и других предостаточно. Не за рабочим столом, тут все равны, были бы способности и трудолюбие, а вот в процессе повседневного накопления впечатлений и знаний, во встречах с нужными работниками, в деловых поездках, когда так важно быстро нащупывать контакты с самыми разными людьми, вызывать их на откровенность, а еще важнее наблюдать их в повседневном быту и привычном труде, когда они не думают о том, что их наблюдают, и каждый таков, какой он есть.

Везде, где общение возникает естественно, без официального знакомства — в комнатах общежития, в поезде, в местах, отведенных для курения, — там, где мужчине все просто, женщине все сложно, с ее появлением обычно исчезает непринужденность, а то и затухает разговор, и нужно немало опыта и такта, чтобы переступить «рубеж отчуждения».

А какие иногда возникают печальные или смешные неожиданности!

После войны, работая над романом «Дни нашей жизни», я около трех лет состояла в партийной организации турбинного цеха Кировского завода. Поначалу было трудно войти в жизнь цеха, но постепенно ко мне привыкли, перестали замечать, уже не думали, что любой человек, с которым я разговариваю, «войдет в роман». Бывала я везде, где хотела, но всяческих заседаний, конечно, избегала, разве что решалось что-либо спорное, из-за чего в цехе бурлили страсти. Однако меня все чаще спрашивали: а на утренних планерках вы были? Стала выяснять, в чем дело, говорят — много потеряли, начальник цеха ведет эти планерки с юмором и блеском, получается прямо-таки спектакль, народу набивается — сесть негде. Ну как я могла упустить такую сочную деталь цеховой жизни? Приезжаю раненько утром на завод, за три минуты до начала планерки вхожу в кабинет начальника, а там и шагу ступить нельзя, полным-полно народу. Вижу, что приткнуться негде, но все же прошу разрешения присутствовать. У начальника цеха вытягивается лицо, он кисло разрешает. Кто-то высвобождает табурет, и его передают из рук в руки над головами сидящих. И вот начинается планерка... скучнейшая из всех, на каких мне когда-либо приходилось присутствовать. Начальник жует резину, никакого спектакля, на лицах ни одной улыбки. Потихоньку зеваю, но досиживаю до конца. Скука беспросветная. Спрашиваю одного из тех, кто уговаривал прийти: где же юмор, где спектакль?

— Виноват, не сообразил. Понимаете, у нас одни мужчины, так что начальник обильно сдабривает свои реплики солеными словами, иногда такое завернет, что все за животы держатся. А когда вы появ-

вились, он испугался, как бы при вас не сорвалось лишнее, ну и стал сам на себя не похож.

Бывало и хуже. Когда тот же роман был написан и условно принят в одном из журналов, мне пришлось основательно поработать, добавляя производственные описания и сцены (этого требовали в себе рецензенты, такая была мода). Я смутно ощущала, что роман грузнеет и скучнеет, но общее мнение как-то действовало и на меня, во всяком случае, я старалась написать новые страницы как можно лучше и точнее, без развесистой клюквы. Моим добрым советчиком стал опытный инженер с другого завода, хорошо знающий производство наиболее крупных современных турбин. Худенький, болезненный, со следами тяжелых ранений, он оказался очень славным человеком, заинтересовался моей работой и дотошно проверял каждую строчку. На заводе приткнуться было негде, поэтому я приглашала его после работы к себе домой, а тетя Лина кормила нас вкусным обедом, ну и водочку, конечно, ставила на стол. Один раз совместили работу с обедом, второй раз... На третий жду я своего консультанта, а его нет и нет. Тетя Лина ворчит — пельмени сохнут, она их налепила целый лист. Наконец звонок. Открываю — передо мною стоит высокая жгуче-черная женщина с пронзительно горящими глазами, и эти глаза без стеснений окидывают меня подозрительным взглядом с головы до ног и с ног до головы. А за ее плечом раздастся смущенный голос:

— Вот, жена захотела прийти со мной... Если не возражаете... Познакомьтесь, пожалуйста...

Тетя Лина, уловив ситуацию, застыла в дверях кухни со скалкой в руке. Кое-как знакомимся, я предельно любезна, черная женщина злобно отводит мою любезность:

— Пришла поглядеть, какие такие консультации, что приходит домой — от него водкой пахнет.

Объясняю как могу, тетя Лина от себя добавляет — мол, вы сами хозяйка, вам пришли бы помогать, неужели не угостили бы?.. Не верит. Обедать отказывается. Кое-как уговариваю ее сесть за стол. Пельменей берет три штучки и ковыряет их вилкой, рюмку брезгливо отстраняет:

— Я эту гадость не потребляю!

С трудом доведя обед до конца, прошу у моей черной гостьи извинения — нам нужно работать.

— Ну-ну,— цедит она сквозь зубы и усаживается на диван.

Даю ей журналы, она их отбрасывает и не сводит с нас мрачного взгляда. Читаю страницы, нуждающиеся в проверке. Мой консультант сегодня особенно придирчив, дотошен, рисует мне детали турбины и схемы технологических процессов, требует, чтобы я записывала все уточнения. Читаем дальше — то же самое. Краем глаза вижу, что моя гостья начала перелистывать «Огонек». Читаю по второму разу страницы, выверенные в прошлый раз — снова придирки, объяснения, чертежи... На прощанье гостья даже извинилась за вторжение, но в дальнейшем я предпочитала советоваться с ее мужем на заводе.

Во время писательских кочевий приходится сталкиваться с представлениями о том, что женщине нельзя разрешить то, что разрешается мужчине, а иногда и с ветхозаветными предрассудками.

Совсем еще молодым литератором впервые приехав на Дальний Восток, я, естественно, старалась увидеть как можно больше и ничего интересного не упустить: пройти с бывшим партизаном по партизанским тропам, спуститься в угольную шахту, выйти в море на подводной лодке, побывать на морском дне с водолазами и многое

другое. С подводной лодкой все сорвалось за полчаса до выхода в море, увидеть дно бухты Золотой Рог через стекло скафандра, мне удалось только благодаря начальнику ЭПРОНа Бауману, веселому и лихому человеку, с которым мы сразу нашли общий язык (и как этот водолазный эпизод мне пригодился, когда я писала водолаза Епифанова в «Мужестве!»). Было еще одно место, где побывать хотелось непременно, — Миллионка. Но как туда попасть?

Даже нынешние владивостокские жители, наверно, не все знают, что это было, Миллионка тридцатых годов!

На тогдашней окраине города обширный квартал был огорожен, подобно крепостному сооружению, сплошными линиями домов, а вернее — одним чудовищным домом, согнутым на углах и образующим замкнутый четырехугольник. Все этажи были обнесены узкими металлическими галерейками, сообщавшимися между собою наружными лесенками, на галерейки выходили все двери и окна, так что из любой квартиры в одну минуту можно было убежать и вверх и вниз. Это было «дно» портового города, густо и беспорядочно заселенное; тут укрывались налетчики и воры, проститутки и скупщики краденного, мошенники и спекулянты, крепко связанные с контрабандистами, переправлявшими через границы наркотики, и потайно содержавшие притоны опиумокурильщиков и морфинистов; сюда стекались выпить и погулять матросы всех национальностей, здесь навсегда оставались люди опустившиеся, спившиеся, обезумевшие от наркотиков... Мне говорили, что имелось два решения о ликвидации Миллионки.

— Миллионку снесут с лица земли, иначе ее не прикроешь, — сказал мой новый приятель Ваня Демчук, секретарь владивостокского комсомола. — Конечно, стоит поглядеть ее, пока она еще есть. Я тебе достану мужскую одежду, и пойдём.

Когда я надела брюки клеш, тельняшку и куртку, а волосы забрала под сдвинутую набок кепку, в зеркале появился озорной мальчишка, юнга или рыбак, которому вполне подходило морячком походкой вразвалочку побродить по загадочной Миллионке. Тут была доля авантюризма? Допускаю. Но писателю такая «доля» необходима не только смолоду, но и на склоне лет, если он хочет все видеть и все познать. Ведь не знаешь, когда что пригодится. О доживающей свой век Миллионке я ничего не написала, но когда в «Мужестве» писала притон Пака и самого Пака, я хорошо знала, откуда взялся этот юркий коварный кореец и почему он так люто ненавидит всех, кто несет Дальнему Востоку новую жизнь.

Итак, я была готова к походу на Миллионку. Но об этом как-то узнало начальство и подняло шум: писательницу?! Женщину?! Переводетой?! А если ее разоблачат и побьют, а то и убьют — кто ответит?! И, запретив мое переодевание, придали нам спутника — переводетого в штатское начальника отделения милиции... того самого района, где находилась Миллионка и где, конечно, и стар и мал знали его в лицо!..

Перед нами шагах в десяти три парня рыбацкого вида спокойно прошли в ворота той самой походочкой вразвалку. Но стоило нам приблизиться к воротам, как сидевший во дворе древний старец, не меняя позы и почти не двигая губами, издал какой-то гортанный крик вроде «э-эй-о-а!», и этот крик стал повторяться как эхо и во дворах и на галереях. Какие-то люди заскользили по лесенкам и галерейкам, какие-то двери захлопали — и все стихло. Правда, нам все же удалось увидеть один притон морфинистов (страшное зрелище! — больше десятка полуголых мужчин, густо покрытых черными точками от уколов, с оцепелеными лицами и мутными глазами, лежали как трупы на циновках); зазевавшийся хозяин успел припрятать только самый

морфий и шприц, он низко кланялся и ломаным языком уверял, что тут его друзья, отдыхают после обеда. В другой комнатке, похожей на щель, мы застали двух женщин — одна лежала на кровати и курила опиум, другая, хозяйка, ринулась спасать трубку, но начальник опередил ее и подарил трубку мне (эта диковинная трубка черного дерева, с медными кольцами долго хранилась у меня в Ленинграде как трофей). Курильщица плакала, хватая начальника за руки, и убеждала его, что больна и лечится опиумом... Остальные злачные места как сквозь землю провалились, начальник милиции рассказывал, что почти каждый раз застает перемены — где была квартира из трех комнат, осталась одна комната, а две исчезли и следа дверей не найдешь, где был кабак — уютится многодетная семья, детишки ползают, а куда кабак перебрался — поди найди! Под конец мне в утешение начальник арестовал хозяйчика «исчезнувшего» притона и пошел с ним вдоль галереи, а нам велел не спускать с него глаз, а то проморгаем самое интересное; я смотрела во все глаза, но арестованный вдруг метнулся к стене, ударился об нее и будто растворился в воздухе. Мы с Ваней шупали каменную кладку стены, ударялись боком в том же месте — никакого намека на потайную дверь... В общем, кое-что занятное я все же повидала и узнала, но как раздражали гортанные выкрики по ходу нашего передвижения! И кто знает, сколько интересного я не увидела!..

Во время той же поездки я вылетела из Хабаровска на Сахалин на гидросамолете, который вел тогда еще молодой и популярный лишь на Дальнем Востоке, а впоследствии широко известный полярный летчик Мазурук. И этот милый парень поставил как бы последнюю точку по поводу того, что женщина все же существо низшее. Мы попали в густой туман и совершили вынужденную посадку, как думал летчик, на озеро Большое Кизи, а на самом деле на Малое Кизи, такое мелководное, что гондолы нашего самолета проскрежетали по песчаному дну. Рейс был грузовой, и пришлось потратить часа три на то, чтобы вытащить из самолета в надувную лодку все грузы, а затем отправить их через протоку на Большое Кизи. Я отказалась плыть в лодке, предпочитая рискнуть вместе с летчиком, так как безгранично верила в авиацию и в мастерство авиаторов, но именно мне Мазурук сказал:

— Э-эх, знал же я: если берешь в самолет женщину, надо в противовес обязательно взять кошку!

В 1942 году Ольга Берггольц, Вера Инбер и я выехали в Кронштадт для выступлений перед моряками и летчиками на кораблях и на базах. Нас окрестили «женским литературным десантом» и принимали с исключительной сердечностью. Меня особенно тянуло к подводникам и в отряд «морских охотников», и на то была особая причина. Крупные корабли были заперты в Кронштадте и на Неве, они могли только поддерживать осажденный Ленинград огнем своих могучих батарей. Балтику простреливали с берегов и бомбили с воздуха, ее плотно начинили минными полями и плавучими минами. Каждый поход был смертельно опасен, но наши подводные лодки одна за другой выходили в море, топили немецкие транспорты и боевые корабли иногда ценою собственной гибели... В то время, когда мы выступали в Кронштадте, из двухмесячного автономного плавания должна была вернуться подводная лодка «Л-3» под командованием Петра Денисовича Грищенко. В походе участвовал мой муж, морской писатель Александр Зонин. Если... да, так мне и говорили — если «Л-3» удастся преодолеть минные поля, она послезавтра выйдет к острову Лавансаари, где ее встретят «морские охотники», чтобы сопровождать до Кронштадта.

— А нельзя ли мне пойти на одном из катеров?

Катерники отвечали, что в принципе можно, если разрешит высокое начальство. Мне удалось получить разрешение от самого командующего флотом адмирала В. Ф. Трибуца, после чего мне дали койку на базе и познакомили с командиром «охотника», с которым мне предстояло на рассвете идти на Лавансаари. Условились, что в пять ноль-ноль за мною зайдет офицер.

С половины пятого я сидела у окна, высматривая, не идет ли офицер. Пять ноль-ноль... Четверть шестого... Половина шестого... Да, случилось самое худшее — «Л-3» подорвалась на минном поле, встречать некого...

Пробегая мимо стоянки катеров в штаб, я заметила, что нескольких «охотников» нет. Ушли на Лавансаари? Забыли про меня? Но как могли забыть, когда есть приказ командующего флотом?!

Командир отряда ответил со смущенной улыбкой:

— Понимаю, нехорошо вышло, но вы на нас не сердитесь, Вера Казимировна. Мы, конечно, не такой уж суеверный народ, но все же... Поход опасный, а есть такая примета, что женщина на борту... Вот так!..

Роман «В осаде» я писала в осажденном Ленинграде, что определило и некоторые достоинства и недостатки романа. Если бы я начала эту работу после войны, я бы, вероятно, не задавалась целью охватить и город, и фронт, и флот, я бы сумела понять, что во всем, что связано с жизнью и борьбой ленинградских горожан, я сильна знанием, а во фронтовых главах буду слаба, потому что подчинена полученному материалу, скована отсутствием непосредственных впечатлений. Но шла война, блокада продолжалась, и мне казалось, что охватить все стороны нашей обороны необходимо, наши судьбы не отделишь от армии и флота: корабли вон они, на Неве, приросли к стенкам набережных и затейливо закамуфлированы, а фронт на городской окраине, пешком дойти можно... Я и бывала — то пешком, а чаще на попутках — на многих участках фронта, беседовала со множеством фронтовиков, десятки офицеров и солдат охотно помогли мне «изучить материал». Только годы спустя, когда начали выходить книги Бондарева, Бакланова, Василя Быкова и других писателей, пришедших из самого пекла боев, я ощутила полностью, что значит подлинное знание, власть пережитого и хотя бы недолгая отстраненность от военных событий, позволяющая охватить целое и отобрать главное — главное, чем живет человек на войне. А в те давние дни я добросовестно старалась все охватить, то есть как можно больше видеть, как можно тщательней изучать.

С флотом было проще, я больше знала о флотской жизни, дружила со многими моряками, а «звездные налеты» немецкой авиации не только видела — я сама жила «в зоне» этих налетов; артиллеристы «Октябрьской Революции» рассказали мне, какие новинки они удачно применили при отражении этих волн бомбардировщиков, налетавших со всех сторон, а потом позвали меня на учение и «проиграли» весь бой; еще до того я знала, как погибали во время налетов моряки, один из них был моим приятелем, и у меня в руках был дневник молодого офицера, который стал дневником одного из моих героев.

Труднее всего давались танкисты. Еще до войны я бывала у конструкторов и в цехах, где создавались наши мощные танки, а в войну не раз видела, какими они возвращались на завод из боя, часто бывала в темных, промерзших цехах и писала очерки о том, как старики и мальчишки слабейшими руками все-таки ремонтировали

разбитые танки, чтобы снова отправить в бой... Но вот сам бой?.. Я зачастила во 2-ю танковую бригаду, стоявшую на городской околице, в Благодатном переулке, и танкисты рассказывали мне и о первых неравных боях, и о последующих танковых засадах, очень характерных для нашего фронта. Я уже выбрала боевую ситуацию для двух моих героев, когда в бригаде произошло волнующее, прямо-таки ошеломляющее событие — мощный танк «КВ» благодаря исключительно удачному стечению обстоятельств разгромил из засады колонну из сорока двух немецких танков. Командиру дали звание Героя Советского Союза, об этой победе много писали в газетах, естественно, что в самой бригаде об этом только и разговору было, а уж мне советовали все:

— Вот о ком надо писать!

Я радовалась вместе со всеми, нам в то время так нужны были хотя бы частные победы... и написала все как было (за исключением того, чего человек, не побывавший в танковом бою, почувствовать не может). Но эта глава все же выпирала из романа, потому что у искусства свои законы отбора и обобщения. Впоследствии при каждом переиздании я смягчала и упрощала этот бой, снимая исключительность, а в процессе работы смутно ощущала неудовлетворение, сокращала подробности, перенесла центр тяжести на внутреннюю, психологическую тему: два закадычных друга, у одного громкая победа и Золотая Звезда на грудь, у другого был длительный неравный бой, но он все-таки лишь не пропустил немцев — это будни, он со своими товарищами в тени...

В общем, мне нужна была обычная танковая засада. И мне необходимо было хоть что-то испытать самой, побывать в танке и проделать в его душном чреве обычный переход на позицию, почувствовать, что такое засада, пережить долгие часы настороженного ожидания, а может быть... а может быть... Танкисты, с которыми я успела подружиться, предлагали: попроситесь на сутки в засаду, мы вам все покажем и расскажем.

Командир и комиссар бригады вопреки моим опасениям отнеслись к моему желанию одобрительно, приказали подобрать для меня обмундирование по росту, а мне велели во всем подчиняться командиру танка. В назначенный час, когда могучий «КВ» должен был выходить на позицию, я переоделась и, счастливая, поскрипывая новыми сапожками, побежала к танку. Командир помог мне взобраться на свою махину, а затем влезть внутрь машины через люк, что оказалось не очень удобно; веселый радист, посмеиваясь, предупредил — не крутитесь, враз шишки набьете! Но я даже не успела оглядеться, как наверху что-то случилось; командир, пригнувшись, сказал: «Вас требуют», я сунулась к люку и услышала зычный голос, повторявший:

— Писателя немедленно в штаб! Писателя немедленно в штаб!

— Давайте вылезайте, — сказал командир, протягивая руку. — Выясните, в чем дело, только поскорей.

Ох-ох-ох, нетрудно было догадаться, в чем дело! В последнюю минуту командир и комиссар заволновались, не попадет ли им; комиссар позвонил начальнику политуправления Ленфронта К. П. Кулику, а Кулик наорал на него: вы что, с ума сошли?! Известную писательницу, женщину — в танковую засаду?! А если будет бой, если она погибнет — кто будет отвечать?!

На следующий день я вдрызг разругалась с Куликом, но в танковую засаду так и не попала.

Плохо ли, хорошо ли быть и женщиной и писателем, но могу повторить — ни о чем не жалею и свою профессию не променяла бы ни на какую другую. А препятствия постепенно научаешься обходить, сама работа учит некоторым приемам, ее облегчающим, особенно в общении с малознакомыми людьми и в так называемом изучении материала. Я не люблю этот холодноватый термин; неосведомленные читатели, слыша, как писателей призывают «изучать жизнь», предполагают, что процесс творчества в том и состоит: пришел или приехал, изучил, написал. А процесс куда сложнее.

Писатели часто получают наивные письма от очень юных людей, убежденных, что у них есть литературные способности, так как они писали сочинения на пятерки и печатали стишки в школьной стенгазете; вопрос всегда один и тот же: «Что нужно, чтобы стать писателем?»

Я отвечаю: ж и т ы!

Это не отписка, это правда. Жить как можно активней, горячее, общительней — таков, в общем-то, главный метод нашей работы. Ведь люди, о которых пишешь, не возникают во время «изучения материала», они как бы выходят из копилки наблюдений тогда, когда окажутся нужными, или тогда, когда сами настойчиво постучатся в твою душу — напиши! Нас любят спрашивать о прототипах героев, иной раз читатели и особенно читательницы просят даже сообщить «настоящую фамилию и адрес, чтобы завязать переписку». А у меня таких прототипов раз-два — и обчелся, да и те, конечно, послужили лишь толчком, отправной точкой для создания образа. Как он создается, рассказать трудно, знаю только, что из множества людей постепенно выделяются чем-то наиболее интересные, к ним присматриваешься, к ним день ото дня приближаешься, улавливаешь и их особость и типичность, и настает время, когда из десяти реальных людей одного склада, одного типа рождается одиннадцатый, сложившийся в твоём воображении, и начинает жить своей собственной жизнью... Чтобы рожденные воображением были живыми, знакомств и наблюдений должно быть много. И еще чрезвычайно важна протяженность наблюдений — чем дольше, тем надежней.

Произошла со мною история, многому меня научившая. Перед войной я заинтересовалась борьбой нескольких молодых инженеров-химиков за новый метод подземной газификации угля. Борьба была драматична, противники были сильны. На последнем этапе этой борьбы на их сторону вдруг перешел один из противников — перешел и с огромной энергией поддержал их в роковую минуту, когда казалось — все гибнет. Авторы метода прямо-таки влюбились в него, я тоже. В начатом перед войной романе неожиданный друг — я его назвала Алымовым — был самым расположительным героем... К счастью, война прервала эту работу, а когда через несколько лет после войны я возобновила встречи с подземгазовцами, выяснилось, что и они и я страшно ошиблись, друг оказался расчетливым карьеристом, понявшим, что нужно вовремя «поставить на другую лошадь», он и поставил ставку на молодежь, учуяв их правоту, а потом, в новой ситуации, с тою же ловкостью подлеца изменил им, да еще и навредил как мог...

Кстати, наша профессия — одна из немногих, если не единственная, у которой нет скучных «объектов» познания. Писателю интересен и подлец, и дурак, и демагог, и мещанин — надо же их рассмотреть, вдруг понадобятся в работе! Был случай, на одной из строек ко мне привязался несомненный дурак — кажется, хотел «попасть в роман», но, понятно, в качестве умного. Товарищи меня жалели —

зачем вы на него время тратите, неужели не можете шугануть его? Я только посмеивалась, не решаясь признаться, в чем тут дело.

Главный материал, из которого возникают и образы, и темы, и книги,— жизнь самого писателя, то есть среда, в которой он постоянно вращается, круг его интересов, раздумий и мечтаний, все то, чем живет его душа. Если восприимчивость и наблюдательность называть «изучением», что ж, тогда писатель изучает жизнь круглосуточно, без передышки. Изучает других и себя самого, даже в лютom горе где-то рядом живет неотступный наблюдатель: «Вот как оно бывает»...

Но в нашем труде существует и более простое, деловое «изучение материала» со своей технологией, с выработанными приемами. Обычно это работа вторичная, дополнительная, когда уже ясны контуры будущей книги, уже дышат и просятся на бумагу люди, которые эту книгу населят, но не хватает реальной обстановки и подробностей их труда и быта, когда все это нужно добирать — и добирать с запасом, не жалея времени и сил. Когда-то я даже установила цифровое обозначение этой работы: чтобы написать одну страницу, нужно быть в состоянии написать о том же тридцать страниц. Чрезмерная дотошность? Нет, желание творческой свободы. Нужно хорошо знать, чтобы воображению было просторно и слова приходили не вымученные, а самые нужные.

В процессе такого изучения очень важно, чтобы люди, которые тебя окружают, забыли, что ты писатель, и, уж во всяком случае, не думали: «Пишет о нас роман». Если так думают, начинается вольное или невольное прихорашиванье, подгонка живых фактов под «то, что надо для печати», и мало кто способен быть вполне откровенным.

Чаще всего я прибегаю к приему, который для себя называю — сторонний повод. Возник он во время поездки на Дальний Восток совершенно произвольно: я уже писала некое произведение о молодежи, которое потом переросло в роман «Мужество», в связи с этой работой мне и захотелось побывать в Комсомольске-на-Амуре, но денег на поездку не было, поэтому я взяла в «Комсомольской правде» командировку «с целью написания серии очерков о молодежи, осваивающей Дальний Восток». Вот эта серия и стала моим сторонним поводом: в какие-то дни и часы я беседовала с нужными людьми, собирала цифры и факты для очерков, в остальное время просто жила среди прототипов своих будущих героев, дружила и спорила с ними, ходила к ним в бараки и землянки, танцевала, когда они танцуют, купалась в Амуре или шла на прогулку в тайгу, когда они купались или гуляли.

На заводе я применяла этот метод уже сознательно. В ударном квартале, очень напряженном по выпуску трелевочных тракторов и турбин, я предложила заводской газете «Кировец» открыть рубрику «Время не ждет»; вместе с группой рабкоров мы прослеживали путь дефицитных деталей, искали узкие места и виновников того или иного срыва... Так выявлялись качества разных людей, ответственных и неответственных, во время наших рейдов! Одни выкручивались, валили на поставщиков или на соседа, другие честно говорили — я виноват! Находились и очковтиратели и любители радужных обещаний — мол, завтра все исправим, только не пропечатывайте!. Тут уж никто не думал о будущем романе, думали о следующем номере многотиражки...

Много разных сторонних поводов применила я на заводе, и каждый приносил пользу, а главное — я стала в цехе своей, меня уже не сгеснялись. А когда по инициативе кировцев меня выбрали депу-

татом Ленинградского Совета от большого жилмассива на Турбинной улице, неподалеку от завода, столько прихлынуло ко мне бытовых, и семейных, и трудовых историй, конфликтов, наболевших вопросов! Решение некоторых из них требовало длительных усилий, отнимало массу времени и выматывало душу, но зато сколько было радости, когда удавалось добиться решения и я видела, как светлеют лица намаявшихся людей!..

Быть соучастником, а не наблюдателем жизни — вот самое ценное, что можно посоветовать любому пишущему. В дни войны и в дни мира. Ценой усталости и траты драгоценного времени — окупится сторицей! Пока есть силы, не щадить себя — сил прибавится.

В свои восемнадцать лет я обо всем этом понятия не имела и вовсе не думала, что решение, принятое за сорок пять минут, переламывает мою собственную судьбу. В седьмом часу утра, подходя к фабричной проходной в толпе по-утреннему хмурых, молчаливых или грубовато-шумных работниц и рабочих, я представляла себе, что вот так же робко переступит порог фабрики моя Натка, и ее бережно подхватит рабочий коллектив, и направит, и распрямит, и, конечно, тут она встретит славного парня, похожего на Борю Котельникова с «Электрика». Могла ли я предвидеть, что мой наивный замысел полетит вверх тормашками, что жизнь далека от идиллии и все повернет по-своему!

Конец первой части



ВЛАДИМИР СОЛОВЬЕВ

★

ПЕРЕПРАВА

(Отрывки из поэмы)

Пролог

Неверным светом светится
Январская луна,
Как белая медведица,
Идет-бредет сосна.
Идет она, качается,
Ушами шевеля,
Туда, где мир кончается,—
На минные поля.

— Эй, сосенка, не гуляй
В местности соседней.
Был тут раньше тихий край,
А теперь — передний!
А за этим краем нечто
Вроде речки иль ручья
И земля, что наша вечно,
Только временно — ничья.
Ну а сколько этой самой
Незапаханной земли?
Триста метров, если прямо,
Как желаешь — так дели!
Триста метров, только разом,
Если хочешь выйти цел,
Не окидывай их глазом —
Глянь в оптический прицел.
Триста метров! Эка сила!
Это ж пять минут пути.
Только в жизни не хватило
Многим этих вот пяти.
Вон шагов за полтора
Чуть блестят штыков концы —
Это мертвое пространство
Охраняют мертвецы.
Вот один с лицом суровым
На снегу, вразбег, как шел,—
Он лежит как нарисован
На холсте карандашом.
А другой — рукой и взглядом
Нам указывает путь,

Чтоб, идя, не лечь с ним рядом,
Но легко перешагнуть
Эти страшных триста метров,
Пять минут ходьбы всего,
Чтоб воскресшая из мертвых
Рассказала жизнь его,
Что не зря он темно-русой
Головой приник к ручью —
Но чтоб снова сделать русской
Землю, временно ничью.

* * *

Мелкокалиберные взрывы,
Как вересковые кусты,
Росли, казалось, непрерывно
Вокруг на две, на три версты.
Шумели пули — то лавиной,
То роем злых осенних мух,
То словно трелью соловьиной
Предательски ласкали слух.
Так, изрыгая междометья,
Земную сотрясая твердь,
Шла смерть двадцатого столетья,
Цивилизованная смерть!
Тротил, термит, бокситы, гелий —
Все на себе познали мы,
Все худшее, что лишь сумели
Придумать лучшие умы!
Смерть наступала в лязге, в громе,
Все пригибая на бегу,
Все, кроме ненависти — кроме
Бессмертной ярости к врагу.
И если бы у нас спросили,
Где наши нежность и любовь,
Под пеплом Западной России
Мы не нашли бы их следов.
Но если в письмах вам когда-то
Вдруг попадетсЯ на глаза
Без адреса и адресата
Осиротевшая слеза,
Вы можете себе оставить
Чуть пожелтевшие листки
Как человеческую память
Нечеловеческой тоски.
Теперь же тем, к кому любили
Входить с веселым смехом в дом,
Мы пишем, скольких мы убили
И скольких мы еще убьем.
За все, что в жизни нам досталось,
Двужильным, выжившим от ран,
Нас убаюкивает ярость
И ярость будит по утрам.
Не копим мы ее, готовясь
Вдруг сразу выплеснуть до дна,
Но, как характер, память, совесть,
Теперь нам свойственна она.

Идем ли мы по злым дорогам,
 Сидим ли, курим, пьем вино —
 Мы говорим об очень многом,
 Но думаем свое, одно.
 Война не подвиг, это — быт,
 Где есть и труд, и сон, и отдых,
 Где много радостей, обид,
 Но этот быт войны есть подвиг.

• • • • •

Широким снежным русским полем
 Шли танки. Шли на запад, вдале —
 Как разум, ненависть и воля
 Народа, вкованные в сталь.
 Как будто вырвалась наружу
 Та ярость, что у нас в груди,
 И, грохоча в январской стуже,
 Шла, все сметая на пути.
 Шли танки. В их бортах и в башнях
 Томила, тяжело дыша,
 Саперов, у понтонов павших,
 Неотлетевшая душа...
 Как древний город, плыли башни..
 Шли танки. Шли через ручей.
 Шли по земле навеки нашей
 И только временно — ничьей.
 Шли танки... и в морозной сини
 Была сурова их броня.
 И шла за танками Россия —
 Непобедимая страна.
 Ее окрест на сотни тысяч
 Квадратных верст исколеса,
 Разрушить можно, можно выжечь,
 Но победить ее — нельзя!

(Газета Северо-Западного фронта
 «За Родину», 21 марта — 2 апреля 1943 года)



АНАТОЛИЙ ЛЕВУШКИН

★

КЛИПЕРА

В парусах крылатых ветру тесно.
Страсть одна у корабля в груди.
Клипера, вы бьетесь в гонках честно:
кто быстрее,
 кто будет впереди?
Вы объаты радостью азартной.
Ваш полет стремителен и яр.
Вам ли знать, что где-то самоварный,
скользкий, потный затаился пар.
Он пролезет в хитрые машины,
на любые каверзы готов,
и завертит в суете мышинной
лопасти тяжелые винтов.
Вот и нет вас, сильных, смелых, гордых.
Говорят, всему своя пора.
Но со старых дедовских офортов
в гавань
 к нам
 плывите, клипера!

ГУСИНАЯ ЗЕМЛЯ¹

Гусиная земля.
А что мне делать там,
на праведной земле, на той земле Гусиной?
Я в жизни был колюч. Я в жизни был упрямым:
что не давалось мне, брать приходилось силой.
Гусиная земля — поморских сказок ложь.
Но я иду-бреду по сказочному следу.
Гусиная земля. Тут праведники сплошь.
Сидят себе, ведут учтивую беседу.
Их бороды белы. Вкруг желтых лысин их
прозрачные венки вздымаются, лучатся.
«Ты, — говорят, — пошто нахрапом, напрямик?
А надобно сперва спроситься, постучаться.
Дак ладно уж, входи. Но разумеешь сам:
здесь мир совсем иной. Земные прочь заботы!»
А я свой лучший стих еще не написал.
Я со своим врагом не свел крутые счета.
Я женщину одну еще недолюбил.

¹ Гусиная земля — у поморов так называлась некая северная земля, где покоятся души храбрых и добрых людей.

Ушел я не простясь, У ней тоска во взоре.
 Я помню паруса, могучий взмах ветрил,
 и качку корабля, и штормовое море.
 Но я стою молчком, ни слова не сказал.
 Здесь все же мир иной, заоблачные выси.
 Да, видно, по моим тоскующим глазам
 седые мудрецы прочли земные мысли.
 И гвалт, великий гвалт поднялся в этот час.
 Тут кто-то завопил: «Прочь, дерзкий искуситель!»
 А кто кричит: «Постой, ты прихвати и нас!
 И мы хотим с тобой, земной любезный житель.
 Наш праведный покой пуццай горит огнем.
 Зеленая тоска вконец нас доконала!
 Мы, милый человек, опять в моря махнем!
 Подержимся еще за колесо штурвала!»
 Погасли в этот миг над плешами венки.
 И плечи заросли задорными вихрами.
 И спутники мои, как прежде, моряки,
 спешат со мной

дышать

солеными ветрами.

КАК ОСЕРЧАЛ ПОМОР

Казалось:
 льды в помол,
 в труху
 сотрут весь остров.
 Ой, бедовал помор,
 с тоской спознавшись острой!
 Да лучше уж сума,
 острог бы окаянный,
 чем лютая зима
 в ледовом океане!
 И вдруг —
 грудью кругла,
 на лик весьма пригожа,
 молодка подошла
 к помору,
 прямо к ложу.
 Как так?
 Кругом ни зги,
 весь мир ослеп в метели.
 — Сгинь, наваждение, сгинь,
 анафемское зелье!.. —
 И женка скрылась прочь,
 не скрипнув даже дверью.
 А ведь во сне точь-в-точь
 была его Лукерья!
 Ей, бабе, хоть бы хны:
 она в тепле и дома.
 А муж один средь тьмы,
 средь снежного содома,
 считай как есть в гробу,
 и в голоде и в хладе.
 А может, кто ~~тропу~~
 к его Лукерье ладит?

Да как могли посметь
 забыть его так скоро?!
 Тут
 в страхе
 даже смерть
 бежала от помора.
 Нет, вовсе не резон
 ему прощаться с жизнью:
 допрежде должен он
 все бабьи шашни вызнаты!
 Сто дней и сто ночей
 копил зимовщик ярость.
 И вот
 вдали, ей-ей,
 спасенья белый парус!
 И дома был помор
 согрет улыбкой ясной.
 И понял: мыслил вздор,
 костил жену напрасно.

БАЛЛАДА О СТАРОЙ ТРОСТИ

В порт приписки вернулся на днях лесовоз.
 И решил меня друг удивить сувениром —
 он старинную трость мне в подарок принес.
 А прошла эта трость по дорогам полмира!
 Исходила она тропы южных садов,
 и пески золотые под нею хрустели,
 и копились эмблемы чужих городов
 на ее сучковатом ореховом теле.
 А хозяин в мечтах изощрялся тогда:
 он вернется домой — и пожалуют гости,
 он и скажет: «А видели вы, господа,
 явно меньше

вот этой служившей мне трости!..»

А шагал по России семнадцатый год.
 И не ждал дворянин рокового известья,
 что уже никогда он теперь не взойдет
 на родное крыльцо родового поместья.
 Хоть бы русской земли заповедную горсть
 он в дорогу с собой захватить догадался!..
 И сжимали сухую сучкастую трость
 потерявшие перстни холеные пальцы.
 Долго

длилась бродяжья суровая бьель:
 по дорогам чужим трость сухая скрипела —
 и нерусских дорог злая едкая пыль
 покрывала ее сучковатое тело..
 И пришел в стоязкий грохочущий порт
 незнакомец, искавший советское судно,
 вытирал он с морщин выступающий пот,
 объяснялся по-русски мучительно-трудно.
 Удивил моряков неожиданный гость,
 но к нему снизойти — об одном лишь просил он.
 Пусть, молил он, отца погребенного трость
 возвратится на милую землю России!..
 И теперь эта трость в кабинете моем.

Трость как трость. Ну а вещи, как водится, немые.
Лишь сверкают на трости под зыбким лучом
чужедальных столиц и курортов эмблемы.
Я беру эту трость. Я иду с ней в хлеба,
в летний лес, что листвой молодою оделся.
А у трости и вправду завидней судьба,
чем у этого вот
эмигранта-владельца.



ЕВГЕНИЙ ВИНОКУРОВ

★

НОВЫЕ СТИХИ

ТВОРЧЕСТВО

Творческого мощного задора
ожидаю я,
 коль под рукой
голубая глыба лабрадора
ныне пребывает в мастерской.
Молоток ваятеля возьми-ка,
прозевай положенный обед,
чтобы торжествующая Ника
прямо встала символом побед.
В попираньи дряблого бессилья,
в незаметной ряби оспяной
чтобы ослепительные крылья
мощно приподнялись за спиной.
Вот она, свобода даровая,
вот и ощущение высоты,
чтоб привстала, преодолевая
косность, как и я и как и ты...
Чтоб она бездомная летела
так, чтоб мы забыли обо всем,
чтоб массив ликующего тела
проникаем был и невесом.
Ну а где она там, наша гавань?
Сколько дней еще у нас? Не счастье?
Ну а ты мне говоришь: мол, камень...
Что ж, что камень? Камень он и есть...

КРИК

Тому, кто в страсти следопыта
уходит в глубь веков, почет...
Все, что добротнo позабыто,
на белый свет он извлечет.
На черепках неистребимых
прочтет он надпись нам, и вот
там, в исторических глубинах,
вдруг стих, как золотце, сверкнет.
Бездонность мрачного санскрита...
Вдруг фраза вякнет из могил
вот так — надрывна и открыта:
— Я тоже человек!.. Я был!

Из цикла «Европа»

1

ГРАММОФОН

Граммoфон отошедшей эпохи,
я весь вечер сегодня с тобой.
Мне милы твои хрипы и вздохи,
инструмент с допотопной трубой.

Средь содомов двадцатого века,
что циничен, могуч и умен,
слышу: голос святой человека
из минувших доходит времен.

Не о прихотях потного тела,
но сипя, и треща, и шурша,
хочет он, чтобы вечно летела
к бескорыстному небу душа.

Он скрипит, шепелявя сердито,
запинаясь и екая зло...
В мире что-то такое забыто,
что-то ведь безнадежно ушло!

За стаканом постылого чая
Средь пустыни сижу мировой,
ручку слабую туго вращая,
в лад качая ему головой.

2

АФРОДИТА

Спешат машины деловито,
бежит прохожий по делам...

Глядит покойно Афродита
на человеческий бедлам.

Тут есть такие помещенья,
не где-нибудь, не в стороне,—
холодный ужас отвращенья
там пробегает по спине.

Там вспышки блицев моментальны!
Пустые бездны без прикрас!
Пред целым залом тайну тайны
там обнажают напоказ.

Весь атлас мировых пороков,
в котором непотребства суть,
в густой испарине порнограф
спешит пред миром распахнуть.

ПОСЛЕ ВОЙНЫ

Торжественны, и деловиты,
и неестественно прямы,
слепые пели инвалиды
неимоверные псалмы...
В вагоне, средь мешков в проходе
пел, восходя на тенорок,
с рыданьем о морской пехоте
парнишка без обеих ног.
И на Цветном, что ближе к цирку,
сидел уже старик почти,
держа зубами бескозырку
и крупно выставив культи...
Федяк, Иванов и Бмелек —
всех, кто сейчас отвоевал,
вдруг разом выбросил на берег
седой войны девятый вал!..
Стучали в грудь себе матросы
тряс костылем сапер-казах...
И гордые стояли слезы
в неумирающих глазах.

МЕДЗАКЛЮЧЕНИЕ

Когда божественный оракул
его удел предначертал,
он огорчился, он заплакал
и слушать далее не стал...
И в ту же ночь, усевшись с другом,
он, осознавший смерть, бедняк,
глотал, закусывая луком,
неутешающий коньяк...
Медсправка. В ней печать и подпись...
Всю ночь он, омрачив чело,
упорно всматривался в пропасть...
И там не видел ничего.



В. АЛЕКСЕЕВА

★

ЧУЖОЙ МАЛЬЧИК

Из пережитого

В квартиру на Смольном люди сходились вечерами и чувствовали себя дома и почему-то в безопасности, хоть бомбежкой могло убить в доме с таким же успехом, как и вне его.

Ну вот, пришли!

Наташка поднималась по лестнице легко, через ступеньку. Резко дернутый испорченный звонок застонал. Вукеша поджидала в прихожей, торопливо отмыкала замки.

Промозглый ленинградский воздух заползал Наталье за шиворот бархатной жакетки.

— Иди, девочка.

Наталья шлепала мокрый портфель на стол и, сняв со стены в прихожей ключик, возвращалась на лестницу открыть ящик для писем. Оттуда вытряхивались газеты, иногда и открытки, надписанные знакомыми почерками.

Второй приходила Надя. Она колебалась около двери. Ей, чужой, всегда немного неловко было звонить, и дверной звонок несмело два раза прозвучал под ее рукой.

— Иди, девочка,— так же встречала ее Вукеша.

Надеждино пальто было узко в плечах, широко в подоле. Собирались из подъемных денег после окончания института купить новое, но из-за войны был ускоренный выпуск, подъемных не выдали, потому что выехать из блокированного Ленинграда не пришлось, и новое пальто не сшилось. Надя была в круглоносых русских сапогах сорок второго номера, болтавшихся на маленьких ногах как футляры.

— Есть письма, Наталка?— несмело спрашивала Надя. Еще со школьных лет она находилась немного под Натальиным башмаком и побаивалась резких ответов.

— Пишут!— грудным от обиды голосом отвечала Наталья.— Я не понимаю...

— А Люська вчера от брата письмо получила. С южного фронта!

— Интересно, как же дошло?

— Вероятно, самолетом,— отвечает Надя, жалея о начатом разговоре. Странно, почему нет писем от Шурика. Хорошо бы получить письмо от Бори. Ведь не мог же он ее забыть! А раз от чужих людей с фронтов письма есть, а от своих нет, может быть, их, самых близких, нет уже на свете.

Вукеша бродит по комнате, поджимая бледные, уже старческие губы, и спрашивает про свою, затаенную, видимо больную, мысль:

— А что, девочки, правда, что Гитлер захватил Кронштадт?

— Фр-р! Ты это от кого слышала?

Вукеша растерянно молчит.

— Ты это опять в очереди или от своей Анны-Ванны? Эта Анна-

Ванна давно в милицию просится!— визгливым голосом кричит Наталья.

Звонок снова дребезжит.

— Вот сейчас папа придет, я ему расскажу про твою Анну-Ванну! Не понимает, что ли, что противно!

Третьим в квартиру входит хозяин. Его два звонка деловиты и коротки.

— Где Наташа?— говорит он.— Позовите Наташу!— И достает ей из портфеля завернутые в газету два сухих сосновых полена. Когда-то с такой же молчаливой лаской он приносил ей конфеты, позже — всякие гребеночки, духи, красивые перчатки, все, что нужно подрастающим дочкам.

— Спасибо, пап,— отвечает она.— Пойдемте есть.

Отец подходит к заветному шкафчику. Шкафчик висит в кухне, старый, без замка, на дверце по стеклу — позеленевшие медные полосы, бывшие когда-то украшением. В этом шкафчике лежат все запасы семьи — дневной паек хлеба, мелкая тарелка с тягучим, как тянучка, вареным сахаром, два стакана с крупной солью и спички.

Отец выполняет роль патриарха в семье — он распоряжается запасами. За хозяином плетется по пятам странная какая-то, будто неживая собака. Шерсть у нее такая взъерошенная и мятая, как бывает у старых плюшевых мишек.

Хозяин достает из шкафчика хлеб, режет на доске на пять равных порций и подвигает к каждой из них несколько осыпавшихся крошек. Режет на пять частей маленький кубик масла — на брата выходит по пол игральной косточки.

— Старуха!— говорит он собаке, свалившейся у его ног.— Старуха!

Ему приходят в голову мысли о благородной собачьей душе — по Лондону и по Томпсону — и что хорошо бы ей выделить тоже какую-то часть порции, ведь голодают все вместе. Немного стыдно взглянуть в глаза собаке, да их и не видно, она усталилась в пол.

К обеду полагается перловый суп из соленой кошки, еще зимних заготовок. На второе каша из отрубей с горьким салатом — вырыгтых из-под остатков снега корешков одуванчиков — и с жидким соусом из пшенной крупы. К чаю по пол чайной ложки сахарной тянучки и по лепешке из дуранды зеленоватого цвета.

Лепешки едят медленно, со вкусом.

Иногда к чаю приходит какая-нибудь соседка, тоже получает лепешку, ест ее как пирожное и говорит Вукеше: «Как вкусно вы готовите!»

Девочки за обедом спокойны, почти веселы.

Вукеша, вздохнув, достает из-за пазухи фотографию военного, своего воспитанника, без вести пропавшего на фронте Натальино брата Шурика, но Наталья кивает ей на отца, и карточка прячется.

— У нас на заводе...— говорит Надя,— Иван Петрович...— она мнется,— Иван Петрович...— Но нельзя же остановиться на полуфразе, раз уж нечаянно как-то начала, о чем не следовало бы говорить.— Иван Петрович...— И не придумав лучшего, продолжает: — Ничего, жив! — И мысленно видит умершего сегодня от голода старого рабочего Ивана Петровича.

— А у почты на лестнице,— говорит Ната,— вы видели?

— Ничего не видели,— сурово прерывает Надя.

— Покойники. Стоят в пальто, как мороженые столбы. Ничего. Я привыкла.

— Не надо, Наташа!— просит Надя.

— Я бы, кажется, этого Гитлера...— говорит или отвечает на свои мысли Вукеша.

Дядя Ваня молча ест и поглядывает на репродуктор.

— Говорит Ленинград, говорит Ленинград...

Смерть еще не коснулась его семьи. Верно, Наталье под зимнее пальто легко влезает толстый полушубок, и лицо ее стало прозрачным и одухотворенным. Молодцом держится Надюша. У старого друга Вукеша лезут волосы и сыплются зубы, а Лидию Ивановну ноги плохо слушаются, будто вместо них протезы, но семья, собравшаяся просто из знакомых людей, крепка, хоть родных по крови в ней всего два человека — он сам и его дочь Наталья.

Он с гордостью думает, как вечерами после службы все стекают в квартиру на Смольном. Спешат по темным улицам. Волнуясь, убегают от милиционеров при первых звуках воздушных тревог. Когда улицы пустеют и дальше не пускают, отсиживаются в траншеях, в подворотнях чужих домов, в бомбоубежищах, чтобы при первых звуках отбоя снова бежать домой. Прыгают в переполненные трамваи, хватаясь за поручни, за чужие пальто, втискиваясь в едущую толпу, неподатливую, как упругая резина. Уставшие после дороги, входят в родной угол, где бессменно дежурит одна Вукеша.

— Говорит Ленинград, говорит Ленинград...

Хорошо, если бы наконец сказали о наступлении наших войск. Он, старый военный, особенно тяжело страдает от наступления немцев.

— Говорит Ленинград. Вчера наши войска под натиском превосходящих сил противника...

— Дочки! — говорит Вукеша. — Если я завтра не встану...

— Брось говорить глупости! — отрезает Наталья.

— Я уж вас прошу...

— Перестань! — говорит Наталья. — Верно, слушать противно!

— Мою шкатулку...

— Разбомбят завтра — вот и все твои шкатулки!

— Возьми ты себе, — продолжает Вукеша. Она к старости стала упряма, будто не слышит.

— Слушайте, слушайте! Говорит Ленинград! — снова начинает репродуктор. — Опыты по оживлению организма проведены нашим ученым, профессором Н. Лекцию читает его ассистент товарищ Борисов.

Обедающие устали. Суп кажется очень вкусным, и слушать монотонный голос диктора лень, но все же из лекции запоминается, что умершего человека можно оживить, вовремя применив искусственное дыхание и вливание питательных растворов вместе с чужой кровью.

— Лучше бы не доводили, — ворчит Вукеша, — тогда поздно оживать!

Девочки глядят на нее с упреком.

Утром первым встает дядя Ваня. Разделив утреннюю порцию хлеба и придвинув к пайкам упавшие крошечки, он садится в кресло отдыхать, вытянув тяжелую правую ногу на стуле. Поднимать ее на стул приходится руками: на икре какое-то дистрофическое рожистое воспаление и нога плохо сгибается. Посидев полчаса и выслушав утреннее сообщение по радио, он ненадолго снова укладывается на кровать, но подходит время, он встает и идет будить семью. Настойчиво трясет каждого за плечо. Если это воскресенье, то говорит: «Пилить дрова!»

Вставать холодно, противно мерцает свет коптилки, и от освещенных предметов падают и шевелятся черные тени. Отдохнувшими после сна люди себя не чувствуют, будто и не засыпали.

Тяжело обойдя каждого, дядя Ваня возвращается к Наталье и снова трясет ее за плечо:

— Вставай, дочка! Пора!

То же самое повторяет он Надежде, а Вукеша и Лидия Ивановна, сев на кроватях, ежась, торопливо напяливают для тепла одну на другую несколько кофточек и по очереди их застегивают. На тощих руках на сгибе чувствуется безвольная мягкость многих одежд.

— Вы уж простите, Иван Альсаных, женскую половину за задержку,— говорит Лидия Ивановна, и голос у нее то звенит, то вдруг глухо звучит, и она им с трудом управляет — так же, как и ногами.

Выйдя на лестницу, чтобы принести со двора воды, Наташа равнодушно проходит мимо почтового ящика. В нем давно уже так привычно пусто, что противно заглядывать. Все же она не удерживается и чиркает спичку.

В щелочки ящика видно белую бумагу.

— Письмо!— говорит она, торжествуя.— Наконец-то!

Но это письмо не им, а какому-то Васильеву в нижнюю квартиру. «Ничего,— разочарованно думает Наталья.— И нам будет».

Надя и Лидия Ивановна дергают на дворе пилу взад-вперед, пила скачет по резу и глухо звенит, потому что, вероятно, очень тупа. Попеременно то одну, то другую сменяет дядя Ваня, прихрамывая на негнувшейся ноге. За ним как привязанная ходит собака.

— Вот вам и оживление организма,— говорит он.— Если бы не пила дров и не режим, мы бы давно скапутились!

С ожесточением он колет полено. Щепка отлетает и ударяет собаку по голове, и от ее легкого прикосновения собака воет, наклонив голову набок, будто у нее болит зуб. Дядя Ваня глядит на нее молча, с сожалением.

Расколотые поленца вся семья долго таскает наверх по лестнице.

Окончив работу, замечают, что нет собаки. Дядя Ваня с упавшим сердцем обходит весь двор. Потом идут искать собаку девочки. Наде давно противна паршивая собака, она никогда их не любила, но побаивается, что пропажа собаки огорчит дядю Ваню. Теперь каждое огорчение может оказаться смертельным.

Собаку ищут на дворе, на заднем дворе и почти без надежды стучась в двери нижних квартир, около которых, говорят соседи, видели собаку в последний раз. Предстоит войти к старикам соседям.

Из-за двери не отвечают.

— А что, если мы войдем, а вдруг они ее варят? Папа с ума сойдет,— шепчет Наташа.

Надя громко стучит кулаком во входную дверь, но опять никто не отвечает. Тогда она толкает оказавшуюся незапертой дверь, и девочки входят в кухню. В глубине кухни на широкой кровати под одеялом лежат две фигуры — старика и старухи и между ними шевелится мальчик, одетый в шубу, лет четырех-пяти.

Старики мертвые.

— Что же делать?— упавшим голосом говорит Наташа.

— Пойдем, Наталка,— нерешительно отвечает Надя.— Заявим в больницу, чтобы за ним прислали!

— Когда еще пришлют, а он замерзнет,— отвечает Наташа.— А может быть, папа ничего...— нерешительно продолжает она.

Наде тоже хочется взять ребенка домой, но как ей, по сути дела чужой, привести еще мальчика без карточки?

— Ничего,— решается Наташа.— Надька, возьмем к себе. Сразу же заявим в больницу.

Перед входной дверью, положив невесомого мальчика на подоконник, они останавливаются, потом Наташа решительно звонит.

Им открывает отец — старый, с серым лицом, даже голубые его глаза кажутся серыми. Он хочет пошутить, чтобы поддержать настроение и показать, что он не так уж расстроен пропажей собаки. Наталья не знает, как начать разговор о принесенном мальчике. Как ему сказать о лишней обузе, свалившейся на семью? Надя с ребенком остается на лестнице...

— Тут одна моя знакомая просила, папа...— говорит она.— То есть не просила, а взяла себе ребенка, на время, большого дистрофика-ребенка. То есть... ты понимаешь... и ребенка у нее на другой день забрали в больницу. И теперь он поправляется. Папа!— говорит она.

— Это хорошо, что забрали в больницу,— отвечает отец.

У него невятная речь, от цинги распухли десны. Но что же делать Наталье? Отступать уже поздно.

— Папа!— решительно говорит она.— Надька там стоит на лестнице. Мы мальчика от нижней старухи взяли. Они со стариком умерли, а мальчик еще жив. Уж очень он, знаешь... Ты уж не сердись, папа. Пусть хоть немного обогреется.— Она уже не знает, кого ей больше жалко — чужого мальчика или старого отца, у которого уходят, может быть, последние силы.

Девочки вносят ребенка в кухню, и Вукеша наливает ему в чашку теплого супа. Ребенок пьет, дрожа.

— Не надо много сразу,— говорит отец.— Это очень вредно. Давайте по чайной ложечке.

— Воздушная тревога!— бесстрастно объявляет радио.— Говорит штаб ПВО. Воздушная тревога! Воздушная тревога!

Близко и деловито звучат зенитки, как заехавший во двор мотоцикл, слышны взрывы, дом вздрагивает.

После отбоя замерзший дядя Ваня спускается с чердака, затушив свою сорок восьмую зажигательную бомбу.

— Ну как ваш Маугли?— добродушно спрашивает он Вукешу, уложившую мальчика спать на сундук около горячей железной печки.

За ужином Иван Александрович делит хлеб не на пять, а на шесть частей и, подвигая порцию ребенку, смотрит на Наталью, думая, что он и от нее отнимает долю, а у нее еще до войны находили туберкулез. Надежда отодвигает свой хлеб, полконфеты и тихо говорит:

— Я сегодня на работе ужинала.

— Ты врешь, Надька! Ешь! — говорит Наталья.

— Я ужинала,— отвечает Надя и отходит от обеденного стола.

— Довольно спорить! Кто здесь старший? — раздраженно ворчит дядя Ваня и с трудом поднимается с кресла на отекающие ноги. Он устает от малейшего противоречия и, чтобы не тратить силы на споры и рассуждения, просто диктаторствует.

Надежда покорно садится к столу и несколько раз щурится, чтобы расплылись слезы, навернувшиеся на глаза.

Подобранный мальчик, вымытый, одетый в большой, не по росту свитер Шурика, сидит в подушках на высоком вращающемся табурете, ест свой кусочек хлеба и пьет из блюдечка горячий чай, откусывая от половинки конфеты. Движения у него вялы, лицо безразлично, и смеяться он не умеет, но чисто вымытые светлые волосы легли вокруг головы мягкими пружинистыми кольцами, профиль правильный и нежный, мальчик красив, только губки, хоть и четко обрисованные, синеваты и плохо заметны.

Вукеша понемногу подливает ему в блюдечко чай из чашки.

— Какой хорошенький ребеночек. Его бы на дачу, на солнышко да на настоящее молоко. Вот у нас Шурик такой же рос.

— Он нисколько не похож на Шурика,— как всегда перечит Наталья и спрашивает его суровым, но дружеским тоном: — Тебе еще налить? Как тебя зовут?

Мальчик опускает глаза и молчит.

Вдруг он как-то обвисает и наклоняется лицом к блюдецку. Вукеша успевает схватить его за подбородок и откинуть назад, в подушки. Мальчик без сознания, хрипит, прислонясь к подушке, личико у него заострилось, и под ногтями посинело. Он почти не дышит.

— Кончается. Упокой, господи, душу раба твоего!— крестится Вукеша, поддерживая его голову левой рукой.

Надя плачет. Дядя Ваня, разжимая ложечкой стиснутые зубы ребенка, вливает ему в рот несколько капель разведенного портвейна. Ребенок перестает хрипеть, кашляет и открывает глаза. Лицо у него синеватое, от слабости сесть он не может и, кажется, вот-вот умрет.

— Ну если ваш профессор по оживлению не шарлатан, Наташа, позвони ему,— раздраженно говорит отец.— Ведь говорили же по радио об оживлении...

— Как ты можешь, папа! Ведь это же пока только теоретически...

— Плевать нам на теоретические вопросы. Тут важно решать практически!

Решают, что позвонит все-таки отец: может быть, голос будет звучать солиднее.

Вдруг через час от профессора по оживлению организма приходят люди, два человека, такие же серые, как отец. В это время ребенок перестает даже хрипеть, и тельце его вытягивается.

— Где же вы были, братцы!— укоризненно говорит дядя Ваня.

— Ничего, отец, мы еще попробуем,— отвечает высокий, плохо выбритый мужчина, подпоясанный для тепла солдатским ремнем.

Он берет тощую ручку ребенка, отодвинув рукав свитера, быстро протирает кожу спиртом и, открыв чемоданчик с приборами, накачивает из него насосом в стеклянную бутылку какую-то красную жидкость. Другой мужчина, в белом халате поверх пальто, уверенно прокалывает ручку мальчика иглой и вливает ему жидкость. Потом, приподняв свитер, он массирует ребенку грудь.

Все напряженно вглядываются в безжизненные черты. Человек в белом халате скоро устает массировать, и по лбу у него стекает пот.

— Дайте теперь попробую я,— неуверенно предлагает Надежда, но человек просит только подать ему стул и продолжает массировать сидя, устало закрыв глаза.

Время тянется, вливание окончено, и высокий человек, подпоясанный ремнем, осторожно вынул иглу из руки ребенка, глядя через отверстие на свет, продувает ее, бросает в бутылочку и укладывает вместе с насосом в чемодан. Все молчат.

Мальчик шевелится, снова начинает хрипеть, потом вдруг открывает большие серые глаза и говорит:

— Бабушка!

— Я здесь! Я здесь!— растерянным тоном отвечает Вукеша.

— Пить,— просит мальчик, и ему дают чаю с портвейном.

Бригада по оживлению устало садится на диван, и оба человека дремлют несколько минут. Потом один из них садится пить кипяток, а второй, в халате, просит чернила — заполнить анкету.

— Кто мать?— спрашивает он.

— Мать у него давно умерла,— отвечает Лидия Ивановна.

— Ну кто отец?

— Отец тоже не здесь, вероятно на фронте,— отвечает Лидия Ивановна.

Вукеша гладит ребенка по голове. Мальчик сквозь сон тянет к

ней ручки, довольно жмурится и вдруг сразу засыпает. Дыхание у него спокойно и мерно.

— Ну тогда как его имя?— снова спрашивает человек в халате. Все переглаживают.

— Как тебя зовут-то?— осторожно тормошит за плечо мальчика Вукеша, но тот только сладко посапывает.

— Не будите его,— говорит человек, подпоясанный ремнем.— Назовите сами как-нибудь. Ведь это все равно только для статистики.

— Как нашего Шурика, запишите — Александр,— решительно говорит Вукеша и, открыто глядя на Ивана Александровича, утирает глаза уголком передника.— Пусть нашего Шурика на фронте тоже кто-нибудь пожалует.

В холодной столовой звенит телефон.

— Это, вероятно, нам,— устало проведя рукой по глазам, говорит задремавший член бригады.— Подойди, Алеша.

Человек в халате уходит к телефону, потом спешно возвращается:

— Такой же случай. Идемте, тут совсем рядом, Яков Иваныч!

— Идем, Алеша,— соглашается Яков Иваныч и, не обращая больше внимания на окружающих, засыпая на ходу, монотонно говорит, будто заученное, что если мальчику будет хуже, они снова повторят вливание, что они совсем не бригада по оживлению, они — бригада скорой помощи и таких теперь много. Что мальчика надо бы взять в больницу, но в их районе больницы пока нет, ее позавчера разбомбили. Мальчика не спускать с постели недели две, да он и сам не пойдет.

Через несколько дней Вукеша перебирает на подносе закорючки корешков, собранных на проталинках, моет и складывает их в салатник. На верхушках некоторых растений видны чуть намечающиеся, блестящие, но еще белесые листики, на хрустальном блюде горкой лежит мелко нарезанное, душистое сено из тимофеевки. Мальчик рисует, поглядывая на Вукешу, и шепчет, стесняясь громко ее назвать:

— Бабушка, а бабушка! Смотри, смотри, вот едет большой грузовик с колесами, и поезд большой с колесами, и папа привезет нам хлеб. Приедет и скажет...

Воодушевляясь, он говорит все громче. Вукеша согласно кивает.

Звонок — и Вукеша торопливо отмыкает замки.

— Заказное,— односложно говорит почтальонша.— Распишитесь. Васильевой.

— У нас нет Васильевой,— отвечает Вукеша.— Это, наверное, не нам, а в квартиру сорок четвертую. У нас сорок первая.

Почтальонша читает адрес и, заметив свою ошибку, молча пихает письмо обратно в сумку. Вдруг Вукеша соображает, что в квартире сорок четвертой жил мальчик, сейчас там никого нет. Может быть, письмо имеет какое-нибудь отношение к нему. Она объясняет это почтальонше и получает конверт.

Вукеша ставит конверт на видное место, потому что все получаемые письма принято вскрывать и читать всем вместе. Потом она думает и прячет письмо под скатерть: «А то войдут, подумают, что письмо от Шурика, и напрасно расстроятся». Лучше за обедом она сначала расскажет об этом письме, а потом подаст его, и все вместе прочитают. «Наверное, оно от папы нашего мальчика, и все-таки письмо пришло из-за кольца блокады, с Большой земли!»



УИЛЬЯМ ФОЛКНЕР

★

РАССКАЗЫ

С английского

Дранка для Господа

Папа поднялся за час до рассвета, изловил мула и поехал к Килигрю одалживать тесло и колотушку. Мог обернуться минут за сорок. Но солнце встало, я успел подоить, накормить корову, сам уже сел завтракать, и только тогда он вернулся — и мул под ним был не то что в мыле, а чуть ли не падал.

— Лис травит, — сказал он. — Лис травит. На восьмом десятке, одной ногой в могиле по колено, другой по щиколотку, и всю ночь торчит на горе, говорит, что слушает гон, а сам его не услышит, покуда они не влезут к нему на пень и не гавнут прямо в его слуховую трубку. Тащи завтрак, — сказал маме. — Уитфилд уж циркулем стоит над этим бревном с часами в руке.

И он стоял. Когда мы проехали мимо церкви, там был не только школьный автобус Солона Квика, но и старая кобыла преподобного Уитфилда. Мы привязали мула к дереву, повесили котелок с обедом на сук, папа взял тесло с колотушкой Килигрю и клинья, я — топор, и пошли к бревну, где Солон и Гомер Букрайт со своими теслами, колотушками, топорами и клиньями сидели на двух чурбаках, поставленных на папа, а Уитфилд стоял в точности как говорил папа — в крахмальной рубашке, в черных брюках, шляпе и галстуке — и держал в руке часы. Они были золотые и на утреннем солнце казались не меньше тынвы.

— Опоздали, — он сказал.

И папа снова стал объяснять, что старик Килигрю всю ночь травил лис, а в доме не у кого было попросить колотушку, кроме миссис Килигрю и кухарки. Кухарке, понятно, зачем раздавать хозяйский инструмент, а старуха Килигрю еще хуже оглохла, чем старик. Прибеги, скажи: «У вас дом горит», а она так и будет качаться в качалке и крикнет: «По-моему, да!» — если только не заорет кухарке, чтоб спустила собак, едва ты рот раскроешь.

— Вчера могли сходить за колотушкой, — сказал Уитфилд. — Вы еще месяц назад обещали этот единственный день из целого лета на то, чтобы перекрыть храм господень.

— На два часа всего опоздали, — сказал папа. — Думаю, Господь нам простит. Он ведь временем не интересуется. Он спасением интересуется.

Уитфилд не дал ему договорить. Он будто вырос даже и как загрохочет — ну прямо туча грозовая:

— Он обоими не интересуется! Зачем Ему интересоваться, когда и то и другое — в Его руках? И зачем Ему беспокоиться о каких-то несчастных бестолковых душах, которые даже инструмент не могут вовремя одолжить, чтобы сменить дранку на Его храме, — тоже не понимаю. Может быть, потому, что Он их создал. Может, Он просто сказал себе: «Я создал их; сам не знаю зачем. Но коли создал — засучу-ка, ей-богу, рукава и втащу их в рай, хотя они или нет!»

Но это уже получалось ни к селу ни к городу, думаю, он сам понял — и еще понял, что покуда он здесь, вообще ничего не будет. Поэтому он спрятал часы в карман, поманил Солон с Гомером, мы все сняли шляпы, кроме него, а он поднял лицо к солнцу, зажмурил глаза, и брови его стали похожи на большую серую гусеницу на краю скалы.

— Господи,— сказал он,— сделай, чтоб дранка была прямой и хорошей и ложилась ровно, и пусть колется полегче, потому что она для Тебя.— И, открыв глаза, опять посмотрел на час, особенно на папу, а потом пошел, отвязал кобылу, влез на нее медленно, тяжело, по-стариковски и уехал.

Папа опустил на землю тесло с колотушкой, разложил на земле рядом три клина и взял топор.

— Ну, друзья,— сказал он,— начнем, пожалуй. Мы и так опоздали.

— Мы с Гомером нет,— сказал Солон.— Мы были здесь.— На этот раз они с Гомером не сели на чурбаки. Они сели на корточки. Тут я заметил, что Гомер строгаёт палочку. Раньше не замечал.— Считай, два часа с хвостиком,— сказал Солон.— Так примерно.

Папа еще стоял нагнувшись, с топором в руке.

— Скорее все-таки час,— поправил он.— Но скажем два, чтоб не спорить. Дальше что?

— О чем не спорить? — сказал Гомер.

— Ну ладно,— сказал папа.— Два часа. Дальше что?

— Что составляет три человеко-часа в час помножить на два часа,— сказал Солон.— Итого шесть человеко-часов.— Когда АОР¹ появилась в округе Йокнапатофа и стала предлагать работу, харч и матрасы, Солон съездил в Джефферсон и нанялся. Каждое утро на своем школьном автобусе он ехал за двадцать две мили в город, а ночью возвращался обратно. Он занимался этим почти неделю, прежде чем выяснил, что не только ферму свою должен переписать на другое имя, но и этим школьным автобусом, который он сам сделал из грузовика, не может владеть и пользоваться. В ту ночь он вернулся и больше уже не ездил, и АОР при нем лучше было не вспоминать — если, конечно, вы не любитель подраться; однако при случае он не прочь был взять и разложить что-нибудь на человеко-часы, как сейчас.— Недостача — шесть человеко-часов.

— Четыре из них вы с Гомером могли бы уже отработать, пока сидели, меня дожидаясь,— сказал папа.

— С какой стати? — сказал Солон.— Мы обещали Уитфилду два человеко-дня из трех, по двенадцать человеко-часов каждый, на заготовку дранки для церковной кровли. Мы тут с восхода дожидались третью рабочую единицу, чтобы начать. Ты, видать, отстал от современных взглядов на работу, которые в последние годы затопляют и оздоравливают страну.

— Каких современных взглядов? — сказал папа.— Я думал, бывает только один взгляд: пока работа не сделана, она не сделана, а когда она сделана — она сделана.

Гомер снял с палочки длинную ровную стружку. Нож у него был как бритва.

Солон вытащил табакерку, вытряхнул в крышку табаку, ссыпал с крышки на губу и протянул табакерку Гомеру; но Гомер помотал головой, и Солон, закрыв табакерку, положил ее в карман.

— Так,— сказал папа,— значит, за то, что мне два часа пришлось ждать, пока вернется с охоты семидесятилетний старик, которому столько же делов в лесу, сколько в ресторане с музыкой, мы вдвоем должны идти сюда завтра и отрабатывать эти лишние два часа, что вы с Гомером...

— Я не должен,— перебил Солон.— За Гомера не скажу. Я лично обещал

¹ АОР — Администрация общественных работ, федеральное агентство, занимавшееся организацией промышленно-строительных работ (оплачиваемых государством) в целях уменьшения безработицы. Учреждение АОР в 1935 году было одним из важнейших мероприятий «нового курса» Ф. Д. Рузвельта.

Уитфилду один день. Я пришел к началу, когда солнце встало. Когда солнце сядет, я буду считать, что кончил.

— Ясно, — сказал папа. — Ясно. Это я, значит, должен прийти. Один. Должен поломать себе утро, чтобы отработать те два часа, что вы с Гомером отдыхали. Два часа отработать завтра за те два часа, которые вы не работали сегодня.

— Утром тут не отделаешься, — сказал Солон. — Тут, считай, весь день насмарку. Недостача — шесть человеко-часов. Положим, ты сможешь работать вдвое быстрее нас с Гомером, вместе взятых, и тогда уложишься в четыре часа; но чтобы ты работал втрое быстрее и уложился в два часа — это я сомневаюсь.

Папа уже стоял прямо. И тяжело дышал. Нам всем было слышно.

— Так, — сказал он. — Так. — Он занес топор, вогнал его в чурбак, перевернул и снова замахнулся, чтобы ударить обухом. — Так, значит, я оштрафован на пол рабочего дня — я должен забросить все дела, которые накопились дома, и проработать тут втрое дольше, чем вы не работали, — и все потому, что я простой работающий фермер, который бьется из последних, а не миллионер-колотушниковладелец, шут бы их взял, по фамилии Квик или Букрайт.

И они принялись за работу — колоть чурбаки и щепать из выколков дранку для Талла, Сноупса и других, которые обещали, что завтра снимут с церкви старую дранку и начнут набивать новую. Они сидели кружком на земле, поставив выколки между ног, и у Солона с Гомером работа шла ровно, легко, без натуги, как часы тикают, а папа садил так, словно каждым ударом убивал мокасиновую змею. Если бы быстроты в его ударах было хоть наполовину столько, сколько силы, он нацепал бы дранки не меньше Солона с Гомером, вместе взятых: он заносил колотушку над головой и, продержав там порой чуть ли не минуту, обрушивал на обух тесла так, что не только дранка улетала прочь, но и тесло входило в землю по проух, а он сидел и выдергивал его, медленно, упрямо, с силой, словно только и дожидался, чтобы оно попробовало зацепиться за камень или корень.

— Эй-эй, — сказал Солон. — Пожалей себя, а то эти лишние шесть человеко-часов у тебя завтра уйдут на отдых.

Папа даже головы не поднял.

— Не лезь под руку, — сказал он.

И хорошо, что Солон послушался. Не убери он этого ведерка с водой, папа так бы и разнес его вместе с выколком, а дранка просвистела мимо ноги Солонна, как коса.

— Знаешь, что тебе нужно? — сказал Солон. — Нанять кого-нибудь вместо себя на эти шесть человеко-часов сверхурочных.

— На какие шиши? — сказала папа. — Я ведь в АОРе не обучался отлынивать от работы. Не лезь под руку.

Но на этот раз Солон отошел заранее. А то папе либо самому пришлось бы пересесть, либо заставить дранку лететь по кривой. Так что она тоже миновала Солонна, и папа принялся выдергивать тесло из земли — медленно, упрямо, с силой.

— А обязательно за деньги нанимать, — сказал Солон. — Можешь в обмен на собаку.

Вот когда папа действительно остановился. Я сам это заметил не сразу, а Солон еще позже меня. Папа сидел, занеся колотушку над головой и наставив тесло на выколок, и глядел на Солонна.

— Собаку? — переспросил он.

Это был пес смешанных кровей — кое-что от шотландской овчарки, кое-что от легавой и понемногу, наверное, от всех остальных пород, но по лесу он ходил тише гени и, напав на белчий след, гавкал раз — если знал, что ты его не видишь, — а иначе крался по следу, все равно как человек на цыпочках, и голос подавал только тогда, когда след поднимался на дерево, а ты отстал и потерял его из виду. Хозяевами его были папа и Вернон Талл, на пару. Уил Уорнер отдал его Таллу щенком, а папа его вырастил за половинную долю; мы с папой натаскивали его, спал он со мной в постели, пока не вырос такой, что мать вы-

селила его на двор, и вот уже полгода Солон пытался его купить. У Талла он сторговал его половину за два доллара, а с папой за нашу половину они разошлись в цене на шесть: папа сказал, что пес стоит никак не меньше десяти, и если Талл не хочет выручить свою законную половину, папа сам выручит ее для него.

— Вот что, значит, — сказал папа. — Они, оказывается, вовсе не человеко-часы. Они — собако-часы.

— Это просто для примера, — сказал Солон. — Просто по-дружески хочу тебя выручить, чтобы завтра утром эта приبلудная дранка не отвлекла тебя на шесть часов от личных дел. Ты мне продашь свою половину вашего уродистого блоходава, а я за тебя развяжусь с дранкой.

— Включая, само собой, шесть известных тебе единиц под названием доллар.

— Нет, нет, — сказал Солон. — Я дам тебе за твою половину собаки те же два доллара, которые плачу Таллу за его половину. Завтра утром ты придешь сюда с собакой и сразу можешь отправляться домой или где там у тебя скопятся срочные личные дела, а про церковную кровлю — забыть.

Секунд десять после этого папа сидел, держа колотушку над головой, и глядел на Солона. Потом еще секунды три он не глядел ни на Солона, ни на что другое. Потом стал опять глядеть на Солона. Прямо как будто через две и девять десятых секунды он спохватился, что перестал смотреть на Солона, и сейчас же, как можно быстрее, посмотрел. «Ха», — сказал он. Потом начал смеяться. Смеяться-то он, конечно, смеялся — и рот был открыт, и звук получался похотливый. Но смеялся только для них, а в глазах смеха не было. И «берегись» он на этот раз не сказал. Он быстро передвинулся на зад, хватил по телу колотушкой, и тело рассекло выколок, ушло в землю, а дранка еще долго вертелась в воздухе, пока не хлопнула Солона по ноге.

Они снова принялись за работу. До сих пор я не глядя мог отличить папины удары от ударов Солона и Гомера — и не потому, что он был сильнее или ровнее — Солон с Гомером тоже работали ровно, а телом, врезаясь в землю, никакого особого шума не делает, — а потому, что он бил редко: Солон с Гомером тпали легонько, аккуратно и успевали по пять-шесть раз, прежде чем раздавалось папино «жах» и дранка, крутясь, улетала куда-то. Но теперь папа постукивал так же легко, аккуратно и быстро, как они, может, даже чуть быстрее, и я еле поспевал складывать дранку; к полудню наготовили столько, что Таллу и другим на завтра хватило бы с лихвой, и когда звякнул колокол на ферме Армстида, Солон положил телу и колотушку и сверился со своими часами. И хотя я был совсем рядом, к тому времени, когда я нагнал папу, он уже отвязал мула и сидел верхом. И если Солон с Гомером думали, что оставили папу в дураках, как я подумал грешным делом, им стоило бы посмотреть сейчас на его лицо. Он снял с сука котелок с обедом и протянул мне.

— Иди ешь, — сказал он. — Меня не жди. Ишь ты, человеко-часы. Если спросит, куда я, — скажи, забыл что-то дома, поехал взять. За ложками, скажи, поехал — есть нечем. Нет, не говори. Если скажешь — поехал за чем-то нужным, хоть за инструментом для еды, все равно не поверит, что поехал домой, — хозяйство у него, мол, такое, что ему самому там нечего одолжить. — Папа повернул мула кругом и ударил пяткой в бок. И тут же опять остановил. — А когда вернусь, что бы я им ни говорил — не обращай внимания. Что бы ни делалось — молчи. Вообще рта не раскрывай, слышишь?

Он уехал, а я пошел обратно к Солону и Гомеру, которые обедали, сидя на подножке школьного автобуса, и Солон действительно сказал в точности так, как говорил папа.

— Прекрасно, конечно, когда человек не унывает, только зря он прокатится. Если ему нужен инструмент, которого собственная рука или нога не может заменить, то домой ему за этим бесполезно ехать.

Едва мы взялись за работу, приехал папа — слез, снова привязал мула к дереву, подошел, взял топор и всадил в чурбак.

— Ну, друзья,— сказал он.— Я подумал хорошенько. Я все-таки думаю, это несправедливо, но ничего другого не придумал. Кто-то должен отработать два часа, потерянные утром, и поскольку вас, приятели, двое против меня одного, выходит, что отрабатывать придется мне. Но дома у меня завтра прорва дел. Кукуруза моя сейчас уже криком кричит. А может, не в этом дело. Может, все дело в том, что вам по секрету я могу признаться, что меня обвели, но будь я неладен, если я появлюсь тут завтра и признаюсь в этом при всем честном народе. Словом, не желаю. Так что меняемся. Солон. Твоя собака.

Солон поглядел на папу.

— А я теперь не знаю, стоит ли меняться.

— Ясно,— сказал папа.

Топор засел в чурбаке. Папа начал выдергивать.

— Да погоди,— сказал Солон.— Оставь ты, к черту, свой топор.— Но папа уже занес топор и ждал, глядя на Солона.— Ты отдаешь мне полсобаки за полдня работы,— сказал Солон.— Свою половину собаки за половину дня, которую ты должен отработать на дранке.

— И за два доллара,— сказал папа.— Как Таллу. Я тебе продаю полсобаки за два доллара, а ты приходишь завтра щепать дранку. Два доллара даешь сейчас, а утром я прихожу сюда с собакой и ты мне показываешь расписку Талла касательно его половины.

— Мы с Таллом уже сговорились.

— Тем лучше,— сказал папа.— Значит, отдашь ему два доллара и получишь расписку без всякой канители.

— Талл придет завтра к церкви сдирать старую кровлю,— сказал Солон.

— Тем лучше,— сказал папа.— Тогда вообще никакой канители с распиской. По дороге сюда остановишься у церкви. Талл ведь не Грир. Ему не надо ходить гвоздодер одалживать.

Солон вытащил кошелек, отсчитал папе два доллара, и они принялись за работу. И теперь было похоже, что они действительно хотят разделаться сегодня — не только Солон, но и Гомер, которому это было вроде бы ни к чему, и, главное, папа, хотя он вообще отдал свою половину собаки, чтобы избавиться от работы, которую Солон посулил ему назавтра. Я уже не пытался угнаться за ними; я просто складывал дранку.

Наконец Солон положил тесло и колотушку.

— Ну, друзья,— сказал он,— не знаю, как вы, а я полагаю — шабаш.

— Тем лучше,— сказал папа.— Тебе ведь решать, потому что сколько этих мозоле-часов, по-твоему, не хватает, столько и придется завтра на твою долю.

— Что да, то да,— сказал Солон.— А раз я жертвую церкви полтора дня вместо одного, как хотел сначала, думаю, мне не мешало бы пойти домой, заняться немного своими делами.— Он подобрал колотушку, тесло и топор, отошел и грузовику и стал дожидаясь Гомера.

— Буду здесь утром с собакой,— сказал папа.

— А-а... конечно,— сказал Солон так, словно он совсем забыл про собаку или потерял к ней всякий интерес. Но продолжал стоять и, наверное, секунду спокойно и внимательно глядел на папу.— И с купчей на Таллову половину. Как ты сказал? — с ней никакой канители не будет.— Они с Гомером влезли в машину, и Солон завел мотор. Трудно сказать, на что это было похоже. Как будто он нарочно горючился, чтобы папе не пришлось придумывать предлог или отговорку для того, чтобы сделать что-то или не сделать.— Молния потому, между прочим, называется молнией, что ей не надо два раза бить в одно место — это я всегда понимал. И если, скажем, в человека ударила молния, то такая оплошность может случиться с каждым. А моя оплошность, думается, в том, что тучку-то я видел, да не распознал ее вовремя. До свидания.

— С собакой,— сказал папа.

— Конечно,— сказал Солон, и опять так, будто совсем о ней забыл.— С собакой.

И они с Гомером уехали. Тогда папа встал.

— Что же это? — сказал я. — Что же это? Променял свою половину собаки на полдня завтрашней работы. Что же теперь будет?

— Правильно, — сказал папа. — Только до этого я выменял у Талла его половину собаки на полдня его работы — сдирать старую кровлю. Но до завтра мы ждать не будем. Мы сдерем ее нынче ночью, и постараемся без лишнего шума. Я хочу, чтобы завтра на мне ничего не висело, хочу спокойно посмотреть, как господин Солоно-час Квик попробует получить расписку на два доллара или там на десять и другую половину собаки. И мы сделаем это сегодня. Мне этого мало — если он завтра утром узнает, что опоздал. Пусть он узнает, что опоздал уже тогда, когда спать ложился.

Мы вернулись домой, я накормил и подоил корову, а папа пошел к Килигрю отдавать тесло с колотушкой и одалживать ломик. И уж не знаю, какая нелегкая его туда занесла и зачем он ему понадобился, но старика Килигрю угораздило уронить ломик с лодки в сорокафутовый омут. И папа сказал, что чуть было не пошел за ломиком к Солону просто в интересах высшей справедливости — только Солон почуял бы подвох при одном упоминании о ломике. Поэтому папа сходил к Армстиду, одолжил у него ломик, вернулся, мы поужинали и заправили фонарь, а мама все допытывалась, что это у нас за дела такие, которые не могут потерпеть до завтра.

Она еще говорила, когда мы ушли — и даже когда выходили за ворота; а мы вернулись к церкви, пешком на этот раз, с ломиком, веревкой, молотком и фонарем, еще не зажженным. Вечером, когда мы проходили мимо церкви по дороге домой, Сноупс с Уитфилдом сгружал со своей телеги лестницу, так что нам надо было только приставить ее к церкви. Потом папа влез с фонарем на крышу и стал снимать в одном месте дранку, чтобы повесить фонарь внутри, под обрешеткой, откуда он мог светить сквозь щели в досках, оставаясь невидимым для всех, кроме случайного прохожего на дороге, — хотя слышала нас в это время, наверное, вся округа. Потом влез я с веревкой, папа обвел ее под обрешеткой вокруг стропила, концами обвязал меня и себя вокруг пояса, и мы взялись. Мы поднажали. Дранка у нас посыпалась дождем — я работал молотком-гвоздодером, а папа ломиком, поддевая им сразу большой кусок обшивки и выворачивая так, что, казалось, дерни он еще разок или застрянь ломик покрепче — вся крыша встанет торчком, как крышка ларя на петлях.

Так оно в конце концов и вышло. Он поддел, а ломик засел крепко. Не под дранку на этот раз, а сразу под несколько решетин — и, откинувшись всем телом, папа выворотил целый кусок крыши вокруг фонаря — как сдираешь обертку с молодого кукурузного початка. Фонарь висел на гвозде. Но гвоздя папа даже не задел: он просто стащил с него доску, так что мне показалось, будто я целую минуту смотрел, как ломик и голый гвоздь, еще продетый в ушко фонаря, висят в пустоте среди роя вспорхнувших дранок, и только потом все это посыпалось в церковь. Фонарь ударился об пол и подскочил. Потом еще раз ударился об пол, и тут всю церковь затопило желтым прыгучим огнем, а мы с папой болтались над ним на двух веревках.

Не знаю, что стало с веревкой и как мы от нее отцепились. Не помню, как стал слезать. Помню только, папа кричит за спиной и толкает меня, наверно до половины лестницы, а оттуда, сгребя за комбинезон, сбрасывает — и вот мы уже на земле и бежим к бочке с водой. Она стояла под водосточным желобом, сбоку, и там уже был Армстид: с час назад он зачем-то вышел на участок, увидел фонарь на крыше церкви, и это засело у него в голове, так что в конце концов он пошел посмотреть, в чем дело, и подоспел как раз вовремя, чтобы стоять и перекрикиваться с папой поверх бочки. И все же думаю, мы могли бы еще потушить. Папа повернулся, присел, взвалил на плечо эту бочку, почти полную воды, встал с ней, бросился бегом за угол, на церковные ступеньки, споткнулся о верхнюю ступеньку, полетел вниз, бочка грохнулась на него, и он затих, как оглушенная рыба.

Так что сперва пришлось оттащить его — а тут уж и мать появилась и сразу за ней жена Армстида, мы с Армстидом побежали с двумя пожарными ведрами

к роднику, а когда вернулись, там уже было полно народу — и Уитфилд тоже — с ведрами, и мы сделали все что могли, но родник был в двухстах ярдах и десять ведер вычерпали его до дна, а снова он наполнился только через пять минут, так что в конце концов мы все собрались вокруг того места, где опять очнулся папа с большой ссадиной на голове, и просто смотрели, как она догорает. Церковь была старая, сухая и вся завалена цветными таблицами, скопившимися у Уитфилда за пятьдесят с лишним лет, — среди них как раз и взорвался наш фонарь. Там на особом гвозде висела старая хламида, в которой он крестил детей. Я всегда ее разглядывал во время службы и воскресной школы, и случалось, мы с ребятами нарочно проходили мимо церкви, чтобы поглядеть на нее в щелку: для десятилетнего мальчика она была не просто облачением и даже не броней, а самым могучим, старым архангелом Михаилом: она так долго тягалась, билась, воевала с грехом, что теперь, наверно, не меньше самого архангела презирала людскую тварь, всегда возвращающуюся к преху, как псы и свиньи².

Она долго не загоралась — даже когда все вокруг полыхало. Мы следили за ней: она висела одна среди пламени, но не так, как будто слишком часто имела дело с водой, чтобы легко сгореть, а так, будто после этой долгой тяжбы и войны с сатаной и всеми силами ада ей нишчем был какой-то пожар, учиненный Ресом Гриром, пытавшимся обмануть Солона Квика на полсобаки. Все же и она сгорела, но опять-таки не спеша, а просто разом — точно грянула ввысь, к звездам и дальним темным просторам. И остался только папа на земле, мокрый, остолбенелый, и мы вокруг него, и Уитфилд, как всегда в крахмальной рубашке, в черных брюках и шляпе; он так и стоял в шляпе, словно слишком долго бился за спасение тех, кого прежде всего и создавать не стоило, — от вечной кары, которой они даже избежать не хотели, — чтобы затруднить себя сниманием шляпы в чьем бы то ни было присутствии. Он стоял и оглядывал нас из-под шляпы; теперь мы все были здесь — все, кто принадлежал к этой церкви и пользовался ею, когда рождался, женился, умирал: и мы, и Армстиды, и Таллы, и Букрайт, и Квик, и Сноупс.

— Я ошибся, — сказал Уитфилд. — Я сказал вам, что завтра мы соберемся здесь, чтобы перекрыть церковь. Завтра мы соберемся здесь, чтобы ее строить.

— Конечно, нам нужна церковь, — сказал папа. — У нас должна быть церковь. И должна быть поскорее. Но кое-кто из нас уже отдал ей день на этой неделе — в ущерб своим личным делам. Это правильно и справедливо, и мы отдадим больше, притом с радостью. Но я не поверю, чтобы Господь...

Уитфилд не перебил его. Не пошевелился даже. Он просто стоял, — и когда папа выдохся сам и смолк, сидя на земле и стараясь не смотреть на маму, — только тогда Уитфилд раскрыл рот.

— Без тебя, — сказал он. — Поджигатель.

— Поджигатель? — сказал папа.

— Да, — сказал Уитфилд. — Если есть такое дело, которым ты можешь заняться, не причинив пожара и наводнения, не сея гибели и разрушения вокруг себя, — займись им. Но к этому храму пальцем не смей прикоснуться, покуда не докажешь нам снова, что наделен человеческим разумом и способностями. — Он опять оглядел нас. — Талл, Сноупс и Армстид уже обещали завтрашний день. Насколько я понял, Квик тоже собирался еще полдня...

— Я могу и целый день, — сказал Солон.

— Я могу до конца недели, — сказал Гомер.

— У меня тоже не горит, — сказал Сноупс.

— Что ж, для начала этого хватит, — сказал Уитфилд. — Уже поздно. Пойдемте по домам.

Он ушел первым. И ни разу не оглянулся — ни на церковь, ни на нас. Он

² «Лучше бы им не познать пути правды нежели познавши возвратиться назад от преданной им святой заповеди. Но с ними случается по верной пословице: пес возвращается на свою блевотину, и вымытая свинья идет валяться в грязи» (Второе послание Петра, 2, 21—22).

подошел к своей старой кобыле, влез на нее, медлительный, негнувшийся, могучий, и уехал; мы тоже разошлись кто куда. А я оглянулся. От нее осталась одна скорлупа с красной, глеющей сердцевинкой, и я, временами ее ненавидевший, временами страшившийся, должен был бы радоваться. Но было в ней что-то, чего не тронул даже пожар. Может, только это в ней и было — стойкость, нерушимость, то, что старик затевал отстроить ее, когда стены еще излучали жар, а потом спокойно повернулся спиной и ушел, зная, что люди, которым нечего отдать ей, кроме своего труда, придут сюда завтра чуть свет, и послезавтра, и послепослезавтра — столько раз, сколько нужно, — отдадут свой труд и отспроют ее заново. Так что она и не сгорела вовсе — ей ничем какой-то пожар или наводнение, как ничем он старой ризе Уитфилда. Мы вернулись домой. Мать уходила впопыхах. Поэтому лампа еще горела, и мы могли наконец разглядеть папу, который до сих пор оставлял лужицу там, где стоял; бочка рассекла ему затылок, и до пояса он был залит водой, закрашенной кровью.

— Сними с себя мокрое, — сказала мама.

— А может, я не желаю снимать, — сказал папа. — Мне при свидетелях объявили, что я недостойн сотрудничать с белыми людьми, и я при свидетелях объявляю этим же самым белым людям и методистам, чтобы они не пытались сотрудничать со мной, или пусть на себя пеняют.

Но мама его даже не слушала. Когда она вернулась с тазом воды, полотенцем и мазью, папа был уже в ночной рубашке.

— И этого мне не нужно, — сказал он. — Если моя голова не стоила того, чтобы расколоться, она не стоит того, чтобы ее латали.

Но мама и это пропустила мимо ушей. Она промыла ему голову, вытерла, перевязала и опять ушла, а папа улегся в постель.

— Поддай мне табакерку, уйди и не толжись тут больше, — сказал он.

Но раньше чем я успел выполнить приказание, вернулась мама. Со стаканом горячего пунша подошла к кровати и стала над папой; тогда он повернул голову и посмотрел на стакан.

— А это еще что? — спросил он.

Но мама молчала, и тогда он сел на кровати, протяжно и прерывисто вздохнул — нам об этом было слышно, — а еще через минуту протянул за стаканом руку, посидел, вздыхая, со стаканом, потом сделал глоток.

— Если он и остальные прочие думают, что не позволят мне строить свою собственную церковь как человеку — пусть только попробуют, ей-богу. — Он опять глотнул из стакана. Потом приложился как следует. — Поджигатель, — сказал он. — Человеко-часы. Собако-часы. А теперь еще поджигатель. Ей-богу. Ну и денек!

Перевел В. ГОЛЫШЕВ.

Лисья травля

За час до рассвета возле конюшни появились три конюха-негра с фонарем. Один из них отпер замок и открыл ворота, тот, что принес фонарь, поднял его и направил свет в темноту, туда, где сосны теснились к самой оgrade. В темноте неярко вспыхнули три пары больших, широко расставленных глаз и тут же погасли.

— Эй! — крикнул негр. — Не озябли вы там?

Никто ему не ответил, темнота не отозвалась ни единым звуком; не выступили больше из нее глаза мулов. Негры, переговариваясь, вошли в сарай, из конюшни донесся их зычный, добродушно-бессмысленный смех.

— Сколько ты их там насчитал? — спросил второй негр.

— Мулов — три, — ответил тот, что принес фонарь. — Только их-то там больше. Дядя Мозес вернулся посреди ночи — все с Юпитером возился, — так, говорит, уже тогда было двое. Э-хе-хе, голь перекатная.

В денниках заржали, забили копытами лошади; из-за белых крашенных перегородок потянулись длинные узкие морды, по стенам и потолку нехорошо

заплясали тени; воздух был густой, теплый, с острым запахом аммиака и чистоты. Переходя от одного денника к другому, негры ловко, с обезьяньим проворством раскладывали по кормушкам фураж, зычно покрикивая и приговаривая бессмысленно и добродушно: «Стой, не балуй! Куда лезешь!.. Небось затравят они сегодня лису».

В темноте среди теснившихся к ограде сосен сидели на корточках одиннадцать мужчин, а вокруг них стояли на привязи одиннадцать мулов. Был ноябрь, утро было холодное, и люди сидели понуро, не шевелясь и не разговаривая. Было слышно, как в конюшне жуют лошади; уже развиднялось, и тут подъехал еще один всадник на муле, двенадцатый, спешил и молча присел рядом с остальными. Когда стало совсем светло и из конюшни вывели первую оседланную лошадь, на траве лежал иней и крыша конюшни в серебряном свете казалась серебряной.

Теперь можно было разглядеть, что сидящие на корточках люди — белые и все в комбинезонах, а мулы их, все, кроме двух, — без седел. Они собрались сюда с разных концов этого лесного края, пришли из своих крошечных, об одной комнатенке, хибар с глиняным полом и теперь сидели — степенные, терпеливые, важные, в окружении тощих, облепленных грязью и болячками мулов, наблюдая, как из кирпичной, с паровым отоплением конюшни выводят одну за другой оседланных лошадей, великолепных породистых лошадей, чьи родословные длиннее родословной Гаррисона Блера, которому они принадлежат, как их ведут по усыпанной гравием дорожке к дому, перед которым уже лает и беснуется свора собак, а на веранде собрались несколько мужчин и женщин в сапогах и красных фраках.

Убого одетые, терпеливые, внешне как будто безучастные, люди в комбинезонах глядели, как Гаррисон Блер, которому принадлежал и дом, и собаки, и, может быть, кое-кто из гостей, садится на огромного и, судя по всему, норвистого вороного жеребца, как какой-то мужчина помогает жене Гаррисона Блера сесть на рыжую кобылу и потом сам садится на каурого жеребца.

Один из мужчин в комбинезонах медленно жевал табак. Возле него стоял юноша, тоже одетый в комбинезон, нескладный, длинный, со светлой, едва пробивающейся бородкой. Они разговаривали, не поворачивая друг к другу головы, почти не шевеля губами.

— Это он и есть? — спросил юноша.

Пожилой, не повернувшись, прицелился и плюнул.

— Кто?

— Ну тот, с которым его жена...

— Чья жена?

— Блера.

Собеседник юноши рассматривал собравшихся перед домом охотников. Во всяком случае, так казалось. Взгляд его был непроницаем, невыразителен, неспешен; трудно было сказать, смотрит он на собравшихся охотников или нет.

— Поменьше слушай, что люди болтают, — сказал он. — Да и собственным глазам не больно доверяй.

— А ты-то что думаешь? — спросил юноша.

Его собеседник аккуратно прицелился и плюнул.

— Ничего не думаю, — сказал он. — Жена-то не моя. — И ничуть не громче, с тем же выражением, хотя теперь он обращался к старшему конюху, который подошел к ним, сказал: — У этого своих лошадей нет.

— У кого? — спросил конюх.

Белый кивнул в сторону всадника на кауром жеребце, который держался рядом с рыжей кобылой.

— А, у мистера Готри, — сказал конюх. — И слава богу, что нет. Жалко было б лошадей.

— Его коня мне тоже жалко, — сказал белый. — Всех жалко, кем он владеет.

— Это ты о мистере Гаррисоне? — спросил конюх. — Ну уж его-то лошади в твоей жалости не нуждаются.

— Может, и так, — сказал белый. — Чего их жалеть? Вороному, надо думать, такое обращение нравится.

— Лошадей Влера жалеть нечего, — повторил конюх.

— Может, и так, — сказал белый. Казалось, он рассматривает кровных лошадей, которые жили в конюшне с паровым отоплением, людей в сапогах и красных фраках, самого Влера на нетерпеливо переступающем вороном. — Он за этой лисицей уже три года охотится, — сказал он. — Послал бы кого-нибудь из вашего брата подстрелить ее, что ли, или отравить.

— Подстрелить или отравить? — переспросил конюх. — Нет, так не делают, ты что же, не знаешь?

— Почему это не делают?

— Не по правилам, — сказал конюх. — Столько лет тут живешь, а до сих пор не знаешь, как господа охотятся.

— Может, и так, — сказал белый. На конюха он не глядел. — Не понимаю, если он и вправду так богат, как говорят, как ему... — он снова плюнул — презрительно, но без желания оскорбить, просто указал на Влера плевком, будто ткнул пальцем, — как ему не жалко времени на старую, паршивую лисицу. Чего он так на нее злобится? Не хочет даже собаками затравить. Несется всегда впереди собак, норовит убить ее палкой, как змею. Приезжает сюда каждый год из такой дали, повезет столько народу, всех кормит, поит — и для чего? Чтобы загнать старую, паршивую лису. Да я бы ее в одну ночь поймал, дайте мне только хорошую собаку и топор.

— Так уж господа устроены, — сказал конюх. — Разве их поймешь?

— Может, и так, — ответил белый.

По длинному гребню песчаного холма густо росли сосны, но с одного конца они редели, а в просветах между деревьями виднелось большое, чуть не в милю шириной рисовое поле под паром, которое упиралось своим дальним краем в кудрявый от вереска отвал канавы. В одном из этих просветов двое в комбинезонах, пожилой и юноша, внимательно глядели на поле, сидя на своих мулах. Бежавшие понизу примерно в полумиле от них собаки потеряли след; слышался их залихватистый, тревожный и растерянный лай.

— За три-то года мог бы понять, что нашу каролинскую лису не возьмешь собаками, которых привез из города, да еще с этого ихнего Севера, — сказал юноша.

— Это он понимает, — сказал пожилой. — Он и не хочет брать ее собаками. Даже вперед себя ни одну не пускает.

— Сейчас они идут впереди.

— Ты так думаешь?

— А где же тогда он?

— Не знаю. Только сдается мне, им сейчас до него не ближе, чем до лисы. И куда он скачет, там лиса и сидит себе, посмеивается над глухими псами.

— Ты что, хочешь сказать, что на свете есть человек, который может найти лису по следу, когда даже собаки его не чувят?

— Собаки на лисицу не злобятся, вот они и не могут взять ее след. Хорошая охотничья собака не потому хороша, что у нее какой-то особый нюх, а потому что она злобится на лисицу, или енота, или опоссума, или на кого там с ней охотятся. Ее не нюх ведет, а злоба. Вот я и говорю: раз он куда-то скачет, значит, лисица там.

Юноша фыркнул.

— Взрослый человек, называется. Злобится на какую-то старую, паршивую лису. Хлопотное это дело — быть богатым, ей-богу.

Пожилой и юноша внимательно смотрели на поле. Снизу неся тревожный растерянный лай. Последний всадник в сапогах и красном фраке проскакал мимо них и исчез, а они остались на своих мулах в глубокой, пронизанной соли-

цем и терпким винным запахом тишине, в которую они вслушивались с одинаковым угрюмым и насмешливым выражением на худых желтых лицах. Вдруг юноша повернул голову в ту сторону, откуда выехала кавалькада, и стал молча всматриваться. Пожилой тоже повернулся и тоже замер: мимо проскакали еще двое — женщина на рыжей кобыле и мужчина на кауром жеребце. Казалось, это скачут не два всадника на лошадях, а один какой-то зверь, двойной, или, может быть, двуполоый кентавр с двумя головами и о восьми ногах. Женщина держала свою шляпу в руке; узел ее мягких шелковистых волос отсвечивал в косых лучах солнца тем же цветом, что и круп рыжей кобылы, он горел шелковистым огнем, слишком большой и тяжелый для такой тонкой шеи. В посадке женщины была грациозная скованность, она сидела, устремившись вперед, будто хотела обогнать свою бегущую лошадь, будто, мчась на ней, она летела отдельно от нее, сама по себе.

Каурый жеребец скакал бок о бок с рыжей кобылой. Рука мужчины лежала на руке женщины, в которой она держала поводья, а сам он мягко, но упорно сдерживал обеих лошадей, стараясь замедлить их бег. Он весь устремился к женщине; пожилой и юноша увидели на миг его хищный ястребиный профиль, и еще они увидели, что он что-то говорит женщине. Они появились неожиданно, как духи, и так же неожиданно исчезли в мягком стуке копыт по сухим сосновым иглам: женщина устремилась вперед, мужчина ее преследует — две птицы, застывшие в быстром, как ветер, полете, ястреб и его добыча.

Они исчезли. Немного погодя юноша сказал:

— Этому тоже собаки не нужны. — Он все еще глядел туда, где скрылись всадники. Пожилой ничего не ответил. — Тоже за лисицей охотится, — продолжал юноша. — Это же надо, на такой тоненькой шее... Совсем как лисица — у такого маленького зверька да этакий хвостик. Я раз слышал, как он... — юноша не снизошел даже до того, чтобы плюнуть, но было ясно, что «он» — это всадник на вороном жеребце, а не на кауром, — сказал ей такое, чего женщине при людях не говорят, и у нее глаза стали красные, как у лисицы, а потом опять рыжие, как лисицын мех.

Пожилой молчал. Юноша повернул к нему голову. Тот сидел, слегка устремившись вперед, и смотрел на поле.

— Что это? — тихо проговорил он.

Юноша тоже посмотрел вниз. Внизу, на опушке, послышался глухой стук копыт, потом треск веток, и они увидели, как из зарослей вылетел на своем вороном жеребце Блер. Он понесся через поле на полном скаку, никуда не сворачивая и не отклоняясь, будто землемеры повесили от опушки к канаве прямую и он теперь мчался по ней.

— Что я тебе говорил? — сказал пожилой. — Лисица там, на отвале. Ну что ж, не впервой им сходиться лицом к лицу. Позапрошлый год он подскакал к ней так близко, что мог бы швырнуть в нее плеткой.

— Да уж, — сказал юноша. — Этим собаки не нужны.

На заросшей травой песчаной дороге, что шла вдоль гребня холма, тоже возле просвета между деревьями, откуда виднелся узкий клин рисового поля, но подальше от охотников, стоял «форд». За рулем сидел шофер в ливрее, рядом с ним съезжился мужчина с сигаретой, в котелке и в черном пальто. У него было дряблое, невыразительное городское лицо, спокойное и насмешливое, но сейчас на нем выражалось унылое бешенство, которое охватывает родившихся в городе и привычных к городу людей, когда они оказываются во власти таких зол природы, как холод или дождь. Мужчина в котелке говорил:

— Вот именно. Все это ее, и дом и прочее. Когда-то всем этим владел его отец, еще до того, как они перебрались в Нью-Йорк и разбогатели; Блер здесь и родился. Он выкупил усадьбу и преподнес ей в виде свадебного подарка. Себе оставил только эту — как она там называется — которую все ловит.

— И никак не поймает, — сказал шофер.

— Вот именно. Каждый год сюда приезжает, живет по два месяца, ни с

кем не знается, никого не видит, кроме этих фермеров-голодранцев да негров. Если тебя время от времени начинает тянуть к черномазым, переселяйся на Ленокс-авеню и живи там, пока не надоест. Верно я говорю? Джин ведь ихний пить необязательно. Так нет, втемяшилось ему выкупить это поместье и подарить ей, а то она, видишь ли, с Юга, вдруг начнет тосковать по дому. Ну да бог с ними. Хотя по мне и Четырнадцатая улица достаточно далеко на Юге. Впрочем, не будь этого имения, ездили бы в Европу, а то еще куда. Что хуже — неизвестно.

— Почему он все-таки женился на ней? — спросил шофер.

— Ты спрашиваешь, почему он на ней женился? Не из-за денег, хотя денег у них с мамашей куры не клюют — нажили на индейской нефти в Оклахоме...

— На индейской нефти?

— Вот именно. Правительство отдало Оклахому индейцам, потому что все остальные от нее отказались, и когда первый индеец туда пришел и увидел, что там, он тут же упал и помер, а когда родичи стали его хоронить, то не успели они ткнуть в землю лопатой, как нефть вышибла у них эту самую лопату из рук, ну и тут уж, конечно, в Оклахому налетели белые. Они привозили с собой новый «форд» и шофера из гаража, заявлялись к индейцу и спрашивали: «Ну что, Джон, много у тебя во дворе гнилой воды?» Индеец отвечал: три колодца, или тринадцать, или сколько у него там было, — и белый говорил: «Ай-ай-ай, это вам Белый Отец вредит, как ему только не стыдно. Ну ничего, не горюй. Видишь этот прекрасный новый автомобиль? Я тебе его дарю, сажай в него свою скву и ребятишек и езжай туда, где вода в земле не гнилая и где вам Белый Отец вредить не сможет». Индеец грузил в автомобиль семью, шофер вез их на Запад, показывал индейцу, куда заливать бензин, делал ручкой и с первой же попутной машиной возвращался в город. Ясно?

— Ага, — сказал шофер.

— Да, так вот. Был он как-то по делам в Англии, и тут вдруг приезжает эта самая мадам со своей рыжей дочкой из Европы не то еще откуда-то, где дочка оканчивала школу, и не прошло недели, как Блер говорит мне: «Ну, Эрн, я женюсь. Что ты на это скажешь?» Человек всю свою жизнь только и делал, что бегал от женщины, чтобы без помехи пить по ночам, а днем загонять до смерти лошадей, и вдруг на тебе — в три дня решил жениться. Однако когда я увидел мамашу, я с первого взгляда понял, что не ее супруг отнимал у индейцев нефтяные колодцы.

— Видать, хватка у нее железная, раз сумела окрутить Блера, да еще так скоро, — сказал шофер. — Кремень баба. Я бы ему свою дочку не отдал. Хотя, конечно, говорю это ему не в укор.

— Я бы ему свою собаку и ту не отдал. Он как-то убил у меня на глазах собаку за то, что не слушалась. Тростью убил, с одного удара. Убил и говорит: «Пришли Эндрюса, пусть уберет».

— Как ты с ним ладишь, не понимаю, — сказал шофер. — Возить его на машине — это одно. Но состоять при нем неотлучно и день и ночь...

— А мы заключили договор. Он раньше как напьется, так начинает ко мне цепляться. Один раз даже замахнулся, и тогда я сказал, что убью его. А он спрашивает: «Когда? Когда вернешься из больницы?» «Да нет, — отвечаю, — до того, как туда попаду», а сам руку в кармане держу. «Пожалуй, и в самом деле убьешь, с тебя станется», — говорит. С тех пор у нас все нормально. Револьвер я убрал подальше, он ко мне больше не цепляется, и все у нас нормально.

— Почему ты от него не ушел?

— Сам не знаю. Работа хорошая, хоть и приходится жить на колесах. Ей-богу, иной раз не знаю, куда поедем завтра — в Тихуану или в Италию, не знаю, смогу утром прочесть газету или нет, не знаю даже, где я сейчас нахожусь. Но он мне по душе, а я ему.

— Теперь у него есть к кому цепляться, может, потому он тебя и оставил в покое, — сказал шофер.

— Может, и так. Только она до того, как выйти за него замуж, ни разу в

жизни не сидела на лошади, а он возьми и купи ей эту рыжую кобылу — под цвет ее волос. Мы за кобылой аж в Кентукки ездили, и обратно он с ней ехал в одном вагоне. Я наотрез отказался: нет, говорю, увольте, все что можно для вас сделаю, но в телячем вагоне и в пустом не поеду, а уж с лошадей и подавно. И поехал в спальном. Ей о кобыле рассказал, только когда она уже стояла в конюшне. «Но я не хочу ездить верхом», — говорит она. «Моя жена должна ездить верхом, — заявляет он ей. — Ты не у себя в Оклахоме». «Но я не умею», — говорит она. А он: «Научись хотя бы сидеть на лошади, пусть люди думают, что ты умеешь ездить». И стала она ходить к Каллагену учиться на его одрах вместе с детишками и девицами из варьете, которые готовятся выйти замуж за миллионеров и потому берут уроки верховой езды. А для нее лошадь была гаже змен — она в детстве каталась однажды на карусели верхом на деревянной лошадке и закружилась.

— Откуда тебе всё это известно? — спросил шофер.

— Видел собственными глазами. Мы с ним частенько туда заглядывали — посмотреть, как она справляется с лошадей. Она-то иной раз и не знала, что мы тут, а может, знала, но не подавала виду. Вот ездит она и ездит по кругу с детишками и парочкой зигфельдовских красоток и на нас не глядит, а Блер стоит, и лицо у него черное, как тоннель в метро, будто он с самого начала знал, что ей все равно на лошади не ездить, даже на деревянной, и будто ему и дела до этого нет, с него довольно смотреть в свое удовольствие, как она старается, а все без толку. Наконец даже Каллаген сказал ему, что это дохлый номер. «Прекрасно, — говорит ей Блер. — Каллаген говорит, тебя можно выучить сидеть на деревянной лошадке, поэтому я достану подержанную деревянную лошадь, прибью ее на веранде, и когда мы туда приедем, будешь на ней кататься». «Я уйду к маме», — говорит она. А он ей: «Сделай одолжение. Мой старик всю жизнь пытался сделать из меня финансиста, а твоей мамаше это удалось за два месяца».

— Ты же вроде сказал, у нее есть свои деньги, — заметил шофер. — Почему она их не брала?

— Чего не знаю, того не знаю. Может, в Нью-Йорке индейские деньги не в ходу. Во всяком случае, мамаша любого заставит выложить монету, бродвейским кондукторам впору у нее поучиться. Иной раз явится обрабатывать Блера еще до завтрака, не дождется даже, пока я суну его под душ и дам опохмелиться... Да, прибегают она, значит, к своей мамаше — та живет на Парк-авеню — и...

— Это ты тоже видел собственными глазами? — спросил шофер.

— ...и плачет... Что? Нет, не я — горничная, есть у нее такая ирландочка, Берки зовут, мы с ней иногда встречаемся. Она-то и рассказала мне об этом самом парнишке об Йельском, о студентике, ее индейском дружке.

— Индейском дружке?

— Ну да, они вместе учились в школе у себя в Оклахоме. Обменялись масонскими кольцами или чем-то там еще, а потом у ее папаши в курятнике обнаружилась нефть, целых три фонтана, старик от радости помер, и тогда мамаша увезла дочку в Европу учиться. А парнишка поступил в Йельский университет, и что, ты думаешь, он отколол в прошлом году? Женился на какой-то актриске, которая со своей захудалой трупой забрела в их город... Да, так вот, значит, дочка как узнала, что от Каллагена ей отказ, прибегают к мамаше на Парк-авеню. И плачет. «Я, — говорит — уже начала надеяться, что, может быть, его друзья не будут надо мной смеяться, а он приходит туда и смотрит. Ни слова не говорит, просто стоит и смотрит». «Я столько для тебя сделала, — говорит мамаша, — а ты! Такого мужа тебе нашла. Да нью-йоркские девушки его бы с руками и ногами оторвали. Он просит тебя только об одном — научись сидеть верхом и не позорь его перед его шикарными друзьями, а ты? Я столько для тебя сделала!» — говорит мамаша. «Да ведь я-то не хотела выходить за него замуж», — говорит она. «А за кого ты хотела замуж?» — спрашивает мамаша. «Я вообще не хотела выходить замуж», — говорит дочка. И тут-то мамаша и вспомнила про этого самого парнишечку, про Аллена, в которого дочка была...

— Аллен, значит, его имя, а Йельский — фамилия? — спросил шофер.

- Не фамилия, а университет, где он учился.
- Университет-то вроде называется Колумбийский, — сказал шофер.
- Нет, он в Йельском учился, это другой университет.
- Я думал, другой называется Корнеллский.

— Ну а это третий. Знаменитый университет — когда в ихнем городе устраивают налеты на ночные кабаки, полицейские набивают студентами полные машины и везут их в участок. Ты что, газет не читаешь?

- Редко, — сказал шофер. — Я политикой не интересуюсь.

— Ну так вот. Папаша этого йельского парнишечки тоже нашел у себя нефть и тоже разбогател, а ее мамаша злилась на Блера, потому что Блер не хотел, чтобы она жила с ними, и когда мы ездили куда-нибудь, с собой ее ни за что не брал. И тут-то, значит, мамаша и показала им всем, где раки зимуют — дочке, и Блеру, и этому студенту, так что дочка в конце концов не выдержала и говорит, что жива не будет, а выучится скакать верхом, а Блер ей в ответ, что лучше ей и в самом деле не быть живой, если она надумала скакать на рыжей кобыле, которую мы привезли аж из Кентукки. «Я не позволю тебе загубить такую прекрасную лошадь, — говорит, — будешь ездить на той, которую я тебе дам». Только она стала тайком учиться на этой самой прекрасной лошади, будь она неладна, на кентуккской кобыле, чтобы потом его сшарашить. В первый раз все сошло благополучно, зато во второй раз она сломала себе ключицу и боялась, что Блер все узнает, но потом оказалось, что Блер и так все знал с самого начала. Поэтому когда мы в первое лето сюда приехали и Блер начал охотиться за этой самой тигрой или кто она там...

- Лисица, — сказал шофер.

— Ну да. Так я и сказал. Значит, когда он...

- Ты сказал — тигра.

— Ладно. Пусть будет тигра. В общем, она уже скакала на рыжей кобыле и даже старалась не очень отставать, а Блер обгонял собак и всех, кто с ним охотился; и потом, два года назад, он тоже летел впереди собак и один раз подскакал к этой самой тигре так близко, что мог бы даже швырнуть в нее плеткой...

- К лисице, — сказал шофер. — К лисице, а не к тигре. Интересно...

Его собеседник — лакей он был или, может, секретарь, сказать трудно, — раскурил вторую сигарету, спрятавшись в поднятый воротник и сдвинутую на лицо шляпу.

- Что интересно? — спросил он.

— Так, я просто думал, — сказал шофер.

- Что думал?

— Думал, ему в самом деле так трудно скакать впереди всех и не обращать на нее внимания? Не видеть, как она губит эту прекрасную кентуккскую кобылу? Ему в самом деле надо скакать так быстро?

- А что такое?

— Может, в этом году ему не надо скакать так быстро, как прошлый год, чтобы ее обогнать. Тебе не кажется?

- Что мне не кажется?

— Да нет, ничего. Я просто думал.

- Что думал?

— Знает он, что ему в этом году не надо скакать так быстро, или не знает?

- А, это ты о Готри.

— Его Готри зовут?

- Да. Стив Готри.

— Что он за человек?

— Человек как человек. Из тех, что будут есть и пить за твой счет, путаться с твоей женой, но по первому твоему знаку уберутся восвояси.

- Ну и как же?

— А никак. Я сказал: человек как человек. Мы с ним приятели.

- Приятели?

— Ну да, что тут такого? Раз я оказал ему услугу, после он мне, ясно?

— Ага,— сказал шофер. На собеседника он не глядел.— Давно она с ним знакома?

— Да с полгода. Мы были в Коннектикуте, и он тоже там был. Он лошадей ненавидит почти так же люто, как она, только мы с Каллагеном тоже приятели, я ему тоже как-то оказал услугу, ну и, значит, эдак через недельку после того, как мы вернулись из Коннектикута, я зывал к нам Каллагена и попросил его рассказать Блеру про этого другого жеребца, да только не называть хозяина. А вечером и говорю Блеру: «Я слышал, мистер Ван Дайминг тоже хочет купить у мистера Готри эту лошадь». «Какую лошадь?» — спрашивает Блер, а я: «Не знаю, по мне они все одинаковые, лишь бы ко мне касательства не имели». «Готри тоже кажется, что они все одинаковые.— говорит Блер,— ты о какой лошади толкуешь-то?» «Да о том жеребце, про которого Каллаген рассказывал». Блер обложил Каллагена: «Он же его мне обещал!» «Так ведь хозяин-то не Каллаген, а Готри». Ну и через два дня приводит он к нам Готри обедать. Вечером я ему говорю: «Ну что, можно вас поздравить? Купили жеребца?» Он здорово нагурился и теперь уже обложил и Каллагена и Готри. «Нет,— говорит,— не желает он его продавать». «А вы не отступайтесь,— говорю,— нет такой вещи, которую человек не захотел бы продать». «Не отступайтесь, не отступайтесь! Он о цене и говорить не желает». «А вы поручите переговоры супруге,— говорю я.— с ней он артачиться не станет». Вот тогда-то он меня и ударил..

— Ты же вроде сказал, он на тебя замахнулся,— сказал шофер.

— Ну, он просто во время разговора махнул рукой, а я стоял рядом и как раз в эту минуту случайно повернулся к нему лицом. Ударить он меня не хотел— знал: уложу на месте. Я его предупредил. Руку я все время держал в кармане, а в руке был револьвер. Словом, после этого Готри стал бывать у нас чуть ли не каждую неделю, потому что я ему сказал, что место у меня хорошее и терять его ради чужого дяди я не намерен, ради себя — другое дело. Стал он, значит, бывать у нас каждую неделю. В первый раз она его не приняла. А потом сижу я как-то, читаю газету — ты, между прочим, зря газет не читаешь, хоть иногда просматривал бы, а то позабудешь, какой сегодня день недели,— и вдруг читаю, что этот самый мальчишка, студентик Йельский, Аллен, сбежал с актрисой и его исключили из университета — надо полагать, за переход из любителей в профессионалы. Он, надо полагать, здорово за это обиделся — он-то еще раньше университет сам бросил. Я заметочку тут же вырезал, и в это же самое утро Берки — мы с ней тоже большие приятели — положила ее на поднос и отнесла ей вместе с завтраком. А днем ненароком заглянул Готри, и она его приняла, а когда Берки ненароком вошла в комнату — уж не знаю, что ей там понадобилось,— она увидела поцелуй всасос, прямо как в кино.

— И жеребец достался Блеру,— сказал шофер.

— Какой жеребец?

— Ну тот, которого Готри не хотел ему продавать.

— Да как он мог продать его Блеру, ведь у него сроду лошадей не было, разве, может, совсем уж несостоящая кляча, какие за год от старта до финиша не доползут. И потом, Готри пока еще не задолжал Блеру этого жеребца.

— Не задолжал?

— Не выносит она его, понимаешь? В первый раз, как он пришел к нам один, на порог его не пустила. И во второй раз не пустила бы, не подложи ей Берки на поднос заметку об этом студентике. А в третий раз ему опять пришлось уйти несолоно хлебавши, до того он ей был противен, ну все равно как лошадь, ей-богу, или даже собака, потому что собаки ей противны пуще лошадей, хотя ездить верхом на собаках ее и не заставляли. На собаку Блер нипочем бы ее не загнал. Одним словом, пришлось мне снова взяться за Каллагена, и в конце концов все они довели меня до того, что я стал вроде русского крепостного.

— Русского чего?

— Ну, это такие люди, которыми все помыкают. Всякий раз как я выходил из дому, я сначала встречался в каком-нибудь кабаке с Готри, а потом шел к Каллагену и принимался его улещивать, потому что у него, видишь ли, принципы.

— Какие принципы?

— Ну принципы, понимаешь? Вроде тех прописей, которые вдалбливают детишкам в воскресной школе. Дескать, так нельзя, потому что она хорошая и ему ее жалко, поэтому он пойдет к Блеру и сознается, что обманывал его и что у Готри никакой лошади нет. Сам посуди: ведь если тебе ни за что ни про что дают деньги, а ты от них воротил нос, кто будет считать тебя самым большим дураком? Конечно же, люди, которые знают, что религия и разные там заповеди из воскресной школы — это одно, а жизнь — совсем другое. Ибо если бы господь бог не хотел, чтобы каждый возделывал свой собственный газон, разве сделал бы он в конце недели воскресенье? Ну скажи, верно я говорю?

— Может, и верно, — сказал шофер.

— То-то же. А Каллагену я внушал, что Блер нас с ним тут же и порешит, и правильно сделает, любой бы на его месте так поступил; что же до жены Блера, то зря он думает, будто на ней свет клином сошелся, не она первая, не она последняя.

— Значит, он не... — начал шофер и умолк. Потом сказал: — Гляди-ка.

Его собеседник повернул голову. На поле посреди клина, что открывался в просвете между деревьями, они увидели красно-черную точку. Точка была примерно в миле от них и двигалась, но на таком расстоянии не видно было, быстро она движется или нет.

— Что это? — спросил собеседник шофера. — Лисица?

— Нет, это Блер, — сказал шофер. — Быстро он скачет. — Интересно, где остальные?

Оба следили взглядом за движущейся точкой, пока она не исчезла.

— Дома, если у них хватило соображения вернуться, — сказал собеседник. — Значит, и нам тоже пора.

— Пожалуй, — сказал шофер. — Так вот оно что, Готри еще не задолжал ему жеребца.

— Пока еще нет. Он ей не нравится. После того дня она его ни разу больше не впустила в дом, а подружка моя Берки рассказывала, что однажды она ушла из гостей, потому что встретила там Готри. И здесь бы ему тоже не бывать, кабы не я, потому что она сказала, что если Блер пригласит сюда Готри, она ни за что не поедет. Делать нечего, опять я принялся накачивать Каллагена, и Каллаген стал ходить к нам каждый божий день и травить Блера жеребцом, чтобы тот пригласил Готри, потому что ее-то Блеру хотелось привезти сюда обязательно. — Шофер вылез из машины и зашел вперед, к ручке. Его собеседник закурил вторую сигарету. — Однако Блеру тоже пока ничего не обломилось. Когда у женщины такие длинные волосы, пока они подобраны в узел, ты еще можешь спать спокойно. Но если она их распустила — все, пиши пропало.

Шофер начал заводить ручкой мотор. Но вдруг обернулся и не выпрямляясь замер.

— Слышишь? — спросил он.

— Что слышу?

— Трубят.

Снова раздался серебряный звук — слабый, далекий, долгий.

— Это что же? — спросил собеседник. — У них тут солдаты стоят?

— Нет, это трубят они сами, — сказал шофер. — Потому что затравили лисицу.

— Слава богу! — сказал его собеседник. — Может, наконец-то уедем завтра в город.

Двое на мулах вернулись через поле к опушке и стали подниматься вверх по склону.

— Ну уж теперь-то он небось доволен, — сказал юноша.

— Ты так думаешь? — спросил пожилой. Он ехал на несколько шагов впереди юноши и, произнося эти слова, не повернул к нему головы.

— Он же за ней три года охотился,— сказал юноша.— И вот теперь убил. Как же ему не быть довольным?

Пожилой не обернулся, не посмотрел на юношу. Он сидел на своем старом, тощем муле ссутулясь, ноги его болтались.

— Так уж господа устроены,— проговорил он с ленивой и презрительной насмешкой,— разве их поймешь?

— По мне, лисица она и есть лисица,— сказал юноша.— Ее не едят. Отравил бы, и лошадей не пришлось бы гонять.

— Может, и так,— сказал пожилой.— Тут их тоже не поймешь.

— Кого — их?

— Господ.— Они поднялись на самый гребень и выехали на песчаную, заросшую травой дорогу.— Однако господа господами, а это первая лисица в Каролине, которая дала себя так убить. Может, на Севере лис всегда так убивают.

— Тогда я рад, что живу не на Севере,— сказал юноша.

— Это уж да,— сказал пожилой.— Мне сейчас тоже здесь неплохо.

— А вот съездить разок поглядеть хотел бы,— сказал юноша.

— Нет, я бы не поехал,— ответил пожилой,— раз они там так надрываются, чтобы убить лису.

Они ехали поверху, среди сосен и зарослей вереска, черники, падуба. Вдруг пожилой натянул поводья и поднял руку.

— Что? — спросил юноша.— Ты что?

Но пожилой, едва призадержав мула, тут же тронул его и стал негромко, но чисто и мелодично насвистывать что-то печальное, похожее на церковный гимн; впереди, в зарослях придорожных кустов, фыркнула лошадь.

— Кто это? — спросил юноша. Пожилой ему не ответил. Через несколько шагов юноша прошептал: — Она распустила волосы. Как горят, прямо как сосна на весеннем солнце.

Мулы, прядая ушами, ступали по мягкой, заглушающей звуку земле; всадники развалясь сидели на своих неоседланных мулах, их ноги болтались.

Женщина была верхом на рыжей кобыле, по ее плечам лилась медная, горящая на солнце река волос, руки были подняты к волосам и что-то с ними делали. Чуть поодаль стоял каурый жеребец и на нем тот самый мужчина. Он закуривал сигарету. Мулы, шагающие все так же неумолимо, понурив головы и поводья ушами, поравнялись с ними. Юноша взглянул на женщину смело и одновременно как бы таясь; пожилой продолжал насвистывать свою грустную неторопливую песню, на них он, казалось, не глядел. Он бы, наверное, так и проехал мимо, будто не заметил всадников, но мужчина на кауром жеребце его окликнул.

— Ну что? — спросил он.— Затравили? Мы слышали рог.

— Да,— равнодушно и словно бы нехотя ответил мужчина в комбинезоне.— Она сама дала себя затравить. Куда ж ей было деваться?

Юноша не отрываясь смотрел на женщину, а та, замерев с поднятыми к волосам руками, смотрела на пожилого.

— Почему? — спросил мужчина.

— Загнал он ее на своем вороном жеребце,— сказал мужчина в комбинезоне.

— Как, один, без собак?

— Один. Собаки вроде на вороных жеребцах не скачут.

Оба мула остановились; пожилой слегка повернул голову к мужчине на кауром жеребце, лицо его было скрыто полями старой продавленной шляпы.

— Она добежала до того конца поля, прыгнула на отвал и затаилась — верно, надеялась, что он перескочит канаву, а она тогда вернется по своему следу. Собак она, видать, не боялась. Она уже так долго их дурачила, что они ей были не страшны. А вот он ей был страшен. Они за три года хорошо узнали друг друга, как вы, наверно, знаете свою мать или жену, только у вас ее вроде никогда путем не было, жены-то. В общем, она сидела на отвале, и он знал, что она там, и поскакал к ней напрямик через поле. даже отдышаться не дал. Вы,

наверно, его видели, он несся к ней напрямик через поле, будто не только чуял, где она, но и видел. Лиса как спряталась, обманув собак, так и сидела. Она еще не успела отдышаться, а тут снова надо бежать, и когда она прыгнула на отвал и затаилась в кустах вереска, то уже совсем выбилась из сил, выбраться из кустов и бежать дальше не могла. Он подскакал к канаве и хотел перемахнуть на ту сторону, как она и рассчитывала. Только сама-то она все еще сидела в кустах, а он, когда переносился через канаву, глянул вниз, увидел лису и прямо на лету соскочил с лошади и свалился к ней в вереск. И тогда... может, она вильнула сначала в сторону, не знаю. Он говорит, она крунулась — и прыг ему прямо в лицо, а он сиби ее кулаком на землю и затоптал сапогами насмерть. Собаки к ним еще не успели. Но он управился с ней и без собак. — Пожилой умолк и с минуту еще сидел молча на своем старом безропотном муле — убого одетый, медлительный, лицо в тени шляпы. — Что ж, поеду, — наконец сказал он. — А то со вчерашнего дня крошки хлеба во рту не было. До свидания.

Он тронул своего мула, мул юноши потянулся за ним следом. Назад пожилой не оглянулся.

Зато оглянулся юноша. Оглянулся и посмотрел на мужчину на кауром жеребце, с тлеющей в руке сигаретой, от которой в безветренный солнечный воздух поднимался высокий легкий столбик дыма, посмотрел на женщину на рыжей кобыле, которая сидела, подняв руки к своим горящим волосам, и что-то с ними делала, посмотрел, переносясь, пытаюсь перенестись, как это свойственно юности, через разделявшее их расстояние к ней, далекой, недостижимой женщине, пытаюсь преодолеть тщетный немой порыв отчаяния, которое у юных бывает так похоже на ярость: ярость — оттого что мужчина потерял женщину, отчаяние — потому что на этой неизбежной горестной земле мужчина обречен нести ей гибель.

— Она плакала, — сказал юноша и грязно, бессмысленно выругался.

— Ну-ну, — сказал пожилой не оборачиваясь. — Поехали. Когда доберемся, завтрак небось уже будет готов.

Перевела Ю. ЖУКОВА.

Дядя Вилли

I

Да знаю я, что говорят. Говорят, я не сам сбежал из дому, а меня сманил полоумный, и спасибо я его первый убил, а то бы обязательно он меня угробил через пару дней. А нет бы сказать, что никто как женщины, джефферсонские праведницы, выжили дядю Вилли из города, а я от него не отстал и что сделал, то сделал, а почему — потому что знал: дядя Вилли на свой лад с жизнью прощается, а как сдапают они его снова, так ему крышка навечно; сказали бы так — правду бы сказали. Меня ведь никто не сманивал, а дядя Вилли был вовсе не полоумный, хотя и мудрено ему было не свихнуться, уж очень об этом постарались. Никто меня не заставлял, еще бы сказали, что он меня уламывал, да я и без всяких прибежал бы как миленький, он и сам это знал. Я почему с ним поехал: потому что дядя Вилли был самый правильный человек, женщины и те с ним не сладили; он все равно распрощался с жизнью как надо и помер дай бог всякому, не зря же я ему помогал. Умирают ведь кто как может, только редко кто может как надо, что мужчины, что женщины, даже и те, кому позарез надо по-своему кроить чужую жизнь.

Дядей он никому не приходился, но все мы, да и взрослые тоже, называли его вслух или про себя дядя Вилли. Родни у него не было, одна сестра в Техасе, замужем за каким-то миллионером по нефтяной части. Жил он сам по себе в беленьком таком ветхом домищечке, где и родился, на окраине города, вдвоем со старым негром, таким Джобом Уайли; негр был еще старше его, он стряпал, прибирал и прислуживал в аптеке, какую завел еще дяди Виллин отец, и у дяди Вилли все шло по-заведенному с Джобовой помощью; за те двенадцать или четырнадцать лет, что он прожил под морфием, мы — сначала малышня, потом

ребятня — его по-всякому навидались. Мы любили заходить к нему в аптеку: там за немывтыми стеклами всегда было прохладно, тихо и сумрачно — он говорил, что оттого и не ставит витрин, кто их за такими стеклами разглядит, зато жара не проходит внутрь. А кто у него и бывал — только деревенские за готовыми снадобьями в бутылочках да негры за костями или картами; небось за все сорок лет с рецептом к нему не наведался никто, и газировкой он не расторговался; стаканы-то были вроде стекол, их мыл старик Джоб, он же мешал сиропы и готовил мороженое с тех самых пор, как отец дяди Вилли завел аптеку в тысяча восемьсот пятьдесят каком-то году, и старик Джоб, конечно, стал подслеповат; правда, папа мой говорил, не оттого, что он тоже колется, а что день и ночь дышит одним воздухом с дядей Вилли.

Ну а нам-то что — мороженое как мороженое, тем более сразу после бейсбола. В нашем городке было детское спортивное общество и три команды: дядя Вилли вручал победителям призы — мяч, биту или маску, и это после всякой игры, хотя посмотреть, как мы играем, ни разу не пришел; после каждой, я говорю, игры обе команды, а бывало, и все три собирались в аптеке на вручение призов победителю. И мы ели мороженое, а потом перебирались за рецептурную стойку и смотрели, как дядя Вилли зажигает свою спиртовку, набирает шприц и закатывает рукав, а от локтя и выше все так и усыпано синими точечками. На другой день, в воскресенье, мы дожидались его по дворам и с ним вместе шли в воскресную школу, в наш класс: он сидел и слушал, как мы рассказывали Писание. Учил нас мистер Барбер, и дядю Вилли он никогда не вызывал. Мы зубрили и потом наперебой толковали про бейсбол до самого звонка, а дядя Вилли помалкивал, сидел себе такой чистенький, опрятный, воротничок у него свежий (а галстук не носил), сам сухонький, фунтов на сто десять, а глаза под очками мешаные, как растекшиеся яйца. Потом мы все шли к нему в аптеку, доедали мороженое, какое осталось с субботы, и опять перебирались за рецептурную стойку поглядеть, как он разжигает спиртовку, закатывает рукав воскресной сорочки и медленно вгоняет шприц в исколотую синюю руку; и кто-нибудь спрашивал: «А не больно?» — а дядя Вилли говорил: «Да нет, мне нравится».

II

А ему взяли и запретили это дело. Как-то он нам сказал, что колется вот уж сорок лет; а ему шестьдесят стукнуло и осталось догулять лет еще десять — этого-то он нам не сказал, но это и в четырнадцать лет ясно. Тут ему и запретили, и так это живенько. В воскресенье утром начали его спасать, а в пятницу уж и кончили; сидим мы раз в классе, только мистер Барбер свое завел, как вдруг откуда ни возьмись преподобный Шульц, священник наш, наклоняется он к дяде Вилли — мы и оглянуться не успели, а он уж сволож его со стула и улещивает, будто четырнадцатилетнего, любого павньку стошнит: «Ну, ну, брат Кристиан, знаем-знаем, что вам приятно в классе брата Барбера, и все ж таки пойдемте-ка к взрослому, к брату Миллеру, он такую речь приуготовил насчет как раз вот этого прекрасного и душеполезного текста»; а дядя Вилли все умирался, оглядывался на нас и хлопал своими мешаными глазами, а в них читалось яснее всяких слов: «Да что это? Да что же это, ребята? Да что это они надо мной замыслили?»

Нам-то это было невдомек, как и ему. Когда кончили зубрежку, мы не стали, как обычно, толковать о бейсболе, а пошли по коридору мимо закоулка, где взрослые мужчины занимаюсь с мистером Миллером законом божьим, и преподобный Шульц этак попросту сидел на скамье среди прочих: дескать, что он, что паства, — а все как-то выпирал: ему, мол, ни особо двигаться, ни говорить нужды нет, и так видно, что не простой человек; я всегда вспоминал, как однажды 1 апреля мисс Каллаган устроила переключку, а потом сошла с учительского места и говорит: «Давайте-ка я побуду сегодня простой ученицей»; уселась за парту и вызывала по очереди к доске, чтобы вели урок: оно вроде и забавно, только все припоминалось, что завтра-то не 1 апреля, а послезавтра и подавно. Вот и

дядя Вилли сидел возле преподобного Шульца, сжался чуть не в комочек, и я припомнил, как прошлым летом везли в сумасшедший дом одного деревенского по фамилии Бандрен, только он не совсем свихнулся и понимал, куда его везут, и сидел у вагонного окна рука за руку скованный с толстым помощником шерифа, а тот покуривал сигару.

Воскресные классы кончились, и мы ждали его всем скопом, чтобы пойти в аптеку доедать мороженое. А он не выходил. Уж и служба кончилась, а он все не выходил, хоть раньше никогда на службу не оставался, мы такого не видели, да и никто не видывал, это мне папа потом сказал, — и вот он вышел, справа мертвой хваткой миссис Мерридю, слева преподобный Шульц, а он-то глазами на нас, словно выкрикивал, теперь уж отчаянно: «Ребята, да что же это? Да что же это, ребята?» — преподобный Шульц заталкивал его в машину миссис Мерридю, и миссис Мерридю возглашала, как с кафедры: «А теперь, мистер Кристиан, повезу я вас прямехонько ко мне, выпьем стаканчик прохладного лимонаду, замечательно пообедаем курочкой, потом вы у меня отлично соснете в гамаке, а там подоспеют брат и сестра Шульцы, и мы все вместе прекрасно покушаем мороженого», — а дядя Вилли говорил: «Нет. Погодите, мам, погодите! Мне тут надо в аптеку, я по рецепту утром обещал отпустить».

Ну, затолкали его в машину, а он все искал нас глазами; так и скрылся из виду — рядом с миссис Мерридю, совсем как Дарл Бандрен с помощником шерифа у вагонного окна, — она его небось за кисть и держала, только наручников не было, такая и без наручников справится, а дядя Вилли на нас так отчаянно и ошарашенно глянул.

Потому что ему уже час как надо было всадить себе шприц, а когда он наконец под вечер улизнул от миссис Мерридю, он уже часов пять с этим промешкал и никак не мог попасть ключом в замок; тут-то его и сцапали миссис Мерридю с преподобным Шульцем. Но на этот раз он и не говорил и не оглядывался, а просто рвался из рук, как ошалелый кот. Его отвезли домой, и миссис Мерридю дала телеграмму его сестре в Техас; и дяди Вилли не было видно трое суток, потому что миссис Мерридю и миссис Ховис по очереди стерегли его в его же доме день и ночь — сестра вот-вот должна была подъехать. Тогда были каникулы, мы играли в понедельник, подошли к аптеке под вечер — она заперта и во вторник тоже не отпиралась, и так до среды, а в среду далеко за полдень дядя Вилли примчался со всех ног.

Он был небритый, без рубашки и все никак не мог попасть ключом в замок; он задыхался, всхлипывал и приговаривал: «Заснула, слава тебе, Господи»; и кто-то из нас взял у него ключ и отпер дверь. Мы и спиртовку разожгли и шприц набрали, и на этот раз шприц не впивался в руку, а вонзился так, будто сейчас кость пробуравит. Домой он не пошел. Он сказал, что поспит и на полу, дал нам денег, выпроводил с заднего крыльца, и мы зашли в кафе, принесли ему сандвичей и кофе в бутылке и оставили его одного.

А на другое утро явились миссис Мерридю и преподобный Шульц и с ними еще три тетки; исполнитель им быстренько взломал дверь, миссис Мерридю ухватила дядю Вилли за шиворот и шипела: «Ах ты гаденыш! Ах ты гаденыш! Это от меня-то улизнуть захотел, да?» — а преподобный Шульц говорил: «Сестра, сестра, успокойтесь», — а тетки выкрикивали «мистер Кристиан!», «дядя Вилли!» и просто «Вилли!» — смотря которой сколько лет и с каких пор живет в Джефферсоне. Они с ним быстро управились.

Вечером приехала сестра из Техаса, и мы ходили мимо дяди Виллиного дома и видели, как тетки торчат на веранде и ходят туда-сюда в дом, с ними и преподобный Шульц: он и тут выпирал, как в классе у мистера Миллера; мы за забором под окнами слушали, как дядя Вилли плакал, бранился и силился вскочить с постели, а тетки ему: «Ну-ну, мистер Кристиан», «Ну-ну, дядя Вилли» и даже «Ну-ну, Бубик», — ведь и сестра его тоже там была; а дядя Вилли плакал, упрашивал и бранился из последних сил. И настала пятница, и он сдался. Мы слышали, как он рвался, а они его держали, и все молчком, тут уж было

не до слов; а потом мы вдруг услышали его слабый, но ясный голос и частое дыхание.

— Погодите,— сказал он,— погодите! Я у вас еще разок попрошу. Ну оставьте меня в покое, а? Ну идите себе, а? Ну идите себе к чертям собачьим, а я как-нибудь туда и без вас доберусь.

— Нет, мистер Кристиан,— отвечала миссис Мерридю.— Мы обязаны спасти вас.

С минуту стояло молчание. Потом мы услышали, как дядя Вилли улегся, словно опрокинулся на подушку.

— Ну что ж,— сказал он.— Ну что ж.

Это как в Библии агнцев приносят на заклание. Будто он сам влез на жертвенник, опрокинулся на спину, выставил горло и сказал: «Ну что ж, давайте прикалывайте меня. Режьте мне глотку и катитесь и дайте мне спокойно жариться на огне».

III

Прохворал он долго. Его увезли в Мемфис. Говорили, что он при смерти. Аптека стояла запертая, а наше спортивное общество развалилось через неделю-другую. Призов, конечно, не стало, но разве дело в каких-то там битах-мячиках? Не в них было дело. Мы проходили мимо аптеки, смотрели на большой ржавый замок и на мутные бельма окон: за ними и не видать было, где это мы там ели мороженое и рассказывали ему, чья взяла и кто как играл, и булькало-пузырилось зелье на спиртовке, а он сидел со шприцем в руке и глядел на нас сквозь очки, помаргивая своими мешаными, растекшимися глазами, в которых и зрачков-то не разобрать. И негры и деревенские, бывшие его покупатели, тоже подходили к аптеке, смотрели на замок, спрашивали у нас, как он там жив, скоро ли вернется и снова откроет аптеку. Аптека потом открылась, только они не стали ходить к новому провизору, которого посадили туда миссис Мерридю и преподобный Шульц. Сестра-то дяди Вилли сказала: бог с ней, с аптекой, пусть стоит на замке, она как-нибудь обеспечит дядю Вилли и без аптеки, лишь бы он поправился. Но миссис Мерридю сказала, что нет, не пусть, что она хочет не просто вылезти дядю Вилли, а хочет его возродить, и будет он не только настоящим христианином, а еще и человеком при своем деле, благо дело его ждет,— тогда он сможет глядеть в глаза своим ближним и высоко держать голову; она сказала, что поначалу надеялась только помочь ему предстать перед Создателем, отрешившись от душевной и телесной скверны, от морфия; но раз уж у него оказался такой на диво крепкий организм, то она и за тем присмотрит, чтобы мистер Кристиан занял то самое место в жизни, какое ему подобает, а не позорил бы доброе имя семьи, он его и так уже сильно запятнал.

Она с преподобным Шульцем и подыскали провизора — тот уже месяцев шесть как жил в Джефферсоне. Поручители адресовали его в церковный совет, и, кроме преподобного Шульца и миссис Мерридю, никто про него ничего не знал. В общем, они-то и сделали его провизором в дяди Виллиной аптеке; остальным он всем был чужак чужаком. Только дяди Виллины завсегда так к нему ходить не стали. И мы тоже не ходили. Из нас, правда, какие покупатели, не ждали же мы, что он станет нас угощать мороженым, а и стал бы, так мы бы не взяли. Это же был не дядя Вилли, это был другой, а скоро и мороженое стало не то: провизор для начала помыл окна, а потом прогнал старика Джоба, только старик-то Джоб никуда не делся. Он болтался возле аптеки, ворчал себе под нос, провизор выгоняет его с парадного, а старик Джоб обойдет дом и лезет со двора, снова попадетя провизору, и тот кроет его по-тихому, кроет на чем свет стоит, а туда же — с церковными рекомендательными письмами; ну, он пошел по начальству, поскандалил и получил бумажку, и исполнитель сказал старику Джобу: держись, мол, подальше от аптеки. И старик Джоб устроился на другой стороне улицы. Он целый день просиживал на обочине тротуара и глаз не спускал с дверей аптеки: как провизор покажется, так старик Джоб ну орать: «А вот я ему скажу! А вот я все скажу!» Мы даже стали обходить аптеку

стороной. Мы делали кряк, чтоб только не идти мимо, не видеть мытых окон и городских покупателей: новый провизор поставил-таки торговлю — двери прямо не закрывались; а мы разве что подходили к старику Джобу спросить про дядю Вилли, хотя и без него каждый день слышали новости из Мемфиса и знали, что старик Джоб знает не больше нашего, ему даже и рассказал бы кто, так он бы не сумел пересказать: он ведь и то не верил, что дядя Вилли заболел, думал, что просто миссис Мерридю силком увезла его куда-то подальше от дома, там и держит в постели; и вот старик Джоб сидел на обочине, мигал на манер дяди Вилли сырыми красными глазами и твердил:

— А вот я ему скажу! Его сцапали, держат, а здесь, ишь, поналезла всякая дрянь, хозяйничает в аптеке массы Хока Кристиана. Вот я ему скажу!

IV

А дядя Вилли не умер. Он вдруг явился домой, тусклый, как свечное сало, весу в нем осталось дай бог девяносто фунтов, а глаза были, как раньше, мешаные, вроде растекшихся яиц, только теперь как будто протухлые: растеклись, застыли, уж и смердеть перестали, а приглядишься к ним — и сразу ясно, что ох не протухлые, какие хочешь, а не протухлые. Это уж мы потом пригляделись, когда он с нами снова перезнакомился. Не то чтобы он нас совсем забыл. Дескать, ребятя вы симпатичная, только мне незнакомая, ну-ка, как кого зовут, да без спешки, а то не запомню. Сестра его уехала обратно в Техас; ~~смотреть~~ за ним взялась миссис Мерридю, ему ведь оставался один шаг до ~~излечения~~, до полного исцеления. Ага. До исцеления.

Помню, явился он в город среди дня, мы ввалились за ним в аптеку, и дядя Вилли посмотрел на мытые окна, которые стали прозрачными, на городских покупателей, которых раньше не бывало, на провизора, и сказал: «Ты у меня провизором, что ли?» — а провизор ну толковать про миссис Мерридю и преподобного Шульца, и дядя Вилли сказал: «Ладно, ладно»; мы столпились у стойки и угостились мороженым, и он стоял и ел вместе с нами, точно простой покупатель, а сам оглядывал аптеку, ел мороженое и водил глазами, а глаза у него были вовсе не протухлые, и он сказал: «Ишь, чертов негр, ты его, старика, к работе, что ли, приохотил?» — а провизор снова забубнил про миссис Мерридю, и дядя Вилли сказал: «Ладно, ладно. Держи моего Джоба в руках да скажи ему, чтоб ни на день не отлучался, и пусть так вот и содержит аптеку». Потом мы с дядей Вилли прошли за рецептурную стойку, и он поглядел, какой порядок навел там провизор, какой новый большой замок навесил на шкафчик с наркотиками и всякими такими лекарствами; а глаза у дяди Вилли были совсем не протухлые, куда там, это ж надо было такое подумать, и он сказал нам: «Пойдите-ка скажите этому малому, что мне нужны ключи». Только и свертровка и шприц были ему без надобности. Да там и не было ни того, ни другого, уж об этом-то миссис Мерридю загодя позаботилась. Только они ему были без надобности; а провизор явился и задолдонил про миссис Мерридю и преподобного Шульца, дядя Вилли послушал-послушал и сказал: «Ладно, ладно»; сколько мы помнили, он никогда не смеялся, лицо у него и в этот раз было неподвижное, но мы-то знали, что про себя он хохочет. И пошли мы с ним погулять. С площади он свернул по Негритянскому проселку к заведению Сонни Барджера, я взял деньги, зашел туда, накупил ямайского имбирного, и мы с дядей Вилли устроились на лужайке возле его дома: онпил свое пиво и припоминал, как кого зовут.

А ночью я с ним встретился, где он сказал. У него была тачка и лом: мы взломали заднюю дверь, сшибли новый замок со шкафчика, вытащили оттуда бутылку со спиртом, отвезли ее к дяде Вилли и спрятали в сарае. В ней было три галлона, и дядя Вилли почти месяц не выходил из дому; он снова слег, и миссис Мерридю ворвалась к нему, выворотила все ящики и перетряхнула все шкафы, а дядя Вилли лежал на постели и следил за ней глазами, в которых

не было ну никакой тухлятины. Она ничего и не могла найти, бутыль уже кончилась, а она даже и не знала, чего ей надо: искала-то ведь шприц. А когда дядя Вилли встал на ноги, мы снова взяли лом, забрались ночью в аптеку и увидели, что шкафчик и без нас открыт, у порога стоит табуретка, а на ней пожалуйста — литровая бутылка спирта; тем дело и кончилось. Потом-то я узнал, что провизор очень даже понял, кто прошлый раз увел спирт, а почему он ничего не сказал миссис Мерридю, это я только через два года узнал.

Два года это было мне невдомек, а тем временем дядя Вилли с год как повадился катать каждую субботу в Мемфис на машине, сестрином подарке. Письмо про машину я как раз и писал, а дядя Вилли заглядывал мне через плечо и диктовал, что, мол, здоровье его улучшается, но понемногу, доктор ожидал, быстрее будет, вот доктор и велел ему не ходить туда-сюда из дома в аптеку, а хорошо бы на машине ездить, и машину надо бы недорогую, какую-нибудь поменьше, он сам и водить научится, а нет — так наймет шофером негра, если, скажем, сестра считает, что ему водить машину не по силам; и она прислала денги, а он сыскал себе кучерявого негритенка с меня ростом, по прозвищу Секретарь — так и обзавелся шофером. То есть это Секретарь говорил, что он шофер; а водить машину они учились вместе с дядей Вилли ночами, когда ездили в горные поселки за самогоном, и уж в Мемфис Секретарь гонял хоть куда, каждую субботу ездили, а в понедельник утром обратно, дядя Вилли без памяти на заднем сиденье, и дух от него шел здорово густой — мне такой дух тогда еще был в диновинку, — тут же две-три початые бутылки и книжечка с телефонами какой-нибудь там Лорины, Белинды или Джекки. Я говорю, я года два ни о чем об этом не знал, только однажды утром в понедельник пришел шериф и опечатал дяди Виллину аптеку, чего там от нее еще осталось; стали искать провизора, а того и след простыл. Дело было в июле, жарища, и дядя Вилли в лежку на заднем сиденье, а впереди Секретарь и баба раза в два больше дяди Вилли, в красной шляпке и розовом платье; на крыльях машины подвязаны два соломенных короба, через спинку сиденья белая затерханная шубенка; а у самой-то волосья рыжие, как новенький медный кран, а на щеках краска подтекает и запеклась пудра: по дороге потом изошла.

Ну, это уж лучше бы он снова колотья начал. Он словно оспу в город занес. Помню, миссис Мерридю под вечер звонила маме, и слышно было из трубки на весь дом, аж до кухни и черного хода: «Женился! Женился! Шлюха! Шлюха! Шлюха!» — вроде как провизор костил старика Джоба: может, конечно, им от церкви разрешается иной раз облегчить душу и минуту-другую отдохнуть от бога. Папа тоже чистил на все корки, правда непонятно кого: я-то знал, что он не дядю Вилли кроет и даже не его новую жену; эх, вот бы миссис Мерридю послушала. Правда, если б она к нам и зашла, слушать бы ничего не стала: она и то, говорят, не стала даже переодеваться, а прямо в домашнем побежала, цоп в машину преподобного Шульца — и к дяде Вилли, а он как раз отдыхал, в понедельник-вторник ему самое время было отдохнуть, и его новая жена выперла из дому миссис Мерридю и преподобного Шульца, помахивая брачным свидетельством, как ножом или револьвером. И, помню, весь тот остаток дня — а жил дядя Вилли на тихой боковой улочке, уставленной новыми домиками, где селились деревенские: мелкие лавочники или там почтари, которые лет всего пятнадцать как перебрались в город, — весь тот остаток дня с улицы откуда ни возьмись высканивали какие-то тетки в соломенных шляпках задом наперед и мчались в мэрию или к преподобному Шульцу, волоча за собой малышей и девиц на выданье; а мужчины помоложе и парни без особых занятий, иные и с занятиями, ездили взад-вперед мимо дома дяди Вилли посмотреть, как она сидит себе на веранде, покуривает сигареты и потягивает что-то из стакана; на другой день, помню, вышла она в город за покупками, на этот раз в черной шляпке и красно-белом полосатом платье, вроде как здоровенная ходячая конфетка, раза, что ли, в три больше дяди Вилли: идет она по улице, а мужчины смотрят изо всех лавочек, выступает как по линейке, а задница так и елозит под платьем; наконец кто-то не выдержал, заржал, закинул голову и заорал: «Во дае-о-о-от!» —

а она даже не задержалась, вильнула задом и дальше, ну тут уж, понятно, и все заржали как оглашенные.

А на другой день пришла телеграмма от сестры, и папа пошел к ним как юридическое лицо, а миссис Мерридю как свидетель, и дяди Виллина жена показала им свое свидетельство — что, говорит, выкусили, мало ли что я с Мануэль-стрит, а замужем не хуже всякой джефферсонской сильно порядочной, и папа только и повторял, что «ну-ну, миссис Мерридю, ну-ну, миссис Кристиан» — и сообщил дяди Виллиной жене, что дядя Вилли теперь несостоятельный, даже и дом его может погореть за долги, а дяди Виллина жена и говорит: а техасская-го сестричка у него зря, что ли, может, папа ее за дурочку считает и скажет, что нефтяной миллионер тоже прогорел. В общем, они снова телеграфировали сестре, она прислала тысячу долларов, и пришлось заодно уж отдать дяди Виллиной жене и машину. Она в тот же вечер отбыла в Мемфис, проехала через площадь со своими соломенными коробами, теперь уж в черном кружевном платье и снова потная — было б хоть и не краситься наново, жара-то не спала, — остановилась возле почтового отделения, где мужчины скопом поджидали вечернюю почту, и говорит: «Вот приезжайте на Мануэль-стрит ко мне в гости, я вам такие киксы покажу, другими людьми вернетесь, а то что вы живете, только зря время теряете».

А под вечер миссис Мерридю снова перебралась к дяде Вилли, и папа сказал, что она написала дяди Виллиной сестре письмо на одиннадцати страницах: она, сказал папа, в жизни теперь не простит дяде Вилли, что он залез в долги. Мы горчали у изгороди и слушали, как она орет: «Вы с ума спятили, мистер Кристиан, просто с ума спятили! Я пыталась вас спасти, сделать из вас человека, но терпение мое лопнуло! Еще один-единственный раз я дам вам возможность образумиться. Я отвезу вас в лечебницу Кили, но если уж и это не поможет, то я сама вас повезу к вашей сестре и заставлю ее запереть вас в сумасшедший дом». Сестра прислала из Техаса бумаги, что дядя Вилли неспособный, а что миссис Мерридю — его опекуна и поверенная, и миссис Мерридю повезла его в Мемфис, в лечебницу Кили. Тем дело и кончилось.

V

То есть это вроде по-ихнему выходило, что тем все и кончилось, что на этот раз дядя Вилли непременно помрет. Папа и тот теперь думал, что дядя Вилли свихнулся; папа и тот говорил, что я нипочем бы не сбежал из дому, кабы не дядя Вилли, а раз я все-таки сбежал, значит, меня сманил полоумный; это не папа, а дядя Роберт сказал, что какое свихнулся, даже и не спился: это ж представить, что человек сидел взаперти в лечебнице Кили и сторговал свой джефферсонский земельный участок за живые деньги. Они ведь не знали, что он сначала сбежал из Кили, об этом и сама миссис Мерридю узнала только на третий день, когда оказалось, что он пропал без вести. На след они так и не попали, не вызнали даже, как он сбежал; и я тоже ничего не знал, пока не получил от него письмецо: двигай, мол, в такой-то день автобусом в Мемфис, как город покажется, вылезай, я тебя встречу. Я даже не заметил, что и Секретарь и старик Джоб уже две недели куда-то запропастились. Ничего он меня не сманивал. Я потому уехал, что самому хотелось, потому что лучше его человека не было, потому что он прожил жизнь себе на радость, как они его ни гнули в бараний рог, как ни донимали; и я подумал — вот побуду с ним и научусь, под старость, пожалуй, и пригодится, чтоб не скиснуть. А может, я и больше понимал, сам того не зная: знал же я, что все сделаю, о чем он ни попросит, пусть просит о чем угодно; помог же я ему взломать аптеку, чтобы добраться до спирта, и помог потом спрятать бутылку от миссис Мерридю, а он меня и не спросил ни о чем, само собой разумелось, что я помогу. Может, я даже знал, что выкинет старик Джоб. Тогда-то он еще ничего не выкинул, до дела дошло, только когда дядя Вилли на свой лад с жизнью прощался, и не будь там меня, он стоял бы в одиночку против всех до смерти и навеки запуганных: и дышать-то, мол, надо

по указке, как у нас в Джефферсоне ведется; из Джефферсона, правда, он улизнул, но куда ж денешься от старика Джоба, а уж тот джефферсовец из джефферсонцев.

На неделе я подработал, газоны стриг: набралось до двух долларов. Сел я на автобус, когда было велено, и он меня ждал на загородной в каком-то «фордике» без верха, на ветровом стекле нестертая надпись мелом: «85 долларов наличными», а на заднем сиденье новехонья скатанная палатка; дядя Вилли за шофера, с ним рядом старик Джоб, и дядя Вилли прямо молодцом, в новенькой, козырьком назад, клетчатой кепке с большим масляным пятном, в свежем целлулоидном воротничке, как всегда без галстука, нос облез от солнца, консервы на кепке, а глаза из-под очков так и сияют. Я бы с ним куда угодно поехал; и сейчас бы снова поехал, плевать, что знал бы, чем это кончится. Он и тогда меня не спрашивал и сейчас не пришлось бы. Я уселся на скатку, и поехали мы не в город, а совсем в другую сторону. Я спросил, куда мы едем, а он мне только: «Погоди» — и гнал несчастный автомобильчик, словно и самому невтерпех доехать, и по голосу его слышно было, что вот теперь — да, теперь будет так, что лучше и не придумаешь, а старик Джоб впереди меня уцепился за борт и покрикивал на дядю Вилли: чего, мол, разогнался. Да. Может, я, глядя на старика Джоба, наперед понимал, что дядя Вилли хоть и улизнул из Джефферсона, но не ушел от него, а только что увернулся.

И мы подъехали к дорожному знаку, к указателю с надписью «Аэродром», свернули, и я сказал: «Чего? Куда это мы?» — а дядя Вилли только: «Погоди. Ладно, погоди», словно он и сам не мог дожидаться, согнулся над баранкой, седые пряди из-под кепки поддувало ветром, воротничок сбился наверх и в просвет виднелась шея; а старик Джоб твердил (ну да, мне, в общем-то, все уже было ясно):

— Ишь, чего раздобыл, скажи ты. Вон делов натворил. А я ему говорил, что нечего. Я ему наперед говорил.

Мы подъехали к аэродрому, дядя Вилли притормозил и показал рукой, не успел даже вылезти:

— Вон, смотри.

Самолет летал кругами, а дядя Вилли бегал по краю поля и махал платком, с самолета заметили, приземлились и подъехали к нам, — такой двухцилиндровый самолетик. А сидел в нем Секретарь, тоже в новенькой клетчатой кепке и в консервах, как и дядя Вилли; мне сказано было, что для старика Джоба тоже есть кепка и очки, только он надевать не хочет. А ночью мы разбили палатку в туристском лагере за милю от аэродрома; оказалось, что и мне есть кепка и очки. Там я узнал, как это дядю Вилли не поймали, — он рассказал мне, что купил самолет из денег, какие выручил за свой дом (сестра его продавать не стала — сама все-таки тоже там родилась), а капитан Вин с аэродрома отказывается учить его летать: нужна медицинская справка («Ей-богу, — сказал дядя Вилли, — со всеми этими республиканцами, демократами и распроперекратами скоро надо будет брать справку, чтоб в уборной за собой воду спустить»), а к врачу разве пойдешь — тот его, чего доброго, отошлет назад в Кили или отпишет миссис Мерридю: он, дескать, там-то и там-то. Вот он и решил — пусть сначала Секретарь научится; и Секретарь летает уже две недели, почти на четырнадцать дней больше, чем учился управлять автомобилем. Вот дядя Вилли и купил давеча машину и палатку, а завтра мы снимаемся. Сначала полетим в одно такое местечко, называется Ренфро, там нас никто не знает, и рядом большой выгон, это уж дядя Вилли разведаль; пробудем там с недельку, и Секретарь научит дядю Вилли управляться с самолетом. А потом полетим на Запад. Деньги кончатся, спустимся в какой-ни на есть городок и возьмем пассажиров, подзаработаем на бензин и харчи до следующего городишка: дядя Вилли и Секретарь в самолете, а мы со стариком Джобом в машине; старик Джоб сидел на стуле у стены и помаргивал, не спуская с дяди Вилли подслеповатых и кровянистых угрюмых глаз, а дядя Вилли подпрыгивал на койке, не снявши ни кепки, ни очков, воротничок у него не был подстегнут к рубашке и болтался вроде ошейника, опять же и галстука не было — то он съезжал нзбок, то оказывался задом

наперед, вроде как пастырский; а глаза сияли из-под очков, и голос у него был чистый и звонкий.

— А к рождеству будем в Калифорнии! — говорил он. — Ты только подумай — в Калифорнии!

VI

Ну, и надо после этого говорить, что меня ~~смазили~~? Да как у ~~них~~ язык поворачивается! Я, пожалуй, зная-то знал, что толку из этого не выйдет, не могло выйти, уж больно бы складно все получилось. Я небось знал даже и как оно все кончится: стоило только посмотреть на хмурого Секретаря, когда дядя Вилли рассуждал, как научится сам управлять самолетом; тем более — на старика Джоба, как он глядел на дядю Вилли. Пока-то он еще ничего не вытворил, но уж дойдет до ручки — тогда держись. Нас было двое белых, и мы были заодно. А раз я белый, значит, с меня и спрос, даром что старик Джоб и Секретарь оба старше меня: мое дело решать, а там как выйдет. Видно, я и тогда уже знал: что бы с ним ни случилось, а умереть он не умрет; вот я и подумал — поучусь-ка у него жить: мало ли что со мной случится, а умереть не умру.

И мы отправились наутро, едва рассвело, а то было там у них такое дурацкое правило, что Секретарь обязан кружить над аэродромом, пока ему не разрешат летать где захочется. Мы накачали в самолет бензину, и Секретарь полетел будто бы тренироваться. Тут дядя Вилли быстро затолкал нас в машину и сказал, что самолету шестьдесят миль в час нишечем и мы еще не опомнимся, а Секретарь уже прилетит в Ренфро. Но мы приехали в Ренфро, а Секретаря нет как нет; мы разбили палатку, пообедали, а он все не летит, и дядя Вилли начал ругаться; мы поужинали, потом стемнело, а Секретаря все не видать, и дядя Вилли ругался со страшной силой. Он прилетел только на другой день. Мы слышали его, выбежали и глядели, как он пролетел над нами — не из Мемфиса, а с другой стороны; и промчался он мимо, а мы кричали и махали ему. Но он пролетел мимо, а дядя Вилли прыгал, скакал и ругаясь ругался, и мы ~~свернули~~ палатку и загрузили ее в машину; только собрались за ним гнаться, как он опять прилетел. Мотора вовсе не слышно, зато пропеллер видать: не вертится; Секретарь вроде и не на посадку пошел, а нацелился сшибить пару-другую деревьев у края выгона. Но как-то он на бреющем только-только не зацепил за деревья и с подскоком приземлился, мы подбежали, глядя, а он сидит в кабине, глаза зажмурил, лицо как дотлевшее полено, и говорит: «Начальник, вы мне не подскажите, как бы мне тут в Рен...» — а потом открыл глаза и увидел нас. Он рассказал, что семь раз приземлялся, и все же в Ренфро, ему говорили, как долететь, он летел куда сказали, и опять, хоть убей, не Ренфро, а на ночь глядя заснул в самолете, и с Мемфиса крошки у него во рту не было, а что дядя Вилли дал ему три доллара, так он купил бензину, и не кончился бы сейчас бензин, так он бы нас в жизни не нашел.

Дядя Вилли велел мне ехать в город за бензином, чтобы он мог сразу начать учиться, но Секретарь на это был не согласен. Наотрез отказался. Самолет, говорит, ладно, дяди Виллин, пусть даже и он сам, Секретарь, тоже дяди Виллин, пока домой не вернулись, но с него покамест хватит, налетался. Пришлось дяде Вилли начать на другое утро.

Я аж подумал, что надо будет повалить старика Джоба на землю и держать двумя руками — так он орал: «Ишь, куда залез, а ну вылезай!» — а потом: «Вот я скажу! Вот я все скажу!» — и мы вместе глядели, как самолет с Секретарем и дядей Вилли мотался в воздухе и пикировал, будто дядя Вилли задумал напрямую пробиться в Китай, а потом снова вжик носом вверх и под конец выравнивался, облетал выгон и шел на посадку; и день за днем старик Джоб орал на дядю Вилли, а работники с полей, вообще все, кто мимо шел или ехал, останавливались на дороге и смотрели, как самолет приземляется, проезжает мимо нас, а в нем дядя Вилли и Секретарь как братья родные, ну лицом-то разные, я не о том, но все равно как зубья у вил на размахе; и было видно, как Секретарь вращает глазами и вытягивает губы, и почти слышно его «у-ю-ю-у-у-уй!» —

а дяди Виллины очки сверкают, и волосы поддувает из-под кепки, вон и свежесмытый целлулоидный воротничок безо всякого галстука проносится на всем ходу, и старик Джоб орет: «А ну-ка вылезай! А ну вылезай из этой штуковины!» — а Секретарь кричит: «Дяденька Вилли, вон тот отогни! Отогни же вон тот!» — и самолет взлетает, пикирует, вскидывает то одно, то другое крыло, летит на боку, того и гляди так боком и сядет, вот снова бух! — и пыль от него фонтаном, проносится вскачь, и Секретарь кричит: «Дяденька Вилли же! Отогни-и!» — а вечером в палатке глаза у дяди Вилли сияют по-прежнему, он и говорить торопится, остановиться не может, куда ему спать, а поди и не вспомнил, что спиртного кадри во рту не было с тех самых пор, как надумал купить самолет.

Да ладно, знаю я, что про меня теперь говорят, папа в то утро вместе с миссис Мерридю подвезал и сразу начал, что, мол, я же белый, без пяти минут мужчина, а Секретарь и старик Джоб негры, какой с них спрос, а мешали-то ему как раз Секретарь и старик Джоб. То-то оно и есть, этого им не понять.

Помню, в последний вечер за него враз взялись Секретарь и старик Джоб, тот подговорил Секретаря сказать дяде Вилли, что он ни за что не выучится летать, а дядя Вилли осекся на полуслове, встал и посмотрел на Секретаря.

— Ты ведь за две недели летать научился? — спрашивает.

Секретарь говорит: ну да.

— Это ты-то, паршивый, шкодливый, бестолковый, кучерявый негр?

А Секретарь говорит: ну я.

— А я университет кончил и сорок с лишним лет заправлял делом на пятнадцать тысяч долларов, и ты говоришь, я не научусь водить несчастный самолетик на полторы тысячи? — Потом он поглядел на меня. — Ты тоже думаешь, что мне это не под силу?

Я посмотрел на него и говорю:

— Нет. Я как раз думаю, что вам все под силу.

VI

Не могу я им ничего объяснить. У меня и слов таких нет. Пала мне как-то говорил, что это определено: знаешь, так и скажешь. Не знаю уж, кто это там определил, только, наверно, четырнадцатилетних мальчишек он в счет не брал. Потому что я-то знал, как оно все получится. И дядя Вилли наверняка знал, знал, что его время уже подошло. Выходит, что мы оба знали, хоть и не сговаривались, не обсуждали: он бы, что ли, мне стал говорить в тот день в Мемфисе: поехали, мол, ты мне понадобишься, как раз под рукой будешь, — а я ему: «Давайте-ка я с вами поеду, ведь понадоблюсь».

Конечно, потому что старик Джоб сходил и позвонил миссис Мерридю. Подождал, пока мы все заснем, тихонько выбрался, дошел пешком до самого города и позвонил ей; а у него и денег не было и звонил небось первый раз в жизни, а все-таки ухитрился позвонить ей и наутро прибежал по росе (до города, до телефона, было миль пять с лишком); а Секретарь как раз заводил мотор, и я понял, в чем дело, раньше, чем Джоб начал сблизить орать; кое-как бежит, спотыкается и орет: «Не пускай его! Не пускай его! Сейчас приедут! Минут десять его продержи, сейчас приедут!» — и я понял, и кинулся ему навстречу, и схватил его, а он отбрыкивался и все орал в сторону самолета с дядей Вилли.

— Ты что, позвонил? — говорю. — Ей? Ей? Ты что, сказал ей, где он?

— Позвонил! — заорал дядя Джоб. — И она сказала, что только за папой твоим заедет — и сюда, и будет к шести!

Я все держал его, он был легкий, как охатка сухого хвоста, дышал натужно, с хрипом, и сердце колотилось; тут и Секретарь подбежал, и старик Джоб принялся орать Секретарю: «Вытащи его! Едут! Сейчас приедут, только не пускай его!» — а Секретарь переспрашивал: «Кого? Которого?» — и старик Джоб крикнул ему: «Беги, держи самолет!» — и Секретарь повернулся бежать, я хотел

схватить его за ногу и не успел, а дядя Вилли, видно было, из самолета приглядывается, а Секретарь бежит к нему, и я с колен замахал и тоже заорал. Дядя Вилли вряд ли меня расслышал: мотор гудел. Но я же говорю, ему и слышать не надо было, мы и так все оба знали, и вот я стоял на коленях, прижимая к земле старика Джоба, а самолет помчался, и Секретарь за ним вдогонку; помчался, оторвался от земли, сделал нырок и снова взмыл и будто застыл в высоте над деревьями, которые Секретарь в первый день норовил сшибить, потом нырнул и скрылся за ними, и Секретарь уже бежал туда, ну и мы с дядей Джобом поднялись с земли и кинулись следом.

Да знаю я все, что про меня говорят; наслушался еще в тот день, когда мы тащились домой: впереди дроги с покойником, за ними в «фордике» старик Джоб с Секретарем, а сзади мы с папой в своей машине, все ближе и ближе к Джефферсону, — и я вдруг расплакался. Смерть что, смерть и касается нас только снаружи, вышелушивает, словно сдирает одежду, натянутую для порядка и для удобства, и вот эта никчемная шелуха из нас двоих подвела одного, меня подвела; и папа рулил одной рукой, а другой обнял меня за плечи и говорил:

— Ну-ну, ты не так меня понял. Ты не виноват. Никто тебя не винит.

Вот как оно было, ясно? Я все-таки помог дяде Вилли. Он знает: я помог. Он знает: без меня у него не вышло бы. Он знает: я помог; мы ведь на прощанье даже взглядом не обменялись, не понадобилось. Вот так вот.

А из них никто никогда не поймет, даже папа, ну кто им, кроме меня, объяснит, и как мне им растолковать, как сделать, чтобы они поняли? Ну как мне с ними быть?

Перевел В. С. МУРАВЬЕВ.

Честь

I

Я пересек приемную не останавливаясь. Мисс Уэст сказала: «У него совещание», но я не остановился. И стучать не стал. Они разговаривали, и он замолчал и уставился на меня через стол.

— Вас за сколько надо предупредить, что я сматываюсь? — говорю.

— Сматываетесь? — говорит он.

— Увольняюсь, — говорю. — Одного дня вам хватит?

Он на меня глядит, глаза выпучил.

— А что, наш автомобиль демонстрировать для вас зазорно? — говорит. Рука его с сигарой лежит на столе. На пальце кольцо с рубином с бортовой огонь размером, не меньше. — Вы у нас пробыли три недели, — говорит. — Небось не успели еще узнать, что означает наша вывеска.

Ему, конечно, невдомек, но для меня три недели срок немалый; еще два дня — и я б свой личный рекорд перекрыл. И если б он понимал, что и три недели рекордом бывают, он бы не упустил случая не сходя с места пожать руку новонспеченному рекордсмену.

Беда в том, что я ничему толком не научился. Помниге, тогда даже колледжи кишмя кишели английскими да французскими мундирами, и мы до смерти боялись — не дай бог война окончится, а мы так на нее и не попадем и не успеем пощеголять летными крылышками. А уж после войны, думали, успеем оглядеться и найти себе дело по душе, понятно?

Вот почему я после перемирия еще на два года застрял в армии летчиком-испытателем. Вот тогда-то я и повадился на крыло вылезать, иначе там и вовсе помрешь со скуки. Мы с одним парнем, Уолдрип его фамилия, поднимались на «девятке» тысячи на три, чтобы нас нельзя было засечь с земли, и я выползал на верхнюю плоскость. В мирное время служить в армии — тощица смертная: днем слоняешься, рассказываешь байки, а вечера просиживаешь за покером. Партнеры все те же, а для покера ничего хуже нет. Играют в кредит, а когда игра идет в кредит, никто не знает удержу.

Один парень. Уайт по фамилии, как-то за вечер просадил тысячу долларов. Он все проигрывал, и я уж хотел выйти из игры, но я был в выигрыше, и он требовал играть дальше, рисковал почему зря и горел на каждом банке. Он выписал мне чек, а я ему говорю: к чему такая спешка, думал замять это дело — у него ведь в Калифорнии жена осталась. А завтра вечером он опять меня тянет играть. Я его отговаривать стал, а он как вскинется. Трусом обозвал меня. И еще полторы тысячи просадил в тот вечер.

Тогда я и говорю: еще одна сдача — и мы или удваиваем ставки, или кончаем игру. Ему выходит дама. Я говорю: «Ну, твоя взяла. Я себе и сдавать не буду». Перевернул его карты, гляжу — там картинки и три туза. Он не отступается, и я говорю: «К чему дальше играть? Мне все равно не выиграть, будь у меня хоть вся колода на руках». А он не отступается. И тут мне выходит четвертый туз в масть. Я б приплатил, только б проиграть. Опять предлагаю ему порвать чеки, а он клянет меня почему зря. Я его так там и оставил — сидит за столом расхристанный, в одной рубашке и глядит на того туза.

А на следующий день нам предложили испытывать скоростной самолет. Я сделал все что мог. Не мог я ему снова чеки возвращать. Если человек был не в себе, когда обругал меня, я на первый раз ему спущу. Но во второй раз от меня такого не жди. Так вот, значит, предложили нам испытать скоростной самолет. Только я отказался. А он на пяти тысячах футов ввел самолет в пике, а как из пике выходить стал, у него на двух тысячах крылья отвалились, и еще при полном боезапасе.

Отрубил в армии четыре года — и опять я штатский. Болтаюсь на гражданке, присматриваюсь, чем бы заняться — вот тогда-то я и нанялся в первый раз автомобилями торговать, — и тут встречаю Джека, и он мне рассказывает, что один тип подыскивает для своего бродячего цирка трюкача — выходить на крыло самолета. Так я с ней и познакомился.

И

Джек (он-то и дал мне записочку к Роджерсу) рассказал, что Роджерс — летчик, каких мало, и про нее рассказал: мол, говорят, несчастлива она с ним.

— Язык, он без костей, — говорю.

— Так говорят, — Джек говорит.

И вот когда я увидел Роджерса и отдал ему записку — он был такой сухопарый, тихий парень, — я себе сразу сказал: именно такие парни, как он, и желятся на шальных темпераментных красотках из тех, что во время войны польстились на их крылышки, а потом при первом удобном случае давали деру. Так что я за себя не боялся. Я знал, не меня она дождалась эти три года.

Так вот, я думал увидеть длинноногую змееподобную брюнетку всю в страусовых перьях и вулвортовских благовониях, которая целыми днями валяется на диване с сигаретой и гоняет Роджерса на угол в кулинарию за ветчиной и картофельным салатом на бумажных тарелках. Но тут я ошибся. Она вышла ко мне в фартуке, надетом поверх простенького желтого платица, и руки у нее по локоть были не то в муке, не то в чем-то еще, и не стала ни извиняться, ни суетиться — ничего подобного. Она сказала, что Говард — так Роджерса звали — говорил ей обо мне, и я сказал:

— А что он вам говорил?

Но она только сказала:

— Вам ведь скучно будет готовить с нами обед, вы, похоже, не так привыкли проводить вечера? Наверное, вы бы предпочли прихватить пару бутылок джина и отправиться на танцы?

— Почему вы так думаете? — говорю. — Неужели у меня такой вид, будто я ни на что другое не способен?

— А разве способен? — говорит она.

Мы уже помыли посуду, выключили свет и смотрели, как горят дрова в

камине, — она сидела на подушке на полу, прислонясь к ногам Роджерса, — курили и разговаривали, и она и говорит:

— Я знаю, вы скучали у нас. Говард предлагал пойти в ресторан, а оттуда танцевать. Но я ему сказала, что вам придется принять нас такими, как есть, раз и навсегда. Жалуете, что пришли?

Иногда ей можно было дать лет шестнадцать, особенно в фартуке. А немного погодя она и мне фартук купила, и мы все втроем отправлялись на кухню стряпать.

— Мы понимаем, что вам стряпать нравится не больше, чем нам, — говорит она. — Но что поделаешь, если мы такие бедные. У нас на семью всего один летчик.

— Говард может летать за двоих, — говорю я. — Так что с этим полный порядок.

— Когда он мне сказал, что вы тоже всего-навсего летчик, я ему говорю: господи, летчик, да к тому же еще и трюкач. Что тебе стоило, говорю, выбрать такого друга дома, которого можно пригласить на обед за неделю вперед и при этом не только твердо рассчитывать на него, но еще и такого, у которого бы были деньги, чтобы нас повести куда-нибудь. Так нет, ты выбрал такого же бедного, как мы сами.

А как-то она говорит Роджерсу:

— Надо б нам подыскать Баку девушку. А то ему ведь надоест все с одними нами проводить время.

Да вы знаете, как женщина такие вещи говорит: слушаешь ее — и кажется, что-то за ее словами кроется, а поглядишь на нее — и такой у нее взгляд невинный, вроде она о тебе даже и не думала, а уж не говорила и подавно.

А может, правда, давно пора было сводить их в ресторан да и в театр.

— Только не считайте, — говорит она, — что за моими словами что-то кроется. Учтите, это вовсе не намек, чтобы вы нас куда-нибудь повели.

— А насчет девушки тоже не намек? — говорю.

Она смотрит на меня широко открытыми глазами, и взгляд у нее такой простодушный, невинный. Тогда они часто заходили ко мне перед обедом выпить коктейль-другой (Роджерс-то сам не пил), и когда я вечером возвращался домой, на столике под зеркалом бывала рассыпана пудра, валялся ее платок или какая-нибудь мелочь, я ложился спать, и комната пахла так, словно она и не уходила. А она и говорит:

— Вы в самом деле хотите, чтоб мы вам подыскали девушку?

Но больше мы никогда об этом не говорили, а немного погодя, когда надо было помочь ей взобраться на подножку или еще какую-нибудь услугу оказать, какие мужчины женщинам должны оказывать, при которых касаться их приходится, она стала обращаться ко мне, будто это я ее муж, а не он; как-то раз нас уже за полночь застиг в центре ливень, и мы пошли ко мне, и она с Роджерсом спали в моей постели, а я в гостиной на кресле.

А как-то вечером я одевался — собирался к ним, — и вдруг зазвонил телефон. Звонит Роджерс.

— Я, — говорит и замолкает, будто ему рот заткнули, и я слышу, как они говорят, шепчутся, вернее, она говорит. — Ну, так... — говорит Роджерс.

Потом слышу, она дышит в трубку, называет меня по имени.

— Не забудьте, — говорит, — что мы вас ждем.

— Я не забыл, — говорю. — Разве я что-нибудь напутал? Разве мы на сегодня не...

— Приходите, — говорит она. — До свидания.

Он открыл мне дверь. Лицо у него было такое, как обычно, но я остановился на пороге.

— Входи, — говорит.

— Может быть, я все-таки что-то напутал, — говорю. — Так что если зам...

Он распахнул дверь.

— Входи, — говорит.

Она лежала на диване, плакала. Из-за чего, не знаю, вроде из-за денег.

— Сил моих больше нет, — говорит, — я терпела, терпела, но нет больше моего терпения.

— Ты же знаешь, сколько у меня уходит на страховку, — говорит он. — Случись что со мной, как ты жить будешь?

— А сейчас я как живу? Да у любой нищенки денег больше, чем у меня.

На меня она и не посмотрела, лежит ничком, и фартук под ней сбился.

— Почему б тебе не бросить эту работу и не подыскать такую, где была б нормальная страховка, как у людей?

— Ну, мне пора, — говорю.

Не к чему мне было оставаться там. Я и ушел. Он проводил меня к выходу. С порога мы оба оглянулись на дверь, за которой она лежала ничком на кушетке.

— У меня накопилось немного денег, — говорю, — я, наверное, столько у вас кормился, что просто не успел их потратить. Так что если вам нужно... — мы стояли на пороге, он рукой дверь придерживал. — Мне, конечно, не хотелось бы вмешиваться не в свои...

— Вот и не вмешивайся, — говорит он. И распахнул дверь. — До завтра, увидимся на поле.

— Ага, — говорю. — На поле.

И почти неделю я ее не видел и никаких вестей от нее не имел. Его я видел каждый день и наконец не выдержал и спросил:

— А что подельвывает Милдред?

— Погостить уехала, — говорит он. — К матери.

Еще две недели прошло, мы с ним каждый день виделись. Я с крыла всегда вглядывался в его глаза за очками. Но мы даже имени ее не упоминали, а тут он мне сообщает, что она вернулась и они меня приглашают к обеду.

Было это днем. Он все время занят был — возил пассажиров, — так что мне делать было нечего, я убивал время, ждал вечера и думал о ней, пытался догадаться, что там у них произошло, а чаще просто думал, что вот она опять дома и дышит той же гарью и дымом, что и я, и вдруг решил — пойду к ней. Будто голос услышал: «Иди к ней сейчас же, не медля». И пошел. Даже переодеться не стал, чтоб времени не терять. Она была одна, читала перед камином. Видали, как нефть полыхает, когда прорвет трубопровод?

III

Чудно! С крыла я всегда вглядывался в его лицо за козырьком, пытался угадать — знает он или нет. Он, должно быть, знал, чуть ли не с самого начала. Что тут удивительного: она ведь нисколько не остерегалась. Она и говорила так со мной и вела себя так: старалась, понимаете ли, сесть ко мне поближе, когда я от дождя укрывал ее плащом или нес ее зонтик, прижималась ко мне — словом, любой мужчина с одного взгляда понял бы, в чем тут дело, — и все это не только когда он нас не видит, а когда ей казалось, что вдруг он и не увидит. И когда я отстегивал привязной ремень и выползал на крыло, я всегда вглядывался в его лицо и пытался угадать, о чем он думает, знает все или только подозревает.

Туда я ходил до обеда, когда он был занят. Я болтался по полю и как только видел, что к нему собралась такая очередь, что он будет занят до конца дня, выдумывал какой-нибудь предлог и смывался. И вот как-то я собрался было уходить. Жду только, чтоб он взлетел, а он убрал газ, высунулся из кабины и подзывает меня.

— Не уходи, — говорит, — надо поговорить.

Так я понял, что он знает. Я обождал, и вот он уже сделал последний круг и стаскивал комбинезон. Он на меня глядит, я на него.

— Приходи обедать, — говорит.

Когда я пришел, они меня уже ждали. Она была в одном из этих своих

светлых платьиц, и она подошла ко мне, обняла и поцеловала, а он смотрел на нас.

— Я ухажу с тобой,— говорит.— Мы все обсудили и решили, что мы не можем больше любить друг друга и что так будет лучше всего. Тогда он найдет себе женщину, которую он может любить, хорошую женщину, не то что я.

Он смотрит на меня, а она гладит меня по лицу, в шею мою уткнулась, постанывает, а я стою как каменный. И знаете, о чем я думал? Я вовсе и не думал о ней. Я думал: вот мы с ним летим и я на крыло вылез и вижу — он ручку управления выпустил и одним рулем поворота крен держит, и он знает, что я знаю, что он ручку управления выпустил и что ни случись — теперь мы с ним квиты. Так что чувств во мне не больше, чем в деревяшке, о которую трется другая деревяшка, и тут она отстранилась и поглядела на меня.

— Ты меня больше не любишь? — говорит и всматривается в меня.— Если любишь, так и скажи. Я ему все рассказала.

И я захотел очутиться подальше от них. Убежать захотел. Я не испугался, нет. Просто все стало каким-то потным и нечистым. И я захотел хоть ненадолго очутиться подальше от нее и чтоб мы с Роджерсом летели там, в высоте, где холод, порядок и покой,— и там мы с ним сведем счеты.

— Чего ты хочешь? — говорю.— Ты ей дашь развод?

А она все вглядывается в меня. Потом отпустила, отбежала к камину, заслонила лицо локтем и давай рыдать.

— Ты меня обманывал,— говорит.— Все, что ты мне говорил, ложь. Господи, что я наделала!

Да вы знаете, как оно бывает. Всему, похоже, есть свое время. И никто, похоже, не существует сам по себе: и женщина, похоже, даже когда ее любишь, только временами для тебя женщина, а остальное время просто человек, и человек этот совсем по-другому на вещи смотрит, чем мы, мужчины. И по-разному мы понимаем, что порядочно, а что нет. И вот подошел я к ней, стою, обнимаю ее, а сам думаю: «Наказанье господне, да обожди ты, не мельтешишь. Мы ведь оба хотим все так устроить, как для тебя лучше».

Потому что я ее, понимаете ли, любил. Ничто так не сближает мужчину и женщину, как общий грех, тайный грех. А потом, ведь у него все возможности были. Ведь если б я с ней первый познакомился и на ней женился бы, а он был бы на моем месте, так и у меня были бы те же возможности. Только так они были у него, и он свой случай упустил, так что когда она сказала: «Тогда скажи, что ты мне говоришь, когда мы одни. Говорю тебе, я ему сказала все» — я и говорю:

— Все? Ты ему все сказала?

А он смотрит на нас.

— Она тебе все сказала? — говорю.

— Не важно,— говорит он.— Хочешь жить с ней?

Я не успел ответить, а он говорит:

— Любишь ее? Будешь о ней заботиться?

И лицо у него серое, знаете, как бывает, когда, долго человека не видя, при встрече вдруг вскрикнешь: «Господи, да неужто это Роджерс?» Когда мне наконец удалось уйти, мы порешили на разводе.

IV

И вот назавтра, только я пришел на поле, как Гаррис, тот самый, владелец нашего цирка, и говорит, что сегодня одну особенную работенку выполнить придется; я о ней, похоже, запамятовал. Как бы там ни было, гольфо Гаррис говорит:

— Я ведь тебе о ней заранее сказал.

Мы попрекались, а под конец я ему заявил напрямик, что с Роджерсом не полечу.

— Это почему? — говорит Гаррис.

— Его спроси,— говорю.

— А если он не против с тобой летать, тогда полетишь?

Я и согласился. Тут Роджерс подошел и говорит, что он со мной полетит. И я решил, что он давно про работу эту знал и мне расставил западню и подловил-таки. Мы обождали, пока Гаррис уйдет.

— Так вот почему ты вчера так мягко стелил, — говорю. И послал его подальше. — Я теперь у тебя в руках, так, значит?

— Садись ты в кабину, — говорит он, — а я твой номер выполню.

— Да ты хоть раз такие номера выполнял?

— Нет. Но если ты машину строго поведешь, я справлюсь.

Я послал его подальше.

— Радуюсь, — говорю. — Счастлив, что я у тебя в руках. Валяй, только смотри, как бы потом пожалеть не пришлось.

Он повернулся, пошел к самолету и лезет в переднюю кабину. Я пошел за ним, схватил за плечо и крутанул к себе. Он на меня глядит, я на него.

— Если ты добиваешься, чтоб я тебе врезал, — говорит, — зря стараешься. Придется тебе обождать, пока мы приземлимся.

— Не выйдет, — говорю. — Потому что я сдачи хочу дать.

И опять он глядит на меня, а я на него. А Гаррис за нами из конторы наблюдает.

— Ладно, — говорит Роджерс, — только дашь мне твои башмаки, а? У меня нет при себе пары на резиновом ходу.

— Лезь в кабину, — говорю, — какая разница? Я на твоём месте, наверное, поступил бы так же.

Лететь нам предстояло над увеселительным парком, в нем тогда бродячий цирк стоял с палатками, с лотереями всякими. И народу там набралось тысяч двадцать пять, не меньше, сверху ну точь-в-точь муравьи пестрые. Я в тот день так лихачил, как никогда, но с земли это незаметно. И каждый раз, как я шел на риск, самолет оказывался подо мной — это Роджерс меня страховал креном, будто знал мои мысли наперед. Я думал, он надо мной, понимаете ли, измывает-ся. Я все на него оглядывался и кричал:

— Ну что ж ты, я ведь у тебя в руках! Что, кишка тонка?

Похоже, я тогда не в себе был. А иначе этого не поймешь: как вспомню — мы с ним наверху, орем друг на друга, внизу жучки эти бесчисленные следят за нами, ждут главный козырь нашей программы — мертвую петлю. Он-то меня слышал, а я его нет; видел только, как движутся его губы.

— Ну что ж ты, — ору, — качни крылом — и мне конец, понял?

Я не в себе был. Как, понимаете ли, бывает, когда знаешь: чему быть, того не миновать, и так и торопишь события. Наверное, и влюбленным и самоубийцам такое знакомо. Вот я ему и ору:

— Хочешь меня незаметно угробить, так? Ведь если в горизонтальном полете меня стряхнуть, тогда придаться могут? Ладно, — ору, — начали!

Вернулся я к центроплану и ослабил фалу там, где она идет вокруг подкоса, ухватился за подкос, оглянулся на Роджерса и подал ему знак. Я не в себе был. И без передышку орал на него. Не помню, что я там орал. Видно, думал, что я уже разбился, только сам того не знаю. Расчалки загудели, и я увидел прямо перед собой землю с цветными точками. Тут расчалки как взвыли, и он дал полный газ, и земля поползла из-под фюзеляжа. Я подождал, пока она не исчезла из виду, а потом горизонт тоже пополз назад, и теперь я видел только небо. Тут я вытянул один конец троса и швырнул им в Роджерса, и самолет пошел свечой, и я раскинул руки.

Я не хотел покончить с собой. Я думал не о себе. Я о нем думал. Хотел доказать, что не один он такой благородный. Подловить его хотел на чем-то, на чем он обязательно даст слабину, как он подловил меня. Хребет ему хотел сломать.

Мы уже вышли из мертвой петли, когда он меня потерял. Снова показалась земля и крохотные пестрые точки на ней, и тут я почувствовал, что центробеж-

ная сила ушла и я падаю. Я сделал полусальто и вместе с самолетом вошел в первый виток плоского штопора. Я летел лицом к небу, как вдруг меня что-то стукнуло по спине. Из меня тут же дух вон. И на минуту я, наверное, потерял сознание. А когда открыл глаза, оказалось, что я лежу навзничь на верхней плоскости, а голова у меня перевешивается через край.

Я откатился далеко, не смог зацепиться подколленками за переднюю кромку крыла и уже чувствовал, как снизу меня обдувает ветер. Я боялся шелохнуться. Знал: стоит мне сесть против струи винта — и меня онесет назад. По положению хвоста к горизонту я видел, что мы находимся в положении пики, видел, как Роджерс всѣает у себя в кабине, отстегивает привязной ремень, а повернув чуть голову, мог бы увидеть, как я, падая, пролечу мимо фюзеляжа, ну разве что чуть плечом его задену.

И вот лежу я там, снизу меня обдувает ветром, и чувствую — мои плечи потихоньку повисают над бездной, пересчитываю, как мои позвонки один за другим переползают через край, и смотрю, как Роджерс карабкается вдоль фюзеляжа к передней кабине. Долго я смотрел, как он медленно, дюйм за дюймом преодолевал встречный поток и брючины его полоскались на ветру. А немного погодя увидел, как он перекинул ноги в кабину, а потом уж почувствовал, как меня хватают его руки.

Был в моей эскадрилье парень. Я его не любил, да и он меня на дух не переваривал. Ну ладно. Так вот он как-то меня из жуткой передраги спас: у меня за десять миль от линии фронта заклинило мотор. А сели мы, он и говорит: «Ты не думай, что я спасал тебя. Я воображал, что беру немца в плен, вот я его и взял». Ох и понес он тогда меня, очки на лоб вздел, руки в боки, несет меня почем зря, да так спокойненько, будто улыбается. Ну да ладно. Тут ведь каждый на своем «кэмеле». Ты выходишь из строя — плохо дело, он выходит из строя — тоже нехорошо. Совсем другой колленкор, когда ты на центроплане, а он у ручки управления сидит, и ему ничего не стоит сбавить обороты на минуту или зависнуть в верхней мертвой точке.

Но тогда я молодой был. Господи, ведь и я был молодой. Помню ночь на перемирие в восемнадцатом году, ох и погонял я тогда по Амьену, с задрюгой немцем, которого мы утром сбили на «альбатросе», — от лягушачьей военной полиции его спасал. Он был славный парень, а эти паршивые пехотинцы хотели запихнуть его в каталажку, битком набитую перебравшими поварами и прочей шушерой. Я пожалел парня: так далеко от дома его занесло, побили их к тому же, и вообще. Молодой я был тогда, это точно.

Все мы были молодые. Помню одного индийца, принц. Оксфорд окончил, ходил в тюрбане и в щегольской майорской форме, так он говорил, что все, кто войну прошел, мертвецы. «Все вы мертвецы, — говорил он, — хоть вам это и невдомек. И разница только в том, что им, — махнул он рукой в сторону фронта, — на это наплевать, а вам невдомек». И еще говорил, что мы еще долго будем дышать, ходячими захоронениями станем, катафалками, надгробьями и эпитафиями людей, которые умерли 4 августа 1914 года и сами не знают, что они умерли, так он говорил. Чудила он был, педик. А так славный парень.

Но до тех пор, пока Роджерс в меня не вцепился и я лежал на верхнем крыле этого «стандарда» и пересчитывал позвонки, муравьиной шеренгой переползавшие через край фюзеляжа, я еще не был мертвецом. Он в тот вечер пришел на базу попрощаться со мной и принес письмо от нее — первое, больше я от нее писем не получал. Почерк на нее похож, и мне почудился запах ее духов и померещилось, будто ее руки меня касаются. Я разорвал письмо пополам не вскрывая и бросил обрывки наземь. А он поднял их и подал мне.

— Не валяй дурака, — говорит.

Вот и все. У них теперь ребенок, парнишка лет шести. Роджерс мне написал, письмо его меня настигло через полгода. Я его крестный. Чудно иметь крестного, который тебя никогда не видел и которого ты никогда не увидишь, верно?

V

Вот я и говорю Рейнхардту:

— Одного дня вам хватит?

— Минуты хватит, — говорит он. И нажимает звонок.

Входит мисс Уэст. Она славная девчушка. Иногда, когда мне хочется отвести душу, мы с ней ходим обедать в молочную напротив и я ей рассказываю об их брате, о женщинах. Хуже их никого нет. Вызовут тебя, понимаете ли, машину демонстрировать, приедешь, а их на крыльце уже столько, что в машину не влезть, и вот впихнутся они и давай от магазина к магазину колесить. Я туда-сюда кручусь, выискиваю место для стоянки, а она и говорит: «Джон настаивал, чтоб я посмотрела эту модель. Но я ему так и скажу: глупо покупать машину, которую так трудно поставить».

Уставятся мне в затылок, и глаза у них блестят жестко и подозрительно. Бог их знает на что они рассчитывали: похоже, думали, машину можно, как шезлонг, сложить и к гидранту прислонить. Только, черт меня дерь, я б не мог всучить и выпрямителя для волос вдове негра, погибшего в железнодорожной катастрофе.

И вот входит мисс Уэст, она славная девчушка, только ей кто-то сказал, что я за год перебивал не то на трех, не то на четырех работах — нигде подолгу не задерживался и что я был военным летчиком, вот она и пристаёт ко мне — почему я летать бросил да почему бы мне снова в летчики не податься. Теперь ведь самолеты в ход пошли, а автомобилями я торговать не умею, да и ничем другим тоже; знаете, как женщины приставать умеют. И такие они участливые, и такие настырные, и рот им не заткнешь — не то что мужчине. И вот входит она, и Рейнхардт говорит:

— Мистер Моноган нас покидает. Пошлите его к кассиру.

— Благодарствуйте, — говорю, — дарю эти деньги вам — купите себе на них обруч.

Перевела Л. БЕСПАЛОВА.



ДНЕВНИКИ. ВОСПОМИНАНИЯ

МИХАИЛ ИВАНОВИЧ КАЛИНИН

19 ноября 1975 года исполняется 100 лет со дня рождения Михаила Ивановича Калинина, выдающегося деятеля Коммунистической партии и Советского государства, верного ученика и соратника В. И. Ленина.

М. И. Калинин прошел большой и славный путь от рабочего-токаря до руководителя верховного органа Советского государства. Трудящиеся любили Михаила Ивановича за его простоту и глубокую человечность.

Калинин рано вступил на путь революционной борьбы. В 1896 году он стал работать на Путиловском заводе, где организовал марксистский кружок, входивший в ленинский петербургский «Союз борьбы за освобождение рабочего класса». С 1898 года М. И. Калинин — член РСДРП.

14 арестов и ссылок, десять лет, проведенных в тюрьмах, — вехи его биографии, биографии профессионального революционера.

В разгар революции 1905 года Калинин приезжает в Петербург, активно включается в революционную работу, готовит боевые дружины для вооруженного восстания. В 1906 году он избирается членом Петербургского комитета РСДРП и участвует в качестве делегата на IV (Объединительном) съезде партии, где твердо отстаивает ленинскую большевистскую линию.

Признанием авторитета и заслуг Калинина перед партией явилось его избрание кандидатом в члены ЦК РСДРП на VI (Пражской) конференции большевиков и введение в состав Русского бюро ЦК.

В марте 1919 года по предложению В. И. Ленина Калинин единодушно избирается Председателем Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета (ВЦИК). «Это товарищ, за которым около двадцати лет партийной работы; сам он — крестьянин Тверской губернии, имеющий тесную связь с крестьянским хозяйством... Петроградские рабочие сумели убедиться, что он обладает умением подходить к широким слоям трудящихся масс...»¹, — сказал В. И. Ленин, рекомендуя кандидатуру М. И. Калинина.

После создания Союза Советских Социалистических Республик в 1922 году Калинин — Председатель ЦИК СССР, а с 1938 года Председатель Президиума Верховного Совета СССР.

Двадцать семь лет Михаил Иванович самоотверженно работал на посту руководителя верховного органа Советского государства, отдавая все силы, энергию, богатейший жизненный опыт развитию социалистического государства, упрочению союза рабочих и крестьян, укреплению дружбы народов СССР.

Государственную деятельность Михаил Иванович умело сочетал с партийной работой. С марта 1919 года он член Центрального Комитета партии и кандидат в члены Политбюро, а с января 1926 года — член Политбюро ЦК ВКП(б).

¹ В. И. Ленин. Полное собрание сочинений, т. 38, стр. 224.

В суровые годы гражданской войны и иностранной интервенции Калинин совершил 12 поездок по стране с агитационно-инструкторским поездом ВЦИК «Октябрьская революция», посетив за двадцать месяцев (май 1919 — декабрь 1920 годов) свыше 260 городов и сел. Только за первые 4 поездки он выступил 241 раз. Михаил Иванович говорил, что главная цель этих поездок — ближе узнать запросы рабочих и крестьян, оказать непосредственную помощь при решении политических и хозяйственных задач на местах.

В годы восстановления народного хозяйства, в период индустриализации страны и коллективизации сельского хозяйства, во время первых пятилеток и Великой Отечественной войны он объездил весь Советский Союз от Вологды до Абхазии, от Минска до Владивостока, выступая в крупных городах и небольших селах. Его можно было видеть в оживленной беседе с рабочими на заводах и на стройках, с крестьянами, с бойцами Красной Армии. «Всесоюзный староста» — так любовно звали его в народе.

Особое место в работе Калинина занимала Приемная. Сюда шли люди со всех концов страны с заявлениями, предложениями, жалобами. За двадцать семь лет работы в Приемной лично М. И. Калинин, членами ЦИК СССР и ВЦИК было принято около миллиона посетителей. На его имя поступило не менее трех миллионов писем. Работа Приемной Калинина — яркий пример неразрывной связи верховного органа нашего государства с широкими массами трудящихся.

Исключительно велики заслуги Калинина в деле коммунистического воспитания народа, в деле пропаганды идей марксизма-ленинизма. Огромное внимание уделял Михаил Иванович молодому поколению, его нравственному, физическому и трудовому воспитанию. Все его высказывания отличались доходчивостью, убедительностью, глубиной. За ними чувствовался человек горячего, кристально-чистого большевистского сердца.

«С полным основанием, — писала 3 июня 1947 года в редакционной статье «Правда», — можно назвать Михаила Ивановича Калинина одним из просветителей народа. Глубоко образованный марксист, он оставил нам книги, входящие в духовную сокровищницу нашей страны. Теоретические знания сочетаются в этих книгах с великим опытом социалистического строительства. Глубокая мысль их выражена в простой, классически ясной форме. Советские люди прекрасно помнят речи Калинина, в которых сверкал его оригинальный ум, искрился тонкий юмор и живое человеческое чувство выражалось в них, так что сердца слушавших наполнялись волнением. Среди большевиков — пропагандистов и агитаторов ему принадлежит одно из первых мест»².

Громадно литературное наследие Калинина: более 200 книг и брошюр, изданных на 82 языках народов мира, общим тиражом 59 898 тысяч экземпляров, свыше двух тысяч статей, речей, докладов и выступлений³.

Всю прекрасную жизнь революционера-ленинца М. И. Калинин отдал беззаветному служению народу, борьбе за построение коммунизма.

За годы советской власти вышло огромное количество воспоминаний рабочих, крестьян, воинов, писателей, партийных и советских работников о встречах с Калининным. Кто бы ни писал о Михаиле Ивановиче, все отмечают его ленинскую принципиальность, высокий ум государственного деятеля, сердечность, скромность и демократизм.

Одно из воспоминаний сегодня публикует журнал.

В. МАКЕЕВА,

главный хранитель фондов Музея М. И. Калинина.

² «Правда» от 3 июня 1947 года, стр. 2.

³ По данным Всесоюзной книжной палаты на 1 января 1975 года.

А. ЭРДЭ



ВСТРЕЧИ С М. И. КАЛИНИНЫМ

Первый раз я увидел М. И. Калинина ранней весной двадцатого года в Харькове, куда он приехал по приглашению Г. И. Петровского, Председателя ЦИК Украины, с агитпоездом «Октябрьская революция». Он шел по перрону в распахнутом пальто и картузе, улыбаясь и приветствуя встречавших его.

О поезде «Октябрьская революция» рассказывали тогда чудеса, многие дивились неумной фантазии художников-футуристов, разрисовавших прошивки вагонов драконами и другими «чудищами капитализма». Сам М. И. Калинин упомянул о них не без юмора на заседании ВЦИК 23 октября девятнадцатого года. «Этот поезд с внешней стороны резко бросается в глаза своими рисунками,— говорил Михаил Иванович,— и когда я в первый момент подошел к нему, то, по совести говоря, мне немножко было страшно, так как этот поезд слишком уж своими разрисованными картинами бросается в глаза... Всюду, где мы останавливались, он производил огромное впечатление и привлекал громадное количество населения. Население обходило его кругом, разбирало картины, спорило между собой (как грамотные, так и неграмотные), что из себя представляет данный рисунок. Мы слышали постоянные споры у того или другого вагона. Одним словом, эта поездка сразу сблизилась с нами местное население».

Мне, работавшему тогда руководителем УКРОСТА (Украинское бюро Российского телеграфного агентства), не терпелось, естественно, увидеть агитпоезд — на Украине он был тогда новинкой. В предвкушении художнических «чудес» я тут же прошелся вдоль цветастых вагонов, пытался найти гидру, пронзенную штыком красноармейца, долго искал — и не нашел... Ее не было! Позже я узнал, что всю живопись на вагонах обновили; старые рисунки смыли и гидру затерли, после того как иные, глядя на ее корчи, осеняли себя крестным знаменем.

Прямо с вокзала встречавшие Михаила Ивановича вместе с ним двинулись к товарной станции, одному из сборных пунктов субботника.

Все в приподнятом, праздничном настроении от сознания, что Калинин рядом. Народ назвал его всероссийским старостой, а шагавшего рядом с ним Г. И. Петровского — всеукраинским старостой.

Те, кто работал вблизи Калинина, помнят, что в то памятное утро он наотрез отказался от предложенной ему легкой работы и слаженно, наравне с другими орудовал молотом, забивал клинья в бревна, колол и пилил дрова. Фотокорреспондент заснял Михаила Ивановича за работой — он в длинном черном пиджаке и черной фуфайке, в папахе, кто-то, очевидно, уговорил надеть ее вместо картуза... Рядом Г. И. Петровский, опирающийся на лопату, — у него короткий миг отдыха...

Но вернусь к агитпоезду. Переходя из вагона в вагон и знакомясь с его агитационной деятельностью — а она отличалась многообразием средств, яркостью, доходчивостью, — я с завистью глядел на все это. Мы у себя только еще мечтали снарядить агитвагон или, на худой конец, открыть свое агитбюро в одном из курсирующих поездов. Ведь сколько их уже колесило по стране: «Красный Восток», «Красный казак», «Октябрьская революция». Нам на Харьковщине приходилось в ту пору довольствоваться только «красными повозками», которые представляли собою простые фургоны, обитые кумачом или выкрашенные красной охрой. Заправляли фургонами молодые партийцы или комсомольцы, понаторевшие на агитации и не боявшиеся кулацких угроз — сегодня агитаторов видели в одном селе, завтра в другом. Отчаянные хлопцы!

На прощание работники агитпоезда дали нам свежееотпечатанную листовку с текстом на русском и украинском языках, пахнущую еще типографской краской. В листовке говорилось о том, что Калинин и Петровский решили «присмотреться не из кабинета Москвы или Харькова, а на месте, как живут рабочие и крестьяне... прислушаться к голосу их... рассказать про внешнее и внутреннее положение

нашей Федеративной Республики», принять от населения жалобы и тут же в поезде рассмотреть их. К этому добавлялось, что в поезде есть книжная лавка и кинематограф.

Всего в двадцати строках было сказано все что нужно. Читалась она легко, доходчиво, чему способствовали крупные и четкие шрифты.

Через три дня Харьков провожал М. И. Калинина и Г. И. Петровского. В Донбассе их ждали так же нетерпеливо, как раньше у нас...

А вот другая встреча.

Весною двадцать второго года я вернулся после трехлетнего перерыва в Москву, в редакцию «Известий ВЦИК». Надо было подумать о жилье.

Юрий Михайлович Стеклов, наш редактор, не знал, как и чем мне помочь: своих домов редакция не имела. Подумав, он решил позвонить М. И. Калининну, чтоб заручиться его поддержкой.

М. И. Калинин отозвался:

— Пусть зайдет...

Я пришел в назначенный день и час.

Приемная Калинина помещалась тогда, как и много лет спустя, на углу Моховой и Воздвиженки (ныне угол проспекта Маркса и проспекта Калинина). Секретарь тотчас пропустил меня к Михаилу Ивановичу. Кабинет Председателя ВЦИК оказался небольшой, скромно обставленной комнатой.

В ответ на приветствие Михаил Иванович протянул руку и предложил сесть.

— Вот принес...— Я положил на стол заявление.

— Знаю, уже слышал,— откликнулся Калинин, пробегая глазами бумагу.— Ну что ж...

Он взял ручку и написал (передаю по памяти): «Тов. Мальков, прошу предоставить т. Эрдэ жилье вне очереди». (П. Д. Мальков, комендант Кремля, ведал домами ВЦИК.) Я побежал в Кремль; легко понять, как был я взволнован оказанным приемом.

Мой случай лишь один из многих такого рода. Тут наглядно сказалось давнее благожелательное и чуткое отношение Михаила Ивановича к журналистам вообще, и прежде всего к известинцам. Он сознавал свою особую ответственность за центральную советскую газету и неизменно приходил ей на помощь.

По инициативе Калинина в «Известиях» были созданы отделы «Деревня и крестьянство» и «Советское строительство». Он сказал однажды заместителю редактора Г. Цыпину, что для заведования отделами в центральном органе нужно подбирать работников не менее тщательно, чем в коллегии наркоматов.

— А редактор,—добавил Михаил Иванович,— тот же нарком...

Калинин с одобрением отнесся к замыслу Стеклова запечатлеть работу «Известий» в фильме. «Микроб коммунизма» — так назвалась документальная кинокартина в трех частях, поставленная сотрудником редакции Дубровским. В фильме ярко отразилась не только деятельность всех отделов газеты, но и их неразрывная связь с жизнью — с заводами, стройками, с крестьянскими хозяйствами.

Помню, с каким вниманием Калинин слушал Стеклова, когда тот докладывал о будущем здании «Известий». В начальный период редакция ютилась в трех комнатах Смольного, а с переездом в Москву она обладала уже «целым» этажом в сытинском здании на Тверской. А потом подошла пора строить. Сегодня нелегко понять, что это значило в 20-х годах, когда не хватало цемента, кирпича, бетона, стекла. Все мы высоко заносились мыслью, мечтали о двенадцатиэтажном здании. М. И. Калинин поддержал нашу идею, и высотное здание, хоть и медленно, начало расти; мы с восторгом смотрели на заложенный фундамент. Маяковский воспел эту стройку:

Восторженно видеть
рядом и вместе
пыхтеье машин
и пыли пласты.

как плотники
с небоскреба «Известий»
плюются
вниз
на Страстной монастырь...

Обстоятельства сложились так, что число этажей пришлось сократить вдвое. И если бы не помощь Калинина, здание не скоро приютило бы нас.

Запомнился и другой случай вмешательства М. И. Калинина в газетную «бучу кипучую» (тоже в 20-х годах). Газета «Известия» тогда сильно запаздывала отчасти из-за несовершенства и изношенности оборудования, отчасти по вине работников типографии. М. И. Калинин на созванном им совещании раскритиковал директора типографии Баринова за упущения. Директор вовсе упал духом, подумал, что Калинин вот-вот предложит снять его с работы как несправившегося, и решил опередить такое решение просьбой об увольнении.

И надо было видеть, как М. И. Калинин отчитал незадачливого директора.

— Мы собрались сюда, — сказал он, — не для того, чтобы вас снять — это проще просто! — а для того, чтобы вы кое-что уяснили из сказанного и вывели «Известия» из позорного прорыва. Вы это обязаны сделать. И на этом закончим. Ступайте и принимайте меры.

И «Известия» вскоре стали выходить сравнительно регулярно.

С середины 20-х годов М. И. Калинин возглавил общество «Долой неграмотность» (ОДН), крупнейшее звено в культурной революции, охватившей самые глухие уголки нашей необъятной родины. Общество возникло по инициативе масс, сеть ячеек уже существовала, когда в одном из кабинетов Главполитпросвета было созвано совещание группы учредителей. В памяти остались споры — как назвать новую организацию? «Общество друзей грамоты»? Оно, пожалуй, выражало сущность самой идеи. Но мы искали такое название, которое звучало бы призывом, набатом. «Общество содействия ликвидации неграмотности» — опять не то: длинно, сухо; нужно было найти всего два слова, но настоящих!

— Долой неграмотность!

Что может быть проще и яснее этих слов, понятных одинаково профессору и крестьянке?!

«Известия» были среди учредителей общества, и сотрудники газеты начиная с Ю. Стеклова приняли самое активное участие в его работе. Я стал редактором изданий общества — его журнала «За грамоту» и однодневных газет «За культурную революцию» и «Культурный поход».

Борьба за всеобщую грамотность требовала боевых усилий. Ю. Стеков в те годы писал: «Нужно, чтобы лозунг «Долой неграмотность» стал в нашей среде таким же обычным и популярным, как некогда «Долой самодержавие!». Да по существу неграмотность с самодержавием тесно связаны: первая есть прямое последствие второго».

Как и в борьбе с царским самодержавием, наши ликвидаторы неграмотности, разведчики культурной революции, подвергались яростным преследованиям классового врага.

Велика роль Михаила Ивановича Калинина как организатора и вдохновителя этой борьбы, как председателя общества «Долой неграмотность».

Калинина я видел и слышал не раз в непосредственной близости на заседаниях, намечавших пути культурного похода. А иногда мы посылали ему материалы, полученные редакцией журнала, попадались корреспонденции с личным обращением и запросами к Калинину. Он всегда находил время для ответа. Один из наших селькоров жаловался Калинину: «Как быть, Михаил Иванович? Скажи, пожалуйста! Обращаюсь к тебе, потому что ты председатель общества «Долой неграмотность», потому что ты наш Всесоюзный Староста. Я знаю, что ты болеешь за наше положение. Так скажи хоть, что делается, чтобы облегчить нам нашу жизнь, а с этим и улучшить нашу работу?» В письме ликвидатора неграмотности указывалось на беспорядки: «Подвод никаких не дают... сельсовет другой раз не оказывает никакой помощи. Надеешься на комсомол, но и они тоже иногда отвора-

чиваются... *О нас профсоюз не думает... Над нами некоторые даже смеются: «Эх ты, ликвидатор! Карандаш, манишка да записная книжка». А ведь это очень обидно, когда над тобой смеются.*

Сколько любви и уважения к М. И. Калинин у в самом тоне обращения, в этом сердечном «ты».

В ответном письме селькору М. И. Калинин терпеливо разъяснил, что непорядки, на которые тот жаловался, «являются продуктами все той же неграмотности, того же невежества, в борьбе с которыми вы стоите в первых рядах». Конечно, соглашался М. И. Калинин, «бывает, что и сельсовет, и комсомол, и другие организации не оказывают, как вы говорите, никакой помощи ликвидатору... Разве это не безобразие, когда ликвидатора неграмотности заставляют жить чуть ли не вместе с телятами?! Разве не безобразие, когда в довершение всего этого над ликвидатором еще смеются...»

М. И. Калинин указал и на отдельные ошибки селькора — не все его жалобы имели под собой почву — и заключил предложением устроить переключку культурников-ликвидаторов.

Мы опубликовали письмо селькора и ответ Калинина в одном из номеров журнала. И посыпались письма...

К Калинин обращались за советом и консультацией и в других случаях. Дискуссии, которые возникали иной раз в 20-х годах, сейчас могут показаться странными и надуманными. Спорили, например, о том, что такое неграмотность, что такое культурничество.

Всероссийская чрезвычайная комиссия по ликвидации безграмотности (ВЧК—лб) — так называлась малочисленная, дружно спаянная комиссия с неизменным председателем А. С. Курской в аппарате Народного комиссариата просвещения. Однажды эту комиссию упрекнули в нашем журнале в «сползании к культурничеству». Н. К. Крупская в ответ на это обвинение прислала в редакцию журнала письмо. «Для всякого, знакомого с работой ВЧК лб, с ее директивами, указаниями, учебными пособиями и особенно проводимой проверкой директив и исправлением выявляющихся на местах недочетов, — писала Надежда Константиновна, — неправильность подобного рода обвинения ясна».

М. И. Калинин трактовал борьбу с неграмотностью по-ленински. Он говорил в начале 1926 года на Первом Всероссийском съезде ОДН: «Слово «неграмотность» в своем значении расширяется: не просто грамотность, «букварно» понимаемая, а поднятие культурности». Яснее не скажешь.

Спорили еще: что такое добровольная общественная организация? (Имелось в виду ОДН.) Чем должна заниматься общественная организация по борьбе с неграмотностью? Кого «охватить»? Взрослых неграмотных? А как быть с малограмотными? С переростками? С рецидивом? А библиотеки, школы, клубы? Наше это дело или не наше?

Редакция журнала «За грамоту» получила несколько писем от наших активистов с пожеланием превратить ОДН во всеобщую культурную организацию, поскольку, утверждали они, «создавать множество разных обществ, уголков и т. п. в деревне нецелесообразно, и инициатива ОДН должна распространяться на всякую культурную работу в деревне». Эти авторы рекомендовали «взять в свои руки самообразование (групповое и индивидуальное), продвижение в массы трудящихся книг и газет, читательские и корреспондентские объединения, издание местных газет, помощь (содействие) школам грамоты и общего образования (единой трудовой советской школы) и распространение политических и экономических знаний среди крестьянства». Как быть?

М. И. Калинин ответил и на этот вопрос на известном заседании в Кремле 19 марта 1927 года, сыгравшем переломную роль в походе за всеобщую грамотность (я тогда сделал запись выступления Михаила Ивановича).

«Я против универсализма общества, — сказал М. И. Калинин. — Если мы будем объединять всякое общество, увлечемся универсализмом, мы ничего не достигнем. Я также против слияния с другими обществами, как, например, ОДР

(общество друзей радио), ОДД (общество друзей детей) и т. д. Там есть свои самостоятельные культурные задачи. Мы всех задач не может охватить.

О завоевании авторитета,— продолжал М. И. Калинин.— У меня создалось такое впечатление, что у нас как будто нетерпение. Мы живем на десятом году революции, когда у нас идет мирное строительство. А мирное строительство всегда идет медленнее, чем хочется. Мы привыкли оценивать результаты по военным событиям, по первичным шагам революции, сразу. Разбил Деникина — вот вам и Советская власть! А в мирном строительстве для получения результатов требуется колоссальный предварительный труд».

Слова М. И. Калинина попали в самую точку. Они были адресованы тем «нетерпеливым» активистам, которые надеялись завершить ликвидацию неграмотности в считанные месяцы. Беседа с Калининным (его речь скорее походила на беседу) настраивала на «колоссальный предварительный труд».

Тогда же, после широкого и конкретного обсуждения задач общества «Долой неграмотность», стал выходить наш журнал «За прамоту».

Мы в редакции понимали все значение избрания всесоюзного старосты на пост председателя ОДН, очень обрадовались, когда он дал согласие указать, что журнал выходит при его «ближайшем участии». На обложке первого же номера мы дали факсимиле М. И. Калинина — его приветствие журналу: «Только коллективным участием в журнале, только коллективной поддержкой мы сможем развить столь необходимое дело, как издание журнала ОДН».

Имя Калинина много раз встречается в журнале, и это естественно. Он не раз высказывался по злободневным вопросам культурного похода. Наши художники варьировали благодарную тему «М. И. Калинин — ликвидатор неграмотности». Б. Клинич изобразил нашего председателя перед классной доской с лозунгом «Мы не рабы, мы не бары!»; на другом дружеском шарже М. И. Калинин шествует вместе с Н. К. Крупской и А. В. Луначарским с флагом ОДН в руках.

Как часто бывает с новым изданием, вначале не все шло гладко. Журнал в первое время не окупался, приносил до трех тысяч убытка в месяц, а с ликвидацией издательства «Долой неграмотность» в конце 1927 года он вообще остался без типографии, без средств. И только вмешательство М. И. Калинина, твердо заявившего, что общество не может существовать без своего органа, дало возможность воскреснуть журналу и значительно удешевить подписку.

В жизни журнала была и другая не менее трудная минута, когда снова потребовались помощь и мудрый совет М. И. Калинина. Об этом хочется рассказать, хотя новая встреча с Калининным принесла мне не пышки, а шишки.

Каким быть журналу в условиях массового культпохода?

По предложению М. И. Калинина работники редакции пришли к нему в Приемную, чтобы отчитаться и выслушать критические замечания. Речь шла на этот раз не о бумаге, не о финансах — о духовных связях журнала с читателем-культурником.

Я пришел к М. И. Калининну вместе с М. С. Эпштейном, заместителем председателя ОДН, учредителем и энтузиастом общества, близким соратником А. В. Луначарского.

Михаил Иванович пригласил нас садиться. Справа от него сидела секретарь-стенографистка, слева Эпштейн, а напротив, лицом к Калининну, знакомая мне по ОДН культурница из Смоленска. А я рядом с ней.

Культурница из Смоленска не случайно оказалась на собеседовании в Приемной — незадолго до того она выступила с резкой критикой нашего журнала. Хорошо помню, что она тогда говорила: «Малограмотному журнал не под силу, многое непонятно ему»... Наша культурница считала почему-то, что журнал рассчитан на малограмотных, тогда как он издавался для грамотных, для ликвидаторов неграмотности. И, очевидно, М. И. Калинин придавал этому обстоятельству особо важное значение.

Михаил Иванович внимательно выслушал доводы, сначала критические. Не прерывал и М. С. Эпштейна, попытавшегося защитить деятельность редакции.

Взял в руки лежавший перед ним последний номер нашего журнала, полистал его, задумался, подыскивая подходящее слово, и заметил:

— Скучный журнал...

Легко догадаться, что я должен был испытать, услышав столь суровый приговор из уст Калинина. К чувству горечи прибавилось еще чувство недоумения. Почему «скучный»? Кажется, старались...

А Калинин продолжал:

— Шрифт бисером...— И повторил: — Скучный ..

Опять полистал журнал:

— Общие рассуждения... Беллетристика...

(Как раз на беллетристику мы больше всего уповали, заманивая в журнал именитых авторов.)

Правда, в тоне М. И. Калинина не чувствовалось намерения резко осудить работу редакции и ее авторов, все его замечания носили спокойный, деловой характер. Но какова оценка! Я внутренне все еще не мирился с ней и, воспользовавшись минутной паузой, не выдержал и высказал вслух свою затаенную мысль.

— Михаил Иванович, — сказал я тихо, скороговоркой, — вы судите по одному номеру...

Сказал — и тут же пожалел. И не потому, что Михаил Иванович мог рассердиться — нет, не такой он был человек! — но потому, что не вовремя сказал, даже не выслушав его мнение до конца.

Калинин посмотрел на меня с какой-то лукавинкой в глазах — показалось, что он ждал моей реплики, — и отчеканил:

— Что ж... И по одному номеру можно судить...



ИЗ ЛИТЕРАТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

А. ЛУНАЧАРСКИЙ



НОВАЯ ЕВРОПА И СССР¹

В послевоенной Европе есть, конечно, новые черты. Они даже приобретали разный характер за это короткое время. Так, после войны очень большое место заняла идея пацифизма и ее adeptы. Можно было думать, что политики старых правительств и даже вся руководящая буржуазия бесповоротно осуждены как в сознании масс, поливавших своею кровью землю, так и в сознании особо остро мыслящих и чувствующих прослоек во всех государствах, то есть интеллигенции как таковой. То и другое действительно было заметно. Массы отшатнулись от буржуазии — вплоть до целого ряда революционных движений или угрозы ими. Среди интеллигенции развернулись сильнее антибуржуазные течения, давшие себя остро чувствовать как в немецком экспрессионизме, так и в английской литературе, особенно высоко выдвинувшей уэльсский антимиитаризм и кусательную антибуржуазность Шоу, и, наконец, в передовых группах французской литературы (Жюль Ромэн, Дюгамель, Ромен Роллан, Барбюс и т. д.).

Наконец, по мере того как выяснилось, что в Западной Европе нет наличия боевых сил, способных извлечь достодолжные уроки из войны и начать совсем новую жизнь, наступила полоса половинчатости и некоторого шатания. Рабочий класс был успокоен Вторым Интернационалом, который сохранил свою способность пасти рабочее стадо, в конце концов — согласно основным видам правящих классов.

Интеллигенция тоже постепенно отошла от своих симпатий к коммунизму, почуя окрепшую позицию буржуазии, и начала искать каких-нибудь спокойных и реформистских путей для гарантирования того же мира, так как война все-таки до сих пор остается кошмарным пугалом. Конечно, подобная сдача, подобное lining пацифизма, который сейчас начинает картонную Лигу Наций считать за реальную постановку вопроса мира, на самом деле как раз увеличивает угрозу возможности новой войны. Европа, которая обещала стать новой, постепенно оседает на старые позиции, из которых, пожалуй, выведена будет новая, еще более ужасная, еще более разрушительная, еще более преступная война, которую обрушат на ее голову те же политики, те же руководящие классы, которые остались у власти.

Но есть совсем новый фактор в Европе. Это — СССР. Правда, он образовался на Востоке Европы, и многие европейцы склонны рассматривать его как какое-то полуазиатское перекутье. Отсюда и озлобленное обвинение, которое мечет против нас последний конгресс II Интернационала, где говорится, что мы, будто бы не сумевшие организовать сопротивление передового пролетариата буржуазии, целиком теперь возложили наши надежды на Азию и на возбуждение в ней опасных для владычицы Европы брожений и восстаний. Я оставлю в стороне эти политические вопросы, представляющие, однако, глубочайший интерес и имеющие мировое значение. Я хочу обратить внимание на другую сторону, на то, какие

¹ Текст статьи А. В. Луначарского «Новая Европа и СССР» печатается по авторской машинописной рукописи, хранящейся в Центральном государственном архиве Октябрьской революции, вышших органов государственной власти и органов государственного управления СССР (ЦГАОР СССР, ф. 5283, оп. 6, ед. хр. 528, лл. 197—209). (Публикация и примечание Ю. Фединского.)

новые ноты в европейскую именно жизнь вносит новая зарождающаяся культура, фундаментом которой служит Советское государство.

Вначале Европа отнеслась к русской революции как к тяжелому инциденту, как к временному прорыву коры вулканическими силами, как к пожару у соседа, который нужно постараться погасить. Несмотря на серьезные усилия, пожар погашен не был.

Тогда начали предсказывать, что бесконечно изнуренная страна, которая при этом же хочет руководиться таким ложным и химерическим принципом, как социализм, которая кладет в основу своего хозяйства не пресловутую индивидуальную предприимчивость, а бюрократический принцип государственного капитализма, должна в самом скором времени окончательно провалиться в ад вследствие безысходного кризиса. Однако не произошло и этого.

Советское государство окрепло, хозяйство его начало расти, и рост этот в последнее время принимает бурный характер, так что ничто не заставляет предположить, что на пути социалистических государств нашлись какие-нибудь препятствия самым высоким достижениям в области экономического благоустройства и богатства населяющих их народов.

Конечно, со стороны европейских правительств, при радикально противоположных политических направлениях их и СССР, самый расцвет наших государств вызывает крайнее озлобление, но нельзя этого же сказать об общественном мнении, начиная с рабочих и продолжая крестьянством, интеллигенцией и т. д. В Европе, так сказать, бегают любопытный вопрос о том, что же это значит. Возможно ли, что страна, которая всегда была одной из беднейших стран, капиталистически мало оборудованной, с маленьким процентом пролетариата и интеллигенции, страна, до ужаса разоренная рядом войн и стихийных бедствий, — при социалистическом управлении постепенно придет к расцвету?

Конечно, мы стоим у самого начала этого расцвета, и мы отнюдь не говорим, чтобы жизнь у нас была лучше, чем в благоустроенных странах Западной Европы. Мы утверждаем только, что она быстро улучшается и что в основу ее положен принцип отсутствия эксплуатации труда, благодаря чему расцвет ее не может не отразиться чем дальше, тем больше, и прежде всего на благосостоянии самих масс.

Посмотреть на это и приезжает целый ряд разных паломников, едут и официальные и неофициальные представители рабочих, учительства и других профессиональных групп. Едут ученые на наш Международный конгресс, на юбилей нашей Академии и т. д., и, почти без исключения, все приходят к одному и тому же мнению: да, страна выздоравливает и все направление ее развития совсем иное, чем на Западе, ибо в ней нет никого, кто бы собирал сливки и захватывал в свои руки главную часть национальной продукции.

Тут открывается особый фронт борьбы между нами и буржуазией, и каждый дальнейший шаг развития наших стран будет доказательством правильности пути, на который они вступили. Одной из капитальнейших задач нового государства и новой общественности является просветительная и вообще культурная деятельность. Страна наша находится в состоянии очень большого варварства, поскольку дело идет о массах. Только в самое последнее время выздоравливающее государство может найти средства, приближающиеся к тем, которые необходимы для мало-мальски нормальной постановки грандиозной задачи общеполитического и технического просвещения масс.

Дело просвещения масс представляет еще собою огромные трудности, но мы уже с уверенностью можем сказать, что если не точно к назначенному сроку, т. е. к 1927 году, то к сроку, очень к нему близкому (во всяком случае, не позже 1930 года), мы полностью ликвидируем неграмотность взрослых от 16 до 35 лет, включая сюда огромное большинство населяющих Россию остальных национальностей. Мы можем также с уверенностью сказать, что в течение семи лет, т. е. к 1933 году, мы будем иметь сеть школ, обеспечивающих реальное введение всеобщего обучения.

Само собой разумеется, как для хозяйственной жизни страны, так и для культурной работы необходима усердная, преданная делу и работе интеллигенция.

Все знают, что наша интеллигенция в первое время не считала правомерным низвержение порядка, установленного Февральской революцией, и замену его октябрьскими порядками, не понимала эти порядки, и известная часть ее с оружием в руках боролась против пролетарского переворота, а другая часть долго сохраняла свое недоброжелательство и недоверие.

Мы можем теперь с уверенностью сказать, что еще до наступления лучших времен значительная часть интеллигенции сдала свои позиции. Кипящая и самоотверженная работа, которую вела Коммунистическая партия, воочью доказала лучшей части интеллигенции вложенную в революцию добрую волю, и все более и более густые ряды целиком переходили на новую платформу.

В настоящее время дело сильно облегчается. Постепенное обогащение страны дает правительству возможность несколько улучшить положение всех слоев интеллигенции. Коммунистическая партия обращает на это сугубое внимание. Недавно издана резолюция ЦК по этому поводу, которая, конечно, отразится и на целом ряде правительственных актов, резолюция, целиком направленная на улучшение морального, правового и материального положения спецов, работающих рука об руку с нами.

Мы можем с полной уверенностью сказать, что в близком будущем не останется почти никакого следа разногласия между трудовой интеллигенцией всех родов в России и Коммунистической партией.

Несмотря на это, однако, остается чрезвычайно важной задача создания новой интеллигенции из рядов рабочих и крестьян. Это и есть, конечно, один из основных факторов нашей новой культуры.

Мы пролетаризировали наши высшие учебные заведения путем создания рабочих факультетов. Рабочие факультеты есть учебные заведения с трехлетним курсом, иногда еще с подготовительным годом, которые готовят к определенному высшему учебному заведению наиболее талантливую молодежь, взятую от станка и от сохи.

Многие предрекали этому предприятию полную неудачу, но в настоящее время рабфаки дают нам 30 процентов нашего студенчества, и это, пожалуй, лучшая его часть. Мы создали пролетарское студенчество, полное здоровья, сил, революционного энтузиазма, крепкой преданности своему правительству, необычайно способное и трудолюбивое. Единственно что нас смущает в его судьбе, это то, что студенчество это, многочисленное и лишенное средств, ложится, конечно, тяжелой обузой на государственную казну и в то же время остается бедным, ибо та стипендия, которую мы даем этому студенчеству, именно 20 рублей в месяц, правда, при всяких облегчениях по части жилища, питания и т. д., не дает тех нормальных условий существования, которые мы желали бы создать для нашего студенчества. Но что же поделаешь, на войне как на войне. Это требует больших жертв и усилий, но недостатка в том самом героическом духе, который в свое время доставил победу на фронте в 11 000 верст, нет и у нашего студенчества.

Прогресс этой новой культуры сказывается в самых различных областях. Стоит только сказать, что тираж наших газет в настоящее время уже превысил тираж всех газет, существовавших в России до войны.

У нас расходуется 5 400 000 газет, из них 1 500 000 чисто крестьянских. Никогда в России не существовало такой мощной крестьянской прессы. Вообще наша пресса имеет как бы два этажа: с одной стороны — руководящие органы, чрезвычайно серьезные, проникнутые глубокой марксистской мыслью, ставящие себе все проблемы во весь рост и представляющие собою положительно необходимое подспорье для каждого мыслящего политика в Европе, ибо изо дня в день такие газеты, как «Правда» и «Известия», и наши толстые ежемесячные журналы дают полную характеристику мировых событий и наших собственных проблем под ярким освещением марксистского прожектора.

Но с другой стороны, нам удалось создать прессу, совершенно отвечающую уровню только начинающих свое развитие низового рабочего и крестьянина, и в особенности молодого подрастающего поколения.

Для подрастающего поколения, в руках которого находится будущее, созда-

на действительно своя, особая, довольно широкая пресса. Европа, вероятно, знает о том, что наш комсомол вскоре будет обладать миллионом членов и что наше пионерское движение шагнуло далеко за миллион. Было бы смешно утверждать, что в этих массовых организациях второго и третьего, после нас, поколения все обстоит совершенно благополучно. Но кому удалось окунуться в животворящие волны пионерского и комсомольского моря, тот не мог не почувствовать, что действительно идет новый мир, совсем новые принципы воспитания, огромное чувство коллективности, огромная пронизанность всего быта здоровым теоретическим марксизмом и прямым практическим идеализмом.

Довольно долго пришлось нам ждать появления соответственных запросов революции в искусстве, но в настоящее время мы можем сказать, что мы уже имеем и а ш у литературу. Коренное ее явление — пролетарская, мастерами которой являются выходцы из рабочего класса или люди, целиком стоящие на коммунистической точке зрения, сопровождают это коренное явление попутчики, среди которых есть первоклассные таланты. Все это за последнее время создало такую библиотеку прекрасных произведений, отражающую нашу нынешнюю жизнь, что уже сейчас наша эпоха должна быть отнесена к числу эпох цветущих в истории русской литературы.

В первое время после революции мы широко давали искусство массам, конечно, бесплатно, но затем пришла новая экономическая политика с ее требованием строжайшего учета каждой копейки, нам пришлось сжаться, нам пришлось переводить наши театры и некоторые другие формы искусства на самоокупаемость. Это значило: стараться опереть их на более состоятельные слои населения и тем самым несколько изменить необходимому в этом отношении демократизму. Но эта же новая экономическая политика способствовала обогащению страны, и усилившиеся ресурсы государства уже позволяют нам вплотную подходить к новой, более энергичной постановке вопроса об искусстве трудящимся.

Среди работников изобразительных искусств создалась огромная Ассоциация художников революционной России — АХРР, которая вырабатывает новый подход и новый принцип современного нашего искусства. С некоторым опозданием вступают на этот путь и музыканты.

Уже сейчас можно сказать несколько слов относительно вырисовывающихся самой жизнью основных черт искусства ближайшего будущего нашего нового, социалистического мира. Стало ясно, что всякие чисто формальные постановки и достижения оставляют нашу публику равнодушной, хотя никто не отрицает их лабораторного значения. От искусства требуется глубокая содержательность. Форма должна быть при этом прозрачна, возможно более монументальна, возможно теснее обнимающая свой предмет.

Начинающие жить художественной жизнью массы ставят искусству требования серьезнейшие. Оно должно быть их голосом, должно отразить в своем волшебном концентрирующем зеркале новые черты быта, ставить и разрешать проблемы, освещать прошлое и будущее. Чем ярче сюжет, тем действеннее новая интрига, основное положение, отражаемое данным произведением искусства, тем лучше оно воспринимается. По-видимому, наилучший успех обеспечен за каким-то романтизированным реализмом с монументальными устремлениями.

Такие требования заметны и в области литературы, и в области театра, и изобразительных искусств, и, наконец, музыки. Такие же требования будут, по-видимому, предъявлены и архитектуре, которая стоит на пороге новой Москвы. Уже сейчас вырабатываются планы первых огромных зданий, в которых отразится архитектурное творчество послереволюционной России.

Другие народы нашего Союза пойдут своими путями, сочетая общеное в этом стиле, несомненно, с очень сильным привкусом их национальных вкусов и особенностей.

Наша наука, несмотря на тяжелое время, которое она пережила, полна бодрости, которой она никогда не теряла. Приезжающие к нам иностранные ученые с изумлением констатируют достижения, которые только сейчас начинают стано-

виться известными, так как мы долго просто не могли обеспечить даже за научными трудами возможности своевременного опубликования.

Некоторые представляют себе, что в области науки новая культура будет слишком подчиняться утилитарной, близкой к технике стороне. Никаких признаков этого уклона нет. Имеется, наоборот, достаточно яркое сознание самостоятельной важности и, так сказать, косвенной плодотворности абстрактных знаний. Говоря обо всей области науки, трудно сказать, какую особую печать придаст ей новая культура. Можно только с уверенностью утверждать, что наука, которая найдет особую поддержку у нас, — это наука честная, доказывающая все до конца, не стремящаяся при помощи различных фокусов примирить свои выводы с предрассудками религии и ходячей мещанской морали, а базирующаяся целиком на опыте, строящая подлинное знание о Вселенной как едином нераздельном комплексе сил и явлений. Для нас очевидно, что подлинный «философский» материализм есть единственная база для построения правильного мирозерцания, которое будет все точнее и шире охватывать Вселенную.

В общественных наших науках это уже совершенно ясно. Марксизм есть новая база для построения социологии и всех с нею связанных наук. Мы с удовольствием констатируем, что многие крупнейшие ученые России почувствовали, что мы не навязывали им марксизм, и что мы освобождаем их мысли от пут буржуазной софистики, и что эта освобожденная мысль сама направляется тогда по марксистским путям.

Когда-то христианские проповедники не без удивления утверждали, что всякая душа в глубине — христианка. С несомненно большим правом можем мы сказать: всякий человек в душе — коммунист, надо только высвободить его коренное, человеческое от всякого рода классовых искажений. Ведь только пролетариат находится в таком положении, что его классовые интересы не искажают его человеческую сущность, а только ярче подчеркивают ее.

Вот несколько замечаний об основных чертах того нового, что так мощно выдвигает постепенно европейская жизнь перед великим Союзом Советских Социалистических Республик.

ПОСЛЕСЛОВИЕ

23 ноября 1975 года исполняется 100 лет со дня рождения Анатолия Васильевича Луначарского. Человек необычайной многогранности и активности, выдающийся государственный и политический деятель, ученый и публицист, литературно-художественный критик и теоретик искусства, драматург и поэт, он прошел большой и славный путь, прожил яркую, кипучую жизнь. Первый нарком просвещения Страны Советов, соратник великого Ленина, он был одним из руководителей первых этапов строительства великого здания советской культуры. Он оставил после себя огромное литературное наследство: десятки книг и брошюр, сотни статей, этюдов, очерков, литературных портретов, предисловий, рецензий. Один из самых блестящих ораторов своей эпохи, он выступал тысячи раз с лекциями, докладами и речами перед рабочими, красноармейцами, комсомольцами, студентами, просвещенцами, артистами, партработниками, учеными, воздействуя с огромной силой на их сознание и чувство, помогая им понять свое место в дни революции и социалистической стройки.

Будучи несравненным знатоком истории мировой культуры, Луначарский часто произносил речи на торжествах, связанных с юбилейными датами крупнейших деятелей революции, науки, искусства. И характеризуя чествуемых великанов человеческой мысли, человеческого духа, он всегда стремился показать, чем они близки и дороги нам, людям теперешней эпохи, в какой мере они являются нашими современниками, чем они помогают нам, какие уроки следует извлечь из их наследия. Если мы подойдем с подобными вопросами к творческому наследию самого Луначарского, то убедимся, что оно в своей подавляющей части сохраняет для нас несомненную актуальность.

О Луначарском писали и будут писать историки, литературоведы, искусствоведы, философы, педагоги. Потому что в каждой из этих областей он оставил неизгладимый след. И только коллективными усилиями многих специалистов может быть дан сколько-

нибудь обстоятельный ответ на вопрос, что живо и сегодня в его творчестве, в его деятельности. Но и в кратком слове о Луначарском нельзя не остановиться хотя бы на двух-трех примерах.

В последние годы в нашей стране заметно усилилось внимание к литературно-художественной критике. Партией со всей серьезностью была поставлена задача повышения идейно-теоретического уровня критики, усиления ее роли в литературно-художественном процессе, в идейно-эстетическом воспитании народных масс.

И здесь нашим современным критикам есть у кого поучиться. В качестве учителей могут и должны выступить классики революционно-демократической и марксистской критики, в том числе и Луначарский.

Он представлял собой критика большевистской, ленинской формации, который не только анализирует и объясняет явления искусства, но и стремится активно воздействовать на ход литературного и художественного развития, и это его влияние было сильным и благотворным.

Читателям, зрителям, слушателям он помогал правильно ориентироваться в многообразных явлениях литературно-художественной жизни и верно оценивать их. На конкретных художественных примерах и фактах он ставил и освещал большие и острые идейные, политические, моральные, эстетические проблемы. «Критик не может не быть этиком, экономистом, политиком, социологом»,— говорил Луначарский, и сам он полностью удовлетворял этим высоким требованиям. При этом он умел писать и говорить не сухо, не скучно. Его критическим и публицистическим выступлениям, как правило, присущи блеск и яркость языка, страсть и волнение.

Не менее успешно осуществлял он вторую функцию критика — быть помощником, учителем, наставником самих писателей. Он умел разъяснять художнику великий социальный заказ эпохи, содействовать преодолению трудностей и заблуждений. Он боролся за писателя, если ему угрожала опасность свернуть на ложный путь. И все это критик выполнял с большим тактом и искусством, не становясь в позу ментора по отношению к писателю и выражая готовность поучиться, в свою очередь, у него.

Будучи взыскательным, он показывал в то же время пример бережного, заботливого отношения к талантам. Если ограничиться, например, пределами поэзии, то достаточно вспомнить его чуткое, дружественное отношение к Маяковскому, Брюсову, Есенину, Асееву, комсомольским поэтам 20-х годов и многим другим.

Внимательный и доброжелательный, тонко понимающий специфику искусства, чуждый всяких мелких групповых пристрастий, отстаивающий высокие принципы коммунистического мировоззрения, Луначарский завоевывал сердца художников и умел увлечь их благородной задачей служения народу, помогал им становиться убежденными участниками социалистического преобразования общества.

В наши дни, когда торжествует ленинская политика сосуществования государств с разным общественным строем, когда одержана победа разума в международном масштабе — успешно завершено Совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе,— нельзя не вспомнить добрым словом участия Луначарского в борьбе за мир и всей его дипломатической, литературно-публицистической, организационной деятельности по установлению и расширению сотрудничества между народами в области науки, культуры, образования, контактов между людьми.

В качестве члена советской делегации в подготовительной комиссии к международной конференции по разоружению, а затем и на самой конференции в Женеве он отстаивал в 20—30-х годах советские проекты разоружения и советскую политику мира. В своих «письмах» и репортажах из Женевы он систематически информировал нашу общественность о борьбе, развернувшейся вокруг проблемы разоружения, разоблачал фальшь политики многих буржуазных дипломатов. Печатаемая выше статья показывает, как отчетливо понимал Луначарский всю опасность «новой, еще более ужасной, еще более разрушительной, еще более преступной войны», для предотвращения которой он работал.

Велики заслуги Луначарского и в роли посредника между нашей страной и культурой зарубежного мира. В послеоктябрьскую эпоху он часто выступал перед западноевропейскими читателями и слушателями, способствуя тому, чтобы общественность разных стран получала правильную информацию о культурном строительстве Страны

Советов (впервые публикуемая статья «Новая Европа и СССР» является как раз одним из примеров этих многочисленных выступлений). Тем самым он завоевывал немало друзей для новой России. Значение этой деятельности превосходно охарактеризовал Ромен Роллан, сказав, что Луначарский был на Западе «всеми уважаемым послом советской мысли и искусства».

Еще до революции Луначарский пристально следил за литературно-художественной жизнью Запада и знакомил с ней русских читателей в качестве обозревателя и корреспондента ряда газет и журналов. И после Октября он находил время и возможность помогать ознакомлению советских читательских масс с зарубежной литературой как переводчик, редактор, автор предисловий.

Чрезвычайно много сделал нарком просвещения и для установления живых, непосредственных контактов между литературой молодой Советской республики и передовыми писателями всего мира. Он принял большое участие в практической работе по сближению прогрессивных писателей различных стран как председатель Международного бюро революционной литературы. Он поддерживал и укреплял дружеские связи с корифеями художественной интеллигенции, такими, как Роллан, Барбюс, Шоу, Уэлс и другие, вел с ними переписку, посещал их во время своих зарубежных поездок, принимал их в качестве полпреда социалистической культуры на советской земле. И в том, что симпатии многих мастеров культуры оказались на стороне Страны Советов, в том, что они переходили в лагерь друзей социализма, известную роль сыграло и их общение с таким замечательным представителем социалистической культуры, как Анатолий Васильевич Луначарский.

Но, пожалуй, еще больше Луначарский привлекает нас не конкретными решениями тех или иных задач и вопросов, а всем своим обликом человека, борца и гуманиста, всей своей широкой, щедрой и гармонической личностью. Поставив все свое огромное богатство ума и знаний на службу социалистической революции, находясь всегда в гуще общественной жизни, на переднем крае ее, он был устремлен в коммунистическое будущее и содействовал его приближению.

В одном из писем, относящихся к трудным предоктябрьским месяцам 1917 года, он писал: «Как хочется жить, работать, не жалея сил, на благо России и человечества!» И он действительно работал самоотверженно, не жалея сил, он был героем социалистического труда тогда, когда такое звание еще не было установлено.

Конечно, путь, который прошел Луначарский в своем идейном и политическом развитии, не был совершенно прямым и простым. На этом пути у него в дореволюционную эпоху были философские заблуждения и политические ошибки, за которые его строго и бескомпромиссно критиковал Ленин, высоко ценивший талантливость Луначарского и боровшийся за его сохранение для партии, для революции. И после Октября, когда философские ошибки были изжиты, Луначарский допускал некоторую непоследовательность в отдельных вопросах. Эти заблуждения и противоречия объясняются как особенностями эмоциональной природы Луначарского, поддававшегося порой воздействию чуждых воззрений, так и трудностью и полнейшей новизной тех проблем и задач, которые стояли тогда перед пионерами строительства нового общества. Но Луначарский не останавливался в своем движении, в развитии, он вносил исправления в свои взгляды и действия, учась у Ленина, у партии, у самой жизни. Здесь, конечно, нельзя не подчеркнуть огромного определяющего значения, которое имело для Луначарского его тесное сотрудничество с Лениным и в редакциях большевистских газет в годы первой русской революции и особенно в Октябрьскую эпоху.

Во всяком случае, несомненно: свои ошибки Луначарский перечеркнул всей своей многообразной и плодотворной деятельностью строителя и энтузиаста социалистической культуры. Он имел право применить к себе слова, сказанные им о всей когорте людей Октябрьской революции: «Как ни много шлаков и ошибок в том, что мы сделали,— мы горды нашей ролью в истории и без страха отдаем себя на суд потомства, не имея ни тени сомненья в его приговоре».

Н. ТРИФОНОВ,
доцент филологических наук.



ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

БОРИС СУЧКОВ

★

«ОТКРЫВАТЬ НОВЫЕ СТРАНИЦЫ ЖИЗНИ»

Разнообразной и плодотворной была деятельность Бориса Леонтьевича Сучкова — видного ученого, литературоведа и критика, крупного организатора науки, общественного деятеля. Безвременная кончина в декабре 1974 года оборвала эту деятельность. Эту жизнь в самом расцвете, не дав Борису Леонтьевичу закончить многие замыслы, осуществить многие начинания.

В наследии Б. Л. Сучкова особое место занимает фундаментальный труд «Исторические судьбы реализма». Эта книга прочно вошла в научный обиход (за короткое время она выдержала три издания, переведена на многие иностранные языки), и без нее нельзя уже представить себе нашу литературную науку; в дни, когда выпускался этот номер журнала, стало известно о присуждении этому труду Государственной премии СССР. Автор книги, опираясь на огромный материал мировой литературы прошлого и настоящего, последовательно развивает стройную систему взглядов на теорию и историю реализма. В книге в полной мере проявилась плодотворность комплексного подхода к исследованию литературного процесса, умение видеть явления литературы в широком контексте, в их связях с историей, политикой, идеологией. Важнейшей частью исследования стало широко аргументированное, развернутое обоснование взгляда на социалистический реализм как на закономерный этап развития художественного мышления человечества. Это в полном смысле новаторский труд, вносящий много ценного в развитие важнейших положений марксистско-ленинской эстетики.

Среди особенностей исследования почерка Б. Л. Сучкова едва ли не в первую очередь надо назвать органически присущую ему связь с современностью. Это качество видно во всей его многосторонней деятельности ученого. Идет ли речь о его исследованиях русской классической литературы (Пушкин, Толстой и прежде всего Достоевский), или современной зарубежной литературы (например, блестящие портреты писателей XX века, объединенные Сучковым в цикл «Лики времени»), или о выступлениях по кардинальным проблемам марксистско-ленинской эстетики (достаточно напомнить его критику ревизионистских концепций Фишера и Гароди), или о его многочисленных выступлениях по текущим вопросам советской литературной жизни, активнейшим участником которой он был, — всюду Б. Л. Сучков скизал свое слово, всюду оставил заметный след. Он смело вторгнулся в малоисследованные области, не боялся высказывать свою точку зрения на еще не отстоявшиеся процессы и явления, всегда и во всем стремился «открывать новые страницы жизни», если воспользоваться его собственным выражением, которым он определил сущность творческих поисков в искусстве. Принципиально новаторской он видел нашу литературу, такой же он видел и литературную критику, которую называл «самосознанием литературы».

В этом номере мы печатаем — с разрешения комиссии по литературному наследию Б. Л. Сучкова — несколько его работ, взятых из архива. Они по большей части не предназначались автором для печати, тем не менее в целом представляют большой общественный интерес. Это, во-первых, стенограмма выступления в Народном университете, раскрывающая незаурядный пропагандистский дар Б. Л. Сучкова, его умение просто и доходчиво говорить о сложных проблемах науки. В живой беседе он не только высказал четкую и определенную точку зрения по поводу споров вокруг понятия «современный стиль», но и связал ее с общими проблемами развития реализма. Читая эту стенограмму сегодня, мы ясно чувствуем, что она всем ходом рассуждений примыкает к «Историческим судьбам реализма», над которыми Б. Л. Сучков в то время в полную силу работал.

Второй текст, предлагаемый читателям, — статья о Владимире Маяковском, которую Б. Л. Сучков предназначал для итальянской энциклопедии. Она написана строго, точно, энергично, объективно и в то же время «своим», неповторимым почерком.

Вслед затем мы печатаем предисловие, написанное для итальянского издания произведений Валентина Распутина. Примечательно, что Б. Л. Сучков считал возможным

посвятить специальную работу молодому советскому писателю и сделал это с обычной для него глубиной и силой обобщения, с тонким пониманием особенностей творчества В. Распутина. Эта статья может быть названа образцом пропаганды советской литературы за рубежом. В ней ясно чувствуется и «иностранский» читательский агрес, «разъясняющая» интонация, которая поможет далекому читателю понять книгу о современной Сибири, и в то же время здесь нет ни малейших уступок чужим идеям и вкусам. Автор говорит серьезно, доходчиво, с полным сознанием значительности и важности предмета разговора.

Четвертый текст — вступительное слово на вечере, посвященном памяти Александра Николаевича Макарова. И здесь Б. А. Сучков не пошел по пути общих фраз, а дал, в сущности, небольшой портрет своего соратника по литературной жизни, выделив в нем главное: цельность натуры, верность революционным традициям.

Работы о Дж. Свифте, Томасе и Генрихе Маннах представляют собой выступления по поводу юбилейных дат этих великих художников. Написанные «на случай», они отмечены обычным для Б. А. Сучкова стремлением к цельности, завершенности концепции.

Наконец последняя публикация — отзывы, сделанные по просьбе издательства на еще не опубликованные рукописи. Нетрудно заметить, что эти «внутренние рецензии» написаны с полной отдачей и щедростью большого таланта. В них не только содержится глубокая оценка работы переводчика и точные конкретные замечания, но изложены общие соображения, причем в таких весомых и продуманных формулировках, что они могли бы украсить любую серьезную статью.

Таким был Б. А. Сучков во всей своей деятельности — и научной, и литературно-критической, и организаторской, и общественной. Для него не существовало незначительных дел, «проходных» выступлений, «мелких» задач. Он все делал с полной отдачей сил.

О СОВРЕМЕННОМ СТИЛЕ В ЛИТЕРАТУРЕ И ИСКУССТВЕ

Стенограмма выступления в Народном университете литературы при Центральном Доме литераторов имени А. А. Фадеева 4 февраля 1963 года

Товарищи, насколько я понял, тема моего сегодняшнего доклада формулируется таким образом: «О современном стиле в литературе и искусстве». Должен сразу сказать, что для того, чтобы ответить на вопрос о том, существует ли так называемый современный стиль в литературе и искусстве, не нужно было бы собираться слушать мой доклад, так как, на мой взгляд (прошу учесть, что здесь я высказываю абсолютно субъективную, личную точку зрения), никакого особого, «современного» стиля в литературе и искусстве не существует.

Это очень простой и ясный ответ на поставленный перед нами ректором университета вопрос. Но он кажется простым лишь на первый взгляд, потому что возникает другой вопрос: а почему нет «современного» стиля? А если его нет, то почему искусство не одинаково, почему в искусстве существуют различные и похожие, сходные произведения? Разницу мы легко улавливаем и чувствуем при первом взгляде на здание, на картину, в первой поэтической строчке, по которой мы пробежим глазами, по первой скульптуре, которая бросится нам в глаза. Столь же легко мы улавливаем и сходство между произведениями искусства. И когда мы начинаем вдумываться в эти простые и самоочевидные истины, всех нас начинает подстерегать «коварство муз», ибо искусство — явление довольно сложное, хитрое и весьма неожиданное и труднее всего оно поддается (я это скажу по опыту, потому что я литературной критикой занимаюсь довольно длительное время) тому, что мы обычно называем рациональным анализом.

Очевидно, многим хотелось бы здесь получить какие-то общие понятия, которые помогли бы разобраться в тех или иных стилевых особенностях произведений искусства и литературы. Я думаю, что мы в конце концов придем к этим понятиям и сможем их установить. Но путь наш к этим понятиям будет не очень прямым.

Итак, о современном стиле. Но прежде всего, что же такое стиль, начнем с выяснения основного положения. Прочту вам два определения стиля, принадлежащих не мне.

«Стиль в искусстве — исторически сложившаяся устойчивая общность образной системы, средств и приемов художественной выразительности, обусловленная единством идейного общественно-исторического содержания». Так определяет природу стиля Большая Советская Энциклопедия.

Теперь возьмем другое определение:

«Стиль — в искусстве исторически сложившаяся и социально обусловленная общность идейно-художественных принципов, объединяющая в данную эпоху произведения мастеров, работавших в различных видах и жанрах искусства». Это «Словарь терминов изобразительных искусств», 1959 год, стр. 157.

Мы в этих формулировках видим нечто общее. В них сделан упор на то, что существуют сходные мнения художников в отношении идейно-художественных принципов выразительности или изображения. Вот и все. Но на мой взгляд, эти определения при всей их высокой научности на самом деле лишь наукообразны, так как по существу ничего не определяют и не выдерживают испытания конкретным материалом искусства.

В самом деле, как говорится об этом в справке из «Словаря терминов изобразительных искусств»? Общность принципов идейно-художественных, «объединяющая в данную эпоху произведения мастеров, работавших в различных видах и жанрах искусства».

Авторы этой справки в «Словаре терминов изобразительных искусств» думают, что такой стиль существует. А вот здесь сидит В. Солоухин, которого мы будем просить прочесть нам свои стихи,—он работает в интересной манере, которая не совпадает с отложившейся в сознании поэтической просодией, с привычными размерами, ритмами и т. д.

В качестве примера я хочу прочесть вам два отрывка из стихотворений двух поэтов, живущих в одну эпоху, которые, согласно указаниям Большой Советской Энциклопедии, должны обладать общностью средств и приемов художественной выразительности. Вот эти четверостишия.

В век разума и атома
Мы — акушеры нового,
Нам эта участь ада
По нраву и по норову...

Мы—бабки повивальные.
А век ревет матеро.
Как помесь павиана
И авиамотора.

Это пишет А. Вознесенский в своем стихотворении «Художник». А вот стихотворение другого поэта, В. Федорова:

Еще недавно нам вдвоем
Так хорошо и складно пелось.
Но вот гляжу в лицо твое
И думаю: куда все делось?

Но память прошлое хранит,
Душа моя к тебе стремится.
Так, вздрогнув, все еще летит
Убитая в полете птица.

Ничего сходного в этих двух стихотворениях нет. У каждого поэта своя одежда, свой словарь и собственное виденье мира.

Чтобы покончить с цитатами, для иллюстрации своей мысли я прочту еще два отрывка.

«В той губернии и солнце поране прочих встает, а все судьба ее не слаще волчьей ягоды.

Лесистая да ровная, легла она в стороне от новых больших путей, а прежние омертвели и позабыты. Некогда славная ярмарками, щепным товаром да соборами, ныне одно лишь сохранила утешение, что великая река и с нее взымает свою вольную силу. Да и то — где весной сгонялся сплав по тугой полои воде, там в летнюю пору посиживают по мелям пароходики на радость мордатых буфетчиков».

И вот еще:

«Уже пятый час кряду я блуждал по тайге. Пурга застала меня на белках — безлесных. пошедших нафталиновой наледью сопках. Все окрест сделалось непроглядно

белым. А белое — то же, что черное. Пурга днем беспросветна — так же, как ночь без луны и без звезд».

В первом случае цитата из переработанного и недавно опубликованного романа Л. Леонова «Вор», а во втором случае отрывок из произведения молодого писателя Ю. Семенова «Уходят, чтобы вернуться».

Мы здесь видим абсолютно разный словарь, различный ритм, синтаксис и разный взгляд на мир.

Следовательно, можно прийти к простому и естественно напрашивающемуся выводу: очевидно, если и есть сходство каких-то явлений в искусстве, то оно меньше всего лежит в области собственно выражения, то есть в той сфере, которую мы условно — потому что это очень сложная сфера — назовем сферой эстетической. Сюда мы относим и технику, и манеру, и словарь, и даже сам выбор материала. Я имею в виду материал у скульпторов и архитекторов, а не писателей, для которых материалом является слово.

Теперь мы можем с вами прийти уже к правильному пониманию того, что такое стиль.

Стиль, на мой взгляд, это есть сугубо индивидуальная манера изображения действительности. И эта манера изображения действительности есть категория чисто эстетическая. Причем если огрубить эту мысль, то можно повторить старые слова: «Стиль — это человек». В стиле отражены его индивидуальные особенности, его внутренний ритм, особенности его взгляда на мир и особенность того, как он умеет выражать увиденное и услышанное. Нельзя из одного стиля перепрыгивать добровольно в другой, как, скажем, из автобуса в трамвай. Мы Леонова даже под сильным нажимом не заставим писать так, как пишет Юлиан Семенов. Не совершая насилия над собственной творческой личностью, он этого сделать не сможет. И, в сущности, своеобразием стиля, своеобразием художественной манеры и определяется индивидуальное лицо каждого художника.

Но сам стиль есть явление вторичное, и здесь мы переходим к другому вопросу — к вопросу о сочетании эстетики с тем, что мы называем мировоззрением.

Если сейчас пройти по улицам Москвы, то можно увидеть, что рядом с домами в стиле так называемого полуампира, с колоннами и ненужными украшениями, можно увидеть целые улицы, застроенные домами из блоков, — блочное строительство. Появился новый стиль в архитектуре. Чем это объясняется? Это объясняется прежде всего новой строительной техникой.

Но вот мы заходим в картинную галерею, и если пристально взглянуть в отдельные произведения искусства, то они смогут поразить нас своей странностью. Взять хотя бы такое произведение, как «Плачущая женщина» Пабло Пикассо. Непривычному взгляду оно покажется странным. Вы увидите, что художник одновременно на одном полотне написал фас и профиль женщины. Чего он этим хотел добиться? Он хотел здесь добиться, очевидно, совмещения различных родов искусства — скульптуры и живописи.

Открываем стихи В. Солоухина и приходим в удивление. Во-первых, это хорошие стихи, и мы видим в них немало достоинств, а во-вторых, мы видим, что они написаны странным размером, — сразу даже трудно сказать, то ли это проза, то ли стихи. Может быть, это просто капризничает наш уважаемый поэт? Но оказывается, что не только он так капризничает. Если взять стихотворения, например, такого крупного демократического американского поэта, как Сэндберг, то и в них можно увидеть странное сочетание прозы с поэтической речью.

Или взять, например, стихи Э. Межелайтиса — прекрасного поэта, — его стихи написаны в такой же манере. Или стихи французского поэта Сен-Жон Перса. У него есть чудесные стихи, но мы не сразу определим, написаны они прозой или стихами.

Пойдем дальше и возьмем романы крупного русского прозаика Андрея Белого «Маски», «Крещеный китаец», «Петербург» и др. — там, наоборот, в прозаическую ткань произведения начинает входить поэзия, речь становится ритмической, организованной, насыщенной поэтическими метафорами и сравнениями и строится как стихотворение.

С чем мы в этих случаях имеем дело?

И проза А. Белого или такого великого современного писателя, как Шон О'Кейси, у которого прозу прерывает стих, — за этими всеми явлениями стоит одна очень важная и значительная духовная черта современности: попытка, стремление, желание всю нашу

жизнь разбросанную, сложную, противоречивую охватить в ее целостности и слитно-сти, то есть воспринять синтетически. И для того чтобы синтетичность восприятия передать зрителю, слушателю или читателю, художник вынужден как бы раздвигать эстетические пределы своего искусства. Эта черта новая в искусстве и весьма своеобразная.

Я не могу назвать в XVIII, XIX и прочих веках произведений, строившихся по подобному принципу. Если мы даже перероем все энциклопедические словари и справочники, мы, очевидно, придем к выводу, что с таким явлением мы сталкиваемся впервые.

Итак, за этой попыткой смешать воедино различные эстетические объекты, то есть предметы изображения, стоит стремление к синтетическому охвату нашей эпохи, к пониманию всей суммы свойственных этой эпохе противоречий.

Почему художники делают это хотя и добровольно, но как бы понуждаемые к подобному подходу к действительности обстоятельствами и атмосферой времени?

Происходит это потому, что сама жизнь, которую художник хочет синтезировать, на самом деле расколота. И не является чем-то единым. Она представляет сейчас арену борьбы разных общественных сил и разных общественных идеологий. Перед каждым человеком, живущим ныне на земле, она ставит один простой вопрос — вопрос выбора, выбора жизненного, исторического и общественного поведения для того, чтобы примкнуть или слиться с теми силами, которые человек и художник считает правильными и исторически перспективными.

Следовательно, некоторые новые явления в искусстве, о которых мы сейчас говорили, продиктованы мировоззренческими требованиями.

Но я должен сказать, что, например, картина Пабло Пикассо, о которой я говорил, при всем моем глубоким уважении к этому значительному художнику, на мой взгляд, не представляет большой эстетической ценности, так как в своем стремлении к синтетическому охвату действительности художник нарушил нечто большее, чем просто пропорции натуры, — он нарушил жизненную правду, и картина кажется просто оригинальным куштюком, но не трогает ни души, ни сердца зрителя. Мы смотрим на нее как на интересный ребус и разгадываем его. Может быть, при этом мы и получаем удовольствие, но не эстетического порядка, а какого-то иного.

Я должен сказать, что роман Шона О'Кейси, о котором я говорил, где мы отметили совмещение поэзии и прозы, говорит о судьбе рабочего-подростка, выросшего в Ирландии, стране, находящейся под национальным и капиталистическим гнетом. Произведение это говорит о реальных нуждах человека, о его запросах и тревогах, и поэтому оно является глубоко реалистичным.

Что же касается романов А. Белого «Петербург», «Маски» и «Крещеный китаец» или его «Симфонии», — там господствует лишь при некотором наличии общественной проблематики субъективный произвол художника, стоящего далеко от конкретных нужд людей, художника, изображающего жизнь как некую фантазмагорию, где «одна бессмыслица сменяется иной — бессмыслица дневная бессмыслицей ночной». Бессмыслица и хаотичность жизни отражались в произведениях А. Белого, но мы не можем назвать его романы реалистическими произведениями. Это типичные символистского толка романы, тронутые идеологией декаданса.

Следовательно, существует крупный водораздел между различными произведениями искусства, но он определяет не столько стиль и своеобразие художника, сколько его творческий метод. И чтобы еще раз подтвердить [отсутствие] современного стиля, тот факт, что его не существует, следует сказать, что это происходит еще и потому, что в современных условиях разные художники пользуются различными творческими методами, ставя перед собой различные идейно-эстетические задачи.

Но вместе с тем современное искусство (я потом уточню, что я понимаю под словом «современность») обладает некоторой новой поэтикой, некими новыми формами изображения действительности, хотя бы внутренним монологом. Если вы читаете романы Хемингуэя, то часто вы слышите как бы закадровый голос героя, который произносит внутренний монолог и вводит вас в существо повествования.

Внутренний монолог не является открытием XX века. Его открыл в свое время Стендаль, широко применял Л. Н. Толстой. Пользуются внутренним монологом худож-

ники разных творческих методов. Но вы можете заметить, что этот прием используется ими для разных целей.

Если вы возьмете некоторые произведения Фолкнера, крупного американского художника, предположим, его романы цикла «Деревушка», «Город» и «Особняк», то увидите, что там часто внутренние монологи свиваются в настолько тугую вязь, что за ними исчезает объективное содержание повествования. Если и не исчезает — это слишком сильно сказано, — то как бы размывается, ступшевывается, что идет не на пользу реалистическому мастерству Фолкнера.

Я этим примером хотел показать, что одним и тем же приемом можно пользоваться в разных целях. Почему это возможно? Возможно это потому, что искусство как один из видов и форм познавательной деятельности человека обладает известной самостоятельностью, в нем есть элементы, которые существуют самостоятельно. Я вам назвал внутренний монолог. Есть и такой технический прием, как подтекст. Подтекст — это тоже, казалось бы, открытие XX века. Тем не менее это не так. Драматургия Чехова строится на подтексте, на паузе, на какой-то догадке зрителя о содержании отношений героев. Сейчас даже существует теория, которую поддерживает кинорежиссер Ромм, согласно которой необходимо домысливать то, что происходит на экране. Я считаю эту тенденцию довольно опасной, разрушительной для искусства, потому что домысливать нужно нечто существующее, а не заполнять пробелы в мыслях самого художника.

Но подтекст используется опять же по-разному. Скажем, подтекст у Ремарка играет большую роль для выяснения реальных отношений героев, и, скажем, подтекст у какого-нибудь писателя экзистенциалистского толка играет другую роль. Он должен нас утвердить в мысли, что человек как бы стоит перед ничем, дать ощутить это ничто, пробиться за грань реального, в нечто ирреальное, лежащее за жизнью.

Таким образом, ряд технических приемов изображения как бы обладает самостоятельной жизнью и приобретает свою значимость в зависимости от того, каким методом — реалистическим или нереалистическим — пользуется художник.

Для чего нам нужно это понять? Нам это нужно понять для того, чтобы возразить тем людям, которые сводят черты современного стиля, то есть современного искусства, только к сумме технических приемов.

Навязали в зубах рассуждения о том, что признаком современности в искусстве являются «внутренний монолог», «подтекст», «лапидарность изложения» и т. д.

Говорят, что «лаконизм», «обобщенность» художественной формы связаны с современной обстановкой: посмотрите, мол, на новые здания, на новые машины и т. д. Действительно, машины у нас приобретают разнообразные формы. Здания, поскольку их строительство становится на поток, приобретают конструктивистское архитектурное решение. Но как быть с таким видом творческой деятельности человека, как литература? Там дело обстоит сложнее, и в ней мы не можем черты современного осознания действительности сводить к использованию тех или иных приемов. Мы уже говорили, что разница между отдельными произведениями искусства порождается разницей творческих методов. Но каждый творческий метод не есть нечто раз и навсегда существующее и данное. Например, разве реализм существует без всяких изменений? Или классицизм? Был романтизм Пушкина, Шатобриана, Гофмана — разве он автоматически переходит в последующие эпохи?

Нет, думать так неверно. Творческие методы развиваются и трансформируются. Они видоизменяются.

Вот краткие примеры. Классицизм не мог дожить до наших дней. Почему? Вспомните картину Брюллова «Всадница», где изображается, как на вороном коне скачет красавица. Рядом стоит ребенок в длинных штанишках... Но если вы всмотритесь в эту картину, то вы обнаружите, что всадница совсем не скачет, она не двигается, она неподвижна. И это не та неподвижность, как на картинах Дега, где мгновенно схвачен и остановлен момент движения: картина Брюллова сохраняет внутреннюю неподвижность. Посмотрите — и вы увидите, что всадница застыла.

Картина прекрасна, но она не обладает главным — не передает движения. И поскольку для классицизма характерно статичное восприятие жизни, то он не смог передавать жизнь, когда она стала развиваться бурно, когда ускорился ритм исторических перемен.

Одновременно с поздним классицизмом существовал романтизм. Но здесь уже примеры возьмем из литературы. Возьмем такого прекрасного писателя, как Эрнст Теодор Амадей Гофман. Читая его, мы видим фантастический мир, необычайно своеобразный, где чиновники становятся властителями целых подземных королевств, где собеседники встречаются с духами, где заклинают при помощи учебника французского языка какое-то стихийное существо, где маленький человек становится влиятельным господином, потому что он вобрал в себя добродетели всех окружающих. Короче говоря, перед нами фантазмагоричный, подвижный, переливающийся, подобно волшебному ковру, красками мир. Но, однако, этот мир был весьма далек от той реальности, которая окружала Гофмана и которую человек вынужден был познавать.

И для того чтобы познавать и воспроизводить мир в его подавности, художники стали прибегать к реалистическому изображению, стремясь увидеть и понять человека в его отношении к обществу, понять общество и понять движение общества, угадать, к чему оно идет. В том, что реалистический метод отвечает самым важным духовным запросам человечества, заключена его сила.

Но реализм не стоит на месте. У нас иногда под реализмом понимают нечто близкое к действительности, точно и добросовестно воспроизводящее окружающий человека мир. Безусловно, реализму свойственна эта черта. Но вместе с тем реализм допускает невероятное и условность, как, скажем, гоголевский «Нос», где рассказано о том, как нос сбежал с лица человека и начал жить самостоятельной жизнью.

Или возьмите романы Диккенса, которые на первый взгляд кажутся неправдоподобными, но когда вы их читаете, вы поддаетесь гипнозу истины, которую излучают эти романы, и любая условность Диккенса кажется вам реалистической, потому что она и есть такая на самом деле.

Следовательно, реализм обладает способностью к развитию. В нем есть устаревшие приемы, устаревшие способы изображения и есть более новые способы изображения жизни.

В нашей советской литературе существуют реалистические произведения, о которых вы скажете: да, это реалистическое произведение, но оно построено старомодно, мы встречали это у Мельникова-Печерского или в лучшем случае у Мамина-Сибиряка. Но вместе с тем вы найдете ряд произведений реалистических, которые отличаются новизной художественного языка, вытекающей из новизны материала, из новизны мышления художника. Из таких произведений я назову роман Д. Гранина «Иду на грозу», произведение новаторское и по выразительным средствам, не говоря уж о новой области жизни, которую роман этот ввел в наше представление.

Истинно современным является то произведение искусства, будь то произведение живописи, музыки, скульптуры или литературы, которое реалистически полно выражает главные, существенные жизненные процессы, идущие сейчас в жизни и в сознании людей.

Вот что является единственным правильным признаком современности художественного произведения, а не охарактеризованная ранее сумма художественных приемов, которой пользуются художники и которая абсолютизируется среди некоторой части наших литераторов и критиков, главным образом молодежи, как якобы свойственная современному стилю. На самом же деле такая абсолютизация не делает эти приемы средствами выражения современности.

Немецкий писатель Томас Манн сказал, что, с его точки зрения, занимательность произведения не заключается в его краткости. Он сказал даже, что только такое произведение может быть занимательным, которое затрагивает жизненные вопросы, интересующие множество людей, и разрабатывает эти жизненные вопросы подробно, позволяя читателю понять жизнь. Именно такое произведение обладает и занимательностью и современностью, а не то, которое перегружено лаконизмом, внутренними монологами, так называемой короткой, динамичной фразой и т. д.

В искусстве нет единого современного стиля, а существуют отдельные творческие методы. У определенной группы писателей может быть стилевая близость в пределах одного творческого метода. Часто она бывает продиктована вкусом потребителя или средой, из которой вышел писатель.

Но единого стиля как суммы формальных приемов не существует и не может существовать.

Закрывает ли это перспективы в развитии искусства? Нет. При условии того, что творческие поиски, без которых искусство не может существовать, не должны быть бессодержательны. Они должны открывать новые страницы жизни, интересные не только художнику, но интересные всем. Если искусство будет открывать важные черты действительности, тогда оно будет современным в прямом и ином смысле этого слова.

ВЛАДИМИР МАЯКОВСКИЙ

*Статья для итальянской энциклопедии. Написана в мае 1974 года
в г. Комо (Италия)*

В русской литературе XX века Маяковский занял выдающееся положение не только благодаря тому, что он был самым крупным поэтом революции, но и потому, что он стал реформатором русского стиха и сообщил поэзии новые функции. Он начинал как поэт-авангардист, возглавлявший группу кубофутуристов, чей манифест «Пощечина общественному вкусу» перечеркивал не только поэзию символистов и акмеистов, но и устоявшуюся классическую традицию. Однако поэзия Маяковского была гораздо более значительна по содержанию и масштабам, нежели все течение кубофутуризма. Урбанистичная, предельно метафоричная, она была исполнена сильным трагическим чувством, болью и пророческим предчувствием близящейся революции. Его поэмы, новаторские по форме, широко пользующиеся разветвленными ассоциациями, — «Человек», «Владимир Маяковский» и особенно «Облако в штанах», первоначально называвшаяся «Тринадцатый апостол», — передавали состояние отчуждения личности и были насыщены мотивами социального критицизма. Революцию Маяковский принял безоговорочно и страстно отдался открытой пропаганде ее идей. Созданные в годы революции и гражданской войны в России, агитационные стихи и крупные лирико-драматические произведения — «150 000 000» и «Мистерия-буфф» — знаменовали новую фазу развития русской поэзии, ставшей в творческой практике Маяковского орудием непосредственной политической борьбы. Несмотря на некоторую плакатность, его произведения были пронизаны могучей страстью и убежденностью, что сообщало им высокие эстетические качества. Поэт прибегал к грубому разговорному языку улицы, вводил в сферу поэзии новый круг понятий и представлений, новую строфику и образность. Он бескомпромиссно противопоставлял старому миру, капиталистическому обществу социалистическое мировоззрение, обращаясь в таких стихах, как «Левый марш», с революционным призывом ко всему человечеству. Тема революции нашла вершинное выражение у него в поэме «Владимир Ильич Ленин», где эпический и обобщенный образ Ленина символизировал весь революционный процесс, меняющий облик мира. Свою творческую деятельность Маяковский рассматривал как форму борьбы за утверждение идей социализма, резко критикуя в сатирических пьесах «Клоп» и «Баня» различные формы проявления бюрократизма, приспособленчества и мещанской морали в послереволюционном советском обществе. Он руководил журналами «ЛЕФ» («Левый фронт») и «Новый ЛЕФ». Программа этих журналов основывалась на эстетике документализма, поэтизации факта. Вокруг журналов группировались поэты, стремившиеся к обновлению художественной формы, — Асеев, Пастернак, Кирсанов. Однако их творчество, как и поэзия самого Маяковского, было шире теоретических деклараций. Маяковский при всей его склонности к масштабности художественных обобщений был по своей природе лириком. Поэтому в его стихах лирический и политический элементы не противостояли друг другу, ибо и в сфере политической поэзии и в лирике Маяковский выражал с одинаковой степенью искренности собственную личность. Предельная обнаженность чувства, открытость души находили одинаково полное выражение и в поэмах, посвященных личным переживаниям поэта — «Люблю» и «Про это», — драматичных, исполненных внутренней тревоги, жажды ответного чувства, и в поэме «Хорошо!», где Маяковский создал образ нового мира, советского общества, движущегося в будущее, которое поэт мыслил и видел в социалистической перспективе. Синтез личного и общественного характеризует своеобразие и новизну поэзии Маяковского. Несмотря на дерзость своего искусства, на черты

поэта-трибуна, Маяковский как человек отличался большой впечатлительностью и душевной ранимостью, которые привели его к личной любовной драме, завершившейся самоубийством. Поэзия его открыла новую страницу в мировом искусстве, показав, что высокое поэтическое вдохновение и мощная образность, ничего не теряя в своих эстетических свойствах, могут быть соединены с открытой революционной борьбой.

НЕМНОГО О КНИГЕ И ЕЕ АВТОРЕ

Предисловие к книге В. Распутина «Последний срок», вышедшей на итальянском языке в издательстве «Мурсия» (1975). Написано в Москве не позднее мая 1974 года

Повесть современного советского прозаика Валентина Распутина является своеобразным художественным исследованием последствий конфликта между нарастающим индустриальным прогрессом и уходящими под его натиском традициями и житейскими навыками людей. Конфликт этот, несомненно, драматичен и имеет широкое человеческое значение.

Однако не чувство ностальгии руководило писателем, когда он бережно и с любовью создавал не лишенный некоторой символичности образ старой русской крестьянки, у смертного ложа которой собрались ее сыновья и дочери, уже растерявшие в сутолоке жизни близость к воззрениям и привычкам матери. Иная мысль пронизывает возникающие в повести колоритные картины обыденного быта далекой и глухой сибирской деревни, еще сравнительно недавно хранившей старинные обычаи и нравы.

Да, стремительная современность создает новый облик мира: многое, что ранее казалось устойчивым, пришло в движение, охвачено беспокойством перемен. Они неизбежны, признает писатель. Но их поток не должен смывать и предавать забвению те нравственные ценности, которые себя оправдали и, по сути, являются залогом целостности человеческой личности. На пути в будущее людям необязательно постоянно оглядываться назад, но они не вправе разрывать преемственные связи с прошлым, со всем тем, что питало гуманные чувства и открывало им простор для выражения.

Идее повести Распутина нельзя отказать ни в актуальности, ни в серьезности. Но не накладывает ли дорога для писателя нравственная максима морализующий оттенок на его произведение? Лишь в той степени, в какой подлинное создание искусства может обладать и обладает нравственным потенциалом. Распутин — художник и мысли свои выражает языком образов, описывая жизнь в ее истинности, не смягчая человеческих несовершенств своих героев.

Драматическим узлом повести является смерть старой крестьянки — событие житейски обыденное, но обретающее у Распутина многозначность благодаря проникновению писателя в глубь характеров и самой героини произведения и ее детей, а также из-за остроты ситуации, в которую ставит Распутин участников описанных им событий.

Его интересуют не столько судьбы сыновей и дочерей старой женщины, которых лишь близящаяся кончина матери непрочно и ненадолго свела вместе. Жизнь давно оторвала их от деревенских корней, разбросала по просторам громадной страны, заодно изменив их социальный статус. Даже те, кто не покинул родные сельские места, уже утратили традиционные черты крестьянской психологии, так как колхоз, где они жили, был со временем преобразован в государственное предприятие, на котором они и начали служить. Других привлек город или большие заработки в северных областях Сибири, где природа сурова и работа оплачивается хорошо.

Писатель сосредоточивается на пристальном и бескомпромиссном анализе отношения детей к умирающей матери. Несомненно, они испытывают горе при мысли о вечном расставании с ней. Но в торопливых заботах повседневности у них притупилась сердечная чуткость. Им недостает внутренней сосредоточенности, чтобы до конца ощутить и понять состояние матери, которую ненадолго возвращает к жизни лишь сила любви к детям, ее могучее желание увидеть их и проститься с ними навсегда. Этого прощания она дождалась не со всеми. Только у одного ее сына сквозь грубость его внешнего облика пробилась истинная ласковость к матери.

Полнотой и безошибочностью душевного такта в избытке обладает лишь мать. Детям еще предстоит его обрести.

Создавая образ старой русской крестьянки, Распутин запечатлел в нем многие типично национальные черты ее характера, сказавшиеся и в складе ее мышления, спокойно-трезвом отношении к жизни, громадной выносливости, чувстве юмора, терпимости и доброжелательности к людям, а также в ее сочном языке, трудновоспроизводимом сибирском говоре.

Описывая ее борьбу со смертью, ее состояния в моменты перехода от небытия к бытию, писатель заглядывает в самые таинственные и сокровенные сферы человеческого духа, проникая в ту область личностного существования, когда человек остается наедине с самим собой и прожитой жизнью, стремясь отдать себе отчет в смысле и ценности сделанного на протяжении отмеренного пути. Конечно, для обдумывания прожитого человеку нужно время, хотя бы небольшое. У старухи Аяны его немного оказалось. Ее обветшавшая плоть не сразу рассталась с миром живых. Она сопротивлялась смерти и звала ее, устав от земных трудов. Свой неизбежный конец старуха приняла достойно, с сознанием исполненного долга. Сколь бы суровой и непростой ни была прожитая ею жизнь, она принесла старой женщине удовлетворение, которое питало ее духовные силы, позволившие ей до последнего срока сохранить цельность собственной личности.

Описание ее медленного умирания выполнено Распутинным с неуклончивой правдивостью, роднящей его художественную манеру с реализмом школы Толстого или Фолкнера. Способность проникнуть в психологию старой умирающей женщины и описать ее с убеждающей верностью говорит о возможностях Распутина как художника, тем более что сам он сравнительно молодой человек. Биография его характерна для писателей, которые начинают сейчас активно воздействовать на эволюцию советской литературы. Они принесли в нее богатый и новый опыт жизни, свободную и современную технику письма.

Распутин родился в 1937 году в Сибири и провел детство в деревнях, очень схожих с той, которую он изобразил в своей повести. После окончания филологического факультета Иркутского университета он работал как профессиональный журналист. Сотрудничая в газетах Иркутска и Красноярска, он изъездил всю Сибирь, где сейчас идет громадное строительство, резко меняющее уклад жизни этого таежного края России.

Распутин видел, как возникали гигантские электростанции — Братская, Красноярская, как сверхиндустриализация вторгается в мир, некогда полный тишины. Конфликты и характеры для своих произведений — повести «Деньги для Марии», рассказов и очерков — он черпал из динамичной жизни, зорким наблюдателем и аналитиком которой он является. Проза его, как и многих его сверстников, искренна и красочна. Она полна жизни и веры в нее. То, что в повести «Последний срок» может показаться описанием быта и нравов, составляет лишь верхний ее слой. Содержание повести обращено к основным вопросам человеческого существования, что выводит ее за пределы локального бытового материала, который, впрочем, интересен и занимателен сам по себе.

АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ МАКАРОВ

Выступление на вечере памяти А. Н. Макарова в Центральном Доме литераторов имени А. А. Фадеева 8 января 1969 года

Уважаемые товарищи! Здесь сегодня собрались люди, которые по-настоящему любят литературу и тех, кто вкладывал свой талант и всю свою жизнь в литературное дело.

Мы собрались почтить память выдающегося советского критика, одного из самых талантливых критиков наших дней — Александра Николаевича Макарова. И сейчас, когда начинаешь осмысливать все им сделанное, перелистываешь снова книги и статьи, которые написаны Александром Николаевичем, видишь, как много им было сделано за сравнительно короткую и, в общем, трудную жизнь.

Александр Николаевич в своих статьях и в своих книгах касался, по-моему, всех наиболее важных и существенных вопросов, которыми жила наша советская литература, будь то предвоенные годы, годы войны, послевоенные годы и последнее время. Он обладал редким даром, редким не только для критика, а для критика в особенности, располагать к себе и читателей и писателя, о котором он говорил. Это не значит, что Александр Николаевич Макаров был критиком мягким, критиком беззубым, критиком, не имевшим собственной позиции и выраженного отношения к вещам.

Александр Николаевич при всей своей человеческой доброжелательности и внешней мягкости был внутри человеком очень твердым и принципиальным. Я помню, как мы с ним разговаривали о новых оценках образа Григория Мелехова, которые появились не так давно в советской критике, и я помню, с каким отчетливым и спокойным чувством отводил попытки заново переоценить этот образ Александр Николаевич Макаров. Это шло у него изнутри, как у человека, выросшего в революционные годы, прошедшего весь путь от избача до крупного литератора, прошедшего рядом с народом. И он умел говорить с читателем так же твердо, как разговаривал с писателем по принципиальным вопросам. Он был проникнут знанием предмета, творческой индивидуальностью художника. И никогда А. Н. Макаров не навязывал художнику собственной точки зрения. Он сопоставлял реальную жизнь с тем представлением о жизни, или, как модно говорить, с той моделью жизни, которую представлял художник, и нередко показывал, может быть, недостаточную глубину постижения жизненных процессов в том или ином произведении.

Но, повторяю, говорил он это, исходя из опыта жизни и своего огромного человеческого опыта.

Александр Николаевич своими работами помогал правильному представлению о задачах литературы и об общественных обязанностях писателей, и делал это не как дидакт, а живо, непосредственно, в спорах и дискуссиях; ибо его статьи всегда внутренне полемичны при внешнем спокойствии и объективности манеры изложения.

Мне лично пришлось работать с Александром Николаевичем довольно долго в очень сложный период нашей жизни, и я научился в нем ценить прекрасного человека и замечательного деятеля нашей литературы.

ДЖОНАТАН СВИФТ

Вступительное слово на вечере, посвященном 300-летию со дня рождения Дж. Свифта. Центральный Дом литераторов имени А. А. Фадеева, 30 ноября 1967 года

Сегодня мы отмечаем важную и знаменательную дату в истории человеческой культуры — трехсотлетие со дня рождения великого писателя и мыслителя Джонатана Свифта, одного из самых блистательных и острых сатириков мировой литературы.

Но только ли интересом к искусству слова Свифта продиктовано наше обращение к его трудам, к тем мыслям и образам, которые содержатся в его произведениях?

Бесспорно, искусство слова у Свифта достойно восхищения. Но мировая литература знает немало первоклассных писателей, изощренных и утонченных ювелиров формы, чьи произведения, однако, не стали общечеловеческим достоянием и не вошли с такой непреложностью в сокровищницу человеческого духа, как творения Свифта. Так что же сделало их бессмертными, почему его «Путешествия Гулливера» стали в один ряд с такими созданиями художественного гения, как «Божественная комедия» Данте, «Гаргантюа и Пантагрюэль» Рабле, «Дон Кихот» Сервантеса, трагедии Шекспира, стихи и проза Гёте и Пушкина?

Обычно когда обращаются к образам великих художников прошлого, то их творческий облик определяют каким-либо удобным для житейского обихода стереотипом. Так, стало привычным говорить о язвительной насмешке Вольтера, о бездумной легкости гения Моцарта. Столь же привычным стало определение иронии Свифта как мизантропической и угрюмой. Но нет ничего более поверхностного и ложного, чем подобного рода обиходные определения.

В самом деле, что двигало художественный гений Свифта — мизантропический взгляд на человеческую натуру или огромная и горячая любовь к человеку? На этот

отнодь не риторический вопрос нами может быть дан только однозначный ответ. Мы чтим Свифта — великого художника, близкого нашей современности своим человеколюбием и страстной тревогой за судьбу рода человеческого, писателя, который отдал свой огромный талант воспитанию достоинства и свободолюбия в людях, мыслителя, отчетливо видевшего пороки и несовершенство сформировавшейся на его глазах капиталистической цивилизации. Да, страницы «Писем суконщика» или «Скромного предложения» — о детях ирландских бедняков, — как и многие страницы «Путешествий Гулливера», пропитаны горькой печалью, ядовитым сарказмом. Сатира Свифта честна и бескомпромиссна, но у нее есть точный адрес. Она метит не в некое отвлеченное понятие, которое буржуазные моралисты и философы называют человеческой натурой, от века неизменной и не могущей измениться. Она метила во вполне реальную цепь — бесчеловечность буржуазного общества, которое всевозможные суконщики, негоцианты и фабриканты, а равно их духовные приказчики — бесчисленные литераторы, журналисты, экономисты, политики считали наилучшим из всех возможных. И удары свифтовской сатиры были неотразимы. Ее почвой была правда, ее знаменем — свобода и просвещение человека. Именно потому, что формирующееся буржуазное общество узнало себя в фантастических и гротескных эпизодах «Путешествий Гулливера», а нравы и порядки Лилипутии или Лапуты, как повадки и образ мышления йэху — обитателей страны мудрых лошадей. — напоминали нравы и образ мышления современного Свифту общества, его и окрестили мизантропом, якобы навечно разочаровавшимся в достоинствах и способностях человека. Это полная неправда.

В превратностях жизни Свифта всегда поддерживала не изменявшая ему вера в возможности победы свободы и справедливости над общественным неразумием. Воплощенная в художественных образах его произведений, она сообщила им бессмертие и сделала их близкими нам, людям, борющимся за полное торжество свободы на земле.

Свифт был сыном своего времени, активным участником общественной и политической борьбы тех лет. Он не замыкался от жизни в башне из слоновой кости и часто был чернорабочим общественного прогресса. И эта его черта близка нам и придает долговечность его произведениям.

Прикасаясь к его страницам, мы находим там не остывший пепел, а живой огонь, могучую страстность, силу убежденности в правоте идей справедливости, которые защищал своим пером Свифт. И наконец, он был художником-мыслителем, обладающим мощным интеллектом, способным схватить характерные особенности исторического процесса. Сделанные им обобщения сохранили свою действенность и по сей час, ибо современный мир содержит немало таких черт, которые имеют аналогию в сатирических размышлениях «Путешествий Гулливера».

Свифта по праву можно назвать великим просветителем человечества: критикуя современное ему общество, он будил человеческую мысль, направляя ее на поиски более разумного устройства жизни. Мы, нынешние, отделенные от него тремя веками истории, ощущаем его как своего спутника в движении к высотам общественного прогресса, и в этом содержится высочайшее признание его непреходящих заслуг перед всем человечеством.

ГЕНРИХ МАНН

Текст речи по поводу 100-летия со дня рождения Генриха Манна. 1971 год

Я хочу поблагодарить Академию искусств за предоставленную мне возможность выступить здесь, в Берлине, в знаменательный час, когда мировая общественность отмечает сто лет со дня рождения великого писателя немецкого народа Генриха Манна. Я рассматриваю это как большую честь.

Мир празднует эту важную дату в истории литературы и культуры потому, что творческое наследие Генриха Манна является одним из вершинных завоеваний художественной мысли нашего века, а его жизнь — образцом служения гению искусства. Но не только любовь и уважение к Генриху Манну — художнику соединили нас здесь в этот торжественный день. По справедливым словам Вильгельма Пика, «в Генрихе Манне мы чтим истинного демократа и неутомимого борца за прогресс.

Мы чтим в нем убежденного сторонника надей справедливой борьбы за социалистическое переустройство общества.

Это глубоко верно, так как единство эстетического и общественных начал составляет пафос и особенность творчества Генриха Манна. Он сам говорил: «Подлинная литература является общественным делом». И эта энергичная формула как нельзя лучше выражает его этическое и эстетическое credo.

Время всегда проверяет весомость и значимость творений художника. Произведения Генриха Манна, если позволительно так выразиться, были выкованы из тугоплавкого материала: пройдя через все неслыханные испытания XX века, опаленные жгучим пламенем, они сохранили и посейчас свою духовную и эстетическую действительность. Почему это стало возможным, когда произведения многих крупных писателей, обладавших большими дарованиями, постигло забвение? Это произошло потому, что творчество Генриха Манна было созвучно прогрессивным, освободительным тенденциям современной истории и писатель не уклонялся от участия в общественной борьбе своей эпохи. Он писал: «В наше время все чаще приходится убеждаться, что подлинным художником может быть лишь человек с безупречно чистой совестью. Вот перечень требований, предъявляемых художнику: не пугаться явлений эпохи и ее зияющих ран; бороться за правду и справедливость; творить не только ради искусства или в погоне за популярностью, но во исполнение своего долга перед всем человечеством».

Генрих Манн был художником — аналитиком, реалистом, исследователем общества.

Все основные этапы духовной и политической жизни Германии и немецкого народа в новейшее время нашли отражение в его произведениях и получили бескомпромиссную социально-критическую оценку. Крупнейшие его романы — «Земля обетованная», «Учитель Гнус», «Верноподанный» и «Голова» — не только подвергали критике правящие классы, нравы, традиции, идеологию кайзеровской Германии. Их общественное содержание было значительно шире: Генрих Манн выступал в них как критик капиталистической системы, как художник, ищущий новые социальные и духовные ценности, выводящие его за пределы буржуазного общества. Этим объясняется его сближение с левым экспрессионизмом и группой «Акцион» — носителями антикапиталистических, бунтарских настроений. Этим объясняется и то, что Генрих Манн с чувством огромной надежды приветствовал Ноябрьскую революцию. Антикапиталистическая направленность его творчества позволила ему безошибочно понять и раскрыть природу фашизма как прямого порождения империализма.

Для людей моего поколения героическая борьба немецких антифашистов была нашей борьбой. Их мужество, твердость, убежденность вызывали в нас чувство преклонения и восхищения. Стихи Иоганнеса Бехера, Бертольта Брехта, Эриха Вайнерта, романы Анны Зегерс и Вилли Бределя, песни Ганса Эйслера и Эрнста Буша входили важной составной частью в наш духовный опыт. И когда мы читали страстные, раскаленные, дышащие гневом и скорбью статьи Генриха Манна из сборников «Ненависть», «Мужество», мы сознавали, что фронт антифашизма расширился и включал в себя самых выдающихся представителей демократических сил Германии. А после появления его дилогии о короле Генрихе IV — одном из величайших немецких романов XX века, произведения изысканного и утонченного мастерства, в котором писатель создал образ гуманиста с мечом в руках, — стало ясно, что диалектика антифашистской борьбы придала гуманизму Генриха Манна социальную действительность. Одновременно художник отчетливо показал границы возможностей гуманизма демократического. Логична была дальнейшая эволюция Генриха Манна к идеям общественной свободы, социализму.

Его давний и стойкий интерес и внимание к общественному и духовному опыту Великой Октябрьской революции в России, его сближение с идеями борющегося немецкого рабочего класса, его ненависть ко всем видам и формам империалистической реакции, его органический интернационализм — все, о чем он так искренне рассказал в книге, исполненной веры в будущее немецкого народа, «Обзор века», естественно привели его в лагерь свободы и прогресса, и он связал свою судьбу с судьбой Германской Демократической Республики.

Какая огромная, благородная и богатая жизнь предстает перед нами, когда мы оглядываем творческий путь Генриха Манна, как достойно завершилась она! И ныне мы чувствуем не только память великого художника-гуманиста. Сегодня мы воздаем должное демократическим традициям немецкой культуры, которую бережно и надежно хранит и развивает новая, социалистическая культура Германской Демократической Республики.

СЛОВО О ТОМАСЕ МАННЕ

Рукопись, хранящаяся в архиве Б. Л. Сучкова. Написано в 1965 году

В этом году исполняется девяносто лет со дня рождения и десять лет со дня смерти одного из самых крупных художников XX века, великого немецкого писателя Томаса Манна.

Он прожил долгую жизнь, и его око художника видело многое. Он видел становление и укрепление германского империализма, рост мощи и агрессивности кайзеровской Германии. Он пережил увлечение шовинистическими настроениями в годы первой мировой войны, сумел найти в себе силы преодолеть прежние иллюзии и приветствовал Советскую Россию.

Он видел, как после первой мировой войны буржуазные классы перешли в наступление на народные массы, как разрушилось непрочное здание Веймарской республики и как предательская политика буржуазных партий подготовляла диктатуру фашизма, расчищая Гитлеру дорогу к власти. Он видел, как неудержимо шел мир к новой войне, как буржуазные демократии предали Испанию и Чехословакию в ложной надежде откупиться уступками от фашизма. И когда фашистские полчища залили кровью древнюю землю Европы, когда гитлеризм поднял свое оружие против Страны Советов, когда к небу потянулся черный дым печей Освенцима — знаменитый писатель, давний враг гитлеризма и реакции, встал в первые ряды деятелей культуры, боровшихся против фашизма. В дни второй мировой войны им были написаны замечательные антифашистские публицистические статьи, цикл радиоречей, с которыми он обращался к немецкому народу. До последних дней своей долгой и многотрудной жизни Томас Манн словом своим защищал свободу и прогресс, идеи социальной справедливости. Обращаясь к историческому разуму немецкого народа, он неустанно призывал соотечественников к объединению, к созданию нового, порвавшего с милитаризмом и фашизмом, демократического государства. В речи о Шиллере, произнесенной в 1955 году и ставшей его духовным завещанием, он провозгласил: «...пусть расколота надвое Германия ощутит свое единство». Писатель глубоко верил в близкое возрождение немецкой гуманистической культуры, провозвестниками которой он считал Шиллера и Гёте.

Важнейшие события современной истории прошли перед взором Томаса Манна. Многие из них нашли отражение в его монументальных романах, в философских очерках, публицистических статьях. Но он не стал бы столь крупным художником, если бы им не были осознаны исторические судьбы той цивилизации, чьим сыном он являлся. Постепенно для него становилось ясно, что содержание современной истории составляет процесс неизбежной смены капитализма социализмом. Но для того чтобы прийти к пониманию этой истины, Томасу Манну, называвшему себя — и не без оснований — «потомком буржуазного индивидуализма», нужно было проделать огромную духовную эволюцию и отрешиться от многих ложных взглядов, связывавших его с буржуазной культурой. Как далеко зашла его духовная эволюция, показывает его статья, озаглавленная полемически-заостренно: «Антибольшевизм — основная глупость нашего времени». Томас Манн писал в ней о том, что грядущее «трудно представить себе без коммунистических черт, то есть без основной идеи общественной собственности и общественного пользования всеми богатствами земли, без непрерывного стирания классовых различий, без права на труд и обязанности трудиться для всех».

Очень полно его духовную эволюцию, углубленное понимание истины истории отразили, конечно, его художественные произведения. Самое значительное и совершенное создание его молодости роман «Будденброки», принесший ему общеевропейскую славу и поставивший его в ряды крупнейших прозаиков XX века, был посвящен

описанию крушения и заката старинного купеческого рода. Частные события жизни семейства Будденброков писатель поднял до уровня большого исторического обобщения. Как и в других романах-эпопеях о судьбах буржуазного общества, созданных современниками Манна, — в «Сеге о Форсайтах» Голсуорси, «Семье Тибо» Мартен дю Гара, «Деле Артамоновых» Горького — смена поколений буржуазной семьи символизировала смену различных этапов существования буржуазии как класса.

Если старшие представители рода Будденброков, жившие во времена расцвета буржуазии, прочно стояли на ногах и считали свой густо настоянный на вековых традициях бюргерский быт нерушимой формой существования, то их потомки заканчивают свои дни в распадающемся, неустойчивом мире, перестав чувствовать себя хозяевами жизни. Под их бытием время подвело черту, и роман закономерно завершалось полное драматизма описание смерти самого младшего отпрыска Будденброков, мальчика Ганно, на котором оборвался старый бюргерский род.

Вопрос об историческом бытии буржуазии с огромной остротой снова встал перед Томасом Манном в годы первой мировой войны и в годы после Великой Октябрьской революции. Раздумья над опытом истории, над увиденным и пережитым побуждали Томаса Манна пристальнее вглядываться в те новые факты общественной жизни, которые являла ему европейская, и в первую очередь немецкая, действительность. Памятником этих раздумий стал его роман «Волшебная гора», опубликованный в 1924 году.

Фоном для своего романа Томас Манн избрал жизнь и быт высокогорного швейцарского санатория для туберкулезных больных. Однако изображение жизни санатория «Берггоф» нельзя воспринимать буквально. Роман при реалистическом отражении противоречий действительности построен как произведение символическое, поэтому жизнь санатория символизирует бытие буржуазного общества, несущего в себе бактерии болезни, разложения, двигающегося к собственному закату. И главный герой романа молодой человек Ганс Касторп, приехавший в «Берггоф» навестить больного брата и застрявший в санатории на целых семь лет, символизирует собой «европейскую душу», которая подвергается всевозможным соблазнам и искушениям, сталкиваясь с диаметрально противоположными взглядами на будущее и на назначение человека. За душу Ганса ведут бой Лодовико Сеттембрини, сторонники и апостолы буржуазной демократии, вырождение которой остро чувствовал писатель, и противник Сеттембрини иезуит Лео Нафта — апологет насилия, жестокости, демагог фашистской формации. Великий писатель одним из первых почувствовал фашистскую опасность, надвигающуюся на человеческую культуру, и обрушился на идеологию фашизма во всеоружии гуманистических воззрений. Он не знал, как разрешить сложнейшие исторические конфликты своего времени, и, осуждая фашизм, критикуя вырождающуюся буржуазную демократию, оставлял своего героя наедине с противоречиями истории, поручая ему самому искать пути в будущее. Но гневно и резко прозвучавшая в романе «Волшебная гора» критика фашизма и его идеологии не была для Томаса Манна случайной. Последующее его духовное и творческое развитие проходило под знаком антифашизма, и в многочисленных своих публицистических статьях великий писатель выступал как один из виднейших антифашистов, неустанно разоблачая фашистскую идеологию, черные дела фашистских политиков. В напумевших статьях «Испания» и «Этот мир», написанных в 1937—1938 годах, он гневно осудил фашистскую интервенцию в Испании, а предательство, совершенное в Мюнхене буржуазными демократиями по отношению к Чехословацкой республике, заклеил как «грязнейшую проделку».

«Разговор о том, что фашизму принадлежит будущее, — вздор, — писал он в книге «Грядущая победа демократии» (1938). — Фашизм — насквозь агрессивное, направленное против своих соседей течение. Его орудие — не разум, а насилие. Его цель — не мирный труд, а война».

Взглядам фашистских идеологов на человека как на средоточие инстинктов насилия и жестокости, как на существо агрессивное, стремящееся к власти над себе подобными, Томас Манн противопоставил представление о человеке как существе гуманном, носителе творческого, созидательного начала. Эта его концепция человека нашла выражение в романе «Иосиф и его братья», состоящем из четырех книг. В этом романе, сюжетную основу которого составила библейская легенда об Иосифе

Прекрасном, писатель рассматривал содержание человеческой истории как постоянную борьбу разума и темных инстинктов, венчающуюся торжеством совершенной человечности, воспитанной и закаленной суровыми испытаниями жизни и научившейся преодолевать трудности, стоящие на путях исторического прогресса. Образную ткань романа художник сплел из мифов и легенд народов Ближнего Востока, подвергнув древнейшие сказания творческой переработке и переосмыслению. Роман-притча, роман-миф Томаса Манна был проникнут духом исторического оптимизма и верой в человека.

Эта вера в победу человека над силами зла и исторического неразумия поддерживала Томаса Манна в годы второй мировой войны, когда он трудился напряженно и много, защищая и отстаивая идеи свободы, ратуя за полный разгром гитлеризма. Он возлагал большие надежды на искусство, связанное с прогрессивными идеями своего времени, и считал, что буржуазное искусство несет ответственность за обезчеловечивание человека, что стало характернейшей чертой буржуазной цивилизации. Эту мысль, итоговую для его творчества, Томас Манн развил в романе «Доктор Фаустус. Жизнь немецкого композитора Адриана Левекюна, рассказанная его другом». В этом романе писатель произвел беспощадный и нелицеприятный расчет с буржуазной идеологией, и его критика собственнического мира нигде раньше не достигала такой силы и ясности, как в рассказе о страшной жизни нового Фауста, впитавшего в себя дух умирающей буржуазной культуры. «Доктор Фаустус» — роман идей. Он не богат внешними событиями, но до предела насыщен раздумьями писателя над судьбами буржуазной культуры.

Если гётевский Фауст видел цель своей жизни в служении общему благу людей и в его образе была запечатлена мощь человеческой мысли, дерзающей познать сущность бытия, то новый Фауст из романа Томаса Манна является носителем разрушительного начала. В сознании Левекюна смещены все понятия о добре и зле, как смещены они и в современной буржуазной идеологии. Его искусство излучает холод, в нем вспыхивает ненависть к высоким и благородным чувствам и помыслам, он отделен от стихии зла и насилия, властвующих в буржуазном мире.

В «Докторе Фаустусе» Томас Манн поднялся до всеохватывающей критики буржуазного общественного строя, порождающего фашизм и бесчеловечность, и снова восславил гуманность.

Свое творчество Томас Манн рассматривал как некое единство, как своего рода летопись духовной жизни современного общества. Интеллектуальный уровень его произведений необычайно высок; из его произведений встает широчайшая панорама движения идей, претворенная силой реализма в живую плоть искусства. Как художника и мыслителя, Томаса Манна всегда занимали узловые вопросы истории. Не будучи социалистом, он принял идею социализма, а верное понимание исторической перспективы сообщило его искусству могучий пафос критики собственнического строя. Его творчество, являясь вершиной критического реализма XX века, навсегда вошло в сокровищницу мировой литературы как одна из ярчайших и содержательнейших ее страниц.

О ПЕРЕВОДАХ ТЕТРАЛОГИИ Т. МАННА «ИОСИФ И ЕГО БРАТЯ»

Внутренние рецензии, написанные по просьбе издательства «Художественная литература», на переводы С. Алта романов Т. Манна, входящих в тетралогия «Иосиф и его братья»

Прежде всего хочется сказать несколько слов о том, что должен осуществить переводчик, работая над переводом этого труднейшего романа Т. Манна. Он должен, во-первых:

понять роман. Это значит, что он должен увидеть в нем не просто вариацию на библейский сюжет или стилизацию под библейское повествование, а рассказ о формировании понятия гуманности и становлении самосознания человека как отдельного индивидуума;

во-вторых:

воспринимать роман не как ученое исследование. Иными словами, зная, что ученые отступления в нем есть не что иное, как стилиевой прием и равноправное средство художественной выразительности;

в-третьих:

коль скоро автор обращается к довременной старине и до известной степени сохраняет лексику и стилевые особенности сказаний того времени (в первую очередь Библии), то налет арханки в стиле перевода должно оставлять;

в-четвертых:

автор везде, даже в самых метафизических местах повествования, сохраняет иронический тон по отношению к содержанию своего рассказа. Ироничность должна, следовательно, присутствовать и в переводе, нигде, однако, не проступая грубо и назойливо;

в-пятых:

переводчик должен знать предмет, то есть суть мифов, пересказанных и перетолкованных Манном, а также должен владеть необходимыми историческими фактами и терминами для передачи реалий, названий, религиозных понятий, топонимики;

в-шестых:

перевод должен сохранять периодичность повествовательной речи Манна, мышление периодами, что является главной особенностью манновского синтаксиса;

в-седьмых:

перевод должен хорошо читаться по-русски. Мысль эта не свежая, но от этого не перестающая быть важнейшей.

Исходя из этих основных требований, я считаю, что С. Апт справился со своей сложной и ответственной задачей. Я читаю уже не первый перевод произведений Манна, сделанный Аптом, и должен сказать, что успех его как переводчика несомненны. Перевод «Иосифа»¹ свидетельствует об этом.

Что же удалось Апту? Прежде всего понять и передать все оттенки мысли писателя, его стилевую манеру, ироничность повествования, богатую, чуть архаичную лексику. Перевод читается почти во всех своих частях хорошо и, несмотря на сложность содержания, не кажется трудным для восприятия и чтения, как труден для чтения был, например, «Доктор Фаустус». Словарь Апта весьма богат, и переводчик почти нигде не теряет чувства меры и вкуса при передаче архаического в романе. Речь персонажей индивидуализирована, реалии пастушьего, кочевого обихода переведены точно. С этой стороны к Апту у меня претензий нет.

Что еще удалось? Удалось многое: лирические места — встреча Иосифа с Рахилью, смерть Рахили; очень хорошо передана дьявольщина во встрече Иосифа и Рувима с проводником в царство мертвых. Сильно сделаны многие эпически-описательные места романа: свадьба Иакова, скорбь Иакова по Иосифу, продажа Иосифа братьями.

Удалось Апту передать (в основном) и манновские периоды. Апт уже не робеет перед ними, а большей частью управляется с ними свободно, не упуская ритмического их рисунка и интонационной цельности. Все это несомненные удачи переводчика. Но вместе с тем необходимо указать и на характерные недостатки перевода.

Я считаю, что «Пролог» и первая часть романа еще недоработаны Аптом[...]² Не могу не сказать, что мне ритм манновской прозы слышится несколько иным, чем в переводе, — более раздумчивым, зыбким. Но это дело субъективное.

В целом я считаю, что С. Апт успешно справился с романом Т. Манна. Перевод его нуждается в редактуре, кое-где в доработке, но нельзя не видеть, что переводчик проделал огромную, трудоемкую работу, внушающую уважение. С. Апт справился с многочисленными художественными трудностями, подстерегавшими его на каждом шагу, в каждой фразе. Мало кто из наших переводчиков способен на такой труд. [1962]

¹ Речь идет о первом томе — «Былое Иакова», «Юный Иосиф».

² Следовавшие далее конкретные замечания были признаны переводчиком справедливыми и учтены в дальнейшей работе.

Третья книга тетралогии — «Иосиф в Египте» — покидает территорию пастушьего быта, жизни, близкой к земле и овеянной первозданным дыханием мифа, и переносит повествование в стихию высокой цивилизации, в жизнь, осложненную разнородными общественными запросами, нуждами, отношениями, предустановлениями и обязанностями. Продолжая рассказывать историю Иосифа Прекрасного, автор одновременно живописует иерархическую культуру древнего Египта, быт его городов, хозяйственные и религиозные привычки и навыки тогдашних египтян; рассказывает он и об их взаимоотношениях с людьми пустыни — бесчисленными племенами, населяющими менее цивилизованную часть Африки и Малой Азии, описывает и окрестные земли и городскую культуру Египта. В повествование входит изображение крупной латифундии Петепра, ведущей наряду с натуральным и товарное хозяйство; вводит Томас Манн читателя и в мир сложных, насыщенных грозными страстями отношений Иосифа с его властелином Петепра и супругой Петепра, злополучной героиней древнего сказания, безнадежно влюбленной в прекрасного раба красавицей Мут-эм-энет. Не забывает Томас Манн и о религиозных расприх тех лет, таивших за собою серьезные социальные конфликты. Есть в этой части тетралогии наряду с живописным, орнаментальным началом и активное психологическое начало, что усложняет и без того богатую содержанием, многослойную повествовательную ткань романа. Некоторые сцены и эпизоды романа по всей напряженности, но отнюдь не по стилистике заставляют вспомнить Достоевского, например «тихая беседа» родителей Петепра, объяснение Иосифа и Мут-эм-энет и т. д. Иными словами, повествование в третьей книге знает и эпическую размеренность, и трагику, и гротеск, и лирику, и все эти его элементы сдобриваются иронией, которая придает непередаваемое очарование манновскому рассказу. Роман по мере своего развития, не превращаясь в роман исторический, а оставаясь мифом, сказкой, легендой, ставит все новые и новые требования переводчику. Перечисляя, разумеется, не исчерпывая, мотивы романа, я хотел также бегло показать те объективные трудности, преодоление которых только и могло сулить переводчику удачу.

Что же можно сказать о переводе С. Апта? Прежде всего и со всей решительностью следует отметить чрезвычайный творческий рост переводчика. Для него манновская проза уже перестает быть неподатливым материалом, при обработке которого порой раньше у него затуплялся инструмент. Он при переводе этого романа полностью овладел периодичностью манновской речи, ее широким дыханием, ее извилистостью, ее движением. За ничтожным исключением С. Апт уже не прибегает к спасительным, мнимоспасительным «которым», каковые (кстати говоря!) сильно давали себя знать в переводе двух первых книг тетралогии. Перевод периода читается хорошо. За небольшим исключением язык нигде не заплетается, не спотыкается, и ты благополучно преодолеваешь фразу размером в страницу или около этого. Не чинит препятствий и лексика перевода.

Томас Манн в своей тетралогии решал довольно сложную эстетическую задачу: в самой манере, не впадая в излишества, передать атмосферу старины, современности, седины времени. И вот для этого и служит у него, с одной стороны, некоторая необычность словосочетаний, встречающаяся в романе, главным образом в титулах, наименованиях, обращениях, затем приподнятая метафоричность речи героев, вкрапление в нее весьма умеренных, впрочем, архаизмов и, с другой стороны, синтаксическая усложненность прямой речи действующих лиц, одобренная многочисленными эпитетами, сравнительными степенями, вводными предложениями, пояснительными предложениями, эвфемизмами и т. д. Как кому, а мне сделанное С. Аptom представляется убедительным. Он, на мой взгляд, передал лексику романа, ее необычность, ее изысканность. Он превосходно соединяет в переводе ту внешне разнохарактерную, внутренне единую языковую стихию Манна, сознавая, что скрепляющим элементом его стиля является ирония. Она позволяет автору и его верному переводчику соединить в одно понятия современные и понятия глухой старины затем, чтобы передать дух старины. С. Апт вкрапляет в перевод славянизмы не в их сверхархаичном звучании, а в их подернутой патиной времени необычности, непривычности, что заставляет неожиданно и свежо звучать фразу. Он весьма изобретателен в передаче хозяйственных и бытовых подробностей древнеегипетской жизни, в передаче замысловатостей придворной речи, в воспроизведении словесного искусства Иосифа, которое

сыграло столь важную роль в его карьере. С. Апт справился и с терминологической стороной перевода, с интерпретацией культовых определений, иерархических различий древнеегипетского общества. Полностью он справился и с передачей эмоциональных состояний действующих лиц: горестно-сдержанной внутренней речи и прямой речи евнуха Петепра; задыхающихся, торопливых монологов Мут; напыщенности Дууду и его бранчивости; ласкового, немного лукавого, доброжелательного к людям душевного настроения Иосифа; трезвой расчетливости престарелых родителей Петепра. В переводе эпических и лирических мест романа, его диалогических и описательных частей почти нет спадов — накал перевода высокий, чувствуется темперамент, и это позволяет читать роман свободно, не делая над собой насилия, что случается при чтении некоторых других переводов Манна. Я расцениваю работу С. Апта очень высоко.

Есть ли недостатки в переводе? Есть. Но они таковы, что легко устраняются при обычной редактуре. Ряд вещей отмечен в тексте. Можно поспорить по поводу некоторых интонаций. Кое-где период разорван или точкой, или точкой с запятой, хотя С. Апт может обойтись и без этого. Кое-где есть перегрузка архаикой, излишняя вычурность. Но все это мелочи по сравнению с тем отменным чувством манновской прозы, с тем мастерством ее передачи, какое обнаружил переводчик.

[1963]

Заключительный роман³ тетралогии Т. Манна достойно венчает собой замысел художника — восславить гуманность, человеческое в человеке, поднявшееся над стихией иррационального, жестокого, разъединяющего людей. Огромное мастерство художника позволяет ему необычайно обогащать библейский сценарий, рассказанную в «Бытии» историю Иосифа Прекрасного. Так возникают в романе образы фараона Эхнатона и его матери, грандиозная фигура Фамери, образ супруги Иосифа. Сам главный герой обретает новые качества и свойства — государственную мудрость, расчетливость, терпимость, не превращающие его в тирана, хотя его власть в Египте фараонов была исключительно велика.

Перечитывая сейчас этот роман, приходишь к выводу, что наша критика, видимо введенная в заблуждение мифологическим одеянием повествования, не разглядела в свое время большого идейного и весьма прогрессивного содержания его. Также прямолинейно (в том числе и я) связывала она содержание романа, некоторые его идеи с реформистским «новым курсом» Рузвельта, рассматривая Иосифа как своего рода персонификацию этих идей, идеализированный образ некоего рузвельтовского администратора. К счастью, художник оказался богаче своих интерпретаторов, и образ его героя, а равно проблематика романа шире, нежели прикладные задачи, которые, может быть, и маячили перед духовным взором писателя. Апофеозом гуманизма можно по справедливости назвать этот роман, и его коренная идея дойдет до любого читателя, хотя роман в целом не отнесешь к легкому чтению.

Несколько слоев есть в повествовании. Прежде всего конкретно-бытовая сфера, которой писатель владеет свободно, щеголяя детально в воспроизведении древнеегипетского бытового и придворного уклада. Во всяком случае (не знаю, как в смысле археологической точности), он создает высокую иллюзию достоверности происходящего. Несмотря на понятные трудности, которые ставит перед переводчиком передача этого слоя повествования, он справился с ней превосходно, умеренно пользуясь архаизмами и словами крестьянского обихода, не модернизируя манновскую прозу и сохраняя ее несколько возвышенный строй. Здесь у меня нет никаких пожеланий к автору перевода. Мифологическая сфера повествования выступает в нем не столь активно, как в других романах, и здесь переводчик пользуется уже достигнутым, успешно применяя найденные обороты и выражения. Хочу заметить, однако, что, с моей точки зрения, «Пролог в высших сферах», предвещающий роман и в известной мере пародирующий «Пролог» из Гётева «Фауста», переведен С. Аптом несколько абстрактно. С точки зрения буквальности он точен, но при передаче его автор выбирает более отвлеченные соседствующие слова, в результате чего ускользает конкретность рассказа. Несколько утрачена ирония в передаче рассказа сплетничающих ангелов. Кое-где есть потери в смысле передачи титулов и рангов властителей небес-

³ «Иосиф-Кормилец».

ных областей. Хотелось бы, чтобы С. Апт еще раз вернулся к этому куску и посмотрел его свежим взглядом. Не менее активно дает себя знать и иронически-пародийная стихия романа. Известно, что к концу жизни Томас Манн начинал придавать пародии как одному из видов критики очень большое значение. Эта его точка зрения дает себя знать и в романе «Иосиф-Кормилец». И С. Апт весьма удачно передает ироническую и пародийную стороны повествования Манна. Это относится и к сценам дворцовой жизни, к характеристике Эхнатона и его окружения, это относится и к воспроизведению анахронизмов, которые смело вводит в свой рассказ писатель, — вроде французских выражений в речах древнеегипетских придворных или пародирования древних саг и гимнов в главе «Возвешение». Правда, я убрал бы отсюда «балалайку», ибо это звучит для русского уха диссонансом. Удачно передано смещение патетических и иронических интонаций в сценах с братьями, с Иаковом. Особенно удалась С. Апту лирические сцены — встреча отца с сыном, смерть Иакова, заключительный монолог Иосифа.

Подводя итоги, следует сказать, что перевод «Иосифа-Кормильца» отличается высокими художественными достоинствами. С. Апт научился на едином, естественном дыхании передавать периодичность манновской речи, не терпя при этом урона и потерь относительно оригинала, почти нигде не упрощая себе задачи. Уровень, достигнутый им, ставит новые требования и к ранее сделанной работе. Пора уже в свете юбилейных дат — девяностолетия со дня рождения и десятилетия со дня смерти писателя — приступить к выпуску знаменитой его тетралогии, и поэтому необходимо побудить С. Апта пересмотреть и поправить перевод первого романа цикла, подтянуть его до уровня «Иосифа-Кормильца».

[1965]



ИРИНА ЛУНАЧАРСКАЯ



СВЕРШЕНИЯ И ЗАМЫСЛЫ

(А. В. Луначарский: из писем и дневников)

Иа одном из вечеров, посвященных Анатолию Васильевичу Луначарскому, поэт Александр Безыменский рассказывал, как в 1918 году он был направлен на работу в Наркомпрос, как застал в пустом здании — старые чиновники саботировали советскую власть — одного наркома и как нарком прочел ему, единственному юному слушателю, блестящий полуторачасовой доклад о задачах партии большевиков и советской республики в области просвещения и культуры...

— Я всю жизнь вспоминаю об этом с чувством обиды,— говорил Безыменский,— ведь этот доклад должны были бы слышать миллионы людей.

Такое же чувство охватило меня, когда, разбирая домашний архив после смерти матери, я начала читать письма к ней Анатолия Васильевича. Сколько в них разбросано интересных мыслей, планов, оценок, впечатлений. Здесь и политика, и литература, и музыка, и кино, театр, люди... Иногда в одной-двух фразах сказано больше, чем в пространных исследованиях.

Но когда пришла пора писать воспоминания, Наталия Александровна не могла использовать письма Анатолия Васильевича — болезнь глаз была непреодолимым препятствием для чтения мелкого, чрезвычайно неразборчивого почерка, который делает такой трудной работу с рукописями Луначарского. Он и сам далеко не всегда мог прочесть ранее написанное.

30 апреля 1932 года он записал в дневнике: «Трудно разобрать мой почерк. Впредь надо писать...» Дальше неразборчиво!

Некоторые письма жене написаны в форме отчетов о прошедшем дне: торопливые,

сокращенные фразы, набросанные рано утром, днем, вечером, ночью. Но есть большие, серьезные, проливающие свет на строй мыслей, внутреннюю жизнь Луначарского в его последние годы.

Луначарский мажорный, темпераментный, остроумный — таким его знают, таким вспоминают. Интимный мир «осени жизни» несколько отличается от этого привычного облика. В нем ясно видно то, что позволило М. А. Лившицу писать:

«Последнее слово Луначарского было словом мыслителя ленинской школы... Последняя зрелость мысли была достигнута. На грани тридцатых годов мысль Луначарского приобрела новую глубину, новые достоинства, не утратив старых»¹.

Ученый пришел к этому выводу на основании анализа произведений Анатолия Васильевича последних лет.

Я не сомневаюсь, что эпистолярное наследие Анатолия Васильевича не только подтверждает этот вывод, но и расширяет наше представление о Луначарском — литературном критике.

Краткие характеристики прочитанных им книг — это ведь тоже особого рода литературная критика! Ясно видишь «пристрастное» отношение Анатолия Васильевича к некоторым писателям — Л. Н. Толстому, Н. Г. Чернышевскому, В. Гёте, Р. Роллану, М. Горькому.

Письма написаны главным образом из Женевы², где с 1927 по 1932 год Анатолий

¹ А. В. Луначарский. Собрание сочинений в 8 томах. М. «Художественная литература». Т. 7, стр. 612 («Вместо введения в эстетику А. В. Луначарского»).

² Отрывки из писем и дневников А. В. Луначарского публикуются впервые. — И. Л.

Васильевич, как заместитель руководителя советской делегации в Лиге Наций народного комиссара по иностранным делам М. М. Литвинова, проводил ежегодно от нескольких недель до нескольких месяцев. Его раздражала «женевская канитель», он «мертво скучал» на бесконечных заседаниях, посвященных формальностям, «переливанию из пустого в порожнее».

В сентябре этого года, направляя в Москву копии стенограмм заседаний Лиги Наций, на которых выступал А. В. Луначарский, постоянный представитель СССР при отделении ООН и других международных организаций в Женеве З. В. Миронова написала:

«В общей сложности удалось обнаружить свыше десяти документов, в которых отражена принципиальная и в то же время гибкая позиция А. В. Луначарского, боровшегося за осуществление выдвинутой Советским правительством цели безоговорочного сокращения вооружений... По-прежнему актуально звучат слова А. В. Луначарского о том, что СССР проводит политику мира, так как миролюбивая политика — это лучший путь к победе в войне классов.

Обнаруженные документы проливают дополнительный свет на деятельность А. В. Луначарского как гибкого политика, последовательного ленинца, человека, горячо отстаивающего интересы своего народа, партии и правительства».

Советская делегация вела настойчивую борьбу за осуществление реального разоружения, но встречала упорное противодействие представителей империалистических держав, которое облекалось в форму бесконечных проволок, неоправданных затяжных дискуссий по формальным и бюрократическим вопросам процессуального характера. Естественно, что это безмерно раздражало и возмущало Анатолия Васильевича, было поистине мукой для кипучей, деятельной природы Луначарского.

«Состоялось первое заседание конференции. Была скучища, как в лютеранской кирхе», — писал он жене. Однако читатели его корреспондентий о работе Лиги Наций получали остроумные, поразительно меткие портреты дипломатов и политиков — актеров «женевского балагана», точную политическую оценку происходящих там событий. Вспомним названия статей: «Разговор двух трупов», «Могильщики наглетют», «Вселенская ярмарка и женевский балаган», «Мыль-

ный пузырь», «Трагикомические муки рождения «дохлого мышонка», «Зачем устраивает буржуазия женевский спектакль», «В итоге... нуль!».

Но, может быть, именно «женевской муке» мы обязаны появлением новых качеств, «последней зрелости мысли» Луначарского. И об этом говорил он сам: «Однако я сильно пользуюсь Женевой: я очень хорошо, глубоко, важно читаю и думаю... я выиграл по части углубления в себя...»; «...читать здесь можно много, но, кроме газет, буду читать только первоклассные вещи по современной беллетристике, по истории и теории литературы... Сделал прекрасную прогулку по Женеве до книжной лавки Купшига. Купил себе билет на Венский квартет. Купил книги: «Le grand troupeau» («Большое стадо»), последний современный роман самого значительного из молодых французских писателей, Жана Жионо³, и «Историю литературы» Клабунда (немецкий писатель, историк литературы. — И. Л.) на немецком языке. Уманский купил много книг по политике. Среди них есть очень интересные. Ах, как хочется читать, читать, читать... Гулял час по старой Рю де ла Коруж. Странно: в сущности, она очень мало изменилась за эти 37 лет! 37!!! Боже — как я стар. Как Пер Гюнт. Начал читать очень интересную, но немного наивно-мистическую историю литературы Клабунда».

Это в конце 1932 года. А через несколько дней:

«Кончил книгу Жионо. Очень тяжелая книга. Талантливый человек, но я почти жалею, что прочел. Теперь приступил к чтению главного романа недавно умершего англичанина Лоуренса⁴, которого называют великим, но которого произведения долго запрещались в Англии как порнографические. Роман называется «Сыновья» и любовники...»

«Дочитываю Лоуренса. Замечательный, оригинальный художник, но странный, не очень приятный человек и совершенно бездарный любовник. Свою эротическую бездарность он описывает отменно даровито...»

«Прочел книгу Цвейга о Фрейде. Не очень глубоко, но элегантно написано».

«Дочитал Цвейга. Хорошая книга. Слабее

³ Жионо Жан (род. в 1895 г.) — французский писатель. Роман вышел в 1931 году, русский перевод — в 1934 году.

⁴ Лоуренс Давид Герберт (1885—1930) — английский писатель. Роман вышел в русском переводе в 1927 году.

Других повесть о Достоевском, остальные здорово написаны, с чувством и мастерством. Было полезно.

«Кончил читать роман «2 или 3 грации» Олдоса Гексли⁵. Ты должна это прочесть. Это любопытная, утонченная английская параллель (может быть, даже немного подражание) «Душеньке» Чехова. В том же томе рассказы. На многих лежит печать Гоголя и Достоевского. Вообще я здесь довольно хорошо читаю».

«Прочел роман Кафки — «Улица». Книга жестокая и подлая. Осталась даже какая-то ссадина в сознании».

Письмо из поезда Берлин—Женева (ноябрь 1930 года):

«С утра великолепие... Около Лозанны ослепительно светло, и в то же время — весь этот единственный пейзаж был нарисован бледными красками и словно сквозил лучами: опал и жемчуг. Все время читал превосходный роман Голсуорси (по-немецки) «Святой». Черт знает что! Как это люди в Европе еще могут верить. Я иногда ловил себя на каком-то инстинктивном изумлении: стоят церкви, около них — стадом — памятники, кладбища, поп сидят напротив, ест сыр, в виноградниках торчит изображение мучительно распятого человека.

Встретил у Голсуорси такую фразу: «Любование всякой красотой связано с полом и полного удовлетворения достигает только в обладании любимой». Это совершенно верно! Если Стендаль учил, что любование всегда грустно, так как оно есть намек на полную красоту, то это потому, что он был несчастлив в любви и никогда не обладал настоящей любимой».

Из письма 1932 года:

«Между прочим, Гергард Гауптман написал новую пьесу, которую Рейнгард великолепно поставил в Берлине. Параллельно его новой пьесе «До восхода солнца» («Перед восходом солнца». — И. Л.) — эта драма называется «После захода солнца» («Перед заходом солнца». — И. Л.). Тема: 70-летний человек чувствует вторую молодость и хочет жениться на дочери своего садовника. Его дети объявляют над ним опеку, он проклинает их и умирает. Нечто родственное бабелевской пьесе о семействе Крик (речь идет о пьесе И. Бабея «Закат», 1928. — И. Л.), только в менее душевной и красочной среде. Бросается в глаза и гётевское.

Думаю, однако, что тут и не без лирики. Самому Гергарду теперь 67 лет. И недаром он устроил себя под Гёте. Очевидно, он уже встретил свою Ульрику и, может быть, драму написал как предостережение своей семье. Во всяком случае, пьеса имела хороший успех...»

Для стиля работы Анатолия Васильевича чрезвычайно характерно глубокое изучение как творчества художника, о котором он хотел писать, так и посвященных ему исследований. Показательны в этом отношении письма, написанные в феврале 1923 года: во время краткого отдыха в связи с болезнью он находился под Москвой, где работал над статьей о творчестве немецкого писателя конца XVIII — начала XIX века Фридриха Гёльдерлина.

«9 февраля... Так ты хочешь знать, как я провожу время. Я встаю в восемь часов, пью чай в постели, затем пишу письма тебе. Потом читаю о Гёльдерлине (у меня полное собрание его сочинений и до 20 сочинений о нем). После обеда читаю Гёльдерлина и газеты».

«10 февраля... Я читаю много необыкновенно высокого и нежного, поскольку живу сейчас в постоянном общении с возвышенным и нежным Гёльдерлином».

«11 февраля... Над остальным моим чтением парит грациозный, строгий, дышащий золотой музыкой Гёльдерлин».

В этом же письме есть несколько интересных характеристик других писателей.

«Из беллетристики прочел еще один роман Бенуа: «Дорога гигантов»⁶. Описывается восстание Ирландии в 1916 году. Это случилось в тылу у «союзных» англичан, но все сочувствие автора-француза на стороне восставших, и не потому, чтобы он был благороден: он омерзительен в политике, стоит на [позиции] самого пошлого правого французского обывателя, а потому, что ненавидит теперь англичан. Но роман построен виртуозно и крайне занимателен».

О рассказах Мейринка: «Иные заставили меня громко хохотать ночью, когда читал их. Остроумный и преталантливый малый. Думаю, что славу его немцы преувеличили. Это автор «Голема», который ты читала. Но недюжинного таланта и порядочной оригинальности за ним отрицать нельзя».

⁵ Гексли (Хаксли) Олдос Леонард (1894—1963) — английский писатель.

⁶ Бенуа Пьер (1886—1962) — французский писатель. Роман переведен на русский в 1923 году.

«Кончаю Лалу (речь идет о книге французского литературоведа Рене Альбера Лалу «История современной французской литературы с 1870 года по наши дни». — И. Л.), который дал мне много, познакомил меня с целым рядом крупных французов нынешних, которых я не знал. Я выписал сочинения некоторых. Особенно заинтересовал меня Поль Валери. Это крупнейшая фигура. Поистине скорбный, но сильный гений «конца класса»...»

В последние годы жизни Анатолий Васильевич не раз возвращался к творчеству Поля Валери. В начале 1933 года «скорбный гений» уже предстал в новом свете. Его реакционная политическая позиция была, конечно, совершенно неприемлема для Луначарского. Выступая в дискуссии по докладу И. И. Анисимова «Андре Жид и капитализм» на заседании оргкомитета Союза писателей 29 января 1933 года, Луначарский дал глубокий анализ творчества Поля Валери и охарактеризовал его классовую сущность.

Стенограмма этого выступления была опубликована под названием «Куда идет французская интеллигенция». Приведем несколько наиболее важных отрывков из этого выступления.

«Валери — необыкновенно тонкий эрудит... человек, который поражает тем, какую необыкновенную ценность может он придать не только маленькому стихотворению, но каждой строчке этого стихотворения. Это ювелир. Из его рук ничего другого, кроме ювелирных произведений, и не выходит. И для него характерна именно эта необыкновенная тонкость фактуры, это стремление всегда дать понять, что в том-де, что я произвожу, есть огромная моральная, философская ценность, — а если даже и нет иной раз этой моральной, философской ценности, то это окупается необычайной красотой и полнотой формы, и сама форма уже имеет тогда такое метафизическое значение, что она может стать рядом с какой угодно высокой мыслью».

И далее: «Утонченность Валери в известной степени под влиянием его учителя Малларме была темновата, так что этот неоклассик, при прозрачности и чистоте языка, всегда говорил довольно нелепо, и хорошо понять, чего он хочет, нельзя было, — но вдруг он почувствовал, что его класс зовет его тоже в бой, как старых ветеранов призывают в бой, когда дело поворачивается критически: он вышел из своей

башни из слоновой кости и решил принять участие в общей драке».

Он дорожит культурой, он гиперспек уточненной культуры; по его мнению, уточненная культура — самое высокое, что есть на свете, — может удержаться только в иерархическом обществе, а иерархический порядок Валери иначе не представляет себе, как в буржуазном обществе. Но ему кажется, что полководцы и министры какие-то не очень умные люди: есть капитан на корабле, на вахте стоят какие-то моряки, и машины работают, а корабль опасно кренится набок. И Валери из своей уютной каюты, где он писал замечательные, прекрасные произведения, выходит сам на мостик и смотрит на бурное море и думает: может быть, мне самому начать распоряжаться, а то меня потопят и меня в конце концов акулы съедят. А акулы — это пролетариат, потому что для Валери взволнованное море современности есть только буря, грозящая гибелью, и те существа, которые живут в этой чуждой стихии, — это только акулы, которые могут его съесть...

И Валери по этому поводу высказался, высказался в таком смысле, что-де величайшие умы, — он называет Гёте и т. д., при этом и о себе скромно думает, — должны, наконец, сказать свое слово. Он приглашает великих людей войти друг с другом в сношения путем переписки, конференций, съездов, где надо поставить вопросы войны и мира, религии и безбожия и т. д. И в то время как будут об этом рассуждать, — елей прольется на взволнованное море, — «великие умы» сговорятся между собой, и все будет по-хорошему».

Валери приоткрыл краешек занавеса, скрывающего всю глубину его утонченной души — и оказался... почти дураком. Я несколько не преувеличиваю. То, что он пишет о войне, о политике, об ужасах наступающего большевизма — это все такие мещанские, такие обывательские жалкие идеи, что только руками можно развести. Вот тебе и человек утонченной культуры!»

Вот ведь как жизнь изменила оценку поэта в глазах марксистского критика. Для него художник, гражданин, человек органически слиты в единый образ. В этом важнейшая особенность творчества Луначарского-критика.

В последние годы тема «осени жизни», «спуска по обратной лестнице» звучит во многих письмах и дневниковых записях:

«...жизнь уходит, а сделано так мало», «...главные труды жизни впереди».

О планах, «трудах жизни» несколько позже, а сейчас очень важное письмо от 16 февраля 1932 года:

«Только что прочел несколько страниц Лоуренса. Это писатель странный, но глубокий и правдивый. Не знаю, может быть, эти страницы, в которых говорится о молодости и очень сложной любви, или другие книги (я дочитываю очень красивую книгу Жилле⁷ о Шекспире и начал читать великолепную работу Стрэтча⁸ о Елизавете, чтобы больше познакомиться с моим Бэконом) (тогда была начата подготовка к биографии Ф. Бэкона для ЖЗЛ, книга не была закончена Луначарским.— И. Л.), но мне вдруг пришла в голову мысль, которую мне захотелось сейчас же сообщить тебе.

В сущности, как-никак, я живу на земле последние годы. Не подумай, что я собрался умирать. Нет, я очень охотно прожил бы еще (и, вероятно, проживу) лет до 65.

Так вот: я очень счастлив думать, что мне осталось еще лет 9, в которые я буду иметь ясную голову, горячее сердце, жаждные к миру глаза, уши, руки, желание творить, пить счастье и учить быть счастливыми.

Но не следует ли из этого все-таки, что надо стараться отныне моей жизни придать, так сказать, более торжественный характер?

Именно характер теплого, ясного вечера, с пыльным закатом, благоухающими цветами в напоенном вечерними бликами и тенью саду? И чтобы казалось, что откуда-то звучит очень нежный далекий колокол или хор.

Чтобы было тепло, красиво и сладостно, несмотря на вечер. Благодаря вечеру?

Не нужно ли мне сосредоточиться на всем существенном? Больше думать? Очень глубоко. Читать только существенное, мудрое, прекрасное? Писать только большое, нужное? Если не «только», то очень по преимуществу?

Вообще жить так, чтобы каждый час пролетал на медленных и широких крыльях. Чтобы не уходил, а приобретался. Чтобы в час смерти оказаться не растратчиком, а обладателем такой богатой внутренней жизни, чтобы естественно выросло

⁷ Жилле Луи (1876—1943) — французский искусствовед.

⁸ Стрэтч (Стретч) Джиль Литтон (1880—1932) — английский историк и литературный критик.

чувство: этому не может быть конца. Как ты думаешь?

Конечно, путь человека зависит не только от него. Есть неотвратимая судьба-тюхе, как называл это Гёте. Но очень многое зависит от «даймона», то есть от своего собственного самого лучшего «я».

Я вовсе не хочу стать ни святым, ни педантом, ни замкнутым философом: наоборот, я хочу быть веселым мудрецом. Хочу быть золотым, как начало осени, а не голым и пустым, как ее конец».

Луначарский не только никогда не был «замкнутым философом», наоборот — «он щедрой рукой разбрасывал полными пригоршнями те сокровища, которыми его без меры наделила природа», как писала газета «Известия» в статье, посвященной памяти Анатолия Васильевича.

Оборотную сторону этой щедрости он ощутил в последние годы жизни, и тревога начала охватывать его. Огромная и разнообразная работа в Москве отнимала столько времени и сил, что практически лишала возможности сосредоточиться на научной работе, писать большие «синтетические» произведения. Луначарский начал приходить к выводу о необходимости просить о назначении на работу за границу, где рассчитывал получить больше времени для творчества. 26 сентября 1930 года он писал Наталии Александровне из Ванзее, под Берлином:

«Если судьбе будет угодно довести меня по путям, которыми она меня вела и я очень охотно шел, до цели. До «плода» — тогда все понятно, понятно, что внутренне и внешне я отталкиваю от «службы», от «администрации», от чрезмерной политической практики (хотя эти 13 лет в этом смысле пользу принесли огромную), понятно, что обстоятельства складываются, указывая на Европу... например, предложение написать книгу о Ленине, которую я возьму с такого конца, что это будет книга живой мудрости. (Рядом с этим буду писать «Смех, как оружие классово-борьбы», в которой широко изложу мою эстетику и, если сил хватит, перейду к третьей книге, которую еще не знаю как назвать, но которая будет историей и теорией мудрости.)

Если моя внутренняя «вера» в необходимость и разумность моей жизни (т. е. в то, что и принадлежит к числу сил, строящих разумную жизнь) правильна — тогда это все должно в короткий срок наладиться. Если

что-нибудь помешает надолго и окончательно, то тогда, значит, все было напрасно. Но я верю, крепчайшим образом верю. И буду верить, пока останется порох в пороховницах».

На следующий день, 27 сентября, он пишет:

«Вообще же я здесь хорошо работаю. Но, очевидно, мой долг переменить рельсы. Не оставляя политики, надо прежде всего обеспечить за собой широкие возможности научной работы. «Ленин», «Смех» и «Мудрость». Мои три темы».

Почти каждая фраза этих писем нуждается в разъяснениях, связана со многими событиями, как имеющими уже к тому времени многомесячную давность, так и возникшими за несколько дней.

В сентябре 1929 года Луначарский подает заявление об уходе с поста наркома просвещения, который он занимал с 26 октября (8 ноября) 1917 года. Он получает новое назначение — председатель Ученого комитета при ЦИК СССР.

Непрерывный поток командировок за границу с дипломатическими и научными миссиями, огромная пропагандистская работа, связанная с разъездами по стране: в Свердловск ради двух докладов, в Среднее Поволжье ради трех выступлений, по Закавказью с циклом лекций на самые разные темы плюс работа в редколлегиях нескольких издательств и журналов, заведование кафедрой в Коммунистическом университете имени Я. М. Свердлова и интенсивная работа в качестве критика и партийного публициста — вся эта огромная политическая и литературная деятельность при всей ее необходимости и значительности лишала, однако, возможности вести углубленную научную работу. К этому надо добавить, что Луначарский был директором Института литературы, истории и языка Коммунистической академии (и членом ее президиума), где вел семинары и руководил работой аспирантов.

В томе 32 «Литературного наследства» приведена такая статистика: за первые пять месяцев 1929 года, а вернее за три с половиной (так как за это время Анатолий Васильевич на месяц уезжал в Женеву и на десять дней в командировку в Среднее Поволжье, что с дорогой составило не менее двух недель), им было сделано 113 докладов.

Запись, сохранившаяся в архиве, дает

представление о темах выступлений лишь в Москве: от международного положения до вопросов морали и быта, участие в диспуте на тему «Какие нам нужны музеи» и так далее.

За этот же 1929 год только в библиографическом справочнике К. Д. Муратовой «А. В. Луначарский о литературе и искусстве» значится 98 опубликованных статей. В январе в журнале «Красная панорама» — обзор «Литературный год», содержащий анализ творчества Шолохова, Панферова, Федина, Асеева, Маяковского и других. В том же месяце статьи «Ленин и культура», «Ленинская культура», две статьи о помощи молодым дарованиям, некролог о Г. Якулове «Памяти крупного художника и человека». В феврале — три статьи и большой доклад о Грибоедове, статьи о Гоголе, Чехове, Короленко, две статьи о Бахрушине, об Анатоле Франсе, «Пушкин и современность», «О многоголосности Достоевского» (по поводу книги Бахтина), «Современный Дон-Кихот» о Р. Роллане; четыре статьи для Литературной энциклопедии: Бодлер, Верлен, Верхарн, Гёльдерлин; две статьи для Большой Советской Энциклопедии — Газенклевер и Гаузенштейн; «Мицкевич и Россия», «Русская критика от Ломоносова до предшественников Белинского», «Буржуазные журналисты и война», «По Среднему Поволжью» и так далее и тому подобное. Спектр тем поистине удивителен, поэтому я и позволила себе привести так много примеров. Нельзя забывать и о том, что преобладающее число этих статей не устарело и по сейчас.

За месяц, проведенный в Женеве, в «Комсомольскую правду» было прислано 7 корреспонденций (упоминаю только те, которые вошли в сборник «А. В. Луначарский. Статьи и речи по вопросам международной политики», изданный в 1959 году).

А ведь 1929 год был отнюдь не самым благоприятным для творческой работы. За предыдущий год та же библиография Муратовой регистрирует около 140 публикаций только по литературе и искусству. Подчеркиваю это еще раз: статьи и речи, доклады (стенограммы велись далеко не всегда) по вопросам политики, международному положению, образованию, «на злобу дня» и другие пока не учтены.

В этом году Библиотека имени Ленина должна выпустить первый том полной библиографии Луначарского, куда вошло более 4300 названий — все, что найдено на

русском языке. Но ведь многие статьи Луначарского писались и публиковались непосредственно на иностранных языках, не говоря уж об интервью. Будем надеяться, что Библиотека иностранной литературы возьмется за розыск этих публикаций.

Привожу все эти сведения для того, чтобы сделать понятной абсолютную трезвость оценки Луначарским своей жизненной ситуации, ту безмерную щедрость, радостную терпимость, с которой он нес крест популярности, талантливости, почти неправдоподобной легкости и увлеченности, с которыми он работал.

«Первый звонок» тревоги прозвучал в заметке, предназначенной для журнала «Огонек», которая найдена в архиве и опубликована в том же томе 82 «Литературного наследства»; отвечая на вопрос журнала: «Как Вы отдыхаете?» — Луначарский написал горькие строки: «Строго говоря, я вовсе никогда не отдыхаю. Даже в праздничные дни у меня чрезвычайно редко выпадает что-нибудь похожее на то, что обыкновенно называется отдыхом, о будних же днях вовсе не приходится говорить».

Этот ответ показывает, что и сам Анатолий Васильевич уже начал понимать пагубность такого образа жизни.

Отчетливое сознание того, что в Москве ему никогда не добиться возможности для спокойной «целестремленной» научной работы и реализации планов нескольких задуманных книг, совпало с заказом написать книгу, о которой он мечтал всю жизнь: биографию Владимира Ильича Ленина.

Заказ этот пришел неожиданно. Вот при каких обстоятельствах. 17 сентября 1930 года в Париже в гостях у Барбюса Луначарский познакомился с директором Международного литературного агентства ALI (Agence Littéraire Internationale) Шварцем. Состоялся разговор, который Анатолий Васильевич характеризует в дневнике как «важный». Речь шла о подготовке для агентства книги — биографии Ленина.

Подробности находим в письме Анатолия Васильевича Наталии Александровне от 22 ноября того же года:

«Аи обратилось и сюда (в Женеву.— И. Л.) ко мне насчет книги о Ленине. Но о двух показательных главах не может быть и речи, для этого надо весьма серьезно начать работать. Между тем я вновь должен буду написать им, что работа затянется на один-полтора года, что я могу начать ее лишь позднее.

Конечно, послать им нечто вроде оглавления я могу и пошлою. Скажу тебе прямо — в Москве я такой книги никогда не напишу.

А книгу о Ленине я хотел бы написать. В сущности, моя тема: Ленин как тип гения и героя. Книга была бы о том, что такое гений и герой, внешне образец и пример человечества. А Ленин, как полный, новый и, так сказать, прозрачный по своему социально-психологическому строю тип гения. Такого убедительного еще не было. Другие гораздо запутаннее.

Но это очень большая работа. А им хочется, конечно, репортажа, биографических подробностей, если можно, так и каких-нибудь «разоблачений», новых документов и легкого чтения. Всего этого я не дам. Не могу и не хочу.

Перспект я им, конечно, напишу и пошлю. Может быть, я ошибаюсь и сварю с ними кашу.

Но дело не в этом: книгу у меня примет кто угодно и издаст всякое крупное издательство. А вот написать. Для этого у меня есть все... кроме времени. Нужен год, полтора при еженедельной кропотливой работе часов в 12—15. Я имею в виду еще 10 часов в неделю на параллельную другую литературную работу и часов 25 на службу. Разве в Москве это возможно?

Ограничить службу (при высшей добросовестности, без бюрократизма, компактно) 3 часами в день и, взяв 4—5 часов ежедневно на работу научную, читать, писать совершенно целестремленно.

Все это стоит и падает, с назначением меня года на 2 полпредом».

К сожалению, попытки найти архив агентства ALI, в котором, возможно, сохранился «проспект» биографии Ленина, пока не увенчались успехом.

Однако предложение агентства, безусловно, способствовало новому обращению Анатолия Васильевича к ленинскому наследию. Свидетельство тому — наиболее важная работа Луначарского о Ленине «Ленин и литературоведение» (1932). О работе над ней сохранилось несколько записей.

В письме от 22 апреля 1932 года есть такой абзац:

«Сегодня у нас нет заседаний. Буду заниматься моей крайне ответственной статьей: «Ленин» для Литературной энциклопедии. Эта статья займет у меня не меньше неде-

ли времени. Если она мне удастся вполне — будет большая победа. Ведь никто не смеет за нее взяться!»

В других письмах фразы: «...тщательно прорабатываю моего «Ленина», «Все время до твоего приезда будет занято работой над «Лениным»...»

Всего у Луначарского более 60 статей, докладов, выступлений о Ленине.

В ближайшее время издательство Агентства печати Новости выпускает сборник «Человек нового мира», в котором объединены выдержки из этих публикаций. Конечно, этот сборник ни в малейшей степени не восполняет задуманной Луначарским книги.

Немало было сделано и для темы «Смех, как оружие классовой борьбы».

В 1930 году пишутся две специальные работы — «Что такое юмор?» и «О сатире». Последняя начинается фразой, в которой ключ к работе: «Смех всегда был огромной силой классовым оружием... При помощи смеха новые поднимающиеся классы начинали поражать своего господина».

В 1931 году, став директором Пушкинского дома и членом Президиума Академии наук, Луначарский организовал специальную комиссию АН СССР по сатирическому жанрам, работой которой руководил. 30 января 1931 года он произнес речь на заседании этой комиссии. Заканчивая ее, он сказал:

«Смех был всегда чрезвычайно важной частью общественного процесса. Роль смеха велика и в нашей борьбе, последней борьбе за освобождение человечества».

Мы будем поэтому счастливы и горды, если нам удастся проследить и на конкретных примерах проанализировать историческое развитие смеха и отточить, таким образом, оружие наших юмористов, наших сатириков».

Чувствуя необычайно захватывающий интерес нашей задачи, значительность ее с точки зрения истории литературы и современной нашей борьбы, комиссия по изучению сатирических жанров радостно приступает к работе».

К сожалению, очень трудно сказать что-либо конкретное о третьей теме — книге о мудрости: «История и теория мудрости». Но нельзя не вспомнить фразу из письма, написанного 26 сентября 1930 года: «Между тем все зовет меня к работе синтетической, к большим сочинениям... Моей четвертой книгой, к самому концу, будет мой мемуары, вернее широкая автобиография».

В другом письме Анатолий Васильевич писал, что за биографию возьмется лишь после того, как ему «стукнет 60 лет».

Опубликованы два письма Горького, написанные осенью 1932 года, в которых он уговаривает Анатолия Васильевича начать писать свои мемуары, подчеркивая, что это будет «замечательная, объективно нужная книга».

Вера в то, что он сумеет добиться возможности «спокойной работы», а единственным условием для этого он считал «заграничное более-менее спокойное полпредство», была подкреплена интенсивными переговорами с наркомом иностранных дел М. М. Литвиновым и письмами к И. В. Сталину. Назначение было ему обещано, и Луначарский спокойно смотрел в будущее, был полон оптимизма. Об этом свидетельствует письмо от 4 марта 1932 года:

«Какой ужас с парижским торгпредом Гуревичем. Шалонские врачи неправильно сростили ему руку, и ему будут ее вновь ломать. О таких вещах я не могу думать без боли. Как хорошо, что я за всю жизнь ничего себе не ломал и не вывихивал. Вообще я мало болел в жизни. Если сердце не будет слишком шалить — то я еще лет 10 проживу!»

Больше, пожалуй, не надо.

Но жить хорошо. Любовь на первом месте. Благодаря тебе я богат любовью. Потом природа. Она все больше меня привлекает. Жаль, что я не был и в молодости спортивно развитым человеком».

Все искусства. Великолепная вещь — человеческая мысль. Политика сейчас — горька, хоть очень сильна, и, конечно, она все-таки тоже и картина великих, причудливых явлений и высокого искусство».

Умирать настолько не хочется, что, может быть, почитать у великих и помечтать о разных формах бессмертия».

Я теперь читаю изречения Будды. Я понимаю философское и поэтическое величие буддизма, но его отречение от бессмертия вытекает из глубокого осуждения жизни».

Нет, вся гигиена, построенная на этом, для меня вещь мертвая и антипатичная. Может, поэтому мне неприятен Толстой... Люблю Спинозу, Гёте, в небольшом от них расстоянии — Шекспира, Бальзака, Р. Роллана».

Довольно горячую любовь я чувствую, из соотечественников, только ты удивился — к Чернышевскому. Это я говорю по-настоящему».

щему, чтобы признать своим старшим братом. Чувствовать близость и благодарность. А так читать я люблю, разумеется, многих».

«Горячую любовь» подкрепляет творческое наследие.

Серия больших статей к столетию Н. Г. Чернышевского была написана в 1928 году. Примечательны их заглавия: «Великий мертвец или живой соратник?», «Чернышевский как критик», «Н. Чернышевский и Л. Толстой», «Чернышевский-революционер», «Гигант революционной мысли», «Этика и эстетика Н. Г. Чернышевского перед судом современности», «Чернышевский как писатель», «Н. Г. Чернышевский» — книга, объединяющая все эти статьи, плюс статья «Чернышевский-философ». В 1930 году вышли «Литературно-критическая деятельность Н. Г. Чернышевского», «Романы Н. Г. Чернышевского», «Литература шестидесятих годов» (стенограмма лекции в Коммунистическом университете имени Свердлова). Мы насчитали 12 крупных статей, в которых всесторонне рассмотрена, проанализирована философская, политическая и литературная деятельность великого «соотечественника», ставшего старшим другом. Об отношении к этике Чернышевского есть строчки и в письмах, написанных в октябре—ноябре 1927 года из Москвы, в период работы над анализом его художественного творчества.

Письмо без даты:

«Чернышевский, которого «Что делать?» я прочел с упоением, говорят, что любить — это прежде всего значит желать любимому счастья и способствовать ему и, конечно, всегда ставить счастье любимого выше и первее своего».

Письмо от 27 октября 1928 года:

«Вчера у меня был день необыкновенно удачный, но и крайне утомительный.

Был 30-летний [юбилей] первого МХАТа. Я говорил речь...

Сейчас же после речи я поехал в МК и перед 1000-ной комсомольской аудиторией выступил с докладом о молодой пролетарской литературе.

Для этого пришлось сделать большую подготовительную работу...

Все время интенсивно и с увлечением работаю над Чернышевским как беллетристом».

Около 30 статей посвящено Ромену Роллану (первая в 1912, последняя в 1933 году),

не говоря о частых и многозначительных упоминаниях о нем в статьях, не специально ему посвященных, докладах, лекциях, письмах, дневниках. «Не подлежит сомнению, что Ромен Роллан — прекрасное явление в жизни Европы», — писал Луначарский в 1931 году.

Запись в дневнике Анатолия Васильевича 6 февраля 1932 года:

«Получил новую книгу Р. Р. (Ромена Роллана. — И. Л.) («Эмпедокл и Спиноза»).

«9 февраля. Я не записал в свое время, что книга Р. Р. «Эмпедокл» произвела на меня сильнейшее впечатление. Она дает гораздо более живую фигуру и больше ценностей, нужных и сейчас, чем замысловатая и болезненная трактовка Гельдерлина. Спиноза менее интересен. Но хорошо, знаменательно, что Р. Р. — тоже спинозист. Это учитель всех лучших людей почти без исключения. Спиноза — Гегель — Маркс».

В апреле, получив приглашение Ромена Роллана, Луначарский поехал к нему в гости в Вильнёв, около Монтре. Этот визит описан в статье «У Ромена Роллана», опубликованной в том же 1932 году в журнале «Прожектор». Известна и фотография, сделанная К. А. Уманским: Роллан и Луначарский около дома Роллана (вилла «Ольга»).

В письме к жене Анатолий Васильевич так описывает этот день:

«Путь к Ромену Роллану был очень приятным. Завтракали в рыбацком ресторане в Турон, Вильнёв чрезвычайно красив».

Вилла Р. Р. мила, как и вся его обстановка. Окружают его сестра, Кудашева (впоследствии жена Ромена Роллана Мария Павловна, которая после смерти своего великого мужа возглавляет огромную работу по увековечиванию памяти Роллана, издание его дневников и переписки. — И. Л.) и седа я англичанка, подруга сестры. Все приятные. Много кошек. Сам он по наружности, и по настроению, и по беседе совершенно очарователен.

Много фотографировались. Если снимки выйдут — будет приятное воспоминание.

Он обещал дать небольшую статью-декларацию, которую мы телеграфируем.

Прекрасно, по-братски, говорил о Барбюсе».

В конце июля этого года я имела возможность посетить Вильнёв. Проливной дождь загнал нас в ресторан «Байрон», и официант, сразу определив туристов, ска-

зал, что Шильонский замок мы можем видеть из окна, а как кончится дождь, поднявшись по дорожке, попадем на виллу «Ромен Роллан».

Мы так и сделали. Я не знаю, кому принадлежит сейчас эта вилла, но ворота небольшого сада гостеприимно распахнуты. Сад с цветущими кустами роз, благоухающих магнолий, усыпанными красноватым гравием дорожками как будто сошел со страниц сказки. Двухэтажный домик увит зеленью.

Посетив в Сен-Лежье (неподалеку от Лозанны) дом, в котором с конца 1915 года по май 1917 года жил Луначарский и который описал в дневнике от 9 мая 1917 года Ромен Роллан, я убедилась в том, что и там ничего не изменилось. Так и Вильнёв — все соответствует описанию и рассказам Луначарского.

Спиноза интересовал, увлекал Луначарского, можно сказать, всю его сознательную жизнь — с первых проб пера до 1932 года, когда после Международного конгресса, посвященного Спинозе, он написал статью «Барух Спиноза и буржуазия», кстаты для «Нового мира».

Любовь к Гёте тоже прошла через всю жизнь Луначарского. Исследования и переводы из «Фауста» начались еще в ссылке, в первые годы века. Сколько написано Анатолием Васильевичем о нем, сколько произнесено докладов, речей, лекций. Какой план продуман и полностью подготовлен в смысле изучения всех основных научных трудов о гениальном писателе и философе, о жизни этого человека!

«Читаю, между прочим, прекрасные, торжественные рассказы Цвейга: «Sternstunden der Menschheit» («Звездные часы человечества», исторические миниатюры.— И. Л.). Очень тронула меня повесть о последней любви моего старшего друга Вольфганга Гёте».

А вот план будущей книги «Фауст в свете диалектического материализма». Публикую тот, на котором написано «Новый (восьмой?) план Фауста (в свете диалектического материализма)».

1

Гёте

Гёте-бюргер

Гёте — великий бюргер

Крушение бюргера Гёте

На чем помирился Гёте
Положительное в гармонии Гёте
Скорбь Гёте
Гримаса оппортунизма у Гёте
Революционное в Гёте
Антихристианство и материализм
Прогресс
Гёте и свобода

2

Фауст

История Фауста до Гёте
Как создавался Фауст Гёте
Основной план — цель произведения (очень важно) Брандес⁹, стр. 358
Элементы трагедии
Мефистофель
Через страдания к прозрению, к победе
Гретхен (женщины у Гёте)
Елена
Мадонна
Коллизия мира сего
Трагедия «Фауст» и «Комедия»
Роль фантастического и мистического
О Трагедии
Фаустовская культура вливается в коммунистическую
Почему сила коммунизма преодолевает трагедию в жизни человечества и человека
Решение фаустовских проблем (или включить в предыдущую главу?)
Большинство проблем коммунистических и показать уверенность
Диалектические проблемы коммунизма и наши надежды
Заключение

Это запись в дневнике осенью 1932 года.

Три месяца, с февраля по май, этого года были сплошь заполнены Гёте. А судя по плану — и весь этот год.

Письмо от 1 февраля 1932 года, Женева:

«Только что получилась очень важная телеграмма из Москвы. Советское правительство решило принять участие в гётевских торжествах в Веймаре (приблизительно от 10—13 марта) и назначило меня представителем».

11 февраля: «Получил письмо от Волгина: Академия наук уполномочивает меня представлять ее в Веймаре».

20 февраля: «Может быть, на немецком

⁹ Брандес Георг (1842—1927) — датский критик, историк литературы, публицист.

языке выйдут в переводе Алексея Маркова 2 мои работы: «Гёльдерлин» и «Гёте».

23 февраля: «Только что получил официальное приглашение из Веймара... Важно добиться речи. В списке я, разумеется, не стою, и уже поздно... Есть большие речи по 1 часу и малые по 20 минут. Я претендую на 2-ю, потому что первой... будут только официальные речи профессора Петерса и Томаса Манна».

3 марта: «Пишу письмо и кончаю речь о Гёте. Как раз самую трудную часть...»

Погода сегодня пасмурная. Официальных дел никаких. Главная работа Гёте — во всех видах».

7 марта: «Хуже с Веймаром. Они пишут мне, что почетные гости, представители правительств, никаких речей там говорить вообще не будут».

Доклады от различных стран делают профессора-гётеведы. Конечно, пишут они, было бы крайне желательно в этом порядке заслушать меня, но порядок дня утвержден уже 2 месяца тому назад... Несомненно, тирольские фашисты не хотят моей речи. Но если бы мы сделали заявку вовремя, то не было бы предлога отказать. Впрочем, германский министр иностранных дел хочет еще похлопотать за меня».

12 марта: «Завтра я выезжаю в Москву... добиться права слова в Веймаре не удалось...»

Дальше уже записи в дневнике.

17 марта: «С утра готовил статью для «Известий» о Гёте».

23 марта: «Вечером доклад (о Гёте.— И. Л.) прочел с успехом».

24 марта: «Доклад в клубе ГПУ. Прекрасный клуб... Отъезд в Ленинград».

26 марта: «Вечером выступил о Гёте».

30 марта: «Мои гётевские успехи несколько испорчены «негодованием» немецкой буржуазной прессы. Ну что поделаешь».

Доклад «Гёте и его время» был произнесен 22 марта в Доме печати и опубликован в журнале «Литературное наследство».

Подготовка плана «Фауст» была закончена в октябре 1932 года. До этого был «Гёц на площади», написанный во Франкфурте-на-Майне летом 1932 года.

Грандиозен был масштаб столетнего юбилея со дня рождения Толстого. Луначарский был председателем юбилейного комитета и редколлегии по выпуску полного собрания сочинений Л. Н. Толстого в 90 томах.

Письмо от 17 сентября 1928 года (в период подготовки юбилея Толстого):

«Много приходится говорить о Толстом, читать о нем и его (нечитанного). Он претит моей в корне счастливой и безоблачно любящей счастье натуре. Я ненавижу и презираю аскетов».

Письмо от 11 сентября:

«Вчера вечером состоялось торжественное чествование Толстого».

Я говорил полтора часа...

Интересно говорил Цвейг...

Сегодня был на выставке толстовской. Хорошая выставка. Восхитили меня совершенно дивные и раньше мне неизвестные иллюстрации Врубеля к «Анне Карениной»...

Кажется удивительным, что при таком отношении к личности Толстого работы о нем занимают едва ли не самый большой «персональный» объем в критическом наследии Луначарского. По подсчету специалистов, Луначарский написал о Толстом до 35 докладов и статей, сделал множество не стенографированных выступлений, посвятил ему много фрагментов в других статьях и докладах. В лекции «Толстой и наша современность», прочитанной в Ленинграде 30 сентября 1928 года, Анатолий Васильевич как бы подводит итог своим исследованиям творчества и социального облика Льва Толстого.

Последней работой, в которой Луначарский еще раз вернулся к значению творчества Толстого, была глава в статье «Ленин и литературоведение» «Воззрения Ленина на отдельных русских писателей», где подробно рассматривается оценка Лениным творчества Толстого. В 1928 году была опубликована специальная статья «Ленин о Толстом».

Но наибольшее внимание литературоведов вызывают работы Анатолия Васильевича о творчестве А. М. Горького.

Первая статья о нем написана в ссылке — в Тотье в 1903 году: «О художниках вообще и о некоторых художниках в частности» (Вересаев, Чехов, Андреев и Горький). Последняя — в 1933 году: «Маттиас Клаузен и Егор Булычев», параллель между пьесами Гауптмана и Горького. Эта статья была предназначена для немецкой прессы в связи с юбилеем Гауптмана, но не публиковалась из-за изменения в Германии политической обстановки. Она опубликована в томе 82 «Литературного наследства».

В общей сложности анализу творчества Горького посвящено более 30 статей. Мно- го упоминаний о Горьком есть и в других работах.

Личное знакомство Луначарского с Горьким длилось двадцать семь лет и претерпело несколько периодов. Об этих сложных взаимоотношениях написано несколько специальных исследований, которых я не буду касаться, хотя далеко не со всеми комментариями и выводами авторов согласна. Все дело, наверное, в том, что еще не все имеющиеся материалы и документы опубликованы.

Недавно в Швейцарии мне передали копии писем Луначарского знаменитому ученому, общественному деятелю и профессору в Цюрихском университете Августу Форелю, написанных в 1916 году.

В одном из них (без даты) Луначарский сообщает, что делает два доклада о Горьком в Лозанне на французском языке и что они будут повторением того, что он уже читал «с некоторым успехом» в Женеве. «Даже буржуазная пресса, которая не могла быть довольна идеями мира и интернационализма, которые я утверждал в этих докладах, дала хорошие отзывы, даже «Журналь де Женев»...»

В этом же письме есть и такие интересные строки:

«Прочли ли Вы прекрасный антимилитаристский роман, скорее художественную хронику,— «Огонь» Барбюса? Это великолепная вещь, и я не понимаю, как французская цензура, обычно свирепая, пропустила ее? Может быть, ее вынудило к этому увенчание книги Академией Гюккуров. Тем лучше, во всяком случае. К сожалению, мало надежды, что перевод этой изумительной книги будет опубликован в России».

В 1928 году Горький приехал в Советский Союз. Первым, кто радостно приветствовал возвращение старого друга и соратника, был Луначарский. Он встречал Алексея Максимовича на вокзале и в тот же день в Большом театре на торжественном вечере произнес блестящую приветственную речь.

О том, сколь прочны были между ними дружеские и деловые отношения, говорят отрывки из писем к жене и дневников.

Письмо от 25 апреля 1928 года:

«Много работаю. Дочитываю огромного, все еще незаконченного, но великолепнейшего Самгина».

Первое упоминание об отношениях — в письме, написанном осенью 1928 года (датировка по сообщению о смерти И. И. Скворцова-Степанова):

«Несмотря на то, что в нашей действительности много скверного, печального, тревожного, мои последние поездки настроили меня почти оптимистически, ибо повсюду видел и изумительное строительство и влюбленных в него людей. С этим впечатлением совпали 2 беседы с Горьким и начавшаяся хорошая работа вокруг журнала «Достижения». (Главным редактором журнала «Наши достижения» был Горький.— И. Л.)

Вообще с Горьким установились славные отношения. Вчера он уехал в Италию до мая».

Дальше записи на этот счет в дневниках 1931—1933 годов. Привожу их без комментариев, хронологически.

1 июня 1931 года: «Никулин распространяет слух о том, что Горький выступает в поход против РАППа. Это, думаю, крайне преувеличено. Надо непременно и вскоре поговорить с Горьким».

9 июня: «Написал статью о Горьком для Литературной газеты».

19 июня: «Звонил Горький».

27 июня: «Написал часть статьи о Горьком для РАПП».

5 июля: «Превосходная поездка к Горькому. Интереснейший, самый дружественный разговор с ним, который может иметь последствия».

29 июля: «Ездил к Горькому».

3 августа: «Ездил в Загорск. Прочел лекцию (о Горьком; сохранилась путевка МК.— И. Л.)».

1932 год — год сорокалетия литературной деятельности Горького.

27 августа: «Телеграмма из Москвы: «Известия» заказывают юбилейную статью о Горьком к 15 сентября. Решил написать им общую статью, а для «Красной нови» — «Самгина». Читал Барбюса «Золя». Другу Анри удалось написать живую и уминую книгу. Я рад».

Этим двум статьям суждено было стать наиболее известными работами Луначарского о Горьком. Писал он их в Германии, в санатории «Кенигштейн ин Таунус», где отдыхал и лечился после того, как в апреле 1932 года ~~началась глаукома правого глаза~~.

Планы статей о Горьком написаны 30 августа: один подробный, для второй статьи лишь наброски. В коротких, лаконичных строчках планов в карманной записной книжке есть все те мысли, оценки, обобщения, которые и сделали оба критических этюда столь значительными, определили их долгую жизнь. В этом году издательство «Художественная литература» выпустило сборник статей Луначарского о Горьком, где «Самгин» опубликован в восьмой раз, а «Горький. К 40-летию юбилею» — в седьмой.

Поэтому мне хочется на примере этих статей, сопоставляя план и окончательный текст, показать ту необыкновенную собранность и знание предмета, которые позволяли Анатолию Васильевичу работать так быстро и фактически создавать свои статьи сразу набело.

Итак, получив 27 августа просьбу «Известий», 30 августа в записной книжке он набрасывает план:

«„Горький. К 40-летию юбилею“.

для «Известий»

план

40 лет. Массив творчества.

Катаклизмы. Толстовская катастрофа по Ленину.

Горьковская катастрофа (сдвиг)».

Две последние строчки развернуты в две главы одноименной статьи. Не будем приводить их полностью, но лишь цитаты, где видны основные идеи:

«Великие литературные явления, многозначительные писательские личности в громадном большинстве случаев, может быть исключительно, появляются в результате больших общественных сдвигов, социальных катастроф. Литературные шедевры заменяют их собою.

Ленин в гениальных своих работах о Толстом, которых не должен упускать из виду никогда ни один марксист—литературовед или критик, сразу определил основную стихийную общественную, неустрашимую причину появления Толстого, всего Льва Толстого: широту его таланта, его всероссийского и всемирного успеха, бессмертность его художественных достижений, убожество его философских и общественных мыслей в одном и главном — в той колоссальной катастрофе, которая встряслась тогда над Россией. Старая крестьянско-барская Русь в смертных муках умирает под прессом беспощадно наступавшего капитала.

Героем — к несчастью, пассивным героем — этой страшной, слезами и кровью облитой драмы был русский крестьянин...

Максим Горький так же точно знаменует собою огромный позднейший сдвиг в истории нашей страны...

По его социальному положению ему ближе была застойная, болотная, безумно замученная, полная стародавней рутины и пестрящая несказанными чудачками среда городского мещанства...

Идя по исполинским стопам Владимира Ильича, мы можем и тут сказать: не от мещанства у Горького неукротимая, бурная, яркоцветная радость жизни, которая пробилась у него пламенем с первых строк его произведений.

Не от мещанства беспощадная суровость негодования на господствующее зло; не от мещанства крепкая вера в человека, в его могучую культуру, в его грядущую победу; не от мещанства соколиный призыв к отваге и буревестнический клич о приближающейся революции. Все это не от мещанства — все это от пролетариата...

Вот почему за большой, энергичной, дорогой нам фигурой А. М. Пешкова высится для нас и его «соавтор» — исполинская фигура пролетария...

Но вернемся к плану:

«1) Победа буржуазии, начало ее распада.

2) Сосредоточение мелкой буржуазии и ее моральное разложение.

3) Зарождение, политический и моральный рост пролетариата.

Происхождение Толстого и Горького и их классовая принадлежность.

Путь Горького 1) Протест против страдания и забитости.

Жгучий крик негодования.

2) Но... огромна вера в положительную основу бытия.

a) Природа у Толстого и Горького

b) Человек у Толстого и Горького (отрицание человеческого в человеке — утверждение его)

c) Культурный прогресс. Отсюда — двойственное отношение к интеллигенции

d) Пролетариат в произведениях Горького. Через

бунтаря-плебея-одиночку к «Врагам» и «Матери», к партии.

Новый сдвиг в [1]917 [году] и дальше.

Как станет к нему Горький? После колебаний как политик и организатор.

Публицист Горький последнего времени. Шипение.

Учитель Горький. Недостаточная культура (Р. Р.). (Речь идет о письме Горького к Ромену Роллану, где Горький пишет о недостатке культуры молодых писателей.— И. Л.)

Сам ее добывал.

Что же мы читаем в статье в разделах, освещающих два последних пункта плана?

«Часто Горький не отвечает на публичный, даже официальный удар, но на мелкий укус какого-нибудь из многочисленных своих ядовитых корреспондентов; они тучей гнуса (гаежное название) носятся над его головой.

Его ответы обыкновенно морально до смерти прихлопывают запросчика...

Наша основная сила — молодая поросль. Не забывая ни на минуту повседневной работы и собственного творчества, мы должны много, много внимания отдать нашей прекрасной молодежи...

Молодому писателю ничто не должно быть чуждо: он должен стремиться к широчайшему образованию, чтобы невежество не стесняло его, когда он захочет по-новому отразить жизнь...

Говоря о молодых писателях в недавнем письме Ромену Роллану, Горький сказал: «Культуры им не хватает».

...все то, что я написал о необходимости культуры для нашей пишущей молодежи, это — почти во всем пересказ того, что я читал и слышал у Горького.

...тут можно дать особенно большой помощи Горького, его большой организационной работы».

Остальные пункты плана так же четко раскрыты в статье:

«Огромная роль фельдмаршала от литературы и культуры.

Но как беллетрист

Признание Горького. Может быть, это в одном же почти томе Самгина (???)».

Добывает и хоронит прошлое. Это дело настоящего и даже ближайшего будущего. Здесь он незаменим.

Самгин.

Уже и еще.

Промышленность, экономика, серия картин жизни, которые надо знать и (?).

Анализ мещанина, человека туда и сюда.

Большевики у Горького в Самгине.

Дальнейшие планы.

Это приход к величайшей массовости, когда в 42 году будет праздноваться 50 лет деятельности Алексея Максимовича.

«Самгин (набросок плана) к 40 юбилею Горького. Для «Красной нови»

Введение

Почему Самгин интересен по существу?

Почему Самгин интересен формально?

История

Психология

Пейзаж

Политика

Религия

Большевики

Заключение».

Полный план был записан в другой записной книжке и помечен 9 сентября. Почти все слова написаны сокращенно, но для удобства чтения мы снимаем сокращения. (Сохранился экземпляр тома «Самгин», испещренного на полях пометками Анатолия Васильевича.— И. Л.)

План юбилейной статьи:

«Самгин

Введение. Горький как отражение сдвига: победа капитализма.

Крах этого явления, обратный сдвиг.

Но здесь Горький уже, так сказать, публицистично ограничен.

Художественные похороны.

Почему сие Самгин.

Впрочем, кто знает? Вместе с тем в Самгине и надежды. I часть. Почему Самгин интересен по существу.

Характер бледный, безликий, ограниченность Самгина, его скудность.

И однако.

1) Индивидуальность мещанства и особенность интеллигента.

Отличается Самгин, очень сильный представитель этих черт.

2) Пустота. Исторически класс пуст... Национально пуст. Страницы быта в России. Даже горд этим (Глеб Успенский), пусть страха ради. Двойной страх — попасть в участок и прослыть реакционером. Предательство на этой почве. Родство с Иудушкой Головлевым. Ужасная мерзость и пустота, прикрытая приторной патокой, крас-

норечием заученных благонамеренных ре-
чей. Возможное хищничество на этой почве.

Самгин менее ханжа, но также пустослов,
и в нем тоже несколько плохо развитых
животных инстинктов.

Это от черта.

Немецкий Мефистофель.

Нам черт помогает, без остроты.

Может быть (sic!), у них комизм попыток.

Передоновщина ¹⁰ гнусна и уныла.

Самгин тоже чертова кукла.

Таких много.

Многие могут с ужасом узнать себя.

Отрицать можно.

Да ведь это Самгин!

Зеркало.

Почему Самгин интеллигент формальный.

Чистая плита, табула раза.

Не лучше ли со своей точки зрения?

Нет.

И ни с чьей другой.

История.

К Самгину

- 1) Зависимость от классов, уклончество(?)
- 2) Зависимость от общественного мнения
Зависимость от права
- 3) Призрачная работа».

Все первые дни сентября заполнены ста-
тьями о Горьком. Записи в дневнике.

2 сентября: «Написал — и хорошо! — по-
ловину статьи о Горьком для «Известий».

3 сентября: «...написал почти всю статью
о Горьком. Завтра, вероятно, конец. Наташа
(жена.— И. Л.) читала «Самгина» и совер-
шенно переменяла мнение о нем».

5 сентября: «Писал о Горьком. Удачно».

6 сентября: «Дописал статью о Горьком».

7 сентября: «Перечел «Горького». Можно
было бы послать. Да Наташа задумала пе-
реписать для немецкого издания».

12 сентября: 1 (первую.— И. Л.) уже ру-
копись о Горьком отослал, но над второй
работаю много (речь идет о «Самги-
не».— И. Л.). Зато получил хорошее друже-
ское письмо от Горького».

За это время — осень 1932 года — со-
стоялся обмен несколькими очень интерес-
ными письмами между Луначарским и Горь-
ким, которые сейчас широко известны, не
буду их здесь приводить.

Известно и то, что Горький распорядился
переслать Анатолию Васильевичу экземп-
ляр «Булычова», который вышел в свет в

Берлине в ноябре 1932 года (Луначарский
до 14 января 1933 года жил в Берлине).

По возвращении в Москву через несколь-
ко дней 21 января Луначарский смотрел в
Театре имени Вахтангова спектакль «Егор
Булычов и другие».

Я очень хорошо помню, как после спек-
такля Анатолий Васильевич прошел на сце-
ну, где его окружила вся труппа, и как он
говорил о своем впечатлении, обнял Шу-
кина.

В этот день он записал в дневнике:

«21/1—Веч[ером] видел «Булычева». Спе-
такль очень хороший, а Шукин прямо по-
разителен. Труппа отлично меня встретила.
Сговорились о кое-каком сотрудничестве, я
им сказал несколько слов о «Булычеве».

2 февраля (в Ленинграде): «С утра про-
смотрел материал для БСЭ. Потом прочел
2 акта из «Достигаева».

17 февраля: «Хорошая мысль для разбо-
ра 2-х новых драм Горького:

- 1) не на своем месте (Булычев);
- 2) без своего места (Достигаев).

Подготовка — Про отца Гордеева —

К сыну (в Морозовке ¹¹)

Заглянуть в «Дело Артамоновых».

Но, к сожалению, этот интересный раз-
бор не был сделан.

В июне 1933 года Луначарский написал
статью о Горьком для Малой Советской Эн-
циклопедии.

Последняя встреча Алексея Максимовича
Горького и Анатолия Васильевича Луначар-
ского состоялась накануне отъезда Анато-
лия Васильевича из Москвы — 15 июля
1933 года.

«15/VII. Был у Горького. Большие и инте-
ресные разговоры. Обед с врачами (Бадма-
ев, Замков, интересный профессор Сперан-
ский)».

16 июля: «Вечером, распрощавшись со
всеми, уехал в Париж».

Анатолий Васильевич не вернулся в Мо-
скву.

Тяжело боля, он продолжал интенсивно
работать в различных направлениях и все
это время обращался к воспоминаниям о
своей жизни.

В предисловии к книге Б. Шоу «Черноко-
жая девушка в поисках бога» Луначарский
сделал чрезвычайно важное признание, ко-
торое я позволю себе процитировать:

«Если бы пишущий эти строки мирно бе-
седовал с Шоу на завалинке... то он смог

¹⁰ Передонов — герой романа Ф. Сологуба
«Мелкий бес».

¹¹ Дом отдыха, где жил Анатолий Василье-
вич.— И. Л.

КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

СОДЕРЖАНИЕ



ЛИТЕРАТУРА И ИСКУССТВО

В. Перцовский. Выбор судьбы.— **Г. Ищук.** Диалог и спор.— **И. Гринберг.** Как добывается цельность.

ПОЛИТИКА И НАУКА

Б. Жировов. Надежный ориентир.— **О. Сайкин.** От Радищева до революционных народников.— **И. Геевский.** Президенты и политика.

Литература и искусство

ВЫБОР СУДЬБЫ

Даниил Гранин. Однофамилец. Повесть. «Звезда», 1975, № 3.

Растущее влияние науки на общественную жизнь — вот тема, которая все более приковывает к себе внимание Гранина. Речь идет не только о могущественных открытиях, революционирующих материальные сферы современного бытия — экономику и быт. Стремительно расширяясь, вовлекая в свою орбиту миллионы людей, доводя свою социальную «престижность» до ажиотажа, наука все более воздействует на человека как специфическая среда, образ жизни, система ценностей. То, что прежде было достоянием немногих избранных, сейчас чуть ли не перед каждым возникает как реальная возможность судьбы. Что сулит деятельность в науке человеку? Гранин настойчиво сопоставляет специфические ценности и духовные принципы, возникающие среди «теучки» академической, институтской и тому подобной деятельности, с более широкими, выкристаллизованными всей историей человечества. Наука и жизнь, наука и личность, наука и нравственность — это сопоставление не раз уже выливалось у него в развернутый и напряженный спор. На страницах повести-эссе «Эта странная жизнь» развернулась яростная схватка между Любищевым — легендой, рациональным, железным рыцарем науки, и подлинным Любищевым — человеком, для которого

жизнь и нравственность были неизмеримо важнее науки и сама наука была не целью, а средством для осуществления себя, для полной реализации своих духовных и нравственных свойств.

В повести «Однофамилец» спор продолжен и углублен; он четко обозначился уже на самых первых, превосходно написанных страницах, где инженер-монтажник Кузьмин, человек конкретного дела, вдруг оказывается на конгрессе математиков, людей самой отвлеченной из научных профессий. В многолюдном кипении конгресса, в море взаимных поклонов, улыбок, объятий, поцелуев, в множестве бегающих, скользящих, ищущих, вопросительно наталкивающихся на него взглядов он ощущает некое праздноство причастности к Науке, как бы отлучающее от себя всех «непричастных», в том числе и его, Кузьмина... Буквально с первых же минут он вынужден вступить в спор, защищая свое достоинство.

Постепенно этот спор, резко осложняясь, превращается в борьбу внутри самого Кузьмина, в необходимость выбора. Сюжет «Однофамильца» несет в себе нечто условное, полуфантастическое, почти сказочное, напоминающее традиционную коллизию старой мелодрамы: простолюдин внезапно оказывается аристократом или даже прин-

цем крови по рождению. Чужой, посторонний в научной среде, «никто» с точки зрения ее иерархии, Кузьмин узнает, что он обладает правом на почетное место в мире науки. Его юношеская работа, когда-то взрешившая в институте и прочно забытая им самим, теперь в центре внимания специалистов-математиков: она содержит важное открытие, определяет целое направление... И перед Кузьминым возникает возможность круто переменить, или, точнее, «переиграть», свою судьбу, принять почет, славу, материальные выгоды, которые несут с собою научные степени и должности. Для этого ему нужно лишь открыться в своем авторстве, все остальное берут на себя добровольные помощники, моментально его окружившие. Кузьмин оказался словно бы между двумя судьбами — реальной и гипотетической, и вынужден объективно взвешивать доводы в пользу одной и другой.

Многие из тех, кто теперь окружает Кузьмина, не видят причин для сомнения: конечно же, вся жизнь его — ошибка, и ее надо исправить, пока есть какая-то возможность. Их устами творится некая современная легенда, миф о «свободной» науке, которая не только не зависит от других областей жизни, но, напротив, возвышается над жизнью, опережает ее, сама является идеальной, образцовой, улучшенной жизнью и якобы способна решить все проблемы, стоящие перед человечеством. Легенду питают блестящие успехи научного знания во всех областях. И лозунг «любой ценой, но в науку» определяет поведение многих способных зубаткиных и бездарных, но упорных корольковых. Интересно, что в этом их стремлении практические, так сказать, «карьерно-престижные» цели своеобразно переплетены с искренним энтузиазмом.

«Куда я могу выдвинуться?.. — рассуждает Зубаткин о своей инженерской деятельности. — Пока место не освободится, жди. Какая у меня перспектива? А тут, по крайней мере, кандидатская, докторская, есть движение». Согласно этой логике, наука дает наиболее твердую гарантию продвижения по общественной лестнице; что же до судьбы талантливого Кузьмина, связавшего себя с производством, то она состояла из непрерывных взлетов и падений и была открыта всем ветрам, всем бурям времени. Как не похожа на нее судьба его неизмеримо менее способного однокурсника Королькова! Кузьмин — начальник маленького монтажного управления; Корольков — доктор.

А по сути это ловкий околонучный делец. В обыденном сознании продвижение в науке все в большей степени символизирует жизненный успех как таковой; пародируя эту точку зрения, профессор Лаптев говорит Кузьмину, своему бывшему студенту: «Где ваши печатные труды? Нет? Звания, степень получили? Опять же нет! Чего вы достигли?.. А ведь не мальчик. В вашем возрасте это считается главным итогом. Поди, не профессор. Не доктор. А могли бы!» И в самом Кузьмине шевелится зависть к этой жизни, «где все размечено: аспирантура, защита кандидатской, работа на кафедре, предусмотренные и докторская, лекционные часы, ставки...».

Впрочем, «график восхождения» для кого заманчив, а для кого и нет. У Зубаткина, к примеру, главный стимул иной. «Думаете, в диссертации дело? — говорит он Кузьмину. — Защита — это не хитро. Защищают все. Хочешь не хочешь — заставят, раз ты в аспирантуре числишься. А мне этого не надо... Я хотел д-о-с-т-и-г-н-у-т-ы! Иначе какой смысл...» Достигнуть — значит, осуществить себя, свои творческие возможности, доказать, на что ты способен. И наука, по его мнению, есть идеальная сфера для такого рода осуществления. В производстве все зависит от вполне конкретных обстоятельств, материальных прежде всего, от всякого рода «сердечников-наконечников».

«В прошлом году, — жалуется Зубаткин, — толкнули мы идею одну по сетям. И что? А ничего! Под сукно. Кабеля, говорят, нет». Кузьмину хорошо понятно это «кабеля нет»; он вспоминает управляющего, который метался по стройке, добывая кусок кабеля, чтобы пустить готовый комбинат: «На бумаге легко резвиться... Идей много, а я сейчас все идеи отдаю за тысячу метров кабеля!» Зубаткин считает такую зависимость от «грубой прозы» оскорбительной. Иное дело наука; здесь идеи имеют самостоятельную жизнь, самостоятельную ценность; этот мир «свободен от бракованного кабеля, от загулявшего сварщика, от инспектора Стройбанка». Здесь все зависит от способностей, таланта, который становится главной ценностью с точки зрения «родовой» цели науки — стремления к открытию, к познанию нового. Характерно, что в повести речь идет о математике, науке наиболее отвлеченной и могущественной в своей отдаленности. «Наша наука, — ораторствует Зубаткин, — единственная научная наука. Госпожа всех наук! У нас что сумел, то и сделал, ни от

чего не зависяшь. Только от этого! — И он энергично постучал себя по лбу».

Это и есть главный довод в пользу науки — власть, которая, так сказать, объективно, по самой сути вещей предоставляется в ней таланту. Кузьмин, хоть и со стороны, отчетливо сознает эту особую власть: талантливый человек — это прежде всего конкретный человек, личность. Его слава — «особая слава... слава, не зависящая от всяких званий, стоящих перед именем. Чистая слава, сосредоточенная вся в слове «Лаптев». «Тот самый» иногда добавляли для пояснения. И не нужно было — доктор или академик, заслуженный деятель. Просто Лаптев». Талант порождает высшую гармонию в отношении между личностью и обществом: с одной стороны, «у кого талант есть, больше может дать людям», с другой — самому человеку «талант дает удовлетворение», не сравнимое ни с чем. И Кузьмину искренне жаль тех радостей, которые возможны были для него и которые теперь безвозвратно потеряны. «Только сейчас он стал понимать, какую жизнь потерял, совсем иную, чем вел, — вдумчивую, глубокую, плотно заполненную трудом, наедине с бумагой, книгами...» «Сидеть и думать — до чего ж это, наверное, приятно... Сидеть и думать — работать головой, чтобы все там ворочалось и скрипело, совершать безумные допущения, формулировать по-новому, бесстрашно замахиваться и пытаться все это без снисхождения, без пощады».

Но чем острее переживает Кузьмин практические и духовные аспекты своей неосуществленной жизни в науке, тем неодолимей поднимается в нем внутреннее сопротивление возможным переменам в его судьбе — сопротивление, которое его новые «наставники» трактуют как слабость, косность, «бездуховность». Внешне Кузьмин как бы и не стремится мотивировать свои поступки, которые подчас принимают вид чистого своеволия; это впечатление Гранин намеренно усиливает, сравнивая его позицию со «страшным» решением римского императора Диоклетиана, который добровольно променял высшую власть на судьбу простого иллирийского земледельца. Гранин вообще любит подчеркивать сложность, загадочность нравственных мотивов, не укладывающихся в логическую схему. Но, разумеется, демонстрация всякого рода «страшностей» и «парадоксов» отнюдь не является его художественной целью. Сила мысли писателя как раз в ее определенности.

Широко развертывая доводы сторонников «чистой науки», Гранин в то же время наносит по ним ряд неотразимых ударов.

В той самой «свободе» науки от жизненных обстоятельств, которую Зубаткин и Корольков считают источником ее преимуществ, Лаптев усматривает глубокие противоречия. «Никаких высших откровений там нету, — говорит он о «чистой» математике, — и миропонимания нет. И нравственности ни на грош не прибавляет. Игра холодного ума. Абстракции, которые неизвестно когда и где прорастут делом... Могу признаться — сколько лет веду семинар, а тут понял, что не знаю, о чем мы говорим, о чем я сам говорю и верно ли то, о чем мы говорим...»

Выводы Лаптева — крайность, обратная зубаткинской; в то же время они далеко не беспочвенны. В царство «отвеченных идей», долгие годы державших Лаптева в плену, действительно могут провякнуть призраки и фантомы; они способны просочиться даже в краеугольные понятия историко-научопоклонников, в их «символ веры», их святая святых — в идею т а л а н т а.

Поскольку для Зубаткина, например, внутренние цели науки — абсолютная, непреложная ценность, постольку способность к выдвижению новых идей для него есть нечто принципиально более высокое, чем нравственные, личные свойства человека; сам человек, так сказать, лишь «прилагается» к своему дарованию. «Ведь ценны результаты... — сказал Зубаткин. — Вот Яша Колесов жену с деташками бросил, типичный подонок. А какую штуку придумал с ускорителем!» «Мне, например, не важно, кто этот Кузьмин, не важно!.. А важно, что он сделал!» «Все хотят быть талантливыми. Но... не у всех получается. Тогда начинают говорить о нравственности и тому подобной фигне».

Но что такое талант, оторванный от личной, нравственной основы, от конкретного человеческого «я»? Отвлеченное свойство мозга, способность «к игре холодного ума»? Так или иначе, в этом качестве он становится «сверхличностной» абстракцией, абсолютным воплощением свободы, могущества, власти, отдаленным подобием могущественных денег — бога буржуазного общества. Ему завидуют, его вожделяют, о нем мечтают в горячечных снах, как Раскольников мечтал о власти, как Подросток — о ротшильдовском богатстве. И это недобрые, зловещие грезы, порождающие новых, соб-

ственных демонов. Мрачная фигура Лазарева наглядно воплощает в себе эту силу. «Жгучая зависть к таланту не давала покоя отцу, швыряла его от ненависти к истерическим восторгам, талант считался решающей меркой каждого человека, открытие было оправданием любой жизни. Отец скорбел о том, что дьяволы и чертей истребили и некому запродать свою душу в обмен на талант, он и вправду готов был бы на такую сделку, ни минуты бы не сомневался»... Таково многозначительное признание Аля, давней, юношеской привязанности Кузьмина, расчетливо связавшей свою судьбу с Дудкой — Корольковым. Подобное поклонение таланту отнюдь не добром чревато. В том же Лазареве вполне уживается борец за «истину», за открытие своего ученика — и низкий клеветник. Загадка Сальери, давно приковывающая внимание Граина! «Сальерианские» черты видны и в Зубаткине; острая зависть к открытию Кузьмина поднимает со дна его души «злость и гадость», он вертится винтом, «готовый укусить». И его жизненная концепция («Он прямо-таки обязан был открыть дорогу своему таланту. Его способности должны были быть реализованы, это было выгодно обществу и науке, и он мог не стесняться в средствах») скрывает в себе зерно вседозволенности.

Ситуация, в которой оказывается Кузьмин, поляризует, расслаивает перед его взором две сферы: «жизнь как она есть» и «талант, культивирующий себя». Открытие Кузьмина существует как бы помимо самого открывателя — и нынче не он Кузьмина. Он сам уже ничего не имеет общего с полузабытым юношей, державшим посягнуть на авторитеты, ему чужды и непонятны собственные старые идеи. Но эти идеи живут самостоятельной, призрачной и в то же время могущественной жизнью; на них строятся и разрушаются чьи-то судьбы, планы, вождения... Как Нос гоголевского Ковалева, как Тень в пьесе Шварца, кузьминское порождение претендует на то, чтобы быть сильнее, истиннее подлинного Кузьмина. И он должен сам признать это и, отрекшись от себя, поступить на содержание к собственной тени.

Для зубаткиных и корольковых здесь нет никакой проблемы. Их не смущает даже то, что Кузьмин давно упустил возможность «нагнать» науку, что все его существование в их среде превратится в чистую условность, в игру; такая иллюзорная жизнь ка-

жется им вполне нормальной и законной. Выше говорилось, что они поклоняются «таланту» как ценности, принципиально более высокой и «духовной», чем степени и звания; но на практике оказывается, что и талант для них прежде всего не живое человеческое начало, не духовная радость и даже не источник «объективной» пользы для общества, а абстрактное «право», залог высших преимуществ и льгот, которыми заслуженно пользуются подлинныи ученые, но до которых умеют дорваться и корольковы. Кузьмин обладает таким «правом», и он обязан им воспользоваться; а что он будет дальше делать — не столь важно; «...в математике не обязательно заниматься математикой», — убежденно говорит Аля Лазарева. Они с супругом уже давно ведут условную жизнь, отчужденную от науки как живого творчества, они «состоят» при науке, «служат» ей, искренне презирая всех, чья «служба» менее выгодна и престижна.

Здесь как раз проходит нравственный водораздел между Кузьминым и корольковыми. Кузьмин четко осознает, что он должен выбирать не между «наукой» и «производством» (столь ложная антитеза, разумеется, чужда строю повести), а между реальной жизнью и призраками, между «собой» и «не собой». При всех «неправильности» своей судьбы, при всех больших и малых ошибках, допущенных им в жизни, он сам уже неотделим от прожитых двадцати лет. Более того, в столкновении с миром корольковых он сполна ощутил все преимущества и достоинства своей беспоконной и хлопотной профессии. Математик Лаптев мечтает о судьбе садовника или учителя музыки, о реальности и несомненности результата, о живом и добром воздействии на мир, на людей; но ведь этим сполна обладает и работа Кузьмина: «...ежедневно я необходим. Без меня не обойтись. И ежедневно есть результат. Видно, сколько сделано. Не отвлеченные цифры, не научные отчеты, что, случается, гниют потом годами... А тут все наглядно... Финиш для каждой катушечки. Кончили — и пуск. И все заработало, закрытилось...»

Выбор Кузьмина однозначен; он твердо решает не «открывать» себя, остаться собственным однофамильцем.

Это решение направлено не против науки как таковой, но против «сословной» легенды, согласно которой лишь кругу «избранных», любимцев научной фортуны доступно

истинное понимание жизни. На деле научный рационализм зубаткиных и корольковых беспомощен в столкновении с реальной действительностью, он способен лишь удобно упрощать ее, облекая совесть и карьеру жрецов новоявленной «богини». Подлинное же научное открытие совершается не в замкнутой среде, но в контексте сложнейшей реальности общественной жизни; оно почти всегда порождает ситуации, требующие трудного выбора, где доводы нравственности нередко не менее важны, чем доводы научной целесообразности. Так случилось и с открытием Кузьмина, которое появилось в запутанной, противоречивой обстановке.

Кузьмин в своей практике непрерывно должен решать проблемы, сталкиваясь со всей многосложной диалектикой живой жизни, принимая на себя всю полноту ответственности за ее ход. При этом далеко не простые вопросы решает в своей практике Кузьмин; и читателю повести ясно: проблемы производства и науки отсчитываются по одной этической шкале. Для их решения необходимо нравственное чувство, особый талант человечности, которым обладают Лаптев и Кузьмин и не обладают зубаткины и корольковы.

Было бы, однако, совершенно неправильно толковать этическую коллизию гранинской повести в плане односторонней защиты нравственных «корней» от угроз научно-технической революции. Даниил Гранин прочно вошел в сознание читателя как страстный защитник передовой науки; он видит в ней мощное орудие социального прогресса. Но прогресс этот совершается в русле общественной жизни, от которой наука неотделима. И наиболее значительны для писателя именно социальные аспекты научных проблем и конфликтов.

Так, собственно, и следует понимать любимый тезис Гранина о том, что нравственные свойства знаменитых ученых, этические проблемы, возникающие в процессе поиска истины, важнее чисто практической стороны научных открытий. Наука для него — одна из центральных (но отнюдь не изолированных!) сфер сегодняшнего социального бытия, в которой он исследует важные закономерности современной общественной жизни. В этом значение тесно связанных между собой повестей «Эта странная жизнь» и «Однофамилец».

В. ПЕРЦОВСКИЙ.

Новосибирск.



ДИАЛОГ И СПОР

Русская литература и ее зарубежные критики. Сборник статей.
(Институт мировой литературы имени А. М. Горького Академии наук СССР)
М. «Художественная литература». 1974. 392 стр.

К осмыслению классической русской литературы буржуазное литературоведение шло (и сейчас идет) очень сложными путями. Честному и здравомыслящему ученому-слависту на Западе приходится не только преодолевать «власть тьмы» различных субъективно-идеалистических, прагматических, волюнтаристских учений и «систем», сумятицу модных эстетических концепций и методов («новая критика», «семантический анализ» и т. п.), но и постоянно ограждать себя от злого духа наветов, сенсаций, а то и прямого политического давления, направленного на дискредитацию русской культуры. Совершенно права Л. Землянова (автор статьи «Ф. М. Достоевский и борьба направлений в послевоенном литературоведении США» из рецензируемого сборника) в своем утверждении о том, что русистика для современного американского и западноевропейского

литературоведа и просто читателя превращается в «пробный камень» его убеждений.

Замысел сборника, который перед нами, основан на отчетливом понимании «всесветности» русской литературы, на тезисе о том, что она «поставила и по-своему ответила на сложнейшие вопросы, затрагивающие судьбы всего человечества, его прошлое, настоящее и будущее». Русская и советская классика не может не рассматриваться на Западе как одна из важнейших духовных опор нового, социалистического мира. Вот откуда устойчивый и постоянно растущий интерес к ней у западного читателя и исследователя и вместе с тем постоянно обостряющаяся идеологическая борьба вокруг нее.

Советское литературоведение уже накопило некоторый опыт в изучении мирового значения русской классики, тех многообразных связей, которыми она была соедине-

на с литературной культурой разных народов¹. В работах такого рода, как правило, верно и глубоко определены социально-исторические предпосылки и эстетические закономерности литературно-творческих взаимодействий, раскрыты их конкретные проявления в фактах искусства. Исследователи Пушкина, Гоголя, Тургенева, Толстого, Достоевского, Чехова и других русских писателей постоянно интересовались тем, как изучается творчество этих художников в зарубежном литературоведении. Однако только в последнее время у нас устанавливается планомерное, систематическое изучение зарубежной русистики², что вызвано потребностью расширить фронт исследования русской и советской классики как всемирно-исторического явления, а равно необходимостью вести непримиримую борьбу против его невольного или злонамеренного искажения.

Сборник статей «Русская литература и ее зарубежные критики» хотя и носит, по замечанию его редакторов, характер «предварительного обследования сложного и многообразного материала» и в этом смысле действительно никак не может претендовать на полноту картины — этот сборник тем не менее затрагивает самые значительные проблемы, выходит на «шумные перекрестки» современной зарубежной славистики. И мы получаем представление о нынешнем моменте англоязычной, французской и немецкой русистики с ее особенностями и тенденциями. Столь обширная задача могла быть решена только благодаря удачному со-

четанию обзоров (И. Блза, «Дорога Пушкина на Запад»; Д. Жантиева, «Английское литературоведение 50—60-х годов о Тургеневе, Толстом и Достоевском»; И. Катарский, «Русская литература XIX века в освещении «Оксфорд славоник пейперс») с монографическими статьями, посвященными изучению на Западе отдельных писателей и литературных эпох (Ю. Манн, «Русская философская эстетика и западные исследователи»; Л. Землянова, «Ф. М. Достоевский и борьба направлений в послевоенном литературоведении США»; В. Горная, «Л. Толстой в оценке критики стран буржуазного Запада (60-е годы)»; С. Небольсин, «Александр Блок и современное западное литературоведение»). Особое место в сборнике занимает научно-публицистическая статья А. Беляева «Глеб Струве — апостол антикоммунизма в советологии США», обличающая «сердитое бессилие» патриарха реакционной эмигрантщины.

Авторы сборника с уважением отзываются о трудах зарубежных писателей, литературоведов, переводчиков и популяризаторов русской литературы, сумевших постигнуть ее нетленные социально-философские и эстетические ценности и объективно, заинтересованно написать о ней. Западноевропейская и американская русистика отмечена такими крупными фигурами, как итальянский пушкинист Этторе Ло Гатто; известный французский писатель-реалист Арман Лану, выступивший со своими толстоведческими работами; французский литературовед Андре Мэйнье и академик Анри Труайя, написавшие ряд трудов о Пушкине, Достоевском и Толстом; Гилберт Фелпс, автор книги «Русский роман в английской художественной литературе»; английский ученый Дональд Дэви, составивший сборник статей о русско-английских литературных связях, и другие. Труды ряда зарубежных исследователей (Э. Паймен, автор работ о Блоке; Э. Мюллер, исследователь русского романтизма, и другие) позволяют посмотреть на творчество того или иного русского писателя порою с неожиданных, но весьма плодотворных точек зрения.

Немало интересных работ зарубежных славистов публикует журнал «Оксфорд славоник пейперс», в котором редки проблемные статьи, но заметно щепетильное внимание к любому документу русской истории и художественной литературы. Оксфордский журнал впервые опубликовал тридцать писем А. И. Герцена и Натальи Герцен к

¹ См., например: Т. Л. Мотылева. О мировом значении Л. Н. Толстого. М. «Советский писатель». 1957; В. В. Дудкин и К. М. Азадовский. Достоевский в Германии (1846—1921) — в книге «Ф. М. Достоевский. Новые материалы и исследования». М. «Наука». 1973 («Литературное наследство», т. 86); Толстой и зарубежный мир. М. «Наука». 1965 («Литературное наследство», т. 75, кн. 1—2).

² См.: А. Н. Григорьев. Изучение русской классической литературы в Западной Европе и США (1945—1957). — «Русская литература», 1958, № 1; Русско-европейские литературные связи. Сборник статей к 70-летию со дня рождения академика М. П. Алексева. М.—Л. «Наука». 1966; Пушкин. Исследования и материалы. Том VII. «Пушкин и мировая литература». Л. «Наука». 1974; Русская литература в оценке современной зарубежной критики. Против ревизионизма и буржуазных концепций. М. Изд. Московского университета. 1973.

Георгу Гервегу и Эмме Гервег, тридцать два письма А. П. Чехова, сорок писем И. С. Тургенева. Скрупулезное собрание документальных материалов, доброжелательный тон по отношению к русской культуре привлекли к этому журналу внимание советских ученых. В нем сотрудничали академики В. М. Жирмунский, М. П. Алексеев, Д. С. Лихачев, профессора Н. К. Гудзий, В. И. Малышев.

В упомянутых трудах авторы сборника видят предпосылки для развертывания широкого и плодотворного научного сотрудничества, углубление интереса к русской культуре. При этом авторы ведут принципиальную научную полемику с литературоведами, которые в угоду тем или иным предвзятым представлениям искажают содержание и значение отдельных литературных шедевров, творческий облик писателей. Принципиальная позиция авторов, а также избыток материалов, получивших освещение на страницах сборника, делают его заметным явлением в нашем литературоведении.

Две статьи сборника (И. Балзы и Ю. Манна) посвящены литературе первой трети XIX века — эпохе романтизма и становления реализма. Сравнительно отдаленная эта эпоха на первый взгляд не является предметом обостренной идеологической полемики, но и здесь книги и статьи ряда западных ученых вызывают немало серьезных методологических возражений. И. Балза не без основания видит влияние фрейдизма в работах таких крупных литературоведов, как Анри Труайя и Дэвид Магаршак, неустанно ищущих истоки и стимулы творчества Пушкина (а вслед за ним и Толстого, Тургенева, Достоевского) только в его личных любовных переживаниях. Привкус фрейдизма, к сожалению, стал как бы обязательным спутником биографических исследований в трудах западноевропейских исследователей...

Фрейдизм, экзистенциализм и другие методологические «включения» не позволили пока западному литературоведению создать цельную и единую концепцию Пушкина, показать заключенные в его творчестве резервы международного гуманистического общения, на которые указывал еще Белинский, а затем и Горький. Мы помним, что именно Пушкин страстно мечтал о том времени, «когда народы, распри позабыв, в великую семью соединятся...», и в этом отношении определил одну из основных идей всей русской литературы XIX века. Эта ее

традиция заслуживает самого пристального внимания зарубежных литературоведов.

В своих идеях и оценках Ю. Манн исходит из положения о международном содержании и мирообъемлющей эстетике романтизма, а следовательно, и о необходимости научного сотрудничества в изучении этого сложного объекта. На этом пути, как отмечает Ю. Манн, уже есть некоторые результаты. Вместе с тем советский литературовед обоснованно спорит с теми западными исследователями (Г. Вытженс, Э. Браун), которые пытаются отлучить русских романтиков от духовных связей с декабризмом.

Рассматриваются в сборнике и работы, посвященные Толстому, Тургеневу, Достоевскому. Часто не умея и не желая познать истинную природу их гуманизма, гипертрофируя их слабости и противоречия, буржуазное литературоведение приписывает великим художникам идеи экзистенциализма и неотоцизма, «анализирует» их с помощью новомодных методов «новой критики» и стругтурализма, заведомо непригодных для истолкования этих писателей.

К тому же русская классика с ее социальным пафосом и протестом, с обнаженными вопросами совести и защитой человеческого достоинства, с ее необычайной прозрачностью раздражает и страшит буржуазных идеологов, заставляя их искать все более изощренные формы «затемнения» ее идеалов.

Поистине драматичной в современном буржуазном литературоведении оказалась судьба художественного наследия Л. Н. Толстого. Автор статьи на эту тему В. Горная замечает, что «трудно назвать такого крупного писателя-модерниста, с которым рано или поздно не сближали бы Толстого, как нет той степени извращения творений великого писателя, до которой не доходили бы некоторые из современных критиков в жажде сенсационных открытий». Прямыми наследниками Толстого — его идей и его художественного метода — объявляются Кафка, Джойс, Камю; есть «исследователи», которые не прочь записать его в «веховцы»... Приписывается Толстому и модный сейчас на Западе моральный релятивизм, который у него якобы проистекал из оцепенения перед «зияющей пустотой небытия». Интерес писателя к проблемам морали, поиски смысла жизни трактуются не как последствия и симптомы его взбудораженной совести, а как якобы вечно преследовавший его апокалипсический ужас. Бросается в глаза

стремление отделить творчество Толстого от проблем русской революции, зеркалом которой он являлся. Некоторые из зарубежных исследователей посягают даже на творческую гениальность Толстого, рассуждая об «искусстве бессвязности» романа «Война и мир», повторяя давно обветшавшие суждения насчет «бесформенности» его произведений. Очевидным показателем совершенной бесплодности такого «литературоведения» является то, что оно постоянно и почти во всем возвращается к работам о Толстом более чем полувекковой давности и к тому же принадлежащим перу русских теоретиков декадентства³. Тем отраднее отметить выходящие в последнее время книги и статьи о Толстом как критике буржуазной морали, поборнике мира и братства народов (Е. Лямперт, Феруччо Парацолли и другие). Можно быть уверенным, что даже сквозь туман предрассудков Толстой найдет путь к душам прогрессивных людей всего мира, к коллективному опыту и разуму человечества.

Такой же «горячей точкой» в работах зарубежных, и в особенности американских, литературоведов является творчество Достоевского. Его истолкование идет по двум параллельно развивающимся линиям: с одной стороны, всячески стараются приглушить бунт писателя против мира насилия, «деидеологизировать» его произведения, с другой стороны, стремятся сделать поистине зловещими и безысходными его противоречия. Уже давно объявленный иррационалистом, Достоевский в настоящее время сделался жертвой распространенных в Америке теорий «семантизма» и «символизма». Его произведения рассматриваются как «закрытый текст», наполненный всякого рода скрытыми мифологическими метафорами. Родоначальник теории «языка поэтического жеста» американский писатель и литературовед Р.-П. Блэкмур, по замечанию Л. Земляной, трактует «Преступление и наказание» как «сеть зашифрованных символических действий и оппозиций». Писателя, в течение всей своей жизни обличавшего зловещий буржуазный анархизм, теперь выдают за его идеолога и пропагандиста. Американский литературовед Дж. Гибан готов

определить Достоевского как современного авангардиста. Левацкие группировки объявляют его бунтарем против самого искусства, родоначальником мифической «антипрозы». Все эти «новые концепции», подобно прежним, изрядно затасканным — экзистенциалистским, психоаналитическим (юнгианским), фрейдистским, — возникли не на почве объективного изучения произведений и мировоззрения писателя, а в результате намеренного, крайне тенденциозного искажения его художественных идей и гуманистических идеалов.

Однако и о Достоевском создаются примечательные и интересные работы. Такова, например, книга американского литературоведа Юджина Гудхарта «Культ его. Личность в современной литературе» (1968), подчеркивающая гуманистическое содержание произведений русского писателя и выводящая его из пределов экзистенциалистских трактовок; таково исследование литературоведа-марксиста Сиднея Финкелстайна «Экзистенциализм и проблема отчуждения в американской литературе» (1965), в значительной своей части посвященное отстаиванию реализма Достоевского.

Не отдавая Достоевского в лоно современной буржуазной науки, ведя принципиальную полемику с неверными направлениями и тенденциями зарубежного литературоведения, наши исследователи выполняют большую и серьезную задачу. Но дело, на наш взгляд, заключается еще и в том, чтобы расширить фронт работ по теме «Достоевский и современный мир», создавать новые и новые исследования, основанные на подлинно научной марксистско-ленинской методологии и глубоком изучении социально-исторического опыта современного человечества⁴. Такие работы могли бы иметь большое общественное и научное значение.

В сборнике рассматривается широкий круг вопросов, связанный с освещением в современном зарубежном литературоведении творчества Блока и проблем советской литературы. В изучении Блока, как замеча-

³ Скрыто и явно цитируются книга Д. С. Мережковского «Л. Н. Толстой и Ф. Достоевский» (1901), символистский опус Вяч. Иванова «Борозды и межи» (1916), книга А. Белого «Трагедия творчества. Достоевский и Толстой» (1911).

⁴ Отраднее, что такие работы стали все чаще появляться в последнее время (см., например: Я. Е. Эльсберг. Наследие Достоевского и пути человечества к социализму. — в сборнике «Достоевский — художник и мыслитель». М. «Художественная литература». 1973; Г. М. Фридлендер. Достоевский в современном мире — в книге «Достоевский. Материалы и исследования». I. Л. «Наука». 1974).

ет С. Небольсин, определенно и наглядно выразились пороки и слабости западного литературоведения (во всяком случае, многих и многих работ): методологический эклектизм, явно гипертрофированный эстетизм, часто встречающееся «неумение делать выводы и обобщения, глубокое равнодушие к возможностям проверки частного мерой общих творческих исканий писателя, ковтекстом истории, политической борьбы и мировой культуры». Не говорим уж о заземленной фактографичности, довольно распространенной в работах о Блоке и о других писателях. Много «легенд» о Блоке создано зарубежным литературоведением, но главным камнем преткновения для него оказалась тема «Блок и революция». Поэту революционной эпохи, призывавшему «всем сердцем слушать революцию», создавшему великую революционную эпопею — поэму «Двенадцать», нередко приписываются апокалипсические, а то и просто сменовеховские взгляды. Признаки творческого «краха» буржуазные литературоведы часто ищут там, где у поэта был блестящий и вполне очевидный подъем творческой силы.

Но если дореволюционная русская классика подвергается ими часто неверному методологическому освещению и даже тенденциозному перетолкованию, то очерк советской литературы Глеба Струве наполнен самой неприкрытой зоологической злобой ко всему советскому. Струве на каждом шагу грубо-клеветнически искажает факты. До-

статочно сказать, что, рассматривая предоктябрьскую литературу (1900—1917), он ведет речь только о символизме и совсем «не замечает» романа М. Горького «Мать»; главными фигурами молодой советской литературы (20-е годы) объявляет Б. Пильняка, А. Ремизова, Е. Замятина, а не Шолохова, Фадеева, Леонова, Федина, в чьих произведениях так впечатляюще ярко выразился пафос новой действительности. Сквозь зубы он говорит о литературных шедеврах, созданных в годы Великой Отечественной войны. Конечно, «пособие» Струве находится за пределами науки и объективной публицистики. И в статье А. Беляева убедительно показано, какой клеветнической информацией еще приходится пробавляться зарубежному читателю и как нуждается он в глубоком и правдивом освещении проблем советской литературы.

Сборник статей «Русская литература и ее зарубежные критики» знаменует собою лишь начало в разработке очень важной и острой темы. И нужно надеяться, что в нашем литературоведении сложится прочная традиция осмысления и освещения зарубежных работ о русской литературе, что наряду с новыми книгами, выходящими на буржуазном Западе, будут широко рассматриваться исследования, выходящие ныне в социалистических странах.

Г. ИЩУК,

доктор филологических наук.

Калинин.



КАК ДОБЫВАЕТСЯ ЦЕЛЬНОСТЬ

Константин Симонов. Сегодня и давно. Статьи. Воспоминания. Литературные заметки. О собственной работе. М. «Советский писатель». 1974. 375 стр.

Побывав во Вьетнаме в декабре 1970 года, Константин Симонов привез оттуда путевую тетрадь с записями не только прозаическими, но и поэтическими. Посвятив несколько лет работе над романами о Великой Отечественной войне, он теперь, кажется, и сам того не предвидя, вернулся к стиху, вернулся потому, что не мог поступить иначе:

Не пишется проза, не пишется.
И, словно забытые сны,
Всё рифмы канье-то слышатся
Оттуда, из нашей войны.

«Рифмы» здесь надо понимать расширительно. Оттуда, из прошлого, не только боевого, но и мирного, — воспоминания,

рождаемые общением с вьетнамской действительностью.

Для этого имелись достаточно прочные основания. В ханойском порту выгружают медикаменты, купленные генералом Свободой на полученную им Ленинскую премию мира, и Симонов вспоминает свою встречу с ним «в Словакии, на его наблюдательном пункте, где-то под Святым Микулашем. Зима, метель. Почти ровно двадцать шесть лет тому назад». Полусожженная бомбами захватчиков библиотека напоминает о книгах, сгоревших в пламени фашистских костров... «Дьен-Бьен-Фу в определенном смысле было для Вьетнама Сталинградом»... Множество семей, которые живут с ощущением

«жди меня»... На каждом шагу возникают новые и новые ассоциации, сопоставления, параллели.

От наблюдения к наблюдению, от факта к факту протягиваются нити, проступает взаимозависимость сделанного и пережитого. Напряженная работа памяти, обширный жизненный опыт — вот движущая, объединяющая сила, превратившая сборник, составленный из статей, писем, бесед, очерков, литературных заметок, в единую книгу. Собранные здесь работы писателя появились на свет за редким исключением во второй половине 60-х и в 70-х годах, а между тем в них охвачены пласты времени куда более пространные. Симонов действительно, говоря о сегодняшнем, постоянно вводит в круг своих чувств и размышлений то, что было давно, и поступает так не прихоти ради, а испытывая в том насущную необходимость: не только прошлое можно лучше объяснить с высоты последующих свершений, но и для решения нынешних вопросов надобно хорошо помнить, верно понимать минувшее.

Связь времен дает себя знать опять и опять, в различнейших условиях и обстоятельствах.

...На острове Даманском Симонов с полным на то основанием вспоминает о том, как в 1939 году японские милитаристы оспаривали границу Народной Монголии, и о том, чем это кончилось.

...В Соединенных Штатах писатель размышляет об Америке, только что вышедшей из второй мировой войны, и об Америке спустя полтора десятка лет, освобождающейся от маккартизма, и об Америке еще десятью годами позже, гораздо лучше, яснее понявшей волю советского народа к миру.

...На Рязанщине, в селе Прудские Выселки, в окрестностях старого русского города Михайлова, беседа с родителями и земляками комсомольца Анатолия Мерзлова, который погиб, спасая охваченный огнем трактор, восстанавливает в памяти декабрь сорок первого, когда армия генерала Голикова выбила из этого района войска Гудериана.

...Читая и перечитывая «Войну и мир», говорит о том, чем была эта книга для поколения, отброшившего врагов от ворот Москвы, от стен Сталинграда.

В подобного рода суждениях нет и малой доли умозрительности, нет оперирования категориями отвлеченными, лишенными реальной «плоти». И происходит так потому, что рассказываемое и истолковываемое Си-

моновым есть часть его биографии — воинской, гражданской, журналистской, литературной.

Мы знаем: на Халхин-Голе Симонов непосредственно видел, как наши и монгольские войска громили захватчиков; не раз бывал в Соединенных Штатах и имел возможность подметить перемены, происходящие в умонастроении американцев; в 1941 году находился в только что освобожденном приязанском городке Михайлове и помнит, как «через город, в трескучий мороз, нахлобучив ушанки и подняв воротнички шинелей и полушубков, шли солдаты тех самых 328-й и 330-й дивизий, чьи имена сейчас вписаны в историю города», солдаты, в ряд с которыми встал теперь Анатолий Мерзлов, выказав себя человеком, способным «первым подняться в атаку»...

Да, при всем обилии тем, вопросов, фактов, вместившихся в книгу «Сегодня и давно», каждое ее звено имеет прямое, непосредственное отношение к жизни и творчеству автора; все здесь, как говорится, из первых рук.

Такому размаху непосредственных наблюдений, естественно, нельзя не подивиться. И здесь дает себя знать традиция, возникшая в советской литературе с ее первых лет и с годами укрепившаяся, — традиция деятельного постижения современности, участия в ее важнейших делах. «Прекрасная жизнь, прожитая в дорогах, встречах, боях, спорах, в постоянном неугасимом интересе к земле и людям» — так почтительно и восхищенно написал Симонов о Николае Семеновиче Тихонове в год его семидесятипятилетия. А за три десятилетия до того, во время войны, рассказывал, как действовали на сердца сегодняшних мальчишек и завтрашних бойцов баллады о синем пакете и о гвоздях. То, что привлекало, манило писателя в юности, стало органической частью его собственной судьбы, его личности.

Одна из важнейших ее особенностей — энергическая собранность, жажда постижения, желание как можно больше видеть, побывать всюду. Вспомним, каковы были журналистские, корреспондентские маршруты Симонова в течение всей Отечественной войны начиная с ее первых недель. Только в 1941 году он успел побывать: в июле на Западном фронте, в августе — сентябре на Юге (Крым и осажденная Одесса), в октябре и ноябре на Крайнем Севере, в декабре снова на Западном фронте... И так месяц за месяцем, год за годом, вплоть до зарубеж-

ных поездов, до капитуляции в Карлсборге, до освобождения Праги. Что и говорить: это было, как считает и сам писатель, «серьезной школой жизни».

Истины, постигаемые в этой самой лучшей из когда-либо существовавших школ, осваивались Симоновым настойчиво, но постепенно. Обращаясь к его произведениям военных и первых послевоенных лет, убеждаешься в том, что сперва писатель стремился к предельно сосредоточенному осмыслению и характеристике «такого-то» очередного этапа военных действий на «таком-то» участке исполинского фронта.

Сосредоточенность эта, вероятно, была нужна тогда в корреспондентской работе, а Симонов, так много и часто переезжавший с места на место, должно быть, и добивался возможно более концентрированного постижения особенностей «данного объекта».

Лишь с течением лет и по мере накопления личного опыта и вместе с переменами, происходившими в мире, входило и вошло в творчество писателя живое ощущение, осознание временных, событийных связей, прочно утвердился годами складывавшийся образ многосторонней движущейся действительности. О том, как много дает подобного рода мировосприятие, как обогатило оно прозу Симонова, свидетельствует книга «Сегодня и давно», в частности те ее страницы, что касаются трилогии «Живые и мертвые». В статье «Из чего складывается работа» и в ответах для журнала «Вопросы литературы», объясняя принципы развертывания и завершения своего повествования, писатель говорит о том, как овладела им потребность «связать людей начала войны и конца войны и столкнуть их чувства в начале войны и в конце». Как видим, здесь реализуется поэтика связей, столкновений, сведения событий различных лет, чувств, поворотов судеб.

За время, прошедшее с той поры, как были написаны Симоновым эти строки, в печати появились его дневники военных лет, заново им прочитанные, дополненные. Снова то, что было давно замечено и записано, получило сегодня свежее истолкование. Снова были связаны, поставлены рядом, взаимно проверены далекоотстоящие жизненные срезы — возникло многостороннее и крепкое единство.

Принципам, выработанным в прозе (сюжетной и дневниковой), Симонов следует и в публицистике. Тесное и многостороннее взаимодействие связывает различные разде-

лы книги, о которой здесь идет речь, — и те, что посвящены общественным проблемам военных и мирных лет, и те, в которых преобладают собственно литературные мотивы. Самое подразделение это несколько условно: ведь в представлении Симонова литература неотделима от источников ее силы, но в то же время у литературного творчества имеются внутренние закономерности, которые и дают возможность ему выявить закономерности жизни.

В самом деле, ведя речь о своих товарищах — не только по перу, но и по фронту, — Симонов внимательно и точно передает особенности работы каждого из них, черты своеобразных характеров, нашедших отражение в строках поэтических и прозаических.

Здесь встречаются люди, художники весьма и весьма несхожие. Шолохов и Бунин, Твардовский и Хемингуэй, Эренбург и Яшин, Неруда и Каладзе, Гулна и Бек, Межелайтис и Луконин, Каххар и Макаров, Субботин и Рождественский. Одни из них очерчены рельефнее, отчетливее, другие — лишь двумя-тремя штрихами.

В обстоятельных разборах книг, во всех характеристиках столь различных художников виден определяющий подход Симонова: они товарищи «не по возрастному признаку, а по гораздо более важному — по признаку общности взглядов на жизнь общества и назначение литературы».

Именно эта духовная общность и позволяет Симонову так уверенно предсказывать, что стихи Бориса Пастернака о войне «впоследствии войдут в поэтические хрестоматии»; так решительно утверждать, что в его поколении поэтов нет никого, кто «начинал бы так крупно, как Смеляков, и кто бы всю свою жизнь с такою последовательностью держался той самой программы, которую заявил в первой своей книге»; так упорно заботиться о поэтах, начинавших писать на фронте, зная, что в них будущее советской литературы.

Да, ни возрастные, ни языковые, ни какие-либо иные «разграничения» не могут препятствовать взаимопониманию писателей Советской страны. Еще одно доказательство тому — опыт Симонова, его желание и умение ценить по достоинству труд и своих ровесников и тех, кто старше или моложе его годами.

Определенность взгляда присутствует во всех звеньях книги — ее подчеркивает разнообразие не только жизненных мотивов,

но и литературных решений. Здесь, пожалуй, стоит подумать о том, как велики возможности нашей публицистики и как много дает свободное владение ее различными красками, их смелое и непринужденное сочетание. В который раз мы убеждаемся: глубина, естественность, выразительность повествования достигается отнюдь не покорным соблюдением однажды установленных канонов, не настойчивым разграничением жанровых особенностей, а, напротив, их решительным и многосторонним сближением. Ничто не препятствует нам идти вслед за писателем от его горьких впечатлений об условиях жизни художественной интеллигенции за океаном к язвительной полемике с «советологами», от обсуждения вопросов широкого социального значения к автобиографическим сведениям. Должно быть, дело в том, что на всех ступенях и поворотах своего «Движения по книге» мы ощущаем внутреннюю общность наблюдений, оценок, предложений, выводов рассказчика. Нет сомнения: подобной связности он и добивался. Работая над трилогией, Симонов, по его словам, больше всего «думал о том, чтобы у читателя создалось ощущение единого целого».

Вот главный урок. Не только «главный», но и, можно сказать, прочитав лежащую перед нами книгу, хорошо усвоенный: ведь и она (хотя здесь «сопротивление материала» было куда более высоким) также оставляет ощущение цельности.

Деятельное постижение жизни позволило писателю, у которого за плечами шесть десятков лет, выработать ясные представления о современности, о гражданской ответственности мастеров слова, об их участии в общенародных трудах, — представления, столь прочно поддерживающие, развивающие одно другое, столь заметно проступающие в большом и в малом, что в сумме своей они и образуют творческий характер.

Его мы ощущаем в том, как Симонов, осмысливая природу подвига, высказывает уверенность, что «подвиг — это когда человек до конца выполнил свой долг и совершил что-то еще сверх этого.. А если он просто выполнил долг, сделал то, что он должен был сделать, это еще не подвиг, это просто выполнение долга».

Оценивая имеющую на Западе хождение теорию «умирания романа», он заявляет о своей уверенности, что человек может понимать самого себя только на основе понимания мира, он говорит о своем несогласии

«считать писателя лишь продуктом жизни, ее результатом, не способным на обратное воздействие».

Внутренняя близость этих истин, конечно же не случайных для Симонова, а слитых, сросшихся с его жизнью и творчеством, очевидна. И точно так же личность писателя обнаруживается в его выступлении по поводу проблем мемуарной литературы, в размышлениях о религиозности, о военной теме в кинематографии, о деятельности фотокорреспондентов на фронте, о героизации и дегероизации, о чувстве опасности и страха, о смешении фразеологии разных времен.

Самые различные мотивы затрагиваются в письмах друзей, читателей, обращающихся за советом к Симонову, начинающих поэтов и прозаиков, и, наверное, некоторые вопросы встают перед ним неожиданно; однако же и в подобной тематической пестроте переписки есть свое достоинство: таким путем испытывается как бы с разных сторон жизненная прочность принципов, исповедуемых писателем, его умение применить их в сфере прежде неизведанной, непробоваемой.

Обсуждая с одним из своих корреспондентов действия нашей авиации на Севере, Симонов завершает эту часть письма коротким решительным утверждением: «Так обстояло дело в действительности». Фраза эта, казалось бы, ничем особенно не примечательна; ее мог бы произнести и другой литератор. Но прочитав всю книгу Симонова, понимаешь, что это «в действительности» значит многое, как и охотно повторяемые им слова Твардовского: «Здесь ни убавить, ни прибавить». Вчитываясь в те страницы, что позволяют судить о позиции Симонова в литературных спорах текущей поры (иногда существенных, а иногда возникавших как бы по недоразумению, по недоговоренности, что ли), замечаешь, что он руководствовался именно этим критерием — в действительности, когда возражал тем участникам дискуссии, которые заботились прежде всего о непрерываемости выдвигаемых ими концепций. Если ему приходилось при этом, как в споре меж сторонниками В. Ковалевского и Б. Бялика о принципах мемуарной литературы, частично отвергать, а частично принимать высказывания обеих сторон, его привлекала отнюдь «не золотая середина» (так и называлась эта статья), — «крайности» отбрасываются писателем не потому, что они слишком резки, а потому что далеки от подлинного положения дел.

В написанных во время войны и вскоре после нее «Письмах в театр» в связи с постановкой пьес «Русские люди» и «Под каштанами Праги» Симонов настойчиво предостерегает против всякого упрощенного истолкования действующих лиц, их манеры держать себя, и эта жажда живой достоверности воспринимается как неотъемлемая часть образного воплощения жизни, выработавшегося тогда и в конце концов выработанного Симоновым.

Здесь идет речь не только об очевидной точности, так сказать, лежащей на поверхности и улавливаемой с первого взгляда, но о точности глубинной, что сказывается в характеристике людей и их отношений, в освещении исторических событий и обеспечивает правдивость просторного, широкообъемного повествования. Такого рода точностью — многослойной, разносторонней — Симонов не сразу овладел; ведь и вошел-то он в литературу поэтической тропой, сначала не «изображая», а «выражая» свой военный опыт. Стараясь сделать свою строку как можно более энергичной и вместе с тем душевно содержательной, передающей реальные черты фронтовой жизни, он в какой-то степени и готовил себя к прозаической «существенности».

О том, что произошло дальше, Симонов сказал однажды как нельзя более кратко: «И я втянулся в прозу». Этими немногими словами обозначен процесс трудный, сложный и долгий, да, вероятно, и незакончившийся, потому что в художественном творчестве «конец» — величина весьма условная. И о прощании со стихами вряд ли стоит говорить: ведь совсем недавно, как нам уже известно, Симонов вернулся к ним, они попали в эту книгу, а самое появление их засвидетельствовало возникшую в душе поэта тягу к открытому выражению чувств, к прямому обобщению увиденного и услышанного, к естественной насыщенной сжатости слова — тем качествам, которыми сильна поэзия.

Строгая солдатская сердечность и отзывчивость, внутренняя напряженность и динамика фронтовых стихов Симонова рано или поздно «пригодились» его прозе, помогли ей освоить романтическую протяженность, обрести связи, выходящие за пределы одного события, одного воинского соединения, одной или немногих человеческих судеб.

Для того чтобы накопленные переживания и впечатления стали источником создания образов большой общественной ценности, нужны и гражданская зрелость, и сердечная ясность ума, и тонкость чувств, и живое ощущение слова — многие слагаемые таланта, различные грани мастерства. Симонов хорошо написал о том, что «жизненный опыт начинает иметь существенное значение для литературы», когда на Бородинском поле появляется Пьер «в нелепой белой шляпе», когда князь Андрей глядит на бомбу, один из осколков которой через секунду ранит его, когда мы слышим их слова, навсегда западающие в память, когда, иными словами, возникают образы непреходящей ценности и обаяния.

В самом деле, только образное создание художника, существующее уже само по себе, вне зависимости от своего творца, оказывается настоящим мерилом усилий, предшествующих его появлению на свет. Однако для того, чтобы лучше увидеть и пути, что привели к искомому результату, и влияние, им оказываемое на читателей, надобно войти в силовое поле тех общественных, душевных связей, что соединяют писателя с окружающим миром и отражаются в его раздумьях и беседах, выступлениях и записях. Книга Симонова, которую мы называем публицистической, встает рядом с его романами, пьесами, стихами, приближает нас и к самому писателю и к действительности, его вдохновляющей, живущей в его произведениях.

И. ГРИНБЕРГ.



Политика и наука

НАДЕЖНЫЙ ОРИЕНТИР

Р. И. Косолапов. Социализм: к вопросам теории. М. «Мысль». 1975. 476 стр.

В речи на пленуме Московского Совета 20 ноября 1922 года (это было последнее публичное выступление Владимира Ильича) Ленин говорил, что социализм —

уже не вопрос отдаленного будущего или какой-либо отвлеченной картины... «Мы социализм протащили в повседневную жизнь и тут должны разобраться. Вот что состав-

ляет задачу нашего дня, вот что составляет задачу нашей эпохи»¹, — сказал Ленин.

Эти ленинские слова, взятые эпиграфом к рецензируемой книге, очень хорошо определяют ее замысел, содержание, специфику.

К вопросам теории социализма как особого общественного организма, проходящего различные стадии своего развития, доктор философских наук Р. Косолапов обращается не впервые. Ценность нового труда определяется многими его качествами. Прежде всего это широта постановки вопросов и охвата явлений, богатство разнообразного фактического и литературного материала. К достоинствам работы следует отнести и тот публицистический пафос, который придает ей боевой, наступательный характер. Все это делает книгу интересной для широкого круга читателей.

В наш бурный век социального обновления мира всесторонне разработанная теория социализма становится надежным ориентиром в практике грандиозных преобразований. Прежде всего такой ориентир необходим странам социалистического содружества, для которых развитие и совершенствование социализма составляет содержание повседневной жизни. Насущную потребность в знаниях о путях утверждения и развития социализма испытывают также прогрессивные силы в капиталистических странах, где идея преобразования общества на социалистической основе получает все большую популярность. Глубокий интерес к социализму как строю, освобождающему людей от гнета империализма и неокOLONиализма, обеспечивающему быстрый расцвет экономики и культуры, подлинную социальную справедливость, проявляют молодые национальные государства, ставшие на путь самостоятельного развития.

Все это диктует необходимость наряду с постановкой и решением новых проблем вновь и вновь обращаться к тем проблемам, которые считаются традиционными, но в свете современного опыта приобретают новое звучание.

Настоятельная необходимость разработки теории первой фазы коммунизма вызывается в настоящее время также тем, что социализм стал объектом все более обостряющейся идеологической борьбы. Наши классовые противники делают ставку на

постепенное «выветривание» марксистско-ленинского мировоззрения. Антикommунисты либо объявляют его основные понятия устаревшими, либо подвергают их произвольному пересмотру.

Случается даже, что буржуазные идеологи пытаются выдать за социализм несколько «подкрашенные» капиталистические порядки в странах, где время от времени у власти оказываются реформистские правосоциалистические правительства. Так, распространяются мифы о «лейбористском социализме», «скандинавском социализме» и т. п.

Лженаучным утверждениям наших идеологических противников автор монографии, опираясь на бесценное теоретическое наследие Маркса, Энгельса, Ленина, документы КПСС и мирового коммунистического движения, противопоставляет глубоко аргументированные суждения о социализме.

Творчески исследуя вопрос о социальных преобразованиях в различных странах, Р. Косолапов подчеркивает, что ныне становление социалистической формации происходит не изолированно, а в рамках мировой системы социализма, ведущей историческое наступление на позиции эксплуататорского строя во всемирном масштабе. Отсюда следует, что революционные возможности рабочего класса, крестьянства, средних слоев населения в какой-либо стране, содержание, объем и темпы социальных преобразований в ней становятся величинами интернациональными. Успех на этом пути любого народа сливается с революционными потенциями других народов, умножается примером и силой социалистического содружества, которое в состоянии пресечь экспорт контрреволюции и оказать той или иной стране необходимую экономическую и культурную помощь...

«Более того, — продолжает автор монографии, — для перехода к социализму теперь, пожалуй, необязателен даже минимум развития капитализма, который был необходим, например, для России. Отставание на одну-две формации многим народам может возместить строга, последовательная ориентация на союз с государствами мировой социалистической системы».

В книге обстоятельно раскрывается освободительная миссия нового строя, процесс ликвидации отчуждения труда, диалектика превращения его в первую жизненную потребность. Автор прослеживает превращение социальной свободы из возможности

¹ В. И. Ленин. Полное собрание сочинений, т. 45, стр. 309.

в действительность, отмечает, что важнейшими условиями для этого процесса стали ликвидация частной собственности на орудия и средства (а значит, и на продукты) производства.

В книге дан решительный отпор различного рода буржуазным и ревизионистским попыткам подвергнуть искажения всемирно-исторический факт достижения при социализме неотчужденности рабочей силы, а значит, и отсутствия эксплуатации личности работника.

На большом фактическом материале в книге убедительно показано, как в нашей стране решается задача сделать труд потребностью людей. Отмечая противоречивый характер этого процесса, автор указывает, что исторически получилось так, что социальное освобождение труда, то есть ликвидация его социального отчуждения, намного опередило ликвидацию «технического отчуждения». Для его преодоления необходимо устранить немеханизированный или недостаточно механизированный труд рабочих. Такой труд достался нам в наследство от прошлого и по своим социальным последствиям противоречит социалистическому строю.

Именно поэтому, подчеркивается в книге, Коммунистическая партия считает устранение тяжелого физического труда своей программной задачей. Искра великого почина — ленинских субботников все ярче разгорается в пламя борьбы за коммунистическое отношение к труду на базе высоко развитой социалистической технологии. Одновременно усиливается духовный элемент труда, рождается и крепнет творческий интерес работника. Прежняя профессиональная узость, тяготевшая над ним как внешняя необходимость и отграничивавшая его от других видов труда, сменяется производственной, профессионально-технической свободой.

Заключительные главы монографии, в которых социализм показан на реальном материале современной эпохи, представляют особый интерес; они содержат ценные наблюдения, отличаются высоким идейно-теоретическим уровнем трактовки вопросов. Предметом рассмотрения здесь является широкий круг политически актуальных проблем: различие между логическим (научным прогнозом) и историческим (реализацией прогноза) в переходе от капитализма к социализму, единая сущность социализма и

разнообразие его форм, классовое воспитание и преемственность поколений и др.

Применяя в исследовании марксистскую категорию единичного, особенного и всеобщего, автор убедительно показывает, что социализм как определенный тип общественно-экономических отношений един во всех странах. Всюду, где утвердилось социалистическое общество, его основу составляют общественная собственность на средства производства, плановое развитие экономики. В социалистических странах власть принадлежит трудящимся при авангардной роли рабочего класса. Руководство общественной жизнью осуществляется марксистско-ленинской партией. Экономическое развитие в каждой социалистической стране направлено на создание материально-технической базы социализма и коммунизма — на дальнейшее повышение жизненного уровня трудящихся. Именно эти черты характеризуют единую сущность социализма, основные закономерности, присущие социалистическому обществу в любой стране. Признание того, что социализм един по своей сущности, что его закономерности и принципы являются одинаковыми для всех стран, не только не исключает, но, напротив, предполагает разнообразие путей и средств их реального воплощения, многообразие форм социализма.

Упомянув о том, что кое-кто за рубежом стремится отмежеваться от «советской модели» социализма, противопоставляя ей не существующую пока нигде «модель» для высокоразвитых стран Запада, автор пишет, что рассуждения об этом носят схоластический характер. А социализм в нашей стране — это реальность. «Социалистическое общество в Советском Союзе, — продолжает он, — существует и успешно развивается десятки лет. При этом история уже так «отладила» новый строй, что победоносный социализм в тех странах, где он сменит экономически развитый капитализм, будет отличаться от советского лишь такими особенностями, которые марксисты-ленинцы не считают решающими, но которые антикоммунисты хотели бы выдать за непреодолимый водораздел».

Практика наших дней подтверждает ленинское положение о всемирном влиянии советского примера. «Сегодня быть достойным Октября, — замечает французский писатель А. Вюрмсер, — означает вести революционную борьбу в соответствии с сегодняшними условиями, как когда-то Ленин

действовал в соответствии с условиями 1917 года».

С выходом в свет монографии «Социализм: к вопросам теории» марксистско-ленинская литература обогатилась ценным научным исследованием. Разумеется, в этой работе есть положения, требующие дальнейшей разработки, более глубокой аргу-

ментации, что обусловлено новизной постановки ряда проблем, многоплановостью и сложностью объекта исследования. Именно этому — дальнейшей творческой разработке важнейших проблем марксистско-ленинской теории — и будет способствовать книга Р. Косолапова.

Б. ЖИРОВОВ.



ОТ РАДИЩЕВА ДО РЕВОЛЮЦИОННЫХ НАРОДНИКОВ

В. Е. Иллерицкий. *Революционная историческая мысль в России (домарксистский период)*. М. «Мысль». 1974. 350 стр.

Развитие революционной исторической мысли в России со времени ее зарождения и до утверждения марксизма в нашей стране — такова тема рецензируемой книги. В ней как бы подводятся итоги многолетней работы автора, равно как и других советских исследователей, занимавшихся данной темой. И если в предшествующих исследованиях речь шла о тех или иных представителях революционной исторической мысли и рассматривались отдельные проблемы, то рецензируемый труд впервые восстанавливает процесс развития домарксистской революционной исторической мысли в России в целом — от Радищева до революционных народников включительно.

Автор поставил своей целью определить специфику исторической мысли сравнительно с общественной, выявить своеобразное содержание революционной исторической мысли, дать ее периодизацию, определить особенности каждого из этапов ее развития...

Не из простого интереса русские революционеры обращались к прошлому: исторический опыт нужен был им для обоснования своей программы борьбы с самодержавием, революционного обновления России. «Революционная историческая мысль», — пишет В. Иллерицкий, — воюющая мысль. Для нее характерно использование исторического опыта для практики революционной борьбы, для определения тех исторических перспектив, будущего страны, во имя которого велась сама революционная борьба».

Монография открывается главой, посвященной исследованию исторических взглядов А. Н. Радищева — родоначальника революционной исторической мысли в России. Оценивая взгляды смелого мыслителя, автор подчеркивает, что Радищев был пер-

вым в России, кто оценил ход всемирной и русской истории с антимонархических и антикрепостнических, революционных позиций, что нашло свое выражение в новаторском подходе к освещению движущих сил и закономерностей истории, в оригинальной трактовке крупнейших событий, раскрывающих переломные этапы развития человечества.

Заметный вклад в развитие революционной исторической мысли внесли дворянские революционеры — декабристы, которые, как известно, первыми с оружием в руках выступили против царизма. В книге дана характеристика исторической концепции декабристов — пионеров борьбы за политическую свободу в России.

Декабристы, как показывает автор, более глубоко и последовательно сравнительно с Радищевым разрешали вопросы о прогрессивно-поступательном и закономерном характере исторического процесса, о роли в нем социально-экономических факторов, значительно шире и основательнее осветили проблемы всеобщей истории, и в частности новейшей. Хотя взгляды декабристов заключали в себе черты классовой ограниченности, что нашло свое отражение в недооценке ими самостоятельной роли народных масс в истории, и обусловленную такой недооценкой неправильную трактовку ряда исторических событий, их передовые исторические идеи, по выражению автора, «подрывали основы реакционной дворянской историографии и одновременно готовили почву и пролагали пути для последующих успехов революционной исторической мысли в России на ее новом, революционно-демократическом этапе».

Довольно подробно освещаются в монографии исторические взгляды В. Г. Белинского, великого русского революционного де-

мократа, с именем которого связано возникновение революционно-демократического направления исторической мысли в России. В. Г. Белинскому, как отмечается в книге, было свойственно глубокое диалектическое понимание исторического процесса, задач исторической науки, важнейших периодов европейской истории, и особенно истории русского народа. «Белинский,— пишет В. Иллерицкий,— обогатил прогрессивную историческую мысль своего времени и заложил принципиальные основы революционно-демократической исторической концепции, облегчив ее разработку в дальнейшем своим продолжателям — петрашевцам, Герцену, Чернышевскому и Добролюбову».

Особый интерес представляет та часть книги, в которой ученый дает обстоятельный анализ исторических взглядов петрашевцев. Этот анализ существенно дополняет сложившиеся об их идейном облике представления. «Исторические взгляды петрашевцев,— пишет автор,— во многом напоминали воззрения на историю В. Г. Белинского и А. И. Герцена (до выезда последнего из России)». Их отличала острая направленность против официальной историографии в России, против западников и славянофилов.

Много внимания уделяется в монографии рассмотрению исторических взглядов выдающихся представителей революционной России, крупнейших мыслителей и публицистов — А. И. Герцена и Н. П. Огарева. Автор пристально прослеживает эволюцию их воззрений. Своей деятельностью Герцен и Огарев, как известно, связали дворянский и разночинский этапы русского освободительного движения. Процесс смены этих этапов со всей его противоречивостью, безусловно, отразился на их мировоззрении, в частности на исторических взглядах. Отметим некоторые противоречия и ошибки, свойственные Герцену и Огареву, ученый справедливо указывает на их выдающуюся роль «как деятельных участников в обосновании — совместно с Белинским, Чернышевским и Добролюбовым — революционно-демократической исторической концепции — высшего достижения в домарксистской историографии».

Подробно исследован в книге и высший этап в развитии революционно-демократической мысли, связанный с именами вождей революционно-демократического движения, великих русских критиков Н. Г. Чернышевского и Н. А. Добролюбова. В

монографии четко определяется их роль в развитии передовой исторической мысли в России, всесторонне показано их влияние на этот процесс. Они и их соратники, как правильно отмечает автор, «творчески развивая и обогащая традиции Радищева и декабристов, своего великого учителя Белинского и выдающихся современников А. И. Герцена и Н. П. Огарева, критически осваивая с демократических позиций лучшие достижения современной им русской и зарубежной историографии... теоретически обосновали политическую программу революционной демократии, наиболее глубоко и полно разработали революционно-демократическую историческую концепцию и противопоставили ее охранительному и либерально-буржуазному пониманию истории».

Революционная историческая мысль 60-х годов в России (в лице крупнейших своих представителей Н. В. Шелгунова и Д. И. Писарева), как подчеркивает автор, «внесла существенный вклад в революционно-демократическую историографию — в познание закономерностей исторического процесса, в разработку проблем всеобщей, и особенно русской, истории».

Большой интерес представляет и заключительная глава монографии — об исторических воззрениях революционных народников (П. Л. Лаврова, П. Н. Ткачева и других). В. Иллерицкий, оценивая работу советских исследователей в изучении данной проблемы, дополняет ее некоторыми новыми изысканиями и предпринимает попытку на этой основе определить характер исторических взглядов революционных народников, их место в развитии революционной исторической мысли в России, чем вносит существенный вклад в исследование этой недостаточно разработанной проблемы. Думается вместе с тем, что автору следовало бы полнее и шире показать исторические взгляды М. А. Бакунина, П. Н. Ткачева и других деятелей революционного народничества. Рамки монографии, естественно, ограничивают задачи исследования, и, очевидно, последующее, более углубленное изучение исторических взглядов революционных народников потребует коллективных усилий советских историков.

Профессор В. Иллерицкий с позиций марксистско-ленинской методологии показывает развитие революционной исторической мысли в России как динамичный процесс, развивающийся в неразрывной связи с со-

циальными, политическими, экономическими и культурными условиями эпохи. В книге детально прослеживается эволюция революционной исторической мысли в России, борьба ее представителей с официально-монархической и либерально-буржуазной историографией.

Достижения русских революционных деятелей в разработке исторических проблем, как справедливо замечает автор, доказывают исключительную широту и многообразие их взглядов, а также плодотворность их деятельности для русской исторической науки.

В большой и сложной работе В. Иллерицкого есть, к сожалению, и некоторые недостатки. Так, автор не всегда выделяет те проблемы, которые представляют наибольшую актуальность для данного времени и для характеризуемых им представителей передовой исторической мысли; следовало бы четче обозначить границу между отдельными течениями революционной мысли, полнее, как отмечалось выше, отразить взгляды идеологов и деятелей революционного народничества.

Подводя итоги, еще раз подчеркнем, что книга В. Иллерицкого является первым обобщенным научным трудом, посвященным развитию революционной исторической мысли в России домарксистского периода. Написанная живым, доступным литературным языком, эта работа привлекает читателя обстоятельным анализом поставленных проблем и аргументированностью выводов. Это оригинальный научный труд, ценность которого определяют полемическая направленность, новизна изысканий, принципиальная позиция автора в рассматриваемых вопросах.

Книга профессора В. Иллерицкого, несомненно, привлечет внимание и исследователей — историков, филологов, литературоведов, философов, и читателей других категорий — журналистов, преподавателей, учителей, студентов и т. д. — всех, кто интересуется историей революционного движения в России.

О. САЙКИН,
кандидат исторических наук.



ПРЕЗИДЕНТЫ И ПОЛИТИКА

Э. А. Иванян. Белый дом: президенты и политика. М. Политиздат. 1975. 432 стр.

Экскурсанты, осматривающие Белый дом, точнее его часть, открытую для посетителей, могут прочесть в Зале приемов выгравированные золотом слова: «Я молю господа бога ниспослать благословение этому дому... Пусть под его крышей правят только самые честные и мудрые люди».

Слова эти принадлежат Джону Адамсу, первому обитателю только что отстроенного Белого дома, ставшего в 1800 году резиденцией президентов после переноса столицы США из Филадельфии в Вашингтон. Переходя из зала в зал, глядя на портреты обитателей Белого дома, вспоминая их жизнь и деятельность, невольно задаешь себе вопрос: а слышали ли на небесах призыв одного из основателей молодой республики?

Кто же были те люди, которых именуют хозяевами Белого дома, благодаря каким силам и обстоятельствам заняли они высший государственный пост, в чьих интересах они действовали — на эти вопросы отвечает рецензируемая книга. Это не пособие по истории США. Автор ограничил свою задачу анализом событий, непосредственно связанных с появлением на американской полити-

ческой арене президентов XX века — от Мак-Кинли до Линдона Джонсона включительно, с их пребыванием на посту главы исполнительной власти и обстоятельствами, при которых они покинули Белый дом.

Исторические события этого периода служат тем фоном, на котором более отчетливо проступают черты политических портретов этих президентов, их роль и место в американской и мировой истории. «Среди обитателей Белого дома, — отмечает автор, — были политические деятели, избранные на этот пост в признание их прошлых заслуг перед США или в надежде на то, что именно им удастся добиться долгожданных перемен к лучшему, среди них были и люди, чьей единственной «заслугой» было слепое повиновение воле выдвинувших или поддерживавших их политических и финансово-монополистических кругов, были среди них и люди, более или менее случайно оказавшиеся в Белом доме, как правило, после кончины или убийства их предшественников. Так же, как были различны политические деятели, занимавшие пост президента США, было различно их понимание

ответственности перед страной, их представление о роли и прерогативах президентской власти. Отличны были не только обстоятельства, при которых они вступали на этот пост, но и исторические условия, в которых протекала их деятельность, стоявшие перед ними задачи.

Интерес исследователей к главам американского государства вполне оправдан. Конституция наделила президентов широкими правами. Более того, на протяжении всего XX века в их руках сосредоточивалось все больше реальной власти за счет относительного ослабления власти конгресса и верховного суда. Эта тенденция к усилению исполнительной власти была остановлена (или только приостановлена?) лишь в самые последние годы. Некоторые американские публицисты сравнивают президентов с монархами если не абсолютными, то конституционными. Во всяком случае, каждый президент, особенно те из них, которых называли «сильными» или «активными», неизменно накладывал свой отпечаток на политику Вашингтона.

В нашей исторической литературе пока еще мало исследований, посвященных отдельным президентам. Можно назвать лишь работы профессора Н. Н. Яковлева о Ф. Д. Рузвельте, профессора А. А. Громыко о Д. Кеннеди и профессора В. С. Зорина «Доллары и политика Вашингтона», где дается характеристика Д. Эйзенхауэра. Рецензируемая книга продолжает эти исследования. Автор не только характеризует политическую биографию двенадцати президентов, но и воссоздает их характеры. Перед читателями предстает галерея портретов президентов Соединенных Штатов. Бывший командир кавалерийской дивизии «Лихие всадники», отличившийся на испано-американской войне, Теодор Рузвельт — один из самых энергичных и колоритных хозяев Белого дома (сенсационными заявлениями и шумихой вокруг своей деятельности он умело потрясал воображение обывателей, дав основание одному из биографов заметить, что даже комаров он убивал так, будто они были по меньшей мере львами); бывший профессор истории Вудро Вильсон, который, неожиданно попав в Белый дом, уверовал в свою роль мессии, обязанного своим возвышением божьей воле; Уоррен Гардинг, ограниченный провинциал с «одноэтажным разумом», выпивоха и игрок, безвольная марионетка в руках выдвинувших его боссов республиканской партии; заурядный, молча-

ливый Кальвин Кулидж, девизом которого было: «Не делать никогда того, что может за тебя сделать другой»; энергичный, дальновидный, решительный Франклин Рузвельт, которому пришлось стоять у государственного руля в самое сложное для страны время — экономического кризиса и мировой войны; Гарри Трумэн, Дуайт Эйзенхауэр, Джон Кеннеди, Линдон Джонсон... «Каждый из этих государственных деятелей, — отмечает автор, — сохраняя сугубо индивидуальные черты характера, особенности и стиль руководства, придерживаясь определенных политических, философских, морально-этических взглядов, нес в себе общие для всех американских буржуазных лидеров качества представителя и выразителя интересов правящего класса. Политический курс их администраций, неизбежно испытывавший заметное влияние индивидуальных особенностей личности, политической судьбы и воззрений президента, был прежде всего политическим курсом правящего класса США и его монополистической верхушки».

Эта характеристика правильно определяет классовое существо курса всех президентов в эпоху империализма. Однако ее стоило бы уточнить: как свидетельствует история США — и в книге это показывается, — в рядах самого правящего класса и его монополистической верхушки существовали различия во взглядах по широкому кругу вопросов внутренней и внешней политики. И чем сложнее были проблемы, с которыми сталкивался американский капитализм, тем острее становилась борьба внутри правящего лагеря по вопросу о наиболее целесообразных путях и методах укрепления его устоев, преодоления трудностей. Причем демаркационная линия обычно проходила не только между основными буржуазными партиями — демократической и республиканской, но и внутри их. Вообще трудно найти такую лапмусовую бумажку, которая позволила бы на основании взглядов политических деятелей определить их партийную принадлежность. В обеих партиях представлен весь спектр буржуазной политики — от либералов до ультраконсерваторов, от сторонников реализма во внешней политике до близоруких поборников военных авантюр. В рамках этих расхождений и следует рассматривать внутреннюю и внешнюю политику каждого президента. Одни из них лично мало вникали в повседневную работу государственного механиз-

ма, другие (например, Джонсон) концентрировали в своих руках все нити управления.

Пожалуй, не меньше, а большее значение имеют различия во взглядах президентов на задачи государственной власти в целом: консерваторы отводили ей роль «ночного сторожа», задача которого лишь охранять буржуазное общество от его врагов и не преступать порога Храма бизнеса. Даже в разгар самого жестокого в истории США кризиса Гувер продолжал повторять, что он «категорически возражает против вмешательства правительства в какой-либо бизнес». Приверженец «американского индивидуализма», он выступал против государственной помощи бедствующим американцам, заявляя, что она может «оскорбить духовные чувства американского народа». В противоположность ему буржуазный либерал Ф. Рузвельт взял курс на широкое вмешательство государства в экономическую и социальную сферу. На первых порах ему пришлось проводить свою политику даже вопреки позиции большинства правящего класса. Жизнь, однако, показала, что курс Рузвельта, хотя и несколько ограничивший отдельных предпринимателей, отвечал общим интересам господствующего класса в целом. По мере обострения внутренних противоречий американского буржуазного общества широкое вмешательство государства в различные сферы жизни становилось все более необходимым. В настоящее время оно стало неотъемлемой частью государственно-монополистического капитализма США.

С интересом читаются страницы, посвященные избирательным кампаниям. Их анализ позволяет глубже понять расстановку политических сил внутри страны, обнаружить скрытые пружины и истинные цели ожесточенной борьбы за власть различных группировок правящего класса и их ставленников. Автор хорошо передает общую атмосферу президентских выборов с их специфически американскими традиционными атрибутами и особенности ведения избирательной борьбы каждым президентом.

Иногда победа кандидата достигалась в первую очередь за счет авторитета его партии. Так было в 1948 году, когда популярность демократической партии, завоеванная при Ф. Рузвельте, помогла Трумэну добиться успеха. Иногда, наоборот, решающую роль в победе играет не влияние партии, а личная популярность претендента. Так бы-

ло, например, с Эйзенхауэром. Выборы 1956 года принесли ему успех, но республиканцы оказались в меньшинстве в конгрессе. Эти различия в результатах, которых добиваются партии на выборах в конгресс и ее кандидат в борьбе за Белый дом, играют важную роль в политической жизни США. Достаточно сказать, что за послевоенное тридцатилетие в течение четырнадцати лет пост президента и большинство в конгрессе принадлежали различным партиям. В настоящее время хозяин Белого дома — республиканец, а конгресс контролируют демократы. Это создавало и создает определенные сложности во взаимоотношениях между исполнительной и законодательной властью.

При всех отличиях в стиле предвыборных кампаний кандидатов в президенты, все они не скупались на обещания. Кеннеди, как было подсчитано, дал их во время избирательной кампании не менее 220! Однако ни главные исполнители избирательных спектаклей, ни их режиссеры-постановщики потом, когда опустится занавес, почти не вспоминают обо всем, что было наговорено ради уловления голосов. Поэтому интересно перелистать эти забытые, точнее, намеренно преданные забвению страницы прошлого, сравнить щедрые посулы претендентов с их последующими действиями. Особое место в предвыборной риторике многих кандидатов в президенты традиционно занимали нападки на крупный капитал. Причем, как показывает опыт истории, более успешно могли служить финансовой олигархии не президенты типа Мак-Киели и Тафта, которые не отличались необходимой гибкостью и проводили откровенно монополистический курс. В конечном счете более эффективно действовали те президенты, которые умело представляли себя противниками магнатов, но фактически выполняли их волю. Виртуозом политической мимикрии был Теодор Рузвельт, который, стремясь предстать в глазах избирателей в качестве «разрушителя трестов», метал словесные молнии по адресу «купающихся в роскоши капиталистов». Вудро Вильсон обрушивал свой праведный гнев на законы, которые «не запрещают сильному подавлять слабого», на сильных мира сего, которые «раздавили слабых» и «теперь доминируют в промышленности и в экономической жизни страны». Франклин Рузвельт, используя библейское выражение, обещал «изгнать меня из Храма». Но волны этого словесного радикализма нисколько

не размыли основ господства финансовой олигархии.

Автор рассказывает много интересного о том, что происходит за кулисами избирательных кампаний (о роли партийных боссов, о сделках, заключаемых ими в так называемых прокуренных комнатах, о «делателях королей» — крупнейших финансовых магнатах). В книге рассказывается о банкире и промышленнике Марке Ханне, которому был обязан Мак-Кинли своей победой на выборах; о связанном с Морганом полковнике Харви, который вывел на политическую арену Вильсона; об одной из самых продажных организаций в истории американского боссизма — партийной машине Тома Пендергаста, которому Трумэн, по его же словам, был «обязан всей своей политической биографией»; о «жирных котах», как именуют в США богачей, делающих гласно или негласно крупные взносы в фонды избирательных кампаний.

Автор характеризует внешнеполитический курс американских президентов. Особый интерес для советских читателей представляют страницы книги, посвященные позиции различных президентов США в отношении СССР. Диапазон различий по этой кардинальной проблеме был довольно широк и обычно не связан с партийной принадлежностью. Республиканский президент Гувер провозгласил целью своей жизни «уничтожить Советский Союз». А У. Уилки, один из лидеров республиканской партии, проявляя подлинную дальновидность, заявил: «Мы не должны бояться России. Мы должны научиться сотрудничать с ней в борьбе против нашего общего врага — Гитлера. Мы должны научиться сотрудничать с ней на мировой арене после окончания войны, так как Россия является динамичным государством, жизнеспособным новым обществом, силой, которую нельзя будет игнорировать в будущем мире, каким бы он ни был». Хорошо известны различия позиций президентов-демократов Ф. Рузвельта и Г. Трумэна. Первый, по словам его советника Р. Тагузла, ушел из жизни, оставив своему преемнику «модель

будущего мира, которую еще предстояло сделать действующей». Трумэн же ушел из Белого дома, как правильно отмечает Э. Иванян, «оставив модель будущей войны, которую совместными усилиями миролюбивых сил еще предстояло обезвредить».

Материалы, приводимые в книге, убедительно показывают, что политика «холодной войны» не только держала человечество под угрозой ядерного конфликта, но и нанесла огромный ущерб самим Соединенным Штатам. Поэтому закономерно, что наметившийся в последние годы поворот в политике Вашингтона в сторону реализма, разрядки в отношениях с СССР отражает сдвиг во взглядах влиятельных кругов обеих партий.

Коренная перестройка отношений между обоими государствами на основе принципов мирного сосуществования пользуется поддержкой широких слоев американской общности. Эти сдвиги явились результатом прежде всего серии переговоров на самом высоком уровне между руководителями СССР и США. Исключительно важной была встреча во Владивостоке Генерального секретаря ЦК КПСС Л. И. Брежнева и президента США Д. Форда. В ходе ее были достигнуты важные договоренности по вопросам советско-американских отношений и по некоторым проблемам мировой политики. Эти переговоры были продолжены в ходе встреч между Л. И. Брежневым и Д. Фордом в Хельсинки. Позитивные тенденции, возобладавшие в советско-американских отношениях, дают стимул к углублению международной разрядки, расширению взаимовыгодного сотрудничества государств с различным общественным строем, вносят конструктивный вклад в упрочение всеобщего мира.

Работа Э. А. Иваняна написана на основании широкого круга источников — документов, мемуаров, монографических исследований американских историков и многих других. Она отличается не только глубиной научного анализа, но и хорошим литературным стилем изложения.

И. ГЕЕВСКИЙ,

кандидат исторических наук.



КОРОТКО О КНИГАХ



АЛЕКСАНДР ПРОХАНОВ. Отблески Мангазеи. М. «Советская Россия». 1975. 80 стр.

В книге очерков Александра Проханова часто встречается слово «скопище». О планировке и застройке Сургута: «Среди скопища одновременных башен, колоколен, палат открывается сложное единство и красота, богатство протекавшей здесь жизни». О переустройстве древнего поселка Тазовский: «Был ли здесь когда-нибудь архитектор? Пытались ли перенести это скопище на подрамник, осмыслить его с рейсиной и циркулем?» О сенокосе на обских лугах: «Стогоукладчики, как носатые пеликаны, жадно хватают клювами мохнатые ворохи. Косилки, как зубастые ящеры с металлическими гребешками. И все это скопище, вращая перепонками, крыльями, подымается, рассыпается по широкому лугу...»

Однако вопреки нашим предположениям А. Проханов не вкладывает в это слово иронический или осудительный оттенок. В контексте его размышлений об освоении нефтяных богатств, о коренном преобразовании северных земель слово «скопище» звучит как синоним сложных и незавершенных форм, непривычность которых, отличие которых от традиционных представлений о гармонии вызваны стремительностью, текучестью происходящих здесь процессов. А. Проханов с увлечением пишет о том, как новая жизнь северных нефтяных центров порождает новую эстетику, новые представления о красоте.

Показателен в этом смысле очерк «Сургут». Писатель перечисляет упреки, которых обычно удостоиваются проектировщики и застройщики этого города, — в разбросанности, в дробности его застройки, в несовпадении с классическими градостроительными схемами. Не разделяя этой точки зрения, автор очерка приводит в противовес ей свое понимание гармонии и красоты, которые проявляются в планировке Сургута, столь не похожего на медленно и исподволь развивающиеся города: «Сургут невозможно было предсказать и предвидеть. Он — экспромт, возникший на динамичном фоне нефтяных разработок, характер которых и поныне не вполне очерчен, а темпы добычи опережают прогнозы, ибо постоянно возникают новые факторы, форсирующие нефтедобычу».

Освоение нефтеносных районов Севера выдвигает множество сложных и подчас неожиданных проблем, решать которые необходимо в комплексе, в их неразрывной взаимосвязи. Вот почему так много внимания руководители промышленных организаций (беседы с ними приводятся в книге А. Проханова) уделяют тому, чтобы человек чувствовал себя в суровых природных условиях не сезонником, не временным жителем, а полновластным хозяином.

Для того чтобы передать масштаб событий, происходящих в нефтеносных северных районах, А. Проханов выбирает разные ракурсы изображения. Это и вид сверху, из кабины вертолета, нависшего над буровыми, над бетонными дорогами, прокладываемыми в тайге, в заболоченном пространстве. Это и котельный зал будущей Сургутской ГРЭС, откуда в разные стороны станут расходиться мощные потоки электрической энергии. Это и поселковая больница, библиотека, школа, кафе «Салым» — все, что определяет быт, жизненный тонус, настроение нефтяников и от чего в конечном счете зависит их «приживаемость» в этих местах. Очерки А. Проханова богаты наблюдениями, яркими, выразительными штрихами. И главное, писатель сумел показать, как освоение природных богатств Севера соединяется с процессом перековки человеческих душ, духовного обогащения личности. Книга очерков А. Проханова убедительно доказывает и еще одну мысль: писатель, внимательный к социально-экономическим процессам современности, увлеченный динамикой преобразования действительности, приобретает богатый запас жизненного материала, мощный творческий потенциал.

В. Гейдеко.



ААДУ ХИНТ. Быть самим собой. Роман. М. «Советский писатель». 1974. 286 стр.

Ранние романы эстонского писателя Ааду Хинта «Проказа» и «В лепрозории Ватку», созданные еще в 30-е годы, вышли сегодня в новой авторской редакции, как две части одного романа, озаглавленного «Быть самим собой».

То, что слова Гёте (в прошлом только эпитафия к роману «Проказа») после переработки произведений превратились в заглавие

нового целого, свидетельствует, что сегодня автор придает им значение, которого они могли и не иметь для молодого А. Хинта.

Быть самим собой... Как просто это звучит, и сколь немногим удается пройти по жизни, не изменив этому принципу! И как трудно именно герою романа Паулю Лайду нести высоко поднятую голову, не поддаваться искушению сменить прямую, но трудную дорогу отверженного на хитрый, выхлещенный путь конформиста! Потому что тем самым он, сын женщины, погибшей от страшной болезни — проказы, всюду обрекает себя на одиночество и отчуждение. Хотя он и его брат Ян вполне здоровы, обывательское «как бы чего не вышло», проистекающее от равнодушия или трусости окружающей среды, еще в детстве поставило их в положение отщепенцев. Зловещее слово «проказа», которое незримо витает где-то рядом с героем всю его жизнь, и есть первооснова многих конкретных перипетий романа. Паулю Лайду будет предоставляться масса случаев скрыть свою причастность к миру прокаженных, но он снова и снова откажется от подобной маскировки. Он не раз пострадает за свою нонконформность: и когда, бросив лицам, облеченным властью, признание, что он сын прокаженной, лишится места школьного учителя и впоследствии, когда не воспользуется предложенной привилегией скрыто проделать анализы на проказу, добровольно отправится в лепрозорий (хотя он и окажется здоров, это будет ему стоить места пастора).

История Пауля Лайда далеко перерастает свои сюжетные рамки. Органическое отращивание к любой форме соглашательства, неспособность во имя собственного благополучия пойти на сделку с совестью, несмотря на внутренние колебания и минутные слабости, — это качества, без которых человек вряд ли будет достоин своей высокой миссии на земле. Слухи и обывательские пересуды, сопутствующие Паулю в самые разные моменты жизни в мире здоровых, его отход от пасторской деятельности из-за интриг невежественных церковных старейшин — это неизбежные следствия внутреннего несоответствия героя бесчеловечному буржуазному миру, в котором он вынужден жить, его непохожести на тех, на чьей стороне сила в этом мире. Последняя проповедь Пауля, прочитанная перед горсткой простых людей, среди которых нет «ни одного торговца, капитана или вообще зажиточного, делового человека», по существу, содержит и давно вызревавший отказ героя от бесчеловечного бога, которому поклоняется этот мирок, и окончательный разрыв с самим этим миром. Пауль Лайд не поступился своими принципами, был и остался самим собой.

В финале первой части романа Пауль встречается с Юли, одной из центральных фигур второй книги. Выздоровевшая в лепрозории, эта «счастливица» вышла в мир нормальных людей и немедленно получила от него жестокий удар, побудивший ее бежать обратно в общество прокаженных, отношения в котором куда чище и человек-

нее... И настоящий человек, берущий Юли под защиту, — все тот же Лайд, как и она, идущий к прокаженным, чтобы отныне помогать им не бесполезным «словом божьим», а делом.

Два мира — мир здоровых и мир отверженных — противопоставлены уже благодаря особой композиции романа. Если в первой части все связанное с проказой мы видим как бы глазами рассказчика, наблюдающего «извне», то во второй мир лепрозории показан изнутри, а «на расстоянии» от наблюдателя оказывается мир «нормальных». Художник самым строем произведения оттеняет и подчеркивает контрастность и антагонизм двух жизненных сфер, различие норм, по которым живет гнилое буржуазное общество и гибнущие физически, но здоровые духовно узники лепрозории.

Переработка сделала гораздо более актуальным содержание романов А. Хинта (хотя чисто текстуральные вкладки в них не так уж велики). Пафос идеи, вынесенной в заголовки, усилился настолько, что вполне правомерно утверждать: русский читатель познакомится сегодня с новым произведением эстонского писателя.

Ю. Минералов.

Тарту.



ПЕТР ВЕГИН. Лет лебедяный. Стихи. М. «Советский писатель». 1974. 104 стр.

Метафоры «холод» и «тепло», подобно полюсам магнита, делают мир книги Петра Вегина на две части.

Вегину присуща напористая, жизнерадостная манера письма, слегка спящая читателя каскадом неожиданных ассоциаций. Поэт с такой легкостью, так щегольски жонглирует словами, что подчас трудно уловить человеческую сущность его поэзии, которую он декларирует так:

Не виноват, но чувствую вину,
когда рыдает кто-то по соседству,
чужое горе так берет за сердце,
что собственную в нем ищу вину.

Забота человека о другом, ближнем, в книге осмысливается, как «тепло», а одиночество, разлука, смерть — «холод». «Тепло» и «холод» для поэта — своего рода символы, но символы предельно конкретизированные:

Не важно, что спина бела —
спиной я к печке прислонился.
Ни разу — хоть не застудился —
не требовалось так тепла.

Побеленная печка — реалья, которая разрушает границу между прямым и переносным планами, передавая душевное состояние через физическое ощущение холода, тепла. Характерен часто встречающийся в книге образ замерзших рук, пальцев. В одиночестве, в тоске поэт спрашивает: «Где мне обогреть мои красные руки?» Зимой, в холоде, случаются все несчастья. Осознается неизбежность разлуки: «Посреди этой

волчьей, протяжной зимы мы живем вчетвером — наши тени и мы».

Эта символика так органична и последовательна у Вегина, что, абстрагируясь от нее, невозможно подчас до конца понять стихотворение, например, такое, как «Зимняя звезда». Речь в этом стихотворении идет о духовно близком автору человеке, поэте, чей высокий строй души дал Вегину основание несколько патетично уподобить ее звезде. Эпитет «зимняя» несведущему читателю мог бы показаться неоправданным и даже претенциозным, тогда как в контексте книги он синонимичен слову «одинокая». И этот внезапно прояснившийся смысл слова придает всему стихотворению особую окраску.

Зиме в книге противопоставлены «теплые» времена года, выраженные через свои характерные приметы — стог сена, черемуху и сирень. Но главные ресурсы тепла, по мысли Вегина, таит в себе человеческое слово:

...Эти слова согревали
все закоулки земли и души,
всё, что снега заметали.

Именно эта способность слова, исключительная по своей значимости, и порождает, на наш взгляд, пристальный интерес Вегина к слову. Да что интерес! Почти что культ слова мы находим у поэта. Замечательно при этом, что Вегин старательно избегает «сильнодействующих» средств. Он не пытается придумывать слова (во всей книге, кажется, нет ни одного неологизма), сравнительно мало у него вульгаризмов или диалектизмов, кроме, конечно, тех немногочисленных случаев, когда он имитирует живую речь. Стилистически его словарь в принципе нейтрален. «Тепловую энергию» Вегин ищет в первую очередь в «музыке» слова. Необыкновенно музыкально выразительным, богатым кажется поэту, например, слово «листопад». «Листопад» — это целая музыкальная тема, которая по-разному варьируется в ряде стихотворений, образующих цикл «Лет лебединый», давший название сборнику.

Сгущенная метафоричность поэзии Вегина вытекает из стремления поэта к максимальной образности. Думается, однако, что, нагнетая метафору за метафорой, поэт не всегда достигает цели. Читать такое «концентрированное» стихотворение быстро устаешь. В то же время почти каждый взятый в отдельность образ Вегина удачен — яркий, вышукл. Дай им лишь свободу «дыхания» — и они заиграют, как в этом, к примеру, стихотворении:

Полоса отчуждения между мной и тобой...
Полоса поросла небывалой травой.

Я не видывал в жизни подобной травы —
Выше глаз и чернее черной молвы.

Уж такой выпал мне на веку сенокос,
Никаким косарям чтобы не привелось!

Разбивая идущему «полоса отчуждения», поэт меняет ее временное значение на пространственное — духовный конфликт мате-

риализуется в преграду, имеющую три измерения. Вегин вообще любит этот прием — все сложное, зыбкое, еле уловимое представлять с помощью физически ощутимого эквивалента (то же самое в отношении метафор «холода» и «тепла») — и весьма умело им пользуется.

В одном из стихотворений Петр Вегин пишет о себе как бы с нарочитой бесстрастностью: «Жил не робёя, был коробейником слова. Надеялся на понимание...» Хотя непривычное сочетание «коробейник слова» и кажется на первый взгляд двусмысленным, но в атмосфере книги оно приобретает необходимую однозначность — искать тепло, добро и нести его людям, да еще так весело, красиво, цветасто, как носили когда-то свои товары коробейники. Так и понимает свою миссию поэт Петр Вегин.

Ирина Винокурова.



А. Б. МЕЛЬНИКОВ. Хранитель партийных тайн. Очерк жизни и деятельности С. И. Радченко. М. Политиздат. 1975. 168 стр.

Двадцатипятилетний инженер-технолог с пышной шевелюрой и небольшой бородкой, склонившись над столом, «колдует» с какими-то химикатами... И вот уже готовы особого свойства чернила, которыми он переписывает будущее подпольное издание. Затем кладет первую страницу в широкий ящик, наполненный клеевым желе, и аккуратно придавливает ее: строчки рельефно отпечатываются на эластичной поверхности. На эту «матрицу» накладывает чистый лист бумаги, слегка нажимает, и на белоснежной поверхности остается отиск. Так страницу за страницей он печатает работу Ленина «Что такое «друзья народа» и как они воюют против социал-демократов?».

Этот инженер — Степан Иванович Радченко, один из организаторов петербургского «Союза борьбы за освобождение рабочего класса», делегат I съезда РСДРП, на котором был избран в ЦК, деятельный член петербургской организации «Искры»...

Как-то так получится, что широкому читателю, и особенно молодежи, мало известно об этом замечательном революционере. Тем отрадней появление первой книги о нем. На широком документальном материале (хотя, к слову сказать, и не до конца исчерпанном) А. Мельников рассказывает о непопулярной (1869—1911), но безраздельно отданной революции жизни С. И. Радченко.

Еще будучи студентом Петербургского технологического института, Степан Иванович стал членом одной из первых в России социал-демократических групп М. И. Бруснева, а вскоре и сам организовал группу марксистов-технологов, в которую в 1893 году вступил приехавший в Петербург В. И. Ульянов. Его приход преобразил работу группы. Г. М. Кржижановский писал позднее: «Наш новый друг, Владимир Ульянов, пришедший к нам с берегов Волги, в кратчайший срок занял в нашей организации центральное место».

С. И. Радченко до конца своих дней оставался единомышленником Ленина. Он активно участвовал в разоблачении истинного существа народничества, «легального марксизма», экономизма, был ближайшим и верным помощником Ленина в создании единой политической организации. В руках мастера конспирации Степана Ивановича находились связи «Союза борьбы» с революционными организациями других городов, финансы, техника, архив.

После ареста в декабре 1895 года В. И. Ленина, Г. М. Кржижановского, В. В. Старкова и других уцелевший С. И. Радченко — в руководящем центре «Союза борьбы». Продолжая ленинскую линию, он осуществляет выпуск газеты «Петербургский рабочий листок». Эта боевая газета получила высокую оценку Ленина. При непосредственном участии С. И. Радченко (под его «действенным влиянием и контролем», как писал П. Н. Лепешинский) был выработан Манифест I съезда РСДРП.

Велика заслуга С. И. Радченко в издании «Искры». В конце марта 1900 года он участвует в проводившемся Лениным «Псковском совещании» революционных марксистов с «легальными марксистами», на котором обсуждался проект заявления «От редакции» об издании газеты «Искра» и журнала «Заря». Степан Иванович становится связующим звеном между редакцией ленинской газеты и петербургскими социал-демократами. Он собирает материалы, создает группы содействия «Искре», организует транспортировку и распространение газеты.

Широко известны образные ленинские слова: «Мы идем тесной кучкой по обрывистому и трудному пути, крепко взявшись за руки. Мы окружены со всех сторон врагами, и нам приходится почти всегда идти под их огнем». Одним из тех, кто вместе с Лениным под огнем врагов шел по трудному революционному пути, был Степан Иванович Радченко. Историк А. Мельников рассказал о нем живо и увлекательно.

А. Новикова.



ПЕРВЫЙ В РОССИИ. Иваново-Вознесенский общегородской Совет рабочих депутатов 1905 г. в документах и воспоминаниях. М. «Советская Россия». 1975. 264 стр.

Иваново — город славных традиций революционных, боевых, трудовых. Здесь, в Иваново-Вознесенске, как прежде именовался этот безуздный город Владимирской губернии, в мае 1905 года на гребне революционной волны зародились Советы.

Сборник документов и воспоминаний о первом в России общегородском Совете рабочих депутатов подготовлен партийным архивом Ивановского обкома КПСС (составители Л. В. Левкович и В. П. Терентьев, ответственный редактор М. И. Иванов). В него включено 116 документов. Большинство воспоминаний и ряд документов публикуются впервые.

Интерес вызывают прежде всего документы, исходящие от самого Совета. Протоколы его заседаний, кроме первого, к сожалению, до сих пор не найдены. Перед нами протокол организационного собрания Совета, начинающийся такими словами: «15 мая 1905 года в 6 часов дня в помещении мясницкой управы собрались депутаты от Иваново-Вознесенских фабрик и заводов в числе 150 человек обоего пола. При входе в помещении личности и полномочия проверялись самими депутатами, и они пропускались в зал управы».

На следующий день депутаты Совета передали фабрикантам требования рабочих: восьмичасовой рабочий день, уничтожение ночных работ (кроме технически необходимых), полная плата за время болезни, отпуска роженицам (две недели до родов и четыре после родов) с сохранением полной зарплаты, уничтожение обысков, унижающих достоинство рабочих, право читать в свободное время газеты, уничтожение фабричной полиции, право объединяться в союзы, прекращение вмешательства начальства и войск в дела рабочих во время забастовки...

Документы сборника показывают, какую огромную политическую, организаторскую работу проделал Иваново-Вознесенский Совет рабочих депутатов. Из воспоминаний участников стачки, откликов большевистской и буржуазной печати, жандармских свидетельств мы узнаем, как всерьез были напуганы царские власти тем, что практически хозяином города в те дни стал Совет рабочих депутатов. Так, 18 июня 1905 года агент жандармского управления доносил, что «народ вообще очень уверовал в депутатов и ораторов».

Из окон Ивановского городского Совета и посейчас можно увидеть часть площади, на которой в 1905 году собирались тысячи текстильщиков послушать своего любимого оратора — Евампия Дунаева. Не зря писал Авенир Ноздрин — рабочий поэт, беспартийный председатель первого Иваново-Вознесенского Совета:

Наша Талка — малоречье,
И Дунаем ей не быть,
Но дунаевские речи
Нам на ней не позабыть.

Не случайно сложили в Иваново-Вознесенске в ту пору поговорку: фабрики Куваева, а порядки-то на ней Дунаева!

Иваново-вознесенские рабочие проявили в 1905 году высокую политическую сознательность, умение отстаивать свои права. Как-то после заседания Совета одна работница заметила: «Вот вас бы, мужики надо назначить в инспектора-то...» «И в этих простых словах работницы, — писал впоследствии председатель Совета А. Е. Ноздрин, — еще тогда слышалось... что уже наступают времена рабочей власти и что эта власть уже в некоторой степени и сейчас находится в наших руках».

Но борьба была неравной. В последний раз в 1905 году собрался на заседание Иваново-Вознесенский Совет рабочих депутатов 19 июля. Стачка иваново-вознесенских

текстильщиков закончилась 23 июля. Она продолжалась семьдесят два дня (столько же, сколько были у власти парижские коммунары). И хотя бастовавшие добились лишь некоторых уступок от фабрикантов, главный итог стачки был значительно большим: она способствовала неизмеримому росту политического сознания рабочих Иваново-Вознесенска.

Обо всем этом ярко рассказывают документы и материалы сборника «Первый в России».

Ю. Шараров,
кандидат исторических наук.



ЕФИМ ВИХРЕВ. Палех. Ярославль. Верхне-Волжское книжное издательство. 1974. 229 стр.

Книга Ефима Вихрева, первого летописца Палеха, содержит интереснейшие факты истории превращения бывшего села богомазов в село, ставшее, по сути, художественной академией. Один из очерков Вихрева так и называется — «Академия-село». Как большинство разделов книги, так и этот написан лирично, искренно, что называется, с душой. Душа автора как бы сливается с душой бесхитростной здешней природы, с душой рожденного здесь искусства. Оно известно писателю досконально. Его зачинатели—его личные друзья. О каждом из них он пишет с любовью и пониманием индивидуальных особенностей творчества разных мастеров. В немногих словах—яркая характеристика.

Несколько примеров: главное в работах Ивана Баканова — «мечта о счастливой жизни человечества»; «Николай Зиновьев — художник урожая, веселья и детства». Рядом приводятся строки письма самого художника: «Я сегодня ужогу на две недели в отпуск на покос, а после отпуска у меня есть письменный прибор, думаю написать на нем вкратце от происхождения земли до настоящего времени...» Прибор был действительно создан, а микроскопический трактор на миниатюре — символ крестьянской нови — помог колхозу «Красный Палех» получить настоящий трактор на «Красном путловце».

Книга отлично показывает размах замыслов, фантазии, работоспособности палешан. Меньше чем за десятилетие Иван Зубков, подобно многим своим товарищам, создал более семисот работ. Среди них «Беседа с прялкой», «За цветами», «Девушка с овечками», «Забава пастухов»... Что это? Сельская идиллия, мир безмятежности, куда прячется художник? Отнюдь. «Отбивка косы», «Жниво», «Доля ты женская» — поэзия праздника и будничного труда, его напряжение, изнурительность — все оказалось возможным показать на небольших плоскостях пикатюлок, расписанных тончайшей кистью.

Все исполнители — поборники одного стиля. Но все они разнятся манерой письма, склонностью к различным темам. Среди них Вихрев указывает три основных раздела. Первый: народные предания, песни, частуш-

ки, присловья. Второй: литературная тематика, произведения, вдохновленные Пушкиным, Некрасовым, Лесковым, Горьким. Последний был страстным пропагандистом искусства палешан. Великий пролетарский писатель подарил им библиотеку и всегда во всем помогал им. Он помогал и автору рецензируемой книги: поддерживал его веру в будущее Палеха, сам отредактировал очерк «Максим Горький и Палех». Третья группа сюжетов палешан — мотивы сельские: «Заседание волисполкома», «Прездник в селе»... Надо сказать, что сюжетов, связанных с сегодняшней жизнью села, становится все больше и больше. Это видно по работам и дочери Зубкова Тамары, и дочери Котухина Анны, и других художников, сумевших сохранить неповторимый стиль нежной, утонченной красоты палехской миниатюры любой темы — от сказочной до современной...

Книга Вихрева вызовет, вероятно, интерес и признательность читателей. Современная молодежь даже в самом Палехе уже плохо представляет себе, из какого разора, из какого творческого тупика «поточного производства» ремесленных икон вышел на свет большого искусства советский Палех. А такие отлично написанные (почти документальные) рассказы, как «Бедный гений» или «Ножницы» — о трагической судьбе художников далекого прошлого, — помогут воспитать в сегодняшней молодежи должное нравственное чувство по отношению к тому, что было, и к тому, что есть.

Кроме того, книга Вихрева важна, интересна и поучительна собственной судьбой и личностью автора. Ефим Вихрев — участник гражданской войны, один из первых комсомольцев и коммунистов Ивановского края. Его автобиографические заметки «У родников» и «Освобождение раба», включенные в книгу, значительны своим революционным, гуманистическим смыслом.

Книге предпослана обстоятельная статья профессора П. Куприяновского, представляющая небольшое исследование о жизни и творчестве Вихрева.

Анна Илупина.



Е. П. ТАРАСОВ. Краском Генрих Эйхе. М. Воениздат. 1975. 151 стр.

Со страниц этой небольшой, но емкой книги встает обаятельный образ командара Генриха Христофоровича Эйхе — сына рабочего Рижского морского порта, мужественного человека, который с началом гражданской войны возглавил Первый революционный пехотный полк и повел его в бой против врагов революции.

Нам, кадровым военным, лично знавшим Генриха Эйхе, приятно проследить по книге пройденный им жизненный путь, найти такие страницы биографии, которые при его жизни были неизвестны либо малоизвестны.

Автор широко использовал архивные материалы, труды Г. Х. Эйхе, воспоминания его родных и близких. Он обстоятельно показывает службу Эйхе в рядах 5-й армии

Восточного фронта, в которой он командовал сначала бригадой, потом дивизией, а затем и всей армией, когда в ноябре 1919 года сменил на этом посту М. Н. Тухачевского.

С интересом читаются страницы книги, повествующие о Златоустовской операции 5-й армии, сыгравшей большую роль в разгроме Колчака и в освобождении Урала. 26-й дивизии, которой командовал Г. Эйхе, за особые заслуги в этой операции было присвоено почетное наименование Златоустовской. Автор рассказывает о доблестных делах командира дивизии Генриха Эйхе и на других участках фронта, о его службе на постах командующего 5-й армией и главнокомандующего Народной-революционной армией Дальневосточной республики, о его трудах по военной истории. Тепло и проникновенно пишет он о нелегком пути, пройденном советскими людьми старшего поколения. Тут уместно заметить, что Е. Тарасов не нови-

чок в историко-биографическом жанре. В 1964 году в Воениздате вышла его книга о Николае Ильиче Подвойском, получившая добрые отзывы в прессе.

Новая книга Е. Тарасова, несомненно, будет прочитана с большим интересом, хотя и не все ее главы написаны одинаково ровно, а иные события, имеющие лишь косвенное отношение к герою книги, описываются с излишней подробностью.

Правдивые книги о подвигах советских людей, стоявших у истоков рождения нашей армии и Советского государства, близки и дороги читателю. Именно этим и привлекает к себе внимание очерк о Генрихе Эйхе, одном из первых красных командиров (краскомов) молодой Красной Армии.

Я. Горелик,
*кандидат военных наук,
полковник в отставке.*



КНИЖНЫЕ НОВИНКИ



ПОЛИТИЗДАТ

В. И. Ленин. О государстве. Лекция в Свердловском университете 11 июля 1919 г. 23 стр. Цена 3 к.

Г. Кржижановский. Мыслитель и революционер. Воспоминания о В. И. Ленине. 40 стр. Цена 5 к.

Е. Крутицкая и Л. Митрофанова. Полпред Александр Трояновский. 240 стр. Цена 39 к.

Б. Ланин. Фальшивый нимб «большого бизнеса». («За фасадом буржуазных теорий») 58 стр. Цена 11 к.

В. Сувырин. Александр Ульянов. 1866—1887. Изд. 2-е, дополненное. 159 стр. Цена 24 к.

«СОВЕТСКИЙ ПИСАТЕЛЬ»

Н. Байрамукова. Кайсын Кулиев. Очерк творчества. 270 стр. Цена 69 к.

Н. Вигилянский. Повесть о Фрунзе. 223 стр. Цена 38 к.

Л. Дамин. Праздник. Книга стихов. Перевод с молдавского. 111 стр. Цена 33 к.

С. Машинский. Слово и время. Статьи. 559 стр. Цена 1 р. 50 к.

Х. Меламуд. Времена меняются. Роман. Перевод с еврейского. 255 стр. Цена 58 к.

В. Санин. Семьдесят два градуса ниже нуля. Повесть. 255 стр. Цена 36 к.

Н. Татаринова. Женщина на камне. Стихи. 103 стр. Цена 29 к.

М. Цагарев. Осетинская быль. Повести, рассказы, этюды. Перевод с осетинского. 575 стр. Цена 1-р. 2 к.

«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»

К. Ваншенкин. Избранные стихотворения. В 2-х тт. Т. 1. Стихотворения 1945—1962. 398 стр. Цена 1 р. 26 к.

Н. Гетори. Дом о семи фронтонах. Роман и новеллы. Перевод с английского. 501 стр. Цена 90 к.

Деклбристы. Антология. В 2-х тт. Составление и предисловие В. Орлова. Т. 1. Поэзия. 494 стр. Цена 1 р. 18 к. Т. 2. Проза и литературная критика. 447 стр. Цена 1 р. 15 к.

А. Кудрейко. Стихи. Предисловие Л. Озерова. 222 стр. Цена 57 к.

М. Курчинян. Романы Томаса Манна. Формы и метод. 335 стр. Цена 89 к.

Поэты Мексики. Перевод с испанского. («Библиотека латиноамериканской поэзии») 334 стр. Цена 41 к.

С. Сарганов. А ты гори, звезда. Роман. («Роман-газета») 128 стр. Цена 54 к.

«МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ»

С. Бондарчик. Нейлоновые куртки. Повести. («Компас») 255 стр. Цена 37 к.

А. Бэлл. Голос зовущего. Роман. Перевод с латышского. («Молодые писатели») 175 стр. Цена 25 к.

И. Ефремов. Сочинения в 3-х тт. Т. 1. Рассказы. 511 стр. Цена 1 р. 16 к.

С. Куняев. В сентябре и в апреле... Стихи. 112 стр. Цена 35 к.

В. Титов. Жизнь прожить... Повести. Предисловие В. Полевого. 302 стр. Цена 80 к.

«СОВРЕМЕННОК»

Н. Агеев. Огни над Чусовой. Поэма. 64 стр. Цена 34 к.

Н. Дементьев. Во имя человека. Роман и повести. («Новинки «Современника») 351 стр. Цена 82 к.

Н. Денисов. Снега Самотлора. Стихи. («Новое имя в столице») 64 стр. Цена 18 к.

Н. Задорнов. Золотая лихорадка. Роман. Книга 3. 431 стр. Цена 97 к.

А. Письменный. Ничего особенного не случилось. Повесть и рассказы. («Новинки «Современника») 176 стр. Цена 51 к.

И. Соколов-Минитов. Дальние берега. Повести и рассказы. 576 стр. Цена 1 р. 12 к.

М. Юхма. Братский ковч. Стихи. Перевод с чувашского. 64 стр. Цена 18 к.

ВОЕНИЗДАТ

К. Агеенко и др. Военная помощь СССР в освободительной борьбе китайского народа. 190 стр. Цена 38 к.

И. Геттуев. Человек, которого ждут. Стихи и поэмы. Авторизованный перевод с балкарского Я. Серпина. 256 стр. Цена 1 р. 26 к.

И. Кожедуб. Верность Отчизне. Рассказы летчика-истребителя. 421 стр. Цена 94 к.

А. Насибов. Долгий путь в лабиринте. Роман. («Военные приключения») 567 стр. Цена 1 р. 1 к.

«ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА»

З. Александрова. День начинается с чудес. Стихи. Предисловие В. Приходько. 127 стр. Цена 44 к.

А. Алексин. Действующие лица и исполнители. Повести. Предисловие В. Кожевникова. 399 стр. Цена 95 к.

В. Арро. Веселая дорога. Путевые рассказы. 143 стр. Цена 40 к.

М. Ефимов. Песни зеленого шума. Стихи и сказки. 62 стр. Цена 16 к.

Е. Ильина. Четвертая высота. Повесть. 271 стр. Цена 73 к.

Р. Киплинг. Сказки. Перевод с английского К. Чуковского. Стихи и перевод С. Маршак. 143 стр. Цена 37 к.

А. Линдгрэн. Три повести о Малыше и Карлсоне. Перевод со шведского Л. Лунгиной. Послесловие А. Исаевой. 415 стр. Цена 87 к.

Н. Романова. Семерка червей. Рассказы и повести. 96 стр. Цена 40 к.

«СОВЕТСКАЯ РОССИЯ»

Х. Байрамукова. День за днем. Стихи. Перевод с карачаевского. Предисловие А. Макарова. 334 стр. Цена 1 р. 6 к.

Г. Горышкин. Карусель. Сборник очерков и новелл. («Писатель и время») 95 стр. Цена 12 к.

Ю. Жуков. Люди сороковых годов. 1941—1945. Записки военного корреспондента. Издание 2-е, переработанное и дополненное. 447 стр. Цена 1 р. 62 к.

Ю. Корольков. Далекое, не забытое... Воспоминания. 271 стр. Цена 85 к.
В. Туркин. Ленинградский веночек. Поэмы. 96 стр. Цена 44 к.

«ИСКУССТВО»

А. Баталов и М. Кваснецкая. Диалоги в антракте. 191 стр. Цена 84 к.
И. Виноградов. Искусство. Истина. Реализм. 175 стр. Цена 68 к.
И. В. Гёте. Об искусстве. Переводы. Составление и вступительная статья А. Гулыги. 624 стр. Цена 2 р. 16 к.
Кино Советской Белоруссии. Сборник статей, очерков и бесед. Составитель Е. Бондарева. 319 стр. Цена 1 р. 82 к.

«ПРОГРЕСС»

С. Гломбинский. Китай и США. Перевод с польского. 310 стр. Цена 92 к.

«НАУКА»

В. Бузник. Русская советская проза двадцатых годов. 279 стр. Цена 1 р. 40 к.
Е. Котляр. Миф и сказка Африки. («Исследования по фольклору и мифологии Востока») 244 стр. Цена 95 к.
Мифы древней Индии. Переводы. Литературное изложение В. Эрмана и Э. Темкина. Предисловие В. Эрмана. 240 стр. Цена 90 к.
В. Нинифоров. Восток и всемирная история. 350 стр. Цена 1 р. 62 к.
Проблемы художественного творчества. Критический анализ. Сборник. («Эстетика за рубежом») 367 стр. Цена 1 р. 46 к.
Против колониализма и неоколониализма. Сборник статей. 134 стр. Цена 56 к.
Психология исследования творческой деятельности. Коллективная монография. 253 стр. Цена 1 р. 8 к.
Рабочий класс в мировом революционном прогрессе. Сборник. 362 стр. Цена 2 р. 27 к.

«МЫСЛЬ»

О. Иваицкий. Итальянская компартия в борьбе за упрочение союза рабочего класса и крестьянства, 1967—1974 гг. 125 стр. Цена 44 к.
У. Каштан. Рабочий класс и антимонополистическая борьба. Перевод с английского.

(«Библиотека рабочего движения») 383 стр. Цена 1 р.

Г. Мухина. Социалистическая революция и государство. Разработка В. И. Лениным вопроса о государстве диктатуры пролетариата в период борьбы за Октябрь и упрочение его завоеваний. Март 1917—март 1918. 278 стр. Цена 1 р. 11 к.

ПРОФИЗДАТ

Л. Амбразюене. Забота о детях рабочих. 63 стр. Цена 9 к.

Профсоюзы ГДР в борьбе за научно-технический прогресс. Перевод с немецкого. Предисловие Х. Хайнце. 80 стр. Цена 17 к.

МЕСТНЫЕ ИЗДАТЕЛЬСТВА

Афоризмы. Мысли и изречения разных времен и народов. Издание 2-е, переработанное и дополненное. Улан-Уда. Бурятское книжное издательство. 627 стр. Цена 1 р. 72 к.

А. Бадмаев. Калмыцкая дореволюционная литература. Элиста. Калмкнигоиздат. 167 стр. Цена 64 к.

Б. Екимов. У своих. Рассказы. Волгоград. Нижне-Волжское книжное издательство. 128 стр. Цена 20 к.

О. Ждан. Во время прощания. Повесть и рассказы. Минск. «Мастацкая литература». 175 стр. Цена 26 к.

К. Лисовский. В краю, что стал моей любовью. Стихотворения и поэмы. Красноярск. Книжное издательство. 230 стр. Цена 95 к.

Мордовское народное устно-поэтическое творчество. Очерки. Саранск. Мордовское книжное издательство. 430 стр. Цена 1 р. 72 к.

Г. Немчинов. Дорога. Повести и рассказы. Предисловие В. Шефнера. Кишинев. «Каря молдовеняскэ». 315 стр. Цена 66 к.

Я. Ругоев. Большой Симон. Рассказы и очерки. Перевод с финского. Петрозаводск. «Карелия». 240 стр. Цена 50 к.

О. Сулейменов. Аз и Я. Книга благонамеренного читателя. Алма-Ата. «Жазушы». 303 стр. Цена 74 к.

Р. Тамарина. Весна, лето, осень... Стихи разных лет. Предисловие Б. Слуцкого. Алма-Ата. «Жазушы». 160 стр. Цена 67 к.

Ю. Шпрыгов. Северная Ленинна. Образ В. И. Ленина в литературе народов Севера. Магадан. Книжное издательство. 119 стр. Цена 13 к.

Главный редактор **С. С. Наровчатов**

Редакционная коллегия:

Ч. Айтматов, Ф. К. Видрашку (ответственный секретарь), **Е. М. Винокуров, Р. Г. Гамзатов, М. Б. Козьмин** (первый зам. главного редактора), **В. А. Косолапов, А. А. Кулешов, В. М. Литвинов, А. И. Овчаренко, А. Е. Рекемчук, А. Я. Сахнии, О. П. Смирнов** (зам. главного редактора), **Д. В. Тевекелян, К. А. Федин**

Редакция: Малый Путинковский пер., д. 1/2. Тел. 299-81-77
 Издательство «Известия Советов депутатов трудящихся СССР»
 Почтовый адрес: 103806. Москва, К-6. Пушкинская пл., д. 5.

Сдано в набор 27/VIII 1975 г. Объем 18 п. л. Подписано к печати 23/X 1975 г.
 Формат бумаги 70×108¹/₁₆. 28,7 уч.-изд. л. 9 бум. л. (25,2 усл. печ. л.)
 А 13450. Тираж 172.000 экз. Зак. 2999.

Отпечатано с матриц типографии издательства «Известия Советов депутатов трудящихся СССР», Москва, Пушкинская пл., 5, в ордена Ленина комбинате печати издательства «Радянська Україна». Киев-47, Брест-Литовский проспект, 94. Зак. 05982.

Цена 70 коп.

70636